

НОВЫЙ
МИР

10

1935

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д Е С Я Т А Я

О К Т Я Б Р Ь

М О С К В А

1 . 9 . 3 . 5

СОДЕРЖАНИЕ

1. БОР. ПИЛЬНЯК. — Созревание плодов, роман	5
2. Б. КОРНИЛОВ. — <i>Сын, стихотворение</i>	47
3. ЛЕОНИД ЛЕОНОВ. — <i>Дорога на Океан, роман, продолжение</i> .	48
4. Из раннего ЛАХУТИ, стихи	121
5. ВЛ. ЛИДИН. — <i>Сын, роман, продолжение</i>	124
6. АЛ. РЕШЕТОВ. — <i>Стихотворение</i>	146
7. П. НИЗОВОЙ. — <i>Недра, роман, окончание</i>	147
8. Ш. ГЕРГЕЛЬ. — <i>Гремит барабан, роман, продолжение</i>	189

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

9. Б. ЛАВРОВ. — <i>Первая Ленская</i>	216
---	-----

ЗА РУБЕЖОМ:

10. МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА	247
-------------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

11. А. СТАРЧАКОВ. — <i>Два романа</i>	252
12. Б. БРАЙНИНА. — <i>Торжество человека</i>	261

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

И. ГРОНСКИЙ. — В. Н. Перельман и А. М. Лесюк, «Евгений Кацман»	267
Н. СЛАВЯТИНСКИЙ. — Ю. Данилин, «Поэты Июльской рево- люции» ,	269
Ю. ПОЛЕТИКА. — «Американская новелла XX века»	271

Статформат Б/5 176 × 250.

Уполн. Главл. В—10043.

Тир. 44.425. Объем 17 печ. лист. по 64.000

Зак. 1778.

Сдано в набор 2/X—35 г.

Подписано к печати 25/X—35 г.

Техн. ред. В. Веложонь.

Тип. им. И. И. Скворцова-Остепанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.

Созревание плодов

Роман

БОР. ПИЛЬНЯК

Глава первая

В четвертом часу дня, когда ротационные машины выбрасывали последние тысячи экземпляров, те, которые пойдут с дальними поездами, в этот час в экспедиционной, уже вручную, именно на эти последние тысячи экземпляров человек механически наклеивал адреса:

— «№ 504 Iswestia ZIKS. Iemen Sanaa. Аравия» — «Hedjas. Аравия» — «№ 1219 Iswestia ZIKS. Colombia South. Южн. Америка» — «Pretoria. Южн. Америка» — «Buenos Aires. Аргентина» — «Montevideo. Уругвай» — «Sydney N. S. W. Австралия» — «Афганистан» — «Урумчи» — «Madrid. Испания» — «Los-Angelos. California. Америка» — «Athenes. Греция» — «Iswestia ZIKS» — «Iswestia ZIKS» — «Известия — Известия — Известия» — «NNN — USA — USA — USA» — «Германия — Франция — Англия — Япония — Китай — Финляндия» —

Человек стер со лба пот.

Человек наклеил последний адрес:

— «№ 335 — Iswestia ZIKS. Libreria Vaticana. Citta del Vaticana» — адрес ватиканской библиотеки. За окном на тесном дворе зисы грузились газетными тюками и разгружались рулонами свежей бумаги. Свежая бумага привозилась с вокзалов, газетные тюки шли на вокзалы, — семь вагонов бумаги и полторы тысячи килограммов типо-

графской краски в дневном выпуске газеты.

Над тесным двором теснилось небо.

Первые стереотипы были отлты в час тридцать семь минут ночи. Ротационные машины заработали в час пятьдесят пять минут. Первые грузовики пошли в два часа пятнадцать минут. Первыми получили газету местные почтовые конторы и пригородные поезда. В шесть часов утра почтальоны разносили газету по предприятиям, газета продавалась в киосках. Последние автомобили уже вечером шли к вокзалам дальних поездов. Поезда расходились в ночь во все семь социалистических республик, от Мурманска до Эривани, от Винницы до Владивостока, к городам, к заводам, к селам, к пустошам. Поезда шли к границам. В багажных вагонах лежали газетные тюки. В Атлантическом океане под экватором в пути к Аргентине и на Капштадт, в Индийском океане под экватором в пути к Сиднею, в Тихом океане, в Арктическом океане — в ночи, перед рассветом — бухали волны о корабельные борты, в корабельных трюмах лежали «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Через какие-то дни от Мурманска в Кольскую тундру, от Архангельска в Мезень — по тундре — побегут олени. В среднеазиатских песках зарывкают газы и заревут пропеллерами анты. Через недели из Геджаса в Йемен Санаа — горными перевалами, в зное аравийской пустыни, — ишак, глухо позвякивая ко-

локольцом на шею, понесет постовую курджину.

Тылом ладони человек стер со лба пот. Тряпкой он стер клей с пальцев. Он бросил тряпку в угол оцинкованного стола. Ротационки под ногами уже смолкли. Дневной свет сменялся электричеством. Гартовары уничтожали стереотипы и заправляли металлом наборные машины. Цех пахнул свинцом и краской. Грузовой лифт кряхтел под тяжестью рулонов. Холодная струя воздуха, шестая бумажной рванью, поднималась из подземелья по шахте лифта, гул шахты казался гулом воздуха, и воздух из подземелья пахнул одновременно бензином, потом и сосной. В подземельи человек, раздевшись донуга и постояв под душем, переоделся в пиджачный костюм и подвязал галстук. Маленьким двориком рабочих перешел в старый дом, в столовую, — в тот дом, выходящий на угол Дмитровки и Страстного монастыря, где бывал Пушкин, быт и обычаи которого послужили Грибоедову для его «Горя от ума». В этом доме помещались столовая, красная комната, местком, медпункт. За окном пустой красной комнаты, за средневековым переулком, забитым светом фотохронки «Известий», автомобилями и трамваями, поднималась средневековая, как проулок, монастырская стена. Раньше и столетия стена охраняла Страстной женский монастырь. Теперь там был Антирелигиозный музей. В зиму шестнадцатого-семнадцатого, под самый Октябрь, у обалдевших от фронтов и предчувствия революции офицеров интеллигентского происхождения, у литераторов и у адвокатских жен был обычай заходить после всенощного пьянства к заутрене в Страстной монастырь, слушать спяна бред церковных песнопений, объясняться в алкогольно-истерическом перенапряжении с богом о вечном, временном и верности.

Побыв в столовой, рабочий прошел на Пушкинскую площадь, подождал троллейбуса, сел и поехал в поселок «Сокол».

На парадном «Известий» работал лифт. Он походил на термометр, поднимаясь от нуля первого до температур

шестого этажа, до редакционных кабинетов, до мозга газеты. Ртутью была лифтерша в синем пиджаке с нашивками. В подезде всегда беседовали почтенные старики, швейцары, знавшие всю русскую, союзную и многую иностранную журналистическую, писательскую, общество- и искусствоведческую корпорацию по качествам их галош. Лифт ходил по этажам советской культуры и советских дел. Главный врач «Известий», доктор Константин Александрович Винокуров, невролог, в медицинском обществе вел дискуссию, отрицая «свинцовое изменение психики» печатников и газетчиков, теорию, выдвигаемую некоторыми московскими психоаналитиками. Наблюдая за полутора тысячами рабочих, служащих и сотрудников комбината «Известий», доктор Винокуров не находил этого «свинцового изменения психики». Основным полем его наблюдений были печатники. Шестой этаж — редакция — не был типичным только для «Известий», — литературная советская интеллигенция, редакторы, литераторы, журналисты. Пятый и четвертый этажи — бухгалтерия, отдел распространения — были просторны, чопорноваты и тихи, как всяческие бухгалтерские конторы. Даже в производственных этажах доктор Винокуров не считал характерными для печатной промышленности цехи ротационный и стереотипный вместе с гальваническим отделением сталевания: у ротационок работали рабочие-металлисты так же, как они работали в около фрезеров и штамповальных машин в любом холодном цехе машиностроительного завода, в стереотипном цехе работали литейщики, как они работали в любом горячем цехе металлургического завода. Позвонок и основным полем для наблюдения «свинцового изменения психики» был наборный цех, в меньшей степени цинкографский, еще в меньшей — брошировочный, — но и здесь доктор Винокуров «свинцового изменения психики» не находил. Он утверждал, что комбинат «Известий» — это большое и сложное фабрично-заводское предприятие, оформляющее события и производящее организованную политическую мысль, обслужи-

живаемое всеми видами рабочего и интеллигентского труда, — предприятие и только. Лифт проходил через все этажи предприятия. На пятый этаж лифтера привозила миллионы рублей зарплаты, гонораров, счетов. Четвертый этаж ассимилировал в себе подписную плату и плату за объявления. Бухгалтерия четвертого и пятого этажей расписывала сложнейшие кружева цифр, учета, расчета и бюрократии. Первые этажи размножали продукцию до миллиона экземпляров. Шестой этаж создавал и оформлял продукцию — события, политическую волю и политические устремления страны. Лифтерша ездила по этажам. Температура событий всегда отражалась на подвижности лифта. События приносились страной и жизнью. События бросались в страну и жизнь.

В четвертом часу дня заканчивались дела вчерашнего номера. И в это же время возникал завтрашний номер. Редакторы, сотрудники редакции, заведующие стделами собирались на совещание, называемое «летучкой». ТАСС приносил телеграммы сегодняшних событий Союза и мира. Радек и Гарри додиктовывали свои статьи. Очерки и рассказы литераторов ждали своей очереди. Собрание начиналось с обсуждения вчерашнего номера. Собрание обсуждало передовую, а стало быть, и целеустановки завтрашнего номера. Передовая срочно писалась. Вслед передовой заведующий отделом советского строительства спорил с иностранным отделом о количестве строчек на завтра. В комнате через коридор стенографистки расшифровывали телефонные переговоры с Ленинградом, Харьковом, Свердловском. Номер на завтра принимал свои формы. Отделы получали свои количества строчек и темы. Подвалы извлекались из запаса. Сотрудники расходились по кабинетам приводить темы и строчки в порядок. Иные садились писать. Иные диктовали. Иные рылись в письменных столах. Телеграф и телефон продолжали приносить события Японии, Америки, Днепрпетровска, острова Колгуева, с'езда геологов в Мурманске. События были буднями. Мысль завтрашнего дня была построена.

У секретаря редакции и у редактора начинался прием. Поэт Пастернак принес переводы грузинских поэтов. Безымянный человек сообщил, что он два года прожил в Игарке, вел дневники, написал очерки, — намерен предложить их редакции и хотел бы заручиться корреспондентским билетом, ибо завтра отправляется в Таджикскую республику. Фельд'егерь привез пакет из ВЦИК. Нежданно и весело, в смазных сапогах, ввалился Искра, раз'ездной корреспондент, стал рассказывать о Кузнецкстрое, откуда приехал утром, — секретарь редакции охладил веселье, сообщив, что сегодня же вечером Искра уезжает в Архангельск. Зашел к секретарю прощаться, посидел немного и ушел к редактору японский корреспондент ТАСС товарищ Наги, — секретарь вспомнил, что не ответил на телеграмму американского тассовского корреспондента — Дюранта, и написал ответ. Принесли телеграмму из Парижа от Жака Садуля, двести строк, — секретарь сократил строки с двухсот до семидесяти пяти. Заходил прощаться писатель Сергей Арбеков, уезжавший на автомобиле в Ивановскую область, в Палех, на лето и на отдых.

Москва погружалась во мрак. Лифт вез в редакцию события Союза и мира. От шести до половины десятого лифт замедлял свою скорость. Ротационки молчали. Пустовали конторы. Ротационки заработали в час пятьдесят пять. Лифт тогда безмолвствовал, ибо матрицы событий были уже отлиты.

В тысяче километров от Москвы, в одинаковой мере на Востоке иль Западе, на Севере иль Юго-Востоке, двое сидели в полметровом расстоянии от лошадиного хвоста. Они ехали уже очень долго, промерзли, устали. Быть может, один из них был корреспондентом «Известий», — но может быть, он был председателем местного колхоза. На станции затемно он получил почту, письма, газеты. Они приехали в село, распрягли лошадь, соскребли на пороге грязь с сапог, засветили лампу. Предколхоза открыл газету. Его глаза были усталы. Его глаза сделались и веселыми, и испуганными одновременно, никак не утомленными, —

— О нас! О нас написано?! — сказал он и испуганно, и радостно.

— «301, 38th Street. New-York-City» — Америка — USA —

Глава вторая

Изменение фамилий, замена их псевдонимами вызывалась и вызывается различными причинами, — у актеров и писателей в первую очередь — эстетическими. Циплюков превращается в Вершинина. Рыбин — в Вольского. Келлер, таким образом, превратился в Арбекова, — у Келлера, впрочем, это было еще и потому, что Келлер — немецкая фамилия, а Келлер начинал печататься в годы мировой войны. Эстетизм же отлился в выборе псевдонима, более удобного для лермонтовских времен «покорения» Кавказа и увлечения Кавказом, чем для тех лет, которые пошли в России за мировой войною. А за годами мировой войны в России — в СССР — пошли лета перестроения человеческих отношений, человеческого труда, а стало быть, и перестроение человека. Что касается труда человеческого, то при социализме труд должен идти рука об руку с искусством, превращаясь в искусство. У литераторов предметом труда является именно искусство. Это никак не значит, что все литераторы — социалисты. Это обстоятельство — именно то, что труд литератора есть искусство, — скорее осложняло путь писателя к социализму. Социалистический труд, он же искусство, — обязательно труд коллективного сознания. Литераторы работали единолично, выращивая свои индивидуальности, где Пушкин не походил на Лермонтова, ибо требовалось, чтоб Пастернак не походил на Маяковского, а Всеволод Иванов на Константина Федину и Сергея Арбекова, — Арбеков, Демьян Бедный, Гладков, Иванов, Киришон, Леонов, Маяковский, Пастернак, Толстой, Федин, Шолохов, революционные русские писатели различных литературных и социальных толков, делавшие литературу и не походившие друг на друга.

Арбеков делал себе летний отпуск. Он уезжал в Палех, в Ивановскую

Промышленную область, в старейшие русские Володимирско-Суздальские земли. Он отправлялся на автомобиле, чтобы иметь возможность бродить по области. В Иванове он должен был встретить на вокзале жену и сына с нянькой, ехавших на поезде, чтоб не трястись по дорожным ухабам.

Автомобиль вышел из Москвы в семь вечера.

Ехали — Арбеков, его товарищ, рабочий и автомобилист Сеницин, Яков Андреевич, да третий, которого Сеницин прозвал монахом, реставратор Павел Павлович Калашников.

Калашников возник в поездке случайно.

Арбеков всю ту весну собирал материалы о русском семнадцатом веке. Анна Андреевна Ахматова передала Арбекову книгу о тульских и каширских металлургических заводах семнадцатого века. В книге рассказывалось о троих иностранцах, об Андрее Вениусе, Петре Марселесе и Филимоне Акеме, которые — впервые в России, в тогдашней Руси, — строили металлургические заводы. Обстоятельства возникновения этих заводов оказались чрезвычайно интересными. Назвать их феодальными мануфактурами — не точно, ибо они были первыми капиталистическими предприятиями в Руси. Возникшие в год окончательного юридического оформления и закрепления крепостного права, в 1649-й, оснащенные по договору с царем Алексеем волостями и крепостным населением, эти заводы отказались от крепостного труда и пользовались вольнонаемным. Заводы были концессионными, они лили на царя пушки, сверлили пищали и ковали сабли по договору, но — сверх договора — через Архангельск, Белым морем — эти заводы отправляли пушки на голландские рынки, в вольный город Гамбург, — то есть Русия в семнадцатом веке экспортировала железо в Европу, и это железо конкурировало с европейским, — со шведским — «свейским» — в первую очередь. Будучи концессионными, подчиненными Посольскому приказу, эти заводы оказались государством в государстве, не подчиняясь ни воеводе, ни губ-

ному старосте, чинясь своими законами, но они существовали в феодальном государстве, и возникал необыкновенный социальный конгломерат: авантюристы-предприниматели и рабочие, списки которых уцелели до сих пор, где против каждой фамилии рабочего сказано: «сказался он Петрушка родился де на заводах, а отец его ис которого города пришел то не упомнит», — авантюристы-предприниматели и — беглые рабочие, те самые крепостные, которые бежали от узаконения этого «права» по всей Руси семнадцатого века — от годинского юрьева дня до Дона, до Яика, до Гурьева, до Степана Тимофеевича Разина. Вениус был штатным переводчиком Посольского приказа царя Алексея, Марселис строил Архангельский гостинный двор, то-есть архангельскую торговую крепость, — Вениус, Марселис, Акема были приняты при дворе царя, но сохранившиеся архивы указывают, что рабочие их заводов не только читали подметные письма Разина, а и принимали в разинском движении участие. Быть может, там, на этих заводах, в семнадцатом веке можно найти одну из первых глав русского рабочего движения? — во всяком случае, эти заводы были первой главой русской металлургии. Арбеков стал собирать материалы, разбросанные по семнадцатому веку. Он наткнулся на множество обстоятельств, которые ему казались семенами романов и образов. Марселис принимал участие в постройке под Коломною в селе Дединове первого русского фрегата «Орел» — того самого, который — пророчески — через полтора года после спуска на воду был сожжен в Астрахани Степаном Разиным. Но там же Арбеков наткнулся на архивную фразу из челобитной Петра Марселиса, где Марселис пишет царю Алексею о том, что-де дединовский воевода Замуровский «выслал всех казаков и ровщиков на Воронеж твоему великому государю к струговому делу», — это было в 1674 году, — то-есть: воронежский флот строительством начат не при Петре, не Петром, но — Алексеем. Архивы перепричесывали историю. Поиски архивных материалов привели Арбекова в

Исторический музей, в Ленинскую библиотеку и — как это всегда бывает, когда человек опускает свои внимание и время в новую область знания, — так приблизили семнадцатый век, точно он был вчера. Появились знакомые, которые разбирались в семнадцатом лучше, чем в весне 1935 года. Новые друзья наделали подарков: подарили пятисвечник семнадцатого века с царским двуглавым орлом, ендову, кастрюлю, медную чернильницу (с двумя колечками, ибо, оказывается, писцы в семнадцатом веке носили чернильницы на привязи у пояса, равно как гусиное перо закладывали за ухо, дабы их все признавали). И подарили — триптих, складень с тремя иконами, в ящике, оделанном толстою кожей, в железе. Складень был записан, — даритель сказал, что он пришлет реставратора. Складень совершенно не требовался Арбекову, но подарен был так внимательно и полноценно, что Арбеков, принимая подарок, сказал тоном знатока и любителя семнадцатого столетия:

— Да, конечно, реставратор необходим, пожалуйста, пришлите, спасибо!..

И третий, кто ехал с Сергеем Ивановичем на автомобиле, — был именно этот реставратор, Павел Павлович Калашников. Он пришел к Арбекову за два дня до поездки, утром, не предупредив. Давно уже исчезли в России мастеровские картузы с лакированными козырьками, мастеровской не то пиджак, не то сюртук, сапоги в гармошку, рубашка на выпуск с пояском в кистях. И совершенно исчезли прическа «в кружок», полудьяконского фасона, борода и усы. Пришедший и причесан был в кружок, и тощая бородка росла у него на шее, и картуз у него был с лакированным кожаным козырьком, черный, воронообразный, столетний. Он отрекомендовался:

— Павел Павлович Калашников, художник-реставратор, — и улыбнулся совершенно детскими глазами. Он отрогал складень, как библиофил инкунаболу. Пальцы его были очень длинные, руки бессильны. Лет ему было — двадцать пять, двадцать семь. На самом деле, глаза его над складнем восхищенно за-

светились. Он заговорил языком семнадцатого века. Было совершенно ясно — знаток, человек призвания, — Алеша, что ли, Карамазов? — и это в 35-м году! — Разговор пошел о византийском влиянии на русскую иконопись, о новгородском, владими́ро-суздальском, ярославском, московском иконописных стилях. Калашников оказался совершенным знатоком не только русской иконописи, но всей русской истории. Арбеков спросил:

— Вы, что же, иконо-реставрационную работу по наследству ведете? — не палешанин ли? — вы откуда родом?

— Нет, я московский. Меня с детства старина манила. Мой отец столяр. Окончив семилетку, я пошел учиться в государственные реставрационные мастерские, окончил, работаю.

И Калашников спросил в свою очередь:

— А вы много по иностранным землям бывали?

— Был, — ответил Арбеков. — Много.

— Мне не доводилось бывать, не знаю, — но имею предположение, что нету лучше русского народа. Русский народ — хороший народ, сердечный, культурный, вдумчивый, — Павел Павлович помолчал, — ласковый народ. Я, когда у меня есть свободное время, путешествую, на поезде и пешком. Был во Владимире, — до Суздаля, к сожалению, не дошел... Был в Новгороде Великом, в Ростове Великом, в Переяславле Залесском, во Пскове... Древний русский народ, ласковый...

Сергей Иванович собирался в Палех. Дорога лежала через Владимир, Суздаль, Иваново, Шую. Двадцать один год тому назад, в год мировой войны, этому Павлу Павловичу Калашникову было, поди, лет пять-шесть. Война, революция, новая страна, новые поколения, — а перед Арбековым, со складнем на руках, сидел паренек, свалившийся с семнадцатого века, причем у паренька были тощие глаза и пальцы, но телосложения он был крупного и сытого. Такие люди не попадались Арбекову на глаза, — тихий паренек, ласковый, мастеровой по реставрации икон, никак Арбе-

кову не нужный. Разглядеть паренька казалось любопытным.

Арбеков сказал:

— Послезавтра я поеду в Иваново, проедем через Владимир и Суздаль...

— К Покрову, к Покрову-на-Нерле надо заехать, обязательно надо побывать там, и Боголюбов миновать невозможно, — молвил Павел Павлович, вздохнул и опустил глаза, точно прятал их в воспоминания.

— Ну, так вот, едемте со мною. Доедете до Иванова, оттуда вернетесь поездом. Приходите послезавтра в три часа.

Павел Павлович порозовел, как девица, еще ниже опустил глаза и прошептал:

— Я поеду... я поеду, если позволите... двенадцатый век! века!..

Пришел Павел Павлович Калашников — в архалуже неизвестного фасона, вроде священнического пальто, совсем без вещей, даже без мыла с полотенцем — ровно в три часа. Яков Андреевич, рабочий, автомобилист, сразу окрестил Павла Павловича монахом, бесполезным грузом. Опоздали, выехали в семь. За руль сел Арбеков. Яков Андреевич на ходу обслуживал машину, работу мотора, скрип рессор. До Ногинска ехали пятьдесят минут. От Ногинска — на каждых десяти метрах поминали недобрый словом Цудортранс: дорога оказалась поистине ужасной, куда хуже, чем если бы можно было ехать целиной. Монах до Ногинска наслаждался быстротой движения, приговаривал: «как на ковре-самолете лечу!», и за Ногинском наслаждался — туманными русалочьими косами, пейзажами — к вящему расстройству Якова Андреевича, который поминал Цудортранс и презирал пейзажи, раз они лежат вокруг такой паршивой дороги, не жалеющей рессор и его, Якова Андреевича, труда и нервов.

Туманы, действительно, заплетали дорожные ухабы. В туманах пели соловьи, десятки, сотни соловьев. В туманах рождалась поэзия. Туманы — русалочьи косы — напоминали о русском дохристианском фольклоре. Ночь не могла окончательно побороть дня, заря сходилась

с зарей. Небо было зелено, зыбко, просторно. Зеленые пейзажи за туманами и под июньским небом напоминали видения снов. Горько и сладостно пахло березой. Старое Владимирское шоссе — Володимирка, — дорога каторжников и преданий о них, дорога разбойничьих истин и разбойничьих монастырей, кандалного звона и смерти, — была разгорожена автомобилями из Горького, как новостройка. У дороги горели костры — парнишек из ночного, прохажив, дорожных работников. Костры сказывали о володимирских преданиях. Павел Павлович узрел за кострами, в костровом дыме русалок, о чем и говорил. У одного из костров остановились охладить машину и поесть.

(И слушали историю лесного царя Ивана, которая рассказана будет в дальнейшем — о царе Иване, избранном к власти в 1919 году.)

Во Владимир дорогою русалок, кандалников и Цудортранса все же приехали к часу ночи и без поломок. Остановились в гостинице столетних времен, на дворе которой обязательно останавливался тарантас писателя Соллогуба, во времена Гоголя, а в ресторане которого, если бы долго жил во Владимире, обязательно спился бы писатель Герцен. Автомобиль оставили на улице, на перекрестке, неподалеку от поста милиционера, рассчитывая, что здесь ему будет покойнее, чем на дворе, где стайвал соллогубовский тарантас. С монахом была тетрадь, в которой церковно-славянской вязью он изложил справки о володимиро-суздальской стороне. За дорогу до Володимира выяснилось, что пахнет от монаха луком и олифой так невозможно, что Яков Андреевич, пропахший бензином и тавотом, всерьез задумывался, не заночевать ли ему в машине. Ели на сон грядущий, и монах по рассеянности с'ел весь хлеб, рассчитанный до Иванова.

Утром осматривали старину. Владимирские памяти связаны с Андреем Боголюбским и с сыном его Всеволодом, с двенадцатым веком. От тех времен остались крепостные ворота, называемые

Золотыми, и два собора. От Золотых ворот идут рвы, около коих с точностью, точно это было на той неделе, показывают, где татары ворвались во Владимир, без малого семь веков тому назад. Коммунальное хозяйство володимирского рика повесило ныне на Золотые ворота коммунальные часы с электрическим заводом. Церкви двенадцатого века, — одна из них за последние лет двадцать пять растрескалась, — разваливаются и развалятся, если не наедут реставраторы-архитекторы и не закрепят трещин. Во володимиро-суздальской церковной архитектуре все церковные колонны и своды обязательно покоятся на львах. Откуда в двенадцатом веке на Клязьме и на Нерле эти львы? — Есть летописные справки, что Андрей Боголюбский был в родстве с Фридрихом Барбаросой, и есть предположение, что соборы строились ломбардскими архитекторами, и они-де и завезли львов. Но у шведов, норвежцев, датчан, финнов львы — национальный герб, — и не оттуда ли львы у подножий колонн володимирских соборов? — государственный герб Андрея Боголюбского — каков? — В Успенском володимирском соборе, в том самом, который осаждался татарами и был последней цитаделью володимирцев, — в этом соборе хранились мощи Андрея Боголюбского и хранятся фрески Андрея Рублева, равно как расчищены фрески от двенадцатого века, сделанные греками. Летопись передавала о Боголюбском, что в гордости своей и в величии он никогда не склонял головы, что во внимательности своей он никогда, даже во сне, не закрывал окончательно глаз, что погиб он, изрубленный боярином Кучкой с сыновьями, причем бояре в ненависти своей рубили Боголюбского даже тогда, когда он умер. Мощи Андрея Боголюбского вскрыты, перенесены из собора в музей. Мощей никаких не оказалось, были лишь кости, но кости подтвердили летописные записи. На многих костях, на костях рук и ног, на ребрах, на черепе остались следы многих ударов меча. Гистологи Академии наук обследовали эти кости. Удары наносились долго, часами спустя после того, как человек умер от первых ударов. Гистологи ж устано-

вили, что шейные позвонки Андрея Боголюбского были сращены базедовой болезнью, — не по гордости и не по внимательности не склонял головы и не закрывал глаз Андрей Боголюбский, но по болезни. Росту ж был князь Андрей невероятного, — на полголовы выше царя Петра. Сергей Иванович брал в руки череп и кости князя-феодала. Никакого священного трепета не было, — восемь веков тому назад человек, обладавший этими костями, был страшен. Павел Павлович Калашников стоял у костей безмолвно, по-монашески. Яков Андреевич подержал в руках череп, взвешивая его, положил на место и молвил, обращаясь к Арбекову:

— А как думаете, Сергей Иваныч, мы бы с одним нашим автомобилем — завоевали бы все боголюбское царство?.. — я бы встал бы. Я бы вроде бога на них наскочил бы. Они бы от одного моего боша разбежались бы... Только вот, когда мы спали бы, может, они нас подкараулили бы? — или если бы бензин кончился?..

На перекрестке около гостиницы милиционер покинул свой пост, переселившись к автомобилю, просил около автомобиля мальчишек не задерживаться, а взрослым читал лекции о советском автостроении. День был совершенно замечательный — в солнце, в ветре, в синих небе и воздухе, в просторе. Соловьи, не заметив утра, пели посередине города Владимира, в росе и в утренней синей ясности. Утром оказалось, что город Владимир никак не сдан в заштат, но отдан молодежи, учащимся, девушкам и юношам, учебникам в ремешках подмышкой, буйному цветению сирени и вишни.

Из Владимира выехали в час дня, двинувшись в Боголюбов и к Покрову-на-Нерле. В Боголюбове сохранилась часть палат Боголюбского, те, по совершенно неверному монастырскому толкованию, где был убит и возведен во святые князь Андрей. В Боголюбове проживает ныне и хранит музейные ключи Федор Павлович Круглов, человек, подобно Боголюбскому, не сгибающий шею — по иным, чем Боголюбский, причинам: партизан, красноармеец, участ-

ник Перекопа, он был захвачен белыми; на теле его до сих пор видна пятиугольная звезда, вырезанная из кожи при попытке; белые его расстреляли, он был похоронен в братской могиле, он вылез из-под земли от трупов, вернулся к нам, дрался под Перекопом, шейные мускулы его исковерканы, он не сгибает шеи, — он хранит палаты и память Андрея Боголюбского. Сергей Иванович застал его на табурете, поставленном на стол, под самым потолком, он белил свою квартиру, расположенную в митрополичьих покоях.

Покров-на-Нерле есть предельный символ запустения. Церковь, поставленная на месте слияния Нерли и Клязьмы, среди заливных лугов, кругом на несколько километров отстранена от человеческого жилья. И около церкви нет ни души. Церковь заброшена всячески. В непогожую ночь, должно быть, не очень счастливым людям, должно быть, понадобилось заночевать в этой церкви, — двери у церкви были железными, византийского железа от двенадцатого века, но косяки были деревянными, — и несчастливые люди сожгли один из косяков, чтобы пройти в церковь. У Покрова-на-Нерле так заброшено все, что даже вороны и галки, птицы разрушения, покинули ветлы, обступившие церковь. Белая церковь. Солнце, зелень ветел, ветер. Даже птицы улетели отсюда. Пустыня. Яков Андреевич не ходил осматривать старину, он поставил автомобиль между двух бугорков и подлез под него — и от солнца, и для того, чтоб промазать рессоры и неспеша обследовать цапы. Старина Якову Андреевичу надоела.

К трем направились в Суздаль. Дороги Ивановской Промышленной области оказались лучше Володимирки. Суздаль привел в угнетение Якова Андреевича, этот город, где церковей оказалось больше, чем жилых домов, город русских — не императоров, но — царей, город царского гнева и царской милости, монастырей и ссылки цариц да распятых попов. На самом деле, много церковей. На самом деле, много совершенно замечательных памятников церковной старины четырнадцатого, пятнадцатого,

шестнадцатого, семнадцатого веков. На самом деле, можно написать повесть о судьбе женщины в средневековьи и о первой жене Петра Первого, сосланной в суздальский женский монастырь. На самом деле, пребывание в этих веках утомительно. На самом деле, все эти века в разрушении. И следует умилиться вместе с Яковом Андреевичем. Якова Андреевича угнетало не величие веков, но — разрушение. Яков Андреевич органически не любил и не переносил — испорченного, сломанного, недоделанного. Недоделанной он воспринимал и старину. Единственный памятник старины, который не разрушен и в полном порядке высится в средневековом величии, выкрашенный в розовую краску, суровый и неприступный, это — суздальский изолятор, до революции бывший монастырем-тюрьмой для распоях попов.

Развалины суздальских монастырей, собрание икон в суздальском музее, корсунские ворота в суздальском соборе — так подействовали на Павла Павловича, что он переменял свой маршрут, решив остаться в Суздале. Он хотел подышать воздухом семнадцатого века. Он намеревался смотреть на те же пейзажи и из тех же окон, которые видела и откуда смотрела первая жена Петра Первого. Здоровый парень, он засветился от суздальской старины, как нестеровская свечка. На самом деле, от него пахло олифой и луком. То, что хотел Арбеков, было сделано, — он знал, что Калашников и в бога верует, и современность воспринимает, как «божий дар», и убежден, что семнадцатый век был — куда лучше теперешнего времени, производя все и строя во имя единого и одновременно трехличного господина бога Саваофа, он же Адоиаи. В 1935-м, в громадной воле и разумности революции, этот Павел Павлович казался бессмыслицей, но он был — фактом. А раз существует этот фактический человек с блаженными глазами, не любитель мѣгаться, поехавший путешествовать из Москвы без полотенца, в Москве же получивший почти высшее образование для того, чтобы научиться писать церковно-славянской вязью и без малого церковно-славянски

разговаривать, — то, стало быть, где-то в Москве, в московских переулочках, хранится социальная среда, которая пятит людей вспять, к семнадцатому. Павел Павлович Калашников смущенно сообщил, что влюбился в Суздаль, смущенно рассказал, что из Москвы с собою он взял только восемнадцать рублей, смущенно попросил взаймы рублей двадцать, поблагодарил монашеским поклоном и направился в музей устраиваться с ночлегом. По дороге из Москвы к Ногинску, где дорога гудронирована, а, стало быть, Яков Андреевич чувствовал себя отлично, между Яковом Андреевичем и Павлом Павловичем произошел разговор.

— Теперь надо хороших девушек встретить, — сказал благодушно Яков Андреевич, — и посадить их в машину, чтобы целоваться.

— Это как же — целоваться? — спросил Павел Павлович.

— А очень просто. Остановить машину, поклониться, сказать прилично: «здравствуйте, барышни, может, нам по дороге? — садитесь, целоваться будем, чтобы не скучать!»

— И садятся? — спросил Павел Павлович.

— Если сказать дружелюбным голосом, весело и без хамства, а главное, если их несколько, две или три, обязательно сядут.

— И — будут целоваться?

— А почему нет? — каждому человеку целоваться приятно, и им тоже. Это — как пошутить, как насмешить. Только — без хамства. Обязательно целоваться надо! — всем приятно, безобидно и весело. И ничего плохого нет.

Павел Павлович помолчал и молвил тихо:

— А я... у меня любимая девушка была, я даже ее поцеловать не мог...

В Суздале, как только Калашников отошел от автомобиля, направляясь в музей на ночлег, Яков Андреевич строго поправил краги автомобильных перчаток, с удовольствием положил руки на рулевую баранку, дал газу, молвил с хитрецей.

— Вы ведь тоже рады, что от монаха отделаешься?! — вредный груз!..

День отодвигался на запад. Яков Андреевич давал и давал газу. Дорога была хороша. Автомобилисты знают, что автомобильный мотор лучше всего работает в закатный час.

Синицын, Яков Андреевич. Когда Яков Андреевич входит в комнату, где стоят часы восемнадцатого века, переставшие ходить лет сто тому назад, — часы начинают ходить от страха перед Яковом Андреевичем. Яков Андреевич сам себе сделал патефон и автомобиль. За гонщицкие его таланты московским автоклубом был подарен ему мотоцикл, «хендерсон»; мотоциклы, как известно, в коробке скоростей не имеют шестеренки обратного хода; Яков Андреевич сделал эту шестеренку и поражал московских автомобилистов, с полного хода вертеться около автоклуба на мотоцикле задом наперед. Часы, радиоприемники, керосинки и примуса — на самом деле боялись Якова Андреевича. На мотоцикле Яков Андреевич раз'езжал по московским театрам, заезжал даже в Большой и, ни дня не учившись мастерству играть на фортепьянных инструментах, настраивал рояли и пианино. Первый танк, взятый нами у белых, привезен был в Москву разбитым; в Москве не было ни одного инженера, который знал бы конструкцию танка; Яков Андреевич на несколько дней залез в танковые железки, почти не вылезал оттуда, напевал там «Варшавянку» и — поехал на танке с вокзала в Кремль, повез танк в подарок Владимиру Ильичу; Владимир Ильич жал руку Якова Андреевича и поздравлял в его лице русских механиков. Арбеков в 31-м году привез из Америки автомобиль и обучен был управлять машиной по-американски, то-есть не имея никакого представления ни о двигателе, ни о диффере. Вернувшись в Москву автомобилистом, Сергей Иванович связался с автомобильно-клубными любителями и автодоровцами, с одной стороны, а с другой — с арапами, от коих очень быстро пострадал так, что машина перестала ходить. В автодоровско-автомобильно-клубных кругах

тогда он встретился с уважаемейшей среди автомобилистов личностью — с Яковом Андреевичем Синицыным. Они оказались соседями. Синицын ездил на самодельном автомобиле под кличкой Дракон, у него не было гаража, а у Арбекова был двор, где можно было поставить гараж на две машины. Машина Синицына стала ночевать у Арбекова, Синицын профилактировал арбековскую машину. Со временем, когда возникла твердая дружба, а это совпало со временем, когда и Арбеков, и Синицын занимались бракоразводом, Дракон законсервировался. Сергей Иванович ездил на своей машине и ломал ее, Яков Андреевич ездил на машине Сергея Ивановича и чинил ее. Синицын — друзьям Арбекова — рекомендовался так: «Яков Андреевич, шофер-энтузиаст!», — так и было на самом деле. Когда у Сергея Ивановича собирались друзья и начитались разговоры о делах страны, об успехах коллективизации, о Юнайтед-Стейтс и о Японии, Яков Андреевич всегда шептал Арбекову: «не весело что-то, Сергей Иванович, я пойду к машинам!» — и уходил в гараж. Но когда они оставались вдвоем, Яков Андреевич часами говорил об автомобильных марках и втулках, о гонках и авариях. Он знал все машины в Москве, как хороших знакомых. Он не знал наркома Гринько и американского посла Булита, но знал их машины и их в качестве приложения к машинам. Яков Андреевич был повелителем — автомобилей, роялей, часов, радиоприемников, которые его боялись. Но сам Яков Андреевич боялся — бумаги, того самого, с чем больше всего имел дело Сергей Иванович. Если дело касалось бумаги, Яков Андреевич обязательно путал. А это в частности — было залогом дружбы, на самом деле настоящей. Яков Андреевич работал начальником гаража, был ударником, в честь чего носил с собою перемазанную машинным маслом вырезку с фотографией из «Правды», — командовал полутора сотнями зисов, грифов и ярославов. Арбеков писал. Досуги они проводили вместе. Они ездили по стране — до Ленинграда, Харькова, Смоленска, Горького. Они были на родине Якова

Андреевича — в Западной области. До сих пор там висит вывеска, на которой нарисован самовар и написано: «Лужу Пояю», оставшаяся от отца, участника революции пятого года и большевика с тех пор, похороненного на кладбище коммунаров, причем сын, Яков Андреевич, на вопрос: «как же это вы — отец коммунист, а вы беспартийный?» — отвечал: «а я, знаете, товарищам доверяю, пусть одни работают на политике, я свое на автотранспорте отработаю!» Яков Андреевич был доверчивым и ласковым человеком, настоящий пролетарий, рабочий, сын подпольщика-пролетария.

Со временем, когда Синицын развился со своей женой, на кольце, где висели автомобильные ключи Якова Андреевича, повис ключ от квартиры Арбекова, — Яков Андреевич у Сергея Ивановича стал членом семьи. На собственной своей квартире Яков Андреевич бывал редко, на стенах там висели грамоты и аттестаты за множество призовых пробегов, учиненных Яковом Андреевичем.

День отодвигался на запад. Яков Андреевич давал и давал газу. Мотор лучше всего работает в закатные часы. Впереди лежал замечательный русский город ткачей, возникший в лесах и на болотах из феодальных селений, раньше тысяч и тысяч российских городов перешедший от крепостной мануфактуры в капитализм и раньше тысячи и тысячи российских селений ставший социалистическим городом, не знавший помещика, имевший до революции пролетария и фабриканта, оставивший после революции только пролетария. Направо и налево от шоссе лежали глушайшие, почти первобогтные леса, сосна и ель, никак не предвещавшие, что за небольшими десятками километров лежит громадный город советского текстиля, фабрик и двух сотен тысяч пролетариев. В лесу по дороге повстречались две девушки с сундучками, с котомками, босоногие. Не Яков Андреевич предложил, но они попросили — посадить. Остановили машину. На-редкость сизоскулы и здоровы были девушки. Выяснилось — фабзавученицы, ходили домой, рассчи-

тывали утром попасть на автобус и не попали, тридцать километров прошли уже пешком, осталось еще тридцать, устали, а завтра в восемь надо быть на работе. Яков Андреевич сказал озабоченно:

— Если бы не сундучки... сундучками вы обильно поцарапаете, видите, сколько у нас своих вещей?.. — И добавил сурово-весело: — однако, ладно, возьмем, — оплата натурой: за каждый километр по поцелую.

— Ты не шути, — сказала старшая, — мы тридцать километров пешком прошли с вещами, поди, устали, — и хозяйственно стала укладывать сундучки.

Машина, действительно, была загружена. Уселась. За руль сел Сергей Иванович, рядом девушка, рядом Яков Андреевич, вторая девушка — на коленях у Якова Андреевича. Яков Андреевич убеждал девушку на коленях, чтобы она его сердечно поцеловала. Навстречу прошли сразу три грузовика. Соседка сказала Сергею Ивановичу:

— Целый день шли, ни одного автобуса не повстречали, а тут сразу три автобуса.

Сергей Иванович спросил:

— А моя машина, вот эта, на которой ты едешь, — как называется?

— Известно, как, — достойно ответила девушка, — такса! — И добавила очень ласково, доверчиво и с достоинством скромности: — Я хоть и из деревни, а кое-чему научилась.

Девушки попросили остановить машину в пригороде. Синицын требовал натуре поцелуями. Старшая, которая сидела рядом с Арбековым, сказала:

— Не шути, парень, не срамись!.. Наши губы не деньги! — и обратилась к Арбекову: — Может, ты чего на нас потратил, ты скажи, мы заплатим, что требуется.

— Нет, платить не надо, — ответил Сергей Иванович, — а, если поцелуешь, — нос утрем моему товарищу, — он всю дорогу твою подружку просил, а поцеловали меня.

— А что ж, и поцелую. Какая тебе, старику, в этом сладость?

— Да ты уж поцелуй, и подружке твоей вели поцеловать меня.

— А что ж, и поцелуем. Нюра, давай его поцелуем!

— А вы и товарища моего поцелуйте, он человек хороший.

— Не станем, чтобы другой раз не напрашивался. А то всю дорогу — натура да натура, — вертоус какой выискался!.. Ты старик, ай только старобразный?

Девушки поцеловали того и другого по разу, в щеки (в губы — отказались), позволили себя поцеловать по разу, в щеки (в губы не позволили), пожали руки, посмеялись. Когда машина двинулась, одна из девушек крикнула под хохот второй:

— Ребята, будете когда мимо проезжать, приезжайте чай пить! — во втором общежитии фабзавуча, Нюра да Катя!..

Впереди лежал замечательный город ткачей, русского текстиля, русских протетариев.

История о царе Иване, избранном к власти в 1919 году.

Нынешняя Ивановская Промышленная область охватила земли от Владимира и Киржача до Углича и Пош-Володарска, и Ярославль, и Кострому — до Чухломы и Солигалича — до Макарьева и Семеновского. Для каждого русского, кто помнит свою страну, каждый названный пункт человеческой оседлости — глава и дел российских, и истории. Посредине области протекает Волга. На экономических картах края густо покрашены районы фабрично-заводской промышленности, машиностроительной и химической, хлопчатобумажной, льнообрабатывающей, селитратной, торфяной, пищевой, крахмально-паточной, винокуренной. На картах указаны районы нового промышленного строительства и районы сплошной электрификации. По всей области густо указаны районы кустарно-промыслового кооперирования населения, обеспечения рабочим скотом, молочного животноводства, овцеводства, плотности населения,

медицинского, ветеринарного обслуживания, телефонной связи районов. На всех этих картах пустынею обозначены районы Семеновский, Макарьевский, Палкинский, кроме одной карты — карты лесистости. Самый лесистый район — Семеновский. Там протекает река Ветлуга, — бывшие Ветлужские веся, ныне уничтоженные с российских карт, места, описанные Мельниковым-Печерским. Леса там первобытны и непроходимы. Леса и села там редки и — не будет большой исторической тяжести, если принято будет утверждение, что оседлости этих мест возникли по тем же социальным причинам, что и Дон, и Запорожье. Но на Дону и в Запорожьи были степи кочевников, простор и крымские татары, а здесь обступали леса, именно те, которые и прятали в себе людей от государства, кругом окружавшего эти леса. В лесах надо было оседать и прятаться — и надо было работать, чтобы есть и кормить детей. В леса бежали от феодала и за феодальной справедливостью, но в лесах же прятались от Александра II, российского капиталиста. Ведь даже в 1934 году найдено было в этих местах село, ни на какие карты не нанесенное, пребывавшее в нетях и в лесных тущобах, беспаспортное, но выходившее в соседние поселки за покупками и на продажу своих изделий!.. В четырнадцатом году началась мировая война. В семнадцатом пала императорская власть. По понятиям тех, о ком идет речь, распалась власть. Села прятались в леса, разыскивать села — досуга не было, власть распалась, как гамлетовская связь времен. Можно было и надо было создавать свою власть, чтобы восстановить связь понятий. И в Шуйском починке крестьяне выбрали на власть и на царство крестьянина царя Ивана, красивого человека. Ивану было лет сорок, был он многосемен и безграмотен. Он взялся за царствование, благословясь и по справедливости, устроил в своей избе трон, судил с трона в красной рубахе с белыми латками подмышками и в лаптях; в свободное время от царствования ложкарил и пахал; именовался — бедный царь; детям своим он настрого при-

казал, как раньше, лётать босиком. Старообрядец и крестьянин, он призвал к себе православное духовенство со всего своего царства, волостного писаря, лесопромышленников, лесничего, стражников, учителей, врача и предложил им сматываться из царства во един дух. В больницу поселилась бабка-ведунья да дед-знахарь. В школы направились начетчики. Православные батюшки, лесничий, врач и волостной писарь, выбравшись из царства во един дух, срочно направились в тогдашнюю губернию, в Вологду, — они и привели в недоумение вологодские советские власти сообщением о возникновении в лесах нового царства. Вологодцы помчали в леса узнавать, как и что. Приехали в царство. Леса непроходимые. Деревня окружена заборами, чтобы скотина не ушла в лес, чтоб медведь стеснялся в деревню залезать. У околицы вологдчане встретили человека с возом, в лаптях, в красной рубашке, с бородами, как лес, и с добрейшими голубыми глазами.

— У вас, тут, говорят, царь имеется? — спросил главный вологдчанин.

— Имеется, — ответил мужик.

— Какой же это царь? — спросил вологдчанин.

— Народный царь, выборный, чтобы по совести и справедливости.

— А где ж этот царь?

— А я и есть этот царь, — ответил мужик, — меня мир выбрал для власти.

В Вологде судили. И оправдали царя Ивана, только просили для прилику не возвращаться в волость, уехать из волости, куда хочет. Царь Иван пожелал со всем семейством переселиться в город Астрахань на рыбные промысла. Оказался царь Иван, красивейший бородастый экземпляр русской народности, бедняком, бедняком справедливо оставался и на престоле. Хоть и дремучим, как леса, сопрягавшим старообрядческого бога со знахарями и ведьмами, но оказался Иван мужиком хорошим.

История о царе Иване рассказана была на Володимирском шоссе между Покровом и Владимиром, ночью, около костра, когда Сергей Иванович, Яков

Андреевич и Павел Павлович останавливались охладить от ухаб мотор и поужинать. Костер отгонял комаров, подбирались к костру туманы, пели в туманах соловьи, а пахли туманы ландышами. Рассказал о царе Иване дорожный рабочий к слову. Рабочие устраивались было ко сну, Яков Андреевич поминал недобрый словом ухабы всесоюзного дорожного мастера Цудортранса, за отсутствием его собирался было обидеться на дорожных рабочих, угостил рабочих папиросками. И возник разговор о советской власти. И — к слову, для подтверждения крепости советской власти — дорожный рабочий, покуривая и поплеывая, рассказал о царе Иване. Одет был дорожный рабочий примерно так же, как одевался царь Иван, был лишь потоньше царя, менее представительен и красив и менее бородат.

— Советская власть в самом народе живет, скажу я тебе, браток, — царь Иван не знал, как ее назвать, а на поверку — был он что ни на есть председателем комбеда, а то гляди, и колхоза. Мы из одного места с ним, мечтал он о коммуне, сделанной на правильном труде, а ежели прошибся, то только со знахарями да с царскими кличками — по лесной своей неграмотности.

Соловьи пахли ландышами.

Автомобиль вошел уже в быт русских весей. Для того, чтобы хорошо вести автомобиль, чтобы быть хорошим шофером, надо вести машину, не думая о том, что ты ее ведешь. Так — около каждой машины. Машину надо чувствовать, как часть своего тела, как часть самого себя. Уменьше владеть машиной — это чувство, которого не было в России поколение тому назад. Человек, ведущий машину, настоящий шофер, не думает о машине, но ни на одну секунду не забывает о ней. Он чувствует каждую гайку, каждый вздох зажигания. Куда б ни опускал он свои взоры и мысли, он видит каждый камень, каждую ухабу на дороге — и видит их ритмом машины. Это будет точно — сказать, что от рулевой баранки шофер видит все совер-

шенно иначе, ритм автомобиля интегрирует расстояние и пейзажи. И у руля — очень хорошо думать, размышлять, интегрировать мысли — за интегралами скорости, ритма, движения и пейзажа. Через поколение самые откровенные, самые раздумчивые разговоры будут возникать в часы переездов на автомобиле, когда двое, едущие на автомобиле, одинаково будут владеть ощущением машины.

По дороге от Москвы до Палеха, в часы, когда он вел машину, Сергей Иванович думал — как это сказать?.. — об образе? об искусстве? — он опускал свои мысли в ощущения, где не находилась нужная терминология, о чем нельзя говорить, ибо понятие — образ — обязательно не точно, так как каждый в это понятие вкладывает свой смысл. Можно было думать о шахматах и автомобиле. Со дней возникновения шахмат, как мастерства, всегда было великое множество шахматистов, имена которых забыты, которые хотели создать правила беспроигрышной игры, которые хотели создать машину-шахматы. Эти изобретатели забыты, как критики, но Капабланка и Ласкер, — великие писатели от шахмат — и даже Ильин-Женевский ошибались, конечно, проигрывали и — когда теоретизировали — говорили, надо полагать, множество неправильностей. В искусстве всегда есть недоясненное, ибо — если бы машина-шахматы была б изобретена, — шахматы-искусство исчезли бы. В автомобильном двигателе лежит гений математического интегрального исчисления, — рядовой шофер не обязан знать высшую математику. В искусстве нельзя предлагать машин-шахмат, ибо не стоит убивать искусство. Искусство ж — изобретательство, политика, любовь, — все, что есть в жизни, может быть объектом искусства. И Капабланка, конечно, знает больше шахматных правил, чем молодой шахматист; он должен знать все правила, созданные для него — и для того, чтобы пользоваться ими при нужде, и для того, чтобы разрушать их, создавая свои правила, — этим самым делая Бальзака непохожим на Толстого, а Ра-

дека на Бухарина. Знание и умение — не одно и то же. Сергей Иванович, перестав быть американским шофером, познал, как устроен автомобильный мотор, но сделать его не сумел бы. А американцы и мотора не знают, даже не видят его, мотор за них инспектируется дилерами. Американцы только водят машину — и водят куда лучше русских шоферов, ибо — поди, поезди по Америке, где на каждые четыре человеческие души по автомобилю. Умение же достигается навыком, практикой. Знать — это еще не уметь. Подлинное умение возникает тогда, когда оно координировано знанием. Знание не должно обгонять умения, иначе — критики!.. Каждый писатель каждодневно проходит мимо тысячи тем. Пишет каждый писатель накруг в год листов десять, сидя иной раз на одном и том же образе по нескольку лет. В школах-десятилетках, в физических кабинетах показывают опыт: бросают на стол железные опилки и к ним подносят магнит. Железные опилки начинают двигаться, приходят в геометрический порядок, прикипать к магниту и друг к другу, — принимают закономерные формы. Железные опилки до того, как к ним придвинут магнит, — это то, мимо чего ходит по миру художник, что видит, слышит, ощущает, продумывает, — тысячи вещей и обстоятельств, рухлядь на чердаке памяти. Возникает образ — и образ работает, как магнит: из опилок виденного, слышанного, пережитого выбирается нужное, опилки приходят в движение, сортируются, прилипают друг к другу, принимают формы, нарастают на образ и сами на себя. Виденное, продуманное десять и пять, и двадцать лет тому назад, вновь возвращается в память и начинает жить, если это надо образу. Никак не ерунда, что один биологический тип склонен к писательству, другой будет инженером, а третий реальностью воспринимает звуки, — и никак не ерунда то обстоятельство, что зайца можно научить зажиганию спичек, но заяц от этого художником не станет. Образы ж возникают в данной именно среде, в данной исторической эпохе, у данного

человеческого индивида, являющегося достоинством — и эпохи его, и среды, и класса. Когда магнит образа поднесен к опилкам фантазии и пережитого, начинает работать знание. Для того, чтоб образ отразился на бумаге, нужно — умение. Новобранцу-красноармейцу, даже вузовцу, командуют иной раз: «левой!», а он очень часто шагает правой, — это потому, что он задумался о собственных своих ногах. Это так же, как с шофером, который стал рассчитывать, а не ощущать расстояние, и в'ехал поэтому в канаву. Умение писателя должно быть таким же, как умение шофера иль красноармейца, который, не задумываясь, шагает левой. Умение — слово. Слово — весомо и перспективно, комбинации слов — тем паче. Комбинации слов определяют перспективу фразы и не только смысловую, но и эмоциональную ее загруженность. Сказать: «быстро пошел он» — «пошел он быстро» — «он быстро пошел» — это три различных по эмоциональному своему насыщению фразы. При чтении классического романа очень часто надо делать усилия, чтобы не подменять героя самим собою, хоть этот герой чужд читателю и исторически, и классово. Это предопределено законами перспективы. В каждой повести есть та перспективная печка, от которой танцует автор, та точка, откуда, как на картину художника, следует смотреть читателю. Классические романы очень часто этой печкой для читателя брали глаза героя, — попробуй при таких обстоятельствах не подменить себя героем, раз именно его глазами только и видно, раз наблюдать с другого места, — это все равно, что в театре сидеть спиной к сцене. Перспектива всегда графична, и каждая повесть должна иметь свой график — от фразы до абзаца, от главы до повести в целом, — и автор должен следить, как пройдет по повествованию читатель. Иногда читателю надлежит сидеть вместе с персонажем в комнате. Иногда он должен из Москвы следить за Палехом, за Казакстаном, за Сясю и Мурманом, за Токио и Нью-Йорком. Если автору надо, чтобы читатель нервничал, он мо-

жет отправить его на Кузнецкстрой, в час пуска первой домны. Если автору надо успокоить читателя, он может отправить его в Сталинск часом спустя после пуска первой домны иль может оставить его на покойном московском диване, а мотать персонажей, как кадры в кино.. Но слова — и материальны. Если автор захочет описать красивую женщину, наделив ее фамилией Широконосова, — сколько ни старался б автор, читатель не поверит в ее красоту, фамилия погубит красавицу на бумаге. Если автор будет описывать лесной пейзаж протокольными словами, то получится портной, который на ситцевом платье делал заплаты из сукна. Нельзя описывать феодала капиталистическим лексиконом, — феодал окажется наряженным во фрак и в кольчугу одновременно, причем кольчуга будет служить жилеткой. Не надо описывать телегу автомобильной терминологией, — телега старше автомобиля, у нее есть слова ее возраста. Читатель никак не обязан верить художнику. Автор должен убеждать читателя не уверениями, но свидетельскими показаниями. Рукопись. Молодой писатель. На первой странице рассказы-вается, как умна и необыкновенна героиня, — не кто-нибудь иной, а сам автор в восхищении и на первой странице, и на второй, и на четвертой, — и умна, и красива, и необыкновенна. А на пятой странице появилась героиня, «от нее пахло душистым мылом», она села, «закинув ногу на ногу», и сказала: «вопрос о том, чему должен человек больше отводить времени, физкультуре иль духовному своему развитию, еще не решен для меня!» — и для читателя решен вопрос гораздо большей значимости — вопрос о том, что неумна не только героиня, но неумен и автор. Читатель просит авторских восхищений ему не навязывать!.. Форма — роман, поэма, рассказ, дактиль, ямб — условность, конечно, как условность и то, что женщины ходят в юбках, а мужчины в штанах. Сняли ж юбки наши московские метростроевщи!.. Форма романа — условность искусства, тут и «прости господи, глуповатость», и —

клоунада. Актер, если он кричит петухом, приводит детишек в изумление, но, если детишки устанавливают, что кричит петухом не актер, а самый настоящий петух у актера под столом, детишки актера презируют, ибо актер обманул искусство. Писатель должен интегрировать реальность, настоящую жизнь, правду — свои чувства автор должен аргументировать не словами, но фактами. Автор должен иной раз перед глазами читателя вычерчивать обстоятельства до самой последней морщинки, а иногда надо предоставлять читателю свободу так, как это сделал в дореволюционные времена Леонид Андреев в компании Куприна, Потапенки и нескольких других их современников. Собравшись, эти поименованные пили красное вино и судили об искусстве, о том, как лучше создать образ. Решили тут же описать Фрину, как она вошла в ареопаг и покорила своей красотой, — решили описать красоту Фрины. Разошлись и приступили к описанию женской красоты. Куприн написал Фрину точь-в-точь, как описана у него Суламифь, — и живот, как чаша, и перси, и глаза, и губы, и черные волосы. Потапенко написал пять страниц, — волосы оказались огненными, и опять же перси, ланиты, персты, оки. Андреев пил вино, пока писали. Дошла очередь до его чтения. Он взял потапенские пять страниц, красный карандаш, все зачеркнул и прочел: «В ареопаг вошла Фрина, и она была так ослепительно красива, что старцы поднялись поклониться ее красоте». — И все. Победил Андреев, ибо одни читатели предпочитают Фрину блондинкой, а другие рыжей, но для существа повести эта читательская вольность несущественна. У иных русских писателей годов восьмидесятых излюбленным приемом было заставлять героинь хворать чахоткой, поэтическая, дескать, болезнь, румянец, томность, ветер вечности, а врачи читали эти абзацы о «поэтической» болезни и хохотали, ибо чахотка у этих восьмидесятников получалась, как у иных современников описание «грахъёв» и «князьёв». Безграмотность в описании

князя так же безграмотна, как в описании туберкулеза...

Закат. Косые лучи солнца. Сердце мотора бьется хронометром и слито с мыслями. Автомобиль поднялся на гору. Нигде, нигде на земном шаре — ни в Европе, ни в Америке, ни в Азии — нет таких пейзажей, как среднерусский пейзаж с холма, зелень полей, пространства, речуга, деревня вдаль и золотые косые лучи заката. И тишина.

Классический русский роман — главным образом роман феодальный. Условность классического романа культивировала описание природы по ряду причин — и в первую очередь никак не по причинам эстетическим. Классический русский роман, если не мистичен, то пантеистичен. В условности романа описания природы требовались для того, чтобы посадить роман «на землю», связать с землей, с природой, с космосом, с «Паном», чтобы роман, как жизнь, «из земли пришедеши, в землю отыдеши», — чтобы природа в романе «успокаивала» иль (метели и буревестники) заставляла бушевать. Тургеневские и толстовские описания природы, конечно, мистичны.

Нет! образ не только весом, перспективен, материален, историчен, — он обязательно социален и классов. Можно взять Льва Толстого, «Войну и мир», положить слева от себя, под правый локоть положив белый лист бумаги, и — с первой страницы, от феодального рассуждения о международной политике и феодальной скупости Куракина, — выписывать все инстинкты персонажей Толстого и все обстоятельства, стимулирующие эти инстинкты, — инстинкты, эмоции, чувствования, безразлично, как назвать. С десятой страницы начнет возникать некая уже система, надо подставлять уже только палочки, возникнет статистика. А к концу романа известны все инстинкты, которыми оперировали не только персонажи Толстого, но сам Толстой. Человеческие инстинкты, человеческие чувствования наслоились веками от пра-человека, от четвероруких, от времен животного со-

стояния. Они же с тех пор и перестраивались. Социальные инстинкты от часа, когда человек взял в руки дубину, накапливаются до наших дней. Они прошли через средневековое сознание, через капиталистический «индивидуализм». Они скапливались и жили, умирали, вновь рождались, живут в нас. Иные каменновековые добрались до социалистических дней, до социалистического сознания и социалистических инстинктов. Но мы, социалисты, коммунисты, — очень молоды. И — следовало бы взять многих и многих наших писателей, партийцев в том числе, положить под левый локоть их романы, как «Войну и мир», — если писатель хочет быть подлинно коммунистическим писателем, подлинно коммунистически чувствующим человеком, пусть писатель, кроме сознания, проверит свои инстинкты!.. А коммунизм...

Советская русская литература имеет уже свою историю, совершенно закономерную, и имеет пройденные уже пути. Советская литература отодвинула на задний план индивидуалистическую человеческую судьбу. Понятно, — судьба классов была значимей судьбы Иванов и Иванов Ивановичей, отдельных личностей. Когда человек, класс, эпоха приходят на новые места, на новые квартиры, они хотят расставить по местам вещи и знать, чем они обладают, — литература была очерковой, познавательной, фотографической. Класс стал перестраивать страну, колоссальнейшая, замечательнейшая эпоха, когда в стране не было ни единого села и ни единого города, которые не реконструировались бы и не строились наново. Реконструировалась добыча хлеба и труд около хлеба, когда на полях пошли машины и фабрично-заводские навыки. Реконструировались и строились заново заводы, нефть, железо, каменный уголь, химия, текстиль, превратившие аграрную страну в индустриальную. Уничтожался класс прежних историоделателей вместе с его экономической конструкцией, знанием, моралью, эстетикой. Это замечательнее любой романтической выдумки. Первая полоса

«Известий» была более романтична, чем беллетристический подвал на третьей полосе. И романы эпохи брали первобытный берег реки, глухие леса с монахами иль степи с запорожскими преданиями. Туда приходили люди и там строились заводы, причем вещи и отношение к вещам перестраивали людей в коммунистов. Романы брали «чавось-небосьную расейскую» деревню, строили там колхоз, туда приходил трактор, и там создавались племенные фермы, причем трактор и отношение к нему перестраивали людей в коммунистов. Перестроение людей происходило в классовой борьбе. Прежний историоделатель, уничтожаясь и умирая, пошел в кулацкую войну, — на голод по деревням, в болты, подбрасываемые к новым машинам, — писатели написали о вредительстве. Так было на самом деле в жизни. Но писательство есть условность, и условность классического романа была перенесена на наши дни. В романе был герой — коммунистическая партия. В романе был «злодей» — подгерой — прежний класс, вредитель. Конструкция была неверной по существу литературной технологии. Герой персонализировался на секретаре партийной организации, человек нес на плечах партию миллионов, обуживая партию в своих индивидуальных чертах, и терял свой лик, растворенный в миллионах; вредитель превращался в подгероя, что не соответствовало реальной жизни, ибо в реальных перспективах вредитель был охвостьем, и только. А вообще романы кончались постройкой завода иль организацией колхоза — так же примерно, как в английских романах иль в русских времен Тургенева — помолвкой жениха и невесты: женихом оказывались вещи, завод или колхоз, люди — невестой, венчание — пуском завода. Это было закономерным для литературы, но шоферы становятся настоящими шоферами только с того момента, когда, наездив уже много часов, вдруг они ловят себя на мыслях, когда их мысли очень далеко и от дороги, по которой они идут, и от рулевой баранки, потому что вещь — машина, мотор, ритм мотора и движения — и он,

шофер, — одно и то же. Тогда начинается жизнь.

(В Иванове Арбеков с Синициным, переночевав в небоскребе ивановской гостиницы, были на аэродроме, где встречался ивановскими предприятиями прилетавший из Москвы агитсамолет «Правда», а затем ездили с предоблесполкома Сергеем Петровичем Аггеевым на безымянное озеро. Об этом рассказано будет ниже).

В Палех приехали к вечеру. Поездка на безымянное озеро, ночные разговоры, встреча жены с ребенком и няней на ивановском вокзале сделали так, что прошлую ночь Сергей Иванович и Яков Андреевич спали всего по два часа. В Палехе ожидали баня и крестьянский дом. В комнате стояли ландыши. С закатом запел соловей, у самого окна, перепутывал звуки с запахами ландышей. Впервые в жизни сознание соподчинило ландыши и соловьев — весной, земным благословением. Переутомленные, легли с закатом, когда проснулись соловьи. Мысль о соловьях и ландышах была последней мыслью перед сном. И ночью разбудил необыкновенный шум, тысячи неизвестных существ бежали по крыше. И сразу вспомнилось детство, вошло, заполнило все сознание. В Москве и в мире за большими городами, в многоэтажных домах, этот звук был забыт, звук, знакомый от детства. По железной крыше крестьянской избы бежали тысячи капель дождя. За окном зеленело лето. Комната осветилась фосфорическим светом, казалось, прошедшим сквозь стены. Весело над домом рассыпался гром. На крыше шумел дождь. Рядом пел соловей. Ветер подул в окно. В комнате до одури пахло сырими ландышами, молодостью, свежестью, соловьями. Где это? — когда это?..

... Саратов. Саратовская 1-я гимназия. Первый класс. В гимназии у всех гимназистов до четвертого класса — поветрие, увлечение игрою в перышки; карманы гимназистов набиты перьями, героем от перышек идет «наполеон», перо, которое нельзя перекувырнуть. Играют на пере-

менах, играют на уроках. Классные надзиратели ловят. Классный надзиратель, по прозвищу Зонтик, отбирает перья, ставляет выворачивать карманы. И Зонтик, чтобы пресечь зло, кидает перья, сотни перьев, на печку, надо полагать, к тысячам перьев, застрявших там от прежних гимназических поколений. Первоклассник Келлер, впоследствии Арбеков, уговаривается с первоклассником Шухотовичем. В первую перемену Шухотович жалуется на Келлера, что Келлер ударил Шухотовича, и надзиратель оставляет Келлера на час без обеда. Во вторую перемену Келлер жалуется на Шухотовича, что Шухотович ударил Келлера, и надзиратель оставляет Шухотовича на час без обеда. После занятий Келлер и Шухотович — вдвоем в классе. Кафедра — к печке. На кафедру — парты. На парту — Шухотович. На Шухотовича — Келлер. И Келлер на печи, в пыли, в бумажных стрелах, в россыпях перышек. И на пороге — Зонтик. Уже не сам, но руками двоих сторожей Келлер спускается с печки. Через четверть часа — инспекторский кабинет во флигеле, ожидание инспекторского выхода, плачущий Шухотович и — гроза за окном, громы и молния...

Весной 35-го года во всем Союзе происходил первый выпуск десятых классов полной советской средней школы, — праздник девушек и юношей, родившихся и созданных советскими днями уже за Семнадцатым, праздник созидания и созревания человека...

Нижний-Новгород, 1913 год, класс выпускников-«абитуриентов».

— Келлер, ты что делаешь!?

— Ничего, Леонид Александрович!

— То-то ничего, а надо слушать! — останься на полчаса без обеда.

Двадцать два года тому назад!.. — этот разговор происходил в нижегородском «владимирском» реальном училище. Повторялся этот разговор раза два в неделю, и было известно, и никого не удивляло, что Леонид Андреевич не любит абитуриента Келлера, и поэтому «ловит», — было такое слово. И Келлер оставался на полчаса «без обеда» — раза два в неделю. Келлер впоследствии

стал писателем... Вместе с гимназистом Федором Богородским, впоследствии художник, с гимназистом Сергеем Предтеченским, беллетрист, с институтом Арсением Митрофановым, поэт, и еще с десятком товарищей они имели литературный кружок и издавали рукописный журнал. Предтеченский и Арбеков печатали свои рассказы в «Нижегородском листке». Члены кружка читали газеты и толстые журналы. И реалист Келлер был вызван к инспектору Жудро в чрезвычайно темный кабинет, где стены наводили не меньший страх, чем сам жукообразный Жудро. Жудро сказал:

— Сергей Келлер, говорят, ты сочиняешь?

«Владимирское» реальное училище было третьим учебным заведением, где Арбеков проходил «средние» науки, ибо из саратовской гимназии он был изгнан за игру в перышки и за издевательство над системой наказания безобедами, а из богородского реального сам ушел по так называемому добру и здорову. То-есть Арбеков человеком был уже обстрелянным. И он ответил инспектору Жудро, опустив руки по швам:

— Да, Владимир Александрович, сочиняю.

— А что ты сочиняешь?

— Я пишу маленькие рассказы, Владимир Александрович. Я впоследствии намереваюсь быть писателем.

— А еще я слышал, что ты носишь свои рассказы для печати в «Нижегородский листок» и будто бы ты читаешь разные газеты?

Арбеков соврал, с ясными глазами.

— Нет, Владимир Александрович.

— А еще мне сообщили классные надзиратели, что ты, Келлер, куришь?

Глаза Арбекова стали покорными, он ответил тихо и покаянно:

— Да, Владимир Александрович, несколько раз курил.

Жудро помолчал от неожиданности. Жудро оценил чистосердечное признание. Жудро молвил:

— Ну, и кури, если куришь, ты через год студент, но если тебя застанут классные надзиратели или инспектор, полу-

чишь тройку из поведения. А если, — Жудро потемнел, — если опять услышу о твоих писаниях и о хождениях в «Листок», — будешь уволен. Ремень поправь как следует!..

Во «владимирском» реальном, как и во всех средних учебных заведениях империи, запрещалось выходить на улицу после восьми часов вечера. Ходить в кино и в театры ученики могли лишь по запискам инспекции. В день окончания реального абитуриенты вместе с преподавателями впервые в жизни напились до потери сознания, и с учителями же, также впервые в жизни, ездили в публичный дом. На всю жизнь от «владимирского» реального остался в памяти — класс, парта, урок математики:

— Келлер, ты что делаешь?

— Ничего, Леонид Александрович.

— А надо слушать! Останься на полчаса без обеда!..

И француз, швейцарец по национальности:

— Э, моншэр, ви не знаете урок? — это будет досгаточно, если я поставлю вам нуль с возджами!? — и француз жмурился в наслаждении и ласковости, тот самый швейцарский француз, о котором через год писалось в газетах, который бежал из России от уголовного преследования, ибо он оказался растлителем учеников...

Какая эпоха прошла с тех пор!.. Империя расстреливала свой режим мировой войной и взорвалась революцией. Октябрь выкорчевывал империю, отстреливаясь от четырнадцати государств, которые хотели его утопить в собственной его крови. Весной 35-го года вышли из средней школы девушки и юноши, которые не были еще рождены в Семнадцатом, зачатые и рожденные в громах Октября. Арбеков в эти годы переходил от юности в зрелость. И на месте прежнего ученика Келлера стали двое новых Келлеров — ученики дочь и сын, проходившие пооктябрьскую школу. Тот, прежний ученик Келлер, был трудным ребенком, — не случайно он перебирался из Саратова в Богородск, из Богородска в Нижний, — и случайным в его судьбе

было лишь то, что он окончил школу. Тогда нельзя было утверждать, что из Келлера выйдет писатель Арбеков, но мальчик с самых ранних лет готовил себя к писательству, — и именно это было наитягчайшим обстоятельством для тогдашней школы. Теперь росли сын и дочь, сын оказался труднее дочери. И, быть может, даже труднее отца, — хотя бы потому, что, в отличие от старшего Келлера, он не ставил перед собою никаких целей. Он не жил с отцом и на горе отца ухитрился к тринадцатилетнему возрасту возыметь отношение к книге по меньшей мере безразличное, в окончательном совершенстве познав все виды спорта, а также все коломенские окрестности на много километров вокруг, кой он посещал в прогулы, первоначально мало познав все те науки, которые он проходил в коломенской десятилетке, — так мало, что, встречая у отца писателей, он обратился однажды к отцу с просьбой:

— Папа, а ты бы пригласил бы к нам когда-нибудь Пушкина чай-пить!..

Отец взял сына с первоначальных коломенских весей и пересадил в Москву, в 25-ю школу, где директорствовала женщина с фамилией, подходящей для сына, — Гроза, и где шефствовали «Известия», не в назидание, конечно, инспектору Жудро и его отношению к газетам вообще и к «Нижегородскому листку» в частности. Все годы социальных обвалов и восхождений отец не имел никакого отношения к школе. Глазами детей он вновь увидел школу. Дети вообще, повторяя жизнь, заставляют — и молодеть, и видеть пройденное. Воспоминаниями, глазами дочери и сына отец сопоставлял две школы. Отец был вовлечен в общественную жизнь школы, что никак не понятно дореволюционным традициям, ибо инспектор Жудро допускал родительский дух в «храм науки» только тогда, когда из «храма» изгонялся дух здорового детства.

Как много, как замечательно все переменялось! — О чем думать, о том ли, что у школы есть своя собственная печатная газета, которая выходит в шестидневку раз и в которой преподаватели

и ученики печатаются вместе, редакция которой заботится о том, чтобы ученики печатались?.. — о чем думать? Да, ученики этой школы ведут переписку с двадцатью пятью народами — от американских школьников — до школьников Арктики.

«Остров Колгуев, школа.

«Здравствуйте! Все ненцы сейчас в артели. Вместе промышляют. Олени не вместе, олени вместе надо. Ненцы все в чумах живут, ямцают — кочуют. В красном чуме ненцы учатся, ненки, девочки, не учатся, станут учиться на будущий год. Агентство есть. Больница есть. Школе второй год, 26 учеников, две группы. Мы учили об артели Ленина, о Красной армии, о Парижской Коммуне. 9 Первом мае. Мы учили, как живут рабочие, где есть буржуи. Стенная газета есть, радио есть, кино есть. В школе пионеры есть...»

Это часть письма, написанного колгуевскими учениками на ненецком языке ученикам 25-й школы. Из Австралии, из Сиднея, Аллан Шайн пишет о своем быте и о коммунистическом движении в Австралии, о том в частности, что австралийские железные дороги, по старым англо-американским традициям цензуры, отказываются перевозить коммунистические газеты, а —

«поэтому нам трудно получить их в Мельбурне... На прошлой неделе государственные власти конфисковали и уничтожили все экземпляры «Уоркерс Уикли...»

Пишут из Индии, из города Пуни. Трогомонская школа в Нью-Хэвеле из штата Нью-Йорк в «Юнайтет Стэйтс» пишет и шлет подарки «нашим друзьям в СССР». Со станции Бер-Чакур из Казакстана пишут:

«Мы, ученики школы Бер-Чакур, шлем вам свой привет в далекую Москву...».

1913-й год! — трехсотлетие и последний год империи!.. Молодость Келлера, грозы, рассветы — и вообще молодость, которая все хочет знать, все понять, все вобрать в себя!.. На Ошарской улице в Нижнем жила француженка, с акцентом говорившая по-русски, — реалисты показывали на нее пальцем и примолкали, когда она проходила мимо, потому что они видели чужеземку, о которой ничего не знали, потому что за образом чужеземки рисовались далекие, непонятные земли, о которых ничего не зналось, о которых надо было мечтать, как о неких несбыточностях... Молодость, грозы, рассветы! — если бы ученику-отцу тогда можно было бы написать на Колгуев, в Мельбурн, в Нью-Хэвек, быть может, вся жизнь его построилась иначе б?.. Кхайв, индус, пишет из города Пуни, от 15 января 934-го года, в частности:

«забастовка была проиграна, так как хозяин привел штрейкбрейхеров. Штрейкбрейхеры были мусульманами и ненавидели нас, буддистов. У них в Бенгалии все помещики — буддисты, и они ненавидели нас, как классовых врагов. А у нас, в Бомбейской провинции, все полицейские — мусульмане. Англичане, хозяева Индии, пользуются религиозной рознью и стремятся натравливать буддистов на мусульман. Однако, за последнее время это им все меньше и меньше удается, мы брагаемся с бенгальцами...»

Тогда, эпоху тому назад, представление у реалиста Келлера об Индии складывалось из романов Киплинга, английского консерватора, и из них о йогах, реставрированных европейскими феодалами от мистицизма, — Индия казалась страной Маугли и колдунов, умевших на расстоянии читать мысли, колоть себя иглами, не пить и не есть годами, умирать по собственной своей воле и оживать сколько угодно раз, — Индия была страной людей, никак не подобных европейцам. Если бы тогда прочитал Арбе-

ков письмо индуса Кхайва из города Пуни!.. Действительно, —

«все ненцы сейчас в артели. Вместе промышляют. Олени не вместе, олени вместе надо. Ненцы все в чумах живут, кочают...», —

разве каждая фраза, написанная ненцкими учениками, не живая жизнь, положенная перед тобою? — разве каждая фраза, положенная на географическую карту и социально-историческую полку живой жизни, не останется навсегда ощущением реальности в памяти Келлера-сына, получившего это письмо вместе с товарищами и вместе с товарищами ответившего на письмо товарищей с острова Колгуева? — и разве столь уж далекой будет казаться Москва для казачат из Бер-Кочура, когда они получат сообщение о делах их московских товарищей-школьников?.. Но в 25-й школе, в школе второго Келлера, эта переписка — никак не случайность, не только даже познание жизни, — а система преподавания скучнейшего и бессмысленнейшего предмета всей «классической» императорской дореволюционной школы — системы преподавания географии.

Жудро сказал:

— Ну, и кури, если куришь, но, если тебя застанут, получишь тройку из поведеня.

Леонид Александрович сказал:

— Келлер, ты что делаешь?! — останься на полчаса без обеда!..

Арбеков-сын оказался нелегким ребенком. Жудро и Леонид Александрович были «созидателями» имперской «дисциплины». В 25-й школе были два ученика. Военная волна смертей и голода, бездомной вольности бездомных и безотцовых у многих наших детей мечту о победе в Америку и в Индию заменила мечтой о беспризорничестве. И эти двое, в компании и в одном классе, возделали эти мечтанья, воровали, избивали ребят, командовали классом, собирали с класса дань трамвайными гривенниками, прогуливали уроки, когда чувствовали в этом нужду, — феодализовались, как удельные князья. Когда это всплыло, вмешались

родители и преподаватели. Родители предложили механическую меру старых традиций — изгнать вредителей. Групповод не согласился с этой мерой. После общего собрания класса, после наисерьдечнейшего разговора с вожатым пионеротряда «вредителям» было предложено, и они согласились — вести дневники своей дисциплины. Детишки должны были показывать каждодневно эти дневники родителям, руководу и вожатому. Мера подействовала, и очень быстро: писать и врать оказалось более трудным, чем врать и дебоширить, — писать надо старательно и над писанием, в раздумьи, надо размышлять о самом себе... Одно из популярнейших мест в школе — доска около кабинета заведующего учебной частью. На этой доске великое множество красных и синих флажков, отмечающих дела и жизнь в классе, успеваемость, дисциплину, соревнование, положительные и отрицательные ученические единицы, школьные кружки, литературный, музыкальный, драматический, прочее, прочее... Француз-швейцарец и уголовный преступник во «Владимирском» говорил:

— Вы плохо знаете урок, мой друг, — как вы думаете, какой балл я буду ставить вам? — вы не думаете, что это будет очень хорошо, если я поставлю вам ноль с возджами, не так ли? — но так я поставлю вам этот балл!

И швейцарец был счастлив. 25-я школа имени «Известий» считает «основным моментом борьбы за успеваемость работу учащегося над самим собою, над повышением своей квалификации, над освоением того материала, который дается учащимся». По понятиям 25-й школы и по традициям ее, в нулях виноваты не ученики, но педагоги, — и школа считает своею гордостью, когда ученики переходят из класса в класс со ста процентами успеваемости, отмечая их на доске красных и синих флажков, — причем, кроме красных и синих, по конституции школьников имеется еще и черный флаг, которого нет в действительности в делах школы. Келлер-сын, первоначально и первобытно произрастающий в коломенском состоянии, начал свою карьеру в 25-й

школе тем, что в первую четверть принес отметки по всем предметам неудовлетворительные, чем был нормально доволен и по поводу чего беспокойства не проявлял, по коломенским традициям. В третью четверть у него оказалась только одна неудовлетворительная отметка, и появились «хоры» и даже два «оха». И не это главное, а то, что он, кажется, на самом деле по поводу своих отметок и школьных дел проявлял здоровое волнение и на лето в лагерь набирал большое количество книг, в надежде их прочесть.

А дочь? — На самом деле критики правы, когда они по профессии своей бранчливы: о хорошем, разумном, простом — трудно писать, нечего писать, писание получается скучным, — то ли дело пописать о «первозданностях», или на глупости показать свой ум!.. В январе дочь пожелала, чтобы отец достал ей прошлогодний комплект «Известий» и категорически потребовала, чтобы он не трогал ее «Комсомолку». И в феврале, и в марте она отбирала от отца множество марксистски-теоретических книг. В апреле однажды, запоздно уже, она пришла торжествующей. Она сдавала в тот вечер в райкоме комсомола необыкновенный экзамен. Она переходила и перешла из кандидатов комсомола в члены. Ей заданы были только три вопроса, — о продаже КВЖД, о приездах Идена и Лавалья и о причинах раскола РСДРП на большевиков и меньшевиков в 1903 году.

— Что предшествовало совещанию европейских министров в Стрезе? — спросили старые комсомольцы.

— Соглашение между СССР и Францией о взаимной помощи в войне.

— Так, — сказали старые комсомольцы, — как же ты оцениваешь политику СССР в данном вопросе? Представь, что немцы нападут на Францию, не нападая на нас, — что ты, комсомолка, будешь делать в таком случае?

— Ленин учил империалистическую войну превращать в классовую, в гражданскую войну.

Дочь была торжественна в тот вечер. Она ушла к себе и долго не засыпала,

обложив себя книгами, зубря к школьным экзаменам. И это было совершенно закономерно для молодости, которая никогда не останавливается, свалив одни дела, перед новыми делами, которая все хочет знать, все понять и все вобрать в себя. Запоздно отец зашел к дочери, чтобы переспросить, — итак, мол, отказавшись от концессий и неравных договоров нотою Карахана в двадцатом году, СССР не отказался от КВЖД? Почему?

Дочь сказала:

— Папка, уходи!

— Ты что пишешь? — спросил отец.

— Дневник. Уходи!..

Молодость!.. И тридцатого мая был праздник окончания десятилетки, праздник урожая новых людей, нового поколения, праздник созидания людей, ухода из детства в юность и в жизнь, в новое знание и в новую работу. Юноши и девушки пришли на праздник нарядные и торжественные, вместе с учителями и родителями, также нарядными и торжественными, — на этот праздник друзей и дружбы советских поколений. Ученики, учителя и родители ели пироги с мясом, с рисом, сладкие, пили чай — перед жизнью, когда пироги были общим караваном нашей советской судьбы. И тридцатого мая ввечеру над Москвою была проливная, громовая, веселая гроза.

— Да, новое поколение, для которого Октябрь, Семнадцатый — рубеж рождения, история, бытие, в котором оно, это новое поколение, не было.

В одиночестве и в ночи чаще всего люди думают не словами, но ощущениями. Так, ощущениями, Арбеков думал о своей молодости и о своих детях. Наверно, если бы кто-нибудь окликнул его и спросил, о чем он думает, он не знал бы своих мыслей.

Необыкновенный шум не прекращался и тысячи неизвестных существ продолжали бежать по железу крыши, — звук, знакомый от детства. Опять над домом рассыпался гром. Пел соловей. Пахнули ландыши — молодостью, свежестью, соловьями.

— На самом деле, за жизнью мы не замечаем, что все, все изменилось в на-

шей стране так же, как учебы — моя и сына.

Светало. Совершенно багровым под грозowymi тучами был восток. На столе в полумраке стояли два кувшина ландышей и калины. Калина пахнула тоньше, бессильнее ландышей. Калина цветет гроздью цветов. На каждой грозди по краям ее — заметные, красивые, белые, звездообразные цветы, а за ними в середине грозди — другие цветы, мелкие, незаметные, далеко вперед выкинувшие тычинки и пестик. Если принахотиться внимательно, то окажется, что звездообразные красавицы и незаметные носители тычинок различно пахнут, — запах тычинок едва уловим и уловим только вблизи. Если присмотреться внимательно, то окажется, что заметные красавицы — бесплодны, только украшение, только приманка, в службе у тех незаметных и тихо пахнущих, которые понесут плод. Внимательнейше Сергей Иванович рассматривал цветы калины, — оказалось, что запах незаметных и благородней, и глубже, и благородней. Сергей Иванович слушал грозу. Соловей не слышал грозы, он пел, не замечая грома... Калина принесет по осени горький плод. От тех лет, когда Арбеков кончал «владимирское» реальное училище, прошла громадная жизнь. В уездном детстве Арбеков помнил феодальную Россию, российских проселков и приставов, помещиков и крестьян, трехполья и триединого господя бога. Университет совпадал с расцветом Морозовых, Рябушинских и Второвых. Уже за революцией, на земле от Токио до Лос-Анжелоса Арбеков видел, во что вылились бы российские Морозово-Второвы, если бы не было Семнадцатого. Он знал свою страну. Он написал много книг. А за всем этим была жизнь существа, которая не подлежит оглашению, — детство, юность, мужество, впереди — старость. В этой же, не подлежащей оглашению, жизни, — любовь и рождение детей. Должно быть, и в самом деле в мужской природе есть два времени любовных посевов — весенний и передзакатный. Созрев к весеннему рождению, Арбеков народил старших — дочь и сына. Затем

пошло большое десятилетие бездетной, а по существу, и безлюбвонной жизни, с женщиной, от которой не нужны были дети. И возникла женщина, которая через год после замужества родила сына, — любовный посев, такой полный, такой — нет других слов — величественный и всезаполняющий, какого не только никогда раньше не было в жизни, но который — непознанный — и не подозревался. Можно было пошутить, что из Москвы в Иваново Сергей Иванович выехал для того, чтобы встретить на ивановском вокзале жену. Он и встретил их с поездом, который приходит в шесть часов утра. Он нес сына на руках от вагона до машины, и он об'езжал каждую ухабу, чтобы оберечь сына.

В избе до одури пахло ландышами. Пение соловья походило на ландышевый запах. Рядом с ландышами был кувшин с калиновыми цветами. Сын спал за стеной, в кровати, которая была привезена из Москвы привязанной к крыше автомобиля. Отец прошел к сыну. Сын спал, скинув одеяльце, разметавшись, раскинув ручки, этот маленький кусочек человеческого — и отцовского — тела. Отец склонился над сыном, потрогал его голову, она была влажной от усердного сна. Сын тихо и ровно дышал. Гремел гром и шумел дождик. И благодать мира, благодарность миру и жизни, величие, простота, красота, сложность, таинственность жизни, — куда более величественные, красивые и свежие, благодатные, чем соловьи, ландыши, калина и гроза, — наполнили сознание и ощущение отца. Это было ощущение — жизни, рождения, любви. Это было полно и полноценно, как жизнь. Это было ощущение ребенка. И ландыши, и соловей, и калина — все это было элементами в ощущении ребенка.

В Иваново Арбеков с Синицыным были на аэродроме, где встречался ивановскими пролетариями агитсамолет «Правда», а затем ездили с С. П. Аггеевым на безымянное озеро.

Аэродром был полон людей. Сделав несколько кругов над городом, самолет сел. С самолета сошли двадцать семь

человек участников полета. Происходил митинг. Самолет поднимал в воздух почетнейших ивановских рабочих, Сергей Иванович был на трибуне.

В Москве однажды этою весной, утром, в доме Сергея Ивановича, было волнение. Раньше положенного срока сын просунул голову в комнату отца и прошептал:

— Папа, ты, может, уже не спишь? — все собрались. Ты позвони по телефону Роберту Петровичу или товарищу Дейчу.

— А ветер и облака? — спросил отец.

— Облаков нет, а ветерок небольшой, — ответил сын, — ветерок, я думаю, обойдется.

— Сейчас позвоню, — сказал отец и позвонил на Тушинский аэродром начальнику аэроклуба Марку Семеновичу Дейчу. Товарищ Дейч сказал, что ветреновато, но лететь можно, — едва ли только удастся отправить в воздух сынишку, маловат еще в его тринадцать лет. В это утро арбековская молодежь с друзьями одаривалась отцом полетами в воздух. Отец в свою очередь испросил эту радость детям у Марка Семеновича Дейча и у Роберта Петровича Эйдмана. Отец сказал сыну, что ему, сыну и главному охотнику до полетов, едва ли удастся летать. Сын присмирел, потух, заверил, что он не так уж и хотел летать, с удовольствием посмотрит, как полетят другие, но по дороге взмолил отца:

— Папа, а, может быть, мы заедем к Роберту Петровичу? — может, позволит мне полетать, если Дейч не разрешает?

Отец представлял, какие события творятся в мозгах сына, и согрешил — захел к Эйдману, чтобы ходатайствовать за сына. Роберт Петрович уклонился от вмешательства в распоряжения товарища Дейча, но убедил после полетов приехать к нему на дачу — делиться впечатлениями, завтракать и играть в волейбол. Летали на «К-4». Все же Марк Семенович сжалился над молодым Арбековым и сказал ему:

— Ну, малец, шмыгай в машину!..

Был солнечный день. Детишек по очереди поднимали в воздух и сажали на землю. Дейч и Арбеков сидели на под-

ножке автомобиля, говорили о пустяках, В небе обыденно плавали аэропланы. Прошло звено тяжелозовов. Прошел «АНТ-14» — «Правда». С центрального аэродрома, из-за серебряннборского леса появился «Максим Горький», набирал высоту, развернулся над Тушином, над головами Дейча и Арбекова, и пошел к Москве. Справа и слева рядом с крыльями «Максима» шли два истребителя. Левый стал отдаляться, правый пошел на петлю.

— Не нравится мне это фокусничество, ни к чему так близко петлять, — не спеша, разглядывая небо, сказал товарищ Дейч.

И вдруг правый истребитель, вышед из петли, поднявшись над «Максимом», ударил «Максима» в левое плечо. «Максим» вздрогнул и качнулся, точно хотел сбросить с себя истребителя. «Максим» накренился на правое крыло. Ужас пришел не сразу. Было еще ощущение надежды, страстное желание надежды. Над «Максимом» поднялся черный клуб дыма. Все выпало из сознания, — небо, другие аэропланы в небе, земля, — был только «Максим» — ощущение, от которого надо было делать усилия, чтобы не упасть на землю и не засовывать в землю голову, чтобы не видеть, как это было, чтобы этого не было, чтобы остановить, предотвратить бессмысленность. Это было ощущение ужаса. «Максим» падал, «Максим» ломался в воздухе, разваливаясь на куски. «Максим» падал кусками на землю. Своя собственная жизнь превратилась в нуль. Радость за детей, которые только-что прикасались к торжественнейшему, к величественнейшему, сделанному человечеством, к победе над воздухом, которые только-что были в воздухе, — радость за детей превратилась в нуль. Бессмыслицей гибли человеческий гений, человеческое умение, человеческая воля. На самом деле свою жизнь можно было бы отдать, не задумываясь, если б можно было предотвратить бессмыслицу. «Максим» упал за лес. Время падения выключалось из хода времени, — это могло быть вечностью, но это были секунды. Жесты товарища Дейча стали жестами

механизма. Товарищ Дейч садился в свой автомобиль. Лица детей казались чужими лицами. Дети лезли в машину.

Арбеков ощутил движение машины только тогда, когда машина сворачивала к даче Эйдемана. Тогда уже зналось: нет, нет, нет, человеческий гений не побежден, сегодня же, сейчас же надо закладывать нового «Максима», еще лучшего и еще большего, — но пилот, механики, люди?! бессмыслица, бессмыслица, случайности! случайности! бессмыслица!.. — люди, люди! милые товарищи!.. Эйдеман, один из командиров авиации, он мог не видеть гибели, он должен знать о ней, — он сейчас же должен действовать, сию же минуту!..

Эйдемана не было дома, он ушел на дачу к соседу. Арбеков кулаком застучал в дверь. Друзья сидели в столовой. Должно быть, гибель «Максима» была перенесена на лицо Арбекова, потому что люди пошли к Арбекову раньше, чем осознали его слова. Арбеков крикнул:

— Роберт Петрович, сейчас упал «Максим», — пять минут тому назад. Едем! — и повторил: — Сейчас упал, разбился «Максим»!..

Ощущение ужаса с лица Арбекова перешло на лица людей. Эйдеман стал четок, как Дейч, как механизм. Оказалось, что у Эйдемана нет машины. Арбеков высадил детей, взяв Эйдемана. И началась гонка, машина бросилась на сосны, на проселок, на шоссе, не видя ни сосен, ни проселка, ни шоссе. По шоссе бежали люди. «Максим» упал, рассыпавшись на несколько кварталов. Механизмы «Максима», основная его часть, упали на дом, развалив крышу и повиснув на доме, завалив его собою. Уже приехали пожарные и приходили красноармейские части. Над бессмыслицей возникала организованность. Пожарные выносили трупы из-под развалин алюминия и стали. Красноармейцы оцепливали место гибели. Красноармейцев строили рядами лицом к развалинам стали и алюминия. Им командовали от времени до времени: «пять шагов назад!» — красноармейцы гнулись, отодвигая стоящих за ними... Трупы складывались рядами...

На Ивановском аэродроме собралось человек тысяч сто праздничных, с оркестрами своих фабрик. В толпах было очень весело и дружелюбно. Говорились бодрые речи. «Правда», бывшая свидетельницей гибели «Максима», поднимала в небо почетнейших пролетариев. Арбеков думал о гибели «Максима», слушая речи ораторов об этой гибели, и ощущения Арбекова были покойны. После митинга Арбеков с Аггеевым поехал к закату, к сумеркам, — на озеро, куда ивановские ответственные работники ездят удить рыбу, жечь костры, подслушивать природу, закаты и восходы. Озеро казалось заброшенным, светловодное, пустынное и тихое. К озеру надо ехать по гатям среди дремучего леса. На берегу озера стояла палатка, там жил дед, как это и подобает на берегу пустынного озера, татарин по национальности, по всем видимостям одинокий, как озеро в глухих соснах. У берега на озере лежали моторная лодка да две байдарки. Под соснами — кострище от старого костра. Иваново — город фабрик и пролетариев, один из индустриальнейших русских городов. Аггеев — председатель исполкома Ивановской области, ивановского совета, который этой весной праздновал тридцатилетний юбилей. Иваново щетинится в небо фабричными трубами. *(История ивановского Совета рабочих депутатов рассказывается ниже)*. На берегу глухого озера Аггеев отдыхал. Дед был рожден, надо полагать, в лесах и во всяком случае был совершенным лесным жителем. Здесь, в лесу, быть может, Аггееву хотелось быть таким же, как дед. Сергей Петрович, сняв пиджак и засучив рукава, сдвинул на воду байдарку, сел в нее, собирался посадить с собою племянника, неловко двинулся, байдарка качнулась, зачерпнула, ноги Сергея Петровича были еще в лодке, но сам он сидел уже в воде, — он прыгнул в воду и пошел к берегу, очень веселый. У деда нашлись ненадежные ватные красноармейского покроя штаны. Сергей Петрович надел их и сухой свой пиджак. Над костром повисли мокрые аггеевские вещи, белье, брюки, туфли. Босой, Сергей Петрович чувствовал себя не только

подслушивателем природы, но и участником ее дел. Все сели к костру. Арбекову, Сергею Ивановичу, тогда захотелось рассказать, и он рассказал — о гибели «Максима» и о том радостном чувстве, которое у него было днем, на аэродроме, когда он радовался за тех, кто садился в самолет, кто испытывал гордость, соприкасаясь с гением, пославшим в небо не только мысли, но и вещи. Сергей Иванович поймал себя на ощущении, что только сейчас, у озера, рассказывая о «Максиме» и «Правде», — только сейчас он порадовался за своих детей, в час гибели «Максима» бывших над землей.

В июне — заря с зарею сходятся. На озере проходила ночь. От озера поднимался туман. Под бледным небом вода в озере казалась столь же бездонной, как небо. Пролетела меж сосен сова. Сосны стояли неподвижно, отражаясь в воде. Противоположный берег озера ушел в туман.

Человеческие средства передвижения, — ноги, свои и лошадиные, если человек сел верхом на лошадь, сани и телега, вагон поезда, пароход, автомобиль, аэроплан, — если представить, что конструкция человеческой работы может быть элементарной, как пешее хождение или как телега, и может быть сложной, как простота авиомашины, то конструкция аггеевской работы — конструкция самолета. На берегу озера Сергею Петровичу хотелось быть дедом, человеком труда, как пешее хождение. Самолет — на самом деле сложен, главным образом, своею гениальной простотой сложнейшего расчета. Самолеты рассчитываются так для того, чтобы избежать смерти, ибо всякая неточность для самолета — смертоносна. Самолеты рассчитываются так, чтобы жизнь победила смерть. Гибель «Максима» — случайность. Но до сих пор еще человек, подходя к самолету, думает о смерти. А смерть, — конечно, она совершенно закономерна, каждый живущий умрет, и знает об этом, но каждый живущий воспринимает свою смерть — случайностью.

Смерть! — мысли о ней хранятся, не подлежа оглашению, там же, где хранятся любовь и рождение детей, и у ка-

ждого человека бывает смертное беспокойство.

Мысли о смерти иной раз надолго оставляют человека; иной раз они идут тучами, полчищами; иной раз нападают они партизанами. Смертные мысли приходят в час рассуждений о прожитом, человек вправе сопоставлять гулкую свою молодость и то, что надумано было в молодости, с тем, что случилось, что сделано. Магнит в десятилетках в физических кабинетах вскрывает законы творчества. Когда у писателя возникает образ, опилки начинают двигаться, приходят в геометрический порядок, принимать закономерные формы. И в смертные мысли подсчетов заказанного зарею гулкой юности и сделанного ко второму любовному посеву в смертную ночь Сергей Шаповал записал в свои черновики заготовку рассказа:

«В поезде, за час до станции, человек плотно поел. Поезд уходил в тайгу, на север, за окном медленно зеленели сумерки, которые будут зеленеть всю ночь. За столом сидел широкоплечий человек рабочих движений и рабочих навыков пить и есть. Вид наголо бритых, если им за пятьдесят, — бритые затылки, скулы, губы, — всегда чуть-чуть бесстыден. Такие люди борются с неряшливостью старости, скрывают старость, возраст их стерт, и у них всегда подчеркнута воля. Человек был накругло брит. Зеленые глаза смотрели сосредоточенностью и собранной волей. Он был одет в кожаную куртку и в смазные сапоги. К станции поезд подошел в вечер. На станцию человек вышел с портфелем в руках, без вещей, хотя в поезде он ехал полторы тысячи километров. Северная безвестная станция легла на десятки и даже сотни километров от жилых мест, в тайге и в болотах. На станции человек не задержался. Он пошел за переезд в зеленую ночь и в тайгу. Сразу за станцией тайга приняла человека в свои запахи, шум и движения, которым было тысячелетие. Сразу за шпалами над головой потянули вальдшнепы. Сразу лес зачихал тетеревиными токами, направо, налево,

вперед. Страшная и огромная, между елей пролетела сова, испугалась, приняв, должно быть, человека за рысь, свернула круто и прокричала, как плачут дети и как воют в субтропиках шакалы. Человек вынул компас и пошел прямо от железнодорожных шпал, туда, где не было никакого жилья, где были одни болота. Весенний лес пахнул прелью, хвоей, грибами, влагой, сложными и очень многими запахами. Весенняя ночь светилась зеленым светом пустого неба. Через час человек уже не шел, но полз, пробираясь сквозь спутанные сучья, выпутываясь из паутины и прошлогоднего вереска. Ель, лиственница, бересклет, можжевельник, низкорослая береза, ольшанник перепутали себя веками и непролазно. Старые ели и лиственницы умирали здесь же, повисшие на соседях. Так полз человек час, два, три, в тысячелетней ночи, нетронутой тысячелетиями, в месте жительства лосей и медведей. Тайга начала редеть и ели стали ниже. Земля закачалась под ногами. На полянах небо отражалось в студеной, страшных, неподвижных пахнувших льдом, болотных раменьях. Их становилось все больше, этих оконцев. Мертвые ели сваливались в них, засосанные качающейся землей. Человек сел на одну такую мертвую ель, корни которой лежали на земле, но мертвый ствол опустился в воду. Человек собрал сухую моршuku и клюкву, развел костер. Человек внимательно просматривал свои карманы и свой портфель, книгу, развернутую на половине, бумажник, паспорт, партийный билет. И человек медленно сжигал их на костре, портфель, книгу, бумажник, деньги, паспорт, партбилет. Человек сладко выкурил папиросу и бросил в костер папиросную пачку. Когда костер прогорел, человек сбросил в воду пепел и обгоревшую землю прикрыл травой. С револьвером в руке человек пошел по стволу мертвой ели, держась за сучья, на середину раменья. Человек выстрелил себе в висок. Секунду, две человеческое тело было неподвижно, затем

оно рухнуло навзничь, на спину. Плеснулась вода, качнулось в воде небо. Через минуту вода была попрежнему неподвижна, отражала белесое небо и пахла льдом. На секунду, на две, на пять после выстрела стихли лесные шумы, а затем, в пяти шагах от того места, где горел костер, сладостно заточился глухарь. Пришел уже рассвет. Из елей вышел лось и пошел в раменью — пить.

«В Москве были вскрыты письма.

«Когда изнашивается токарный станок, его выбрасывают за ненадобностью или посылают в мартэн, на новое литье. Не буду лицемерить: человеческая старость — это износ. Не буду лицемерить — мне много приходилось хоронить и друзей, и врагов, и братьев, — и это было лицемерно, скучно, никому не нужно. Труп человека — это не человек. Жалко человека, живого человека, а труп — всегда вызывает брезгливость. Я уже стар, я плохо работаю, мне отвратительно думать, что я буду еще более бессильным, буду глупеть, как глупеют старики. Мне стыдно думать, что я доставляю моим друзьям такую неприличную заботу, когда они должны будут отрываться от своих дел, скучать за закономерной фальшью похоронных речей, брезговать присутствием трупа. Никому не нужно! и никак не нужно мне. Человек — общественное достояние, конечно. Его жизнь принадлежит классу, партии, детям. Но дело каждого человека также — быть джентльменом. Когда сам человек чувствует, что пружина его жизненной энергии размотана, что баланс его дел и жизненной значимости для общества пассивен, он вправе распорядиться самим собою. Это не малодушие. Это — воля и сознание того, что не жизнь командует мною, но я командую жизнью. У меня нет детей и давно уже умерли мои братья. Я болен, и все лучшее, что я мог сделать, я сделал уже. Товарищи, я знаю, что такое конспирация, — труп мой уничтожен мною так, чтобы его никогда никто не нашел, и искать его не следует. Дорогу молодости,

бодрости, здоровьем! и да здравствует нелицемерная жизнь!»

Ивановские ответственные работники, люди дел, сконструированных, как самолет, ездили отдыхать к озеру, которое Сергей Иванович никогда не видел раньше, но которое напоминало ему то раменье, где Арбеков хоронил свои смертные мысли. В жизни все было не так, как в рассказе. Магнит физических свойств образа увел рассказ от арбековской реальности в безымянное раменье.

Десятилетие после первого любовного посева бездетной, а по существу и безлюбной, жизни с женщиной, от которой не нужны были дети, привели Арбекова ко дню, когда во всем доме он остался один. Ему показалось, что он один во всем мире. Он запомнил навсегда тот вечер. Была весна, сумерки. Он возился в саду, копая грядки. Затем он обошел все двери, чего никогда раньше ему не приходилось делать, проверил, заперты ли, — разделся и лег в большой, пустой и разоренной комнате. Он взял книгу и бросил ее. Он потушил свет. Он ощутил, что он совершенно один в мире. Он не думал о своих первых детях. Ему показалось, что его дом покрылся громадным слоем пыли. В пыли он увидел свои книги, написанные им за жизнь. В пыли он увидел свой мир и все, пройденное им. Он думал о пыльном прожитом. Оно казалось пустым. Нет, он никак не думал о том, что смерть может, а тем паче должна, притти в эту ночь. Жизнь впереди была очень большой, но смерть — ничто, небытие, всяческое неощущение — была нестрашной. Она ощутилась домашней паршивой собакой, которую можно пустить в дом, но можно и выгнать из дома. Жизнь была сильнее смерти, со смертью можно было играть на самом деле, как кошка с мышью. Смертью можно и надо было командовать. Если понадобится, можно пустить пулю в лоб, — не смерть командует тобою, но ты командуешь смертью, стало быть, и жизнью. Жизнь и смерть казались лежащими в жилетном кармане. Дом же попрежнему пребывал в пыли, в громад-

ных слоях пыли. В доме, в комнатах залегло среднеазиатское удушье. Он вновь ощутил, что он совершенно один в мире. Ему стало очень скучно, смертельно скучно. Дом был пуст и безмолвен. Дом, дела, ерунда бытовых мелочей путали свои необходимости. Все казалось скучным до безразличия и до бессилия. Но Сергей Иванович был писателем. Заработал магнит, Сергей Иванович поднялся с постели, зажег свет, сел к столу и записал заготовку для рассказа о человеке, хоронящем себя в тайге и оставившем письма о праве индивидуума на смерть. Раза два над бумагой Сергей Иванович говорил вслух:

— Нет, товарищи, я хозяин вещей и дел, но не дела хозяйничают мною!..

Рассказ был кончен, но ночь еще не закончилась, Сергей Иванович вновь лег. Смерть — это ничто, пустота. Жизнь всегда казалась Арбекову — деланием. Если у Сергея Ивановича проходил день без положенного количества прочитанных страниц и написанных строчек, пусть даже веселый день, — такой день ощущался Сергеем Ивановичем, как ворованный. Быть может, Арбеков чувствовал долг перед жизнью, которой он должен был — так ощущал он — отрабатывать своими страницами.

— Ну, а если — не работать, на самом деле, отдать себя на слом? Смерть — это ничто, пустота, неоощущение, да, так. Но, вот — жить только для того, чтобы только видеть? — знать не себя, не дом, а...

Арбеков услышал гулы, социальные в первую очередь. Он услышал мир, свою родину в первую очередь, — никак не похожую на болотные топи и на безыменную станцию, — родину замечательных дел и событий, родину перестроения истории и человеческих отношений, родину переселения народов от феодалов к социализму, рождение народов из небытия, городов, дорог, индустрии, — судьбы миллионов человеческих индивидуальностей, в коих судьба Сергея Ивановича меньше, чем икринка в весенний нерест, — судьбы миллионов, прошедших невероятные карьеры, нарывших карьеры для домен и для новых рек, перестраивающих труд, природу,

историю. Арбеков ощутил путь ледокола истории, ледокола, трактора, домены, — путь партии российских большевиков. Арбеков увидел ледокол истории его родины на земном шаре и тот исторический водоворот, который поднимался вслед пути ледокола его родины. Все это было чудесно.

Разве не стоит жить только для того, чтобы видеть эту эпоху, — даже только видеть? — и разве не вдвойне чудесно быть — ну, хотя бы каменщиком эпохи?

А дом, а книги, покрывшиеся пылью в эту ночь среднеазиатского удушья комнат и ночи, — разве они не были материалом для работы каменщика? — разве они не могут работать дальше, разве нельзя написать новые книги так, как они нужны эпохе? — работал новый другой магнит гражданина, коммуниста, человека класса из своей страны.

Рассказ о гиблых болотах был выкинут.

И ночь уже прошла.

Сергей Иванович заснул. В сорок лет у людей появляются ощущения, которых не было в двадцать лет. Не случайно у древних государством правили старцы, а вожди народов всегда становились вождями за сорок лет. Для Арбекова решающим была эпоха, та, где люди в двадцать лет были и героями, и вождями. В Коломне у Арбекова были дети первого посева. За месяц до этой ночи, в театре, Сергей Иванович встретил девушку...

Любовь!.. она больше и всеобъемлющей образа! — и не обязательны утверждения о первой, о последней любовях, — та любовь проходит основной в человеческой жизни, которая отдает и берет все любовные права, сопрягая человека, созвучание людей, соответствие людей — обязательно — с рождением детишек, — без детей не может быть любви даже у прекраснейших двоих, одинаково поднявших голову. Но и тогда, когда есть дети от женщины (или от мужчины), в которых не прозвучал, не дозвучал человек, тогда также нет любви!..

Равно, как из тысячей опилок и пыли виденного и слышанного магнит образа отбирает то, что созвучит созна-

нию и ощущениям писателя, — так из тысячи женщин, проходивших мимо Сергея Ивановича, прозвучала полной любовью девушка, — тогда в театре, когда узналось о ней, что через три дня она уезжает на родину, на лето, в горы.

Утром, проснувшись, Сергей Иванович знал, что у него тысячи известных ему друзей, в СССР и во всем мире, — у него были миллионы друзей, ему неизвестных, также в мире и в СССР. Он чувствовал себя очень крепко и хорошо поставленным среди человеческих миллионов, которым он был обязан и которые имели решающее право на его жизнь. В мире было очень много солнца, все заполнялось солнцем. В то утро Сергей Иванович звонил по телефону, разыскивая маляров, чтобы они перекрашивали окна и двери и переклеивали стены в доме. То утро вытряхивало из дома десятилетие бездетной, а по существу, и безлюбовной жизни, закончившееся пустым домом, когда Сергею Ивановичу казалось, что он один во всем мире. Оно уничтожалось неверностью всего бездетного десятилетия. Отзвонив по телефону о малярах, Сергей Иванович возился с книгами. Он знал, что он в мире и с миром. К вечеру приехал Яков Андреевич. Холостяки устроили холостой обед. Мясо, поджаренное кустарным образом, — много мяса, много масла и много лука, — было очень вкусно. Дом Сергея Ивановича пустовал потому, что он только-что покончил с бракоразводом. Яков Андреевич пребывал в бракоразводном состоянии. Обедали, как гастрономы, и разговаривали о делах Якова Андреевича, как бракоразводные знатоки.

Жил Яков Андреевич с женою тринадцать лет и жил прохладно, автоделом занятый больше, чем женою. Приехал однажды Яков Андреевич домой с работы, — звонок, пришел человек, рекомендовался: «Бедросов, будущий муж вашей бывшей жены». Дня три до этого жена Якова Андреевича пропадала из дому, разводила «семейный купорос», как определял Яков Андреевич. Под Яковым Андреевичем стул поехал: «какой муж, какой жены?» — «Вашей жены, Клавдии Ивановны, — мы с ней

работаем в одном учреждении и учимся в одном институте, — я имею твердые взгляды на брак, быть в положении любовника считаю нечестным и пришел об'ясниться с вами!» Наутро Яков Андреевич ездил с Клавдией Ивановной в загс, перешел в холостое состояние. Протекла неделя, другая. Клавдия Ивановна — дома, молчит, не учится и штопает чулки, и вдруг: «это что же такое, почему ты все время отмалчиваешься? — когда же мы будем делить вещи и ты предоставишь мне новую квартиру?» — стул под Яковым Андреевичем опять поехал, Яков Андреевич сказал: «что касается вещей, бери, пожалуйста, свои вещи, а насчет квартиры — заботься сама и мужа твоего попроси, я своими делами занят, — поезжай под крышу нового мужа». Вещи жена растащила по разным углам, но уехать никуда не уехала, и дома не ночевала. И вдруг опять «купорос»: «это что же такое, мне не дают квартиры, я должна жить на два дома, а не успеваю учиться, меня из института выгонят, сделали уже предупреждение!» Яков Андреевич руками разводил: «мамаша, милый друг, в какой это морали написано, что я виноват в твоей учебе в силу того, что ты не можешь согласовать супружеские наслаждения с учебой?» Яков Андреевич звонил Бедросову, как серьезному человеку, назначил в ресторане свидание. Встретились, говорили о том, что-де полтора уже месяца волокита идет, пора кончать, — если, дескать, у Бедросова, на самом деле, одна комната и нет места для жены, то надо сообща подумать, по-мужски, и надо сообща квартиру искать. Бедросов говорил: «я ей двадцать вариантов предлагал, и не так уж плоха моя жилплощадь, но она — она, с одной стороны, считает, что у нее нет основания обогащать вас квартирным имуществом, на половину которого она имеет право на основании статьи десятой семейного кодекса, а с другой стороны, — она не хочет притти ко мне бедной родственницей». Яков Андреевич сказал Бедросову: «вы же мужчина, вы же муж, ведь ваш медовый месяц на скандалах построен, на недоверии, — повлияйте на жену, как муж!» Бедросов

дал честное слово, обещался разговаривать с женой категорически, чтобы она переезжала к нему, в его комнату. Распрощались. Со свидания Яков Андреевич заехал к Сергею Ивановичу, передать о совещании, посоветоваться, — уехал домой и через полчаса опять вернулся, обескураженный. Рассказал о событии, — приехал, домработница в страхе, — Клавдия Ивановна пришла в неурочное время и расплакалась навзрыд, схватила скатерть на столе и сдержала ее на пол, графин разбила, сама упала на диван и била по дивану пятками, потом прижималась ко всем стенам, плакала уже потише и причитала: «обоих, обоих, обоих мужей у меня отняли!..» Это домработница Якову Андреевичу рассказала в прихожей. Яков Андреевич вошел в комнаты. Действительно, обеденный стол без скатерти, жена сидит за письменным столом, пишет, лицо ясное, покойное и злое, — глянула на Яков Андреевича и обдала льдом: «рады? добились своего? — можете поздравить! — с Бедросовым я расхожусь и никуда отсюда не уеду!» — Затем события переселились в народный суд.

В день после смертной ночи, за самодельным мясом, которое оказалось очень вкусным, Яков Андреевич весело рассуждал о том, что, мол, как, мол, это так получается? — жили люди тринадцать лет вместе, было и хорошее, было и плохое, — плохого старались не замечать и не помнить, — а тут в двадцать четыре часа все полетело к чертовой матери и уж ничего хорошего не осталось, одно стервятчество. Сергей Иванович хохотал, слушая Якова Андреевича. Он придумал историю, от которой ему стало вдвойне весело, — он рассказал Якову Андреевичу трагическим голосом:

— В пять часов дня, счетом от Гринвича, на всех долготах, на всем земном шаре, в городах и вообще во всех местах человеческой оседлости, в полях и в лесах, на пароходах, поездах и автомобилях, на заводах, в отелях, министерских правительственных квартирах, — всюду, где были люди, — все жены обратились к мужьям с одною и тою же речью, — почти все жены, за промиллионными

исключениями, — жены были тихи, лиричны, внимательны, но действовали, как лунатики, хотя глаза их были ясны, — они сказали примерно следующее: «Поль, Пауль, Пабло, Паоло, Сидор, Изидор, Оттокичи, Ван-ли, Абдуррахим», — на всех языках, все мужские имена мира, — «я должна сказать тебе правду, которую я скрывала от тебя. Я была неверна тебе. Я не могу больше скрывать... еще девушкой, это я скрыла от тебя перед замужеством... ты работал, твой друг, который живет за углом... ты косил сено... мы были в компании, помнишь, наш общий знакомый, мы танцевали и вышли на воздух проветриться, в тот момент ты спорил о кризисе... я была на отдыхе...» — признания женщин варьировались, конечно, тысячами сюжетов, тысячекратно превосходящих сто сюжетов Баккачо. Земля, как известно, вращается вокруг своей оси двадцать четыре часа. Счетом от Гринвича каждую минуту в новых городах и странах наступало пять часов дня. Двадцать минут шестого по земному шару взрывом отчаянного негодования понеслись мужские крики: «Мерзость! позор! предательство! — и это ты, ты, ты, которую я так боготворил, которой я отдал все, что мог?! — и ты так предала меня, так издевалась надо мною, так предпочла меня этому ничтожеству из-за угла?! — и так позорно, так несложно, как какое-нибудь животное?! — мерзость! развод!.. и этот мерзавец, который называл меня другом, — я объяснюсь с ним, я докажу ему, он негодяй, я буду драться!..» — Половина шестого на земле творилось невероятнейшее. Телеграф смолк. Трамваи, поезда и пароходы остановились. Аэропланы сели на землю. Фабрики, заводы, министерские кабинеты опустели, незапертые, и воровства не было. Лифты, улицы, площади, дороги вымерли. В странах на дальнем Западе от Гринвича, где пяти часов еще не наступало, были отданы приказы по армиям, по военным флотам готовиться к отражению противника. Экстренные газетные выпуски домышляли, — «новая небывалая чума!» — «война!» — «радиосвязь с Англией, Францией, Испанией

и Португалией порвана!» — «зловещее молчание Запада расценивается в японских военных кругах...» — «небывалая доселе в мире чума перекинулась на Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чика...» — В шесть часов от Гринвича вдруг улицы наполнились мужчинами. Мужской мир одет был, как попало, иные без пиджаков, почти все, министры и крестьяне, без шляп, с самыми несуразными предметами, зажатými в кулаках. Без всякого соблюдения сигнальных огней, которые, впрочем, бездействовали, по улицам со скоростью двухсот километров мчали автомобили одиноких водителей. Вообще все мчалось. Пешеходы, не видя и толкая друг друга, никак не извинялись, шли на рысях. Двери домов, кабинетов, спален были открыты настежь. Двери кабаков были открыты настежь, и там до десяти часов ночи никого не было. Шедший за угол объясняться с другом встретил друга на углу. Два друга схватили друг друга за плечи, и оба воскликнули очень свирепо, категорически, не терпя возражений, одни и те же слова: «Послушайте, милостивый государь! вы, — бывший мой друг, — я все знаю о вашем поведении! — моя жена...» Два друга повторяли друг друга, как эхо. Два друга долго не понимали, что они говорят. Тогда друзья стали разглядывать друг друга, точно впервые распознавали. Руки их опустились. Глаза их стали пустыми, точно они не имели чистой совести. И глаза их стали совершенно одинаковы. Они молчали. Молча, не попрощавшись, с видом, точно они не узнали друг друга и никогда не знали, они побежали в разные стороны. Несколько шагов они бежали, точно на ногах их были гири. Затем они сбросили эти гири и помчали облегченно. Часов в семь вечера, хотя это было идиотски-несуразное время, толпы мужчин ломали двери загов, духовных консисторий, нотариальных контор, мэрий — в поисках экстренного развода. Часам к десяти мужчинами начали наполняться кабаки, и безмолвно открылись двери винных лавок. Ни продавцов в лавках, ни кабатчиков не было. Посетители сами лазили за стойки, наливали стаканы

и кружки, презрительно бросали на прилавки франки, шиллинги, пезеты, доллары, эны, даяны, рупии, лиры, марки, драхмы, кроны. Ночи, конечно, никто не спал. Часам к пяти утра, к рассвету, мужья допрашивали жен, требуя психологических объяснений, психо-аналитических оправданий измены, предательства, лжи, — и мужья трагически хватались за головы, прислонялись к стенам, рвали вороты своих рубашек и халатов, грозя револьверами самим себе и женам. Следует, однако, отметить, что ни убийств, ни самоубийств в ту ночь на земном шаре не произошло ни одного. Ни кофе, ни чай, совершенно естественно, в то утро не кипятились, равно как не было и никаких работ. Допросив психологически жен, мужское человечество погрузилось в самое себя, каждый индивидуум в отдельности. Можно было предположить, что социальная связь, равно как и связь времен, распалась. Мужское человечество от измен жен, а также с перепоя и от бессонницы, наматывало на головы мокрые полотенца и стонало зубною болью. Земной шар вращался вокруг своей оси. И ровно через двадцать четыре часа от начала всемирно-человеческого катаклизма, то-есть опять-таки в пять часов, произошел второй катаклизм. С ясными глазами, пусть эти глаза были красны от перепоя и от бессонницы, тихими голосами заговорили мужчины: «Мария, Мари, Мэри, Тэкла, Фекла, Тореко, Фатима», на всех языках все женские имена мира, — «и я должен сказать тебе правду... ты же понимаешь, что количество женских измен на земном шаре арифметически равно количеству мужских измен, так как женщины изменяют с мужчинами... Еще юношей, я это скрыл от тебя перед браком...» — повторилось то же, что было за сутки до этого с мужчинами, с небольшими отклонениями. В основном женщины отличались тем, что, если мужчины все же хотели углубиться в себя и даже стремились к одиночеству, то женщины, наговорив неприятностей подругам, устремлялись к домам и квартирам своих матерей иль ехали к другим женщинам, с которыми их мужья им не изменяли. Женщины стре-

мились кооперироваться. Женщины не требовали от мужей психоаналитических экзерсисов, но тем не менее они не спали и не давали спать мужьям. Мир не спал вторые сутки. На третьи ж сутки земной шар заснул. Спали все, спали всюду, в городах, в полях и лесах, на пароходах, поездах и автомобилях, в прихожих, в спальнях, на постелях, на полу, на траве, даже на чердачном бетоне. Спали упоенно и проснулись отдохнувшими. Мужья взглянули на жен, жены глянули на мужей. Те и другие отвернулись друг от друга смущенно, но не злобно. Человек из-за угла быстро оделся, чтобы идти на работу. Он спустился на улицу. На углу он встретил друга из-за угла. Оба они на момент стали вкопанными — и они пошли друг другу навстречу, добрейше приподняв шляпы. Они хитро улыбались. Они сказали друг другу одно и то же: «Не правда ли, человечество вступило в новую эру морали?!» — На углу уже продавался экстренный выпуск газеты. Литераторы, философы и моралисты дебатировали тему о новой эре. Вечерние выпуски газет были наполнены сенсационнейшим сообщением и печатали портрет французской женщины-гипнотизера, которая своими гипнотическими талантами учинила мировой катаклизм. На месте передовиц печаталось интервью с этой француженкой: «...великий ученый, эта женщина-гипнотизер, человек гениальных способностей, еще молодая и достаточно красивая женщина, грандиозным напряжением воли заставила мужское и женское человечество выслушать и рассказать друг другу сексуальную правду в твердом убеждении того, что знание этой голой правды перестроит человеческую мораль, уничтожит инстинкт ревности, отметет пережитки права собственности в любви, уберет ложное сексуальное самолюбие, принесет человечеству счастье...»

Яков Андреевич слушал рассказ Сергея Ивановича и хохотал до самого чистого сердца. Когда Сергей Иванович закончил рассказывать, Яков Андреевич сказал, хохоча:

— А на четвертый день были еще два сообщения, обоснованные учеными

лицами. Во-первых, о том, что эта гипнотизерша произвела всемирную чистку со зла на мужа, который ей наставлял рога. А во-вторых, в вечернем выпуске добавили, что эта гипнотизерша, взволнованная всемирной славой, поехала отдохнуть в Швейцарию, а там на нее напали фашисты и убили в наказание за те муки, которые они пережили со своими национальными женами!..

Яков Андреевич и Сергей Иванович хохотали веселейше — каждый над самим собой.

А через день самолет нес Сергея Ивановича на Харьков, на донской Ростов, на Минеральные Воды, на Махач-Калу, на Баку, на Тифлис. В Тифлисе надо было узнать адрес девушки, которая магнитом образа всей жизни прозвучала в московском театре. Автомобиль пошел на перевал по Военно-Грузинской дороге. С Арбековым ехали Тициан Табидзе и Шенгелая. С вечера в ауле Коби Шенгелая заказал коней. Ночевали на станции Казбек, на перевале Казбек, около горы Казбек, в доме, где жили феодалы казбеки, один из коих, Александр Казбек, живший в середине IX века, был большим грузинским писателем. Знойный день закончился на перевале морозом. Гора Казбек на рассвете, открытая от облаков, в вечном снеге, стояла не дальше, чем в километре. На рассвете автомобиль отвез Арбекова и Шенгелая до аула Коби, — Тициан, легендарный тамада, остался на станции Казбек, чтобы добыть барашка и приготовить к вечеру шашлык и пир. В Коби Арбеков и Шенгелая пересели на коней. В Коби разветвляется Терек, и два Терека спорят между собою за название Большого и Малого. Один из Тереков уходит в ущелье Трусо и меж скал подбирается к ледникам. Солнце заполнило мир. Коня пошли в ущелье вдоль Терека, под скалами и над Тереком, почти до самых снегов. Громады скал висели справа и слева. Солнце жгло мир. Небо было рядом с конями и с горами. Терек падал с порога на порог. В иных местах пороги посидели сталактитами минералов, вынесенных из горных недр, растворенных Тереком и вновь окаменевших. У нар-

занных ключей, вытекавших из расщелин, лежали туры и бараньи рога, чтобы прохожий мог напиться. В сжигающем солнцем кипящий холод нарзана, пахнувший водородом, был благоден. За шумом Терека, на громадных высотах, почти у ледников, пространства скрывала космическая тишина. Синий свет высот пугал пространства, когда Казбек на самом деле казался рядом. В Труссе лежала первобытность. Кони шли иной раз по тропам, когда одно колено сидящего на лошади чертило о скалу, а за другим коленом Терек падал в отвес. На скалах висели редкие аулы, оставшиеся от первобытности, где жилье хозяйственной, она же родовая семейная, единицы было не только жильем и бараньим загоном, но и крепостью, очень напоминавшей Арбекову поселки североамериканских индейцев, где со двора на двор переходят по переносным лестницам, где обязательно есть потайные места и ходы, где крыша одной сакли является террасой для другой, где вокруг обведены глинобитные с камнем стены, над которыми поднимается высокая башня, и зернохранилище, и крепость в первобытных войнах разбоя и родовой кровной мести, и месторождение легенд, и убежище от пожара. Шенгелая и Арбеков приехали в аул, разместившийся под самыми ледниками, около снегов. Космический простор света и космическая тишина полегли над аулом. Ее, ради которой они приехали, не было в ауле, она ушла на ту сторону ледника в горы, заготовлять дрова. За нею помчался верхом без седла и босой подпасок. С крыши сакли, где лежали для отдыха и в ожидании Арбеков и Шенгелая, видны были истоки Терека, вытекающие из-под снегов, и видны были долины зеленых трав, откосы и обрывы, родина баранты. Над аулом высились башни. В ауле было пусто, люди ушли на пастбища и на поля, на тощие ячменные лоскутья полей, повисших по скалам. Столетний старик, помнивший Ермолова, повел в подземелье своего клана; подземные ходы шли к аульной площади, во внутренний двор и под башню; по этим подземельям хранилась кровная месть; по кварцитовым ступенькам Сер-

гей Иванович поднялся на вершину башни; он был один в воздухе и тишине; солнце выжигало аул. Под аулом, на той стороне реки, из леса со склона горы появился всадник. Он вброд переехал реку, очень осторожно, и карьером, точно лошадь стлалась по земле, помчал к аулу. По ступенькам улицы аула всадник ехал шагом, гордо сидя на неоседланной лошади. Это была она. Она была боса. Ее руки, лицо и босые ноги потемнели от загара, как оливковое масло. Она не узнала Сергея Ивановича. Она долго не выходила из сакли, переодеваясь. Часы шли к закату. Шенгелая и Арбеков сказали ей, что они приехали за нею, что на Казбеке Тициан Табидзе добывает барашка, что кони готовы и надо сейчас же ехать, чтобы не заморозиться и не заморозить шофера в Коби. До Коби было тридцать километров. Она собралась. Выхав из аула, они помчали карьером. Шенгелая ускакал далеко вперед. Но ночь обогнала коней. Стемнело сразу, в этой полуденной стране, как Пушкин и Лермонтов называли Кавказ. И тогда прогремел гром, точно горный обвал. Гроза была далеко, горы долго по скалам кидались эхо, и эхо повторяло громы. Шенгелая повернул, подехал к Арбекову. Он остановил коня, прислушиваясь к горам, гору.

— Надо поспешать, — сказал он, — будет гроза, внизу пойдут потоки, поднимется Терек, не доберемся до Коби, могут быть обвалы.

Сергей Иванович сидел в седле хуже и ее, и Шенгелая. Шенгелая опять ускакал вперед. Кони ее и Арбекова шли рядом, стремена стучались иной раз друг о друга, звякая. Сергей Иванович заметил, — на отвесных тропинках ее конь всегда шел крайним к обрыву. Кони спешили. Но гроза обогнала коней. Опять гремели громы, и громом кидались горы. И полыхнула молния Арбеков это видел впервые в жизни, — молния блеснула не над ним, но под ним. Гроза была внизу. Они были над грозой. Ее стремя звякнуло о стремя Арбекова. Сергей Иванович протянул руку во мрак и коснулся ее плеча. В ярком мраке конь Сергея Ивановича

ча наехал на круп коня Шенгелая. Шенгелая любовался грозой. Внизу металась молнии. Фосфорический свет и мрак внизу раскалывались громами грома и эхо. Казалось, что горы кидаются скалами.

— На Военно-Грузинской сейчас ливень, — сказал Шенгелая, — размост дороги.

Над горами вверху в небе горели звезды. Мороз разряженного воздуха подбирался к ребрам. Над грозой, у горных вершин, люди могли думать о том, что они в космосе.

Гроза была внизу. Лошади шли шагом. В отвесах молний вскоре направо и налево, впереди, мимо, снизу вверх, от Военно-Грузинской к ледникам, к Казбеку поползли облака. Они спешили. Они шли одиноко и толпами. Они окутывали коней туманами и теплом долин. Их становилось все больше и больше. Они прятали в себя коней и горы. И вдруг рядом, в десяти шагах, разорвав тучи так, что лошади прыгнули друг к другу, сжав колени ее и Арбекова, одновременно взорвались молния и гром. Молния разрежала мрак в ослепительный свет, и судорога света ударила в скалу. Гром подхватил свет, содрогнул воздух, ударившись об одну, о другую, о сотую скалы. Казалось, что скалы падают в звуки. Через секунду новая грянула молния, разорвавшись громом. Хлынул дождь, и сейчас же со скал побежали, помчались ручьи, потоки, водопады. Громы и молнии спешили к Казбеку. Тучи были уже над головой.

Гром падал сверху. Под тучами падали дождевые потоки — и с неба, и с гор. Было по-земному душно. Из космического затучья люди возвращались на землю. Сергей Иванович не запомнил, когда он взял в свою руку ее руку. Под ливнем они подъезжали к Коби. Время уходило в полночь. Автомобиль не дождался их и, убоявшись дорожных размылов, ушел ночевать на Казбек. Пастушечья сакля, где спали пастух и овчарки и где пахло овцами, — стала ночлегом ее, Шенгелая и Арбекова. Перед сном они ели кобийский сыр. Эта девушка стала женой Сергея Ивановича.

В рассвет, когда пение русских соловьев — также в грозу — пахло ландышами, свежестью, бодростью, — в Палехе, в избе, за перегородкой, около отца, спал, блаженно разметавшись, его замечательный сын. И не сын, но его мать оказались тем замечательным магнитом образа всей жизни, не подлежащей оглашению, который сопрег и построил в закономерности, в заполненности и ясности форм все опилки десятилетий арбековской жизни. Именно в силу солнечной этой закономерности с Сергеем Ивановичем стали жить его старшие дети, внося в дом комсомольство и пионерство. Именно в силу ее в дом, в сердце, в пространство, во время вселился полный образ любви...

И на Кавказе ж тогда, через несколько дней после поездки на перевал, в Тифлисе, в Ориенталь-отеле, рассвет застал Сергея Ивановича, очень веселого и даже хитроватого, за столом, за бумагой, за рисованием кругов и за цифровыми расчетами. В тот рассвет, еще во сне и в счастье, Сергей Иванович ощутил смерть — холодным, ледяным, бессмысленным ужасом. Все будет цвести, будет светить солнце, новые писатели будут писать новые песни, а вот ты, твое «я», твоя судьба, твои мысли и чувства превратятся в ничто, исчезнут, — этого ледяного ощущения смерти нельзя передать словесными ощущениями. Сергей Иванович проснулся от промозглой бессмыслицы, — и вот, на рубеже сна и яви, когда во сне оставался ужас, в сознании возникла веселая и литрая радость. Это было изобретательство. Творческий аппарат Арбекова — магнит! — принес в сознание сообщение:

— Есть, товарищ Келлер! — есть способ обойти смерть! — найден!

Сергею Ивановичу показалось, что он делает мировое открытие. Должно быть, лицо Сергея Ивановича было ребячески радостно и хитро. Страх смерти был совершенно забыт. Арбеков сидел за столом и вычерчивал круги.

«В двадцать четыре часа земной шар оборачивается вокруг своей оси... Как это? — сегодня же надо будет узнать — какого размера радиус земного ша-

ра?.. — тогда можно будет высчитать, с какой скоростью несется по пространству, по корде, ну, предположим, Москва. Ведь камешек, привязанный к веревочке и вращаемый рукою мальчишки, имеет свою скорость, — так и Москва, расположенная на конце земного радиуса, так же вращается вокруг земной оси, как камень вокруг руки мальчишки... Надо высчитать. Земля, Москва на земле, обернувшись вокруг земной оси, отсчитывает двадцать четыре часа, — ну, если вчера в двенадцать часов дня было седьмое число, то через двадцать четыре часа в двенадцать часов дня будет восьмое. Надо высчитать скорость вращения Москвы. И — надо построить самолет, который мог бы летать любыми скоростями. Если он полетит над Москвою на запад со скоростью полета Москвы вокруг ее корды, он в двадцать четыре часа сделает тот же путь, что и Москва, то-есть останется над Москвою. Если он полетит на восток, навстречу Москве, он встретит Москву через двенадцать часов. Это еще не открытие. Но, если самолет будет летать, вдвое быстрее, чем вращается Москва, то, вылетев сегодня в двенадцать часов дня вместе с Москвою на запад, самолет в двенадцать часов пролетит то же расстояние, что Москва в двадцать четыре часа. Самолет нагонит Москву с запада через сорок восемь часов. Люди на земле проживут уже двое суток, но люди на самолете проживут за это время только двадцать четыре часа. Если самолет ушел в небо сегодня в двенадцать дня, седьмого числа, люди, прожившие на самолете сутки, сразу попадают в Москву девятого числа. Время, обязательное для живущих в Москве, абсолютное для москвичей, само по себе никак, оказывается, не абсолютно. Ну, а если самолет будет летать в четыре раза быстрее вращения Москвы, люди на самолете за двадцать четыре часа проживут четверо суток жизни москвичей, из седьмого числа в двадцать четыре часа они сразу попадают в одиннадцатое. Если люди вылетят из Москвы первого января тридцать третьего года и пролетят три месяца, они сядут на землю первого января тридцать чет-

вертого года. Ну, а если скорость самолета будет в восемь, в шестнадцать, в тридцать два раза быстрее полета Москвы, — прожив год на таком самолете, люди из сороковых годов двадцатого века — в один год — попадут в сороковые годы века двадцать первого!.. Пределов нет! — человек может растянуть свою жизнь на тысячелетье! — надо построить только скоростной самолет, и смерть будет обманута. Время не абсолютно. Но, если время не абсолютно, нельзя ли время попятить назад, — чорт его знает, — надо рассчитать, — быть может, человек, живущий сейчас, может прожить тысячелетье тогда, когда тифлиские граждане за это же время успевают только помыться и позавтракать перед работой?.. Этому опять же поможет самолет. Как назвать такие самолеты? — стратосферические? — космические? — надо придумать!.. Предположим, самолет, летящий вчетверо быстрее Москвы, полетит на восток, навстречу Москве, вылетев также в двенадцать часов дня. Он встретит Москву через шесть часов. Москвичи в это время на часах будут иметь шесть часов дня, а человек с самолета видел уже и вечер и утро — или, иначе, прожил восемнадцать часов!..»

Вид Сергея Ивановича был очень добродушен и весел, и даже хитроват. Он не был силен в цифрах. Ему казалось, что он делает открытие мировой важности. Он рисовал на бумаге круги, Москву и муху самолета, пытался вспомнить математику, некогда преподаваемую Леонидом Александровичем, тем самым, который — «останься на полчаса без обеда!..» — курил, пил вино, снова рисовал круги, складывал быстроты полетов.

Днем Арбекову сказали, что он додумался до давно уже открытого, до одной из второстепенных функций теории относительности Эйнштейна. Сергей Иванович не расстроился: время не было абсолютным!..

У безымянного озера, рассказав о гибели «Максима», Арбеков вспомнил историю этого своего открытия, веселые часы с карандашом над бумагой. Бесмыслица смерти «Максима», — разве

стратосферический, междупланетный самолет, который будет построен через десятилетия, и ясно уже теперь, построен будет в СССР, — стратосферический самолет, перед которым «Максим» окажется почти пещерным пращуром, — разве стратосферический самолет не окажет решающего влияния на судьбы сроков человеческой смерти? — пусть пока еще человек, подходящий к самолету, думает о смерти, — люди, погибшие на «Максиме», боролись за перестроение человеческой смерти!..

История первого в России и в мире совета рабочих депутатов

Нынешняя Ивановская промышленная область охватила земли от Владимира и Киржача до Углича и Пош-Володарска, и Ярославль, и Кострому — до Чухомы и Солигалича — до Макарьева и Семеновского. Каждый названный пункт человеческой оседлости — глава и дел российских, и истории. Дорога от Москвы до Палеха лежит через Владимир и Суздаль на Иванов. Владимир и Суздаль хранят памятники русского двенадцатого века, старейшие русские места. Посредине области протекает Волга. На экономических картах густо покрашены районы фабрично-заводской промышленности, и на первом месте здесь — Иваново, бывшее село Иваново и посад Вознесенский.

26 мая 1935 года было тридцатилетие ивановского Совета рабочих депутатов.

А тридцать лет и две недели тому назад тогдашний Иваново-Вознесенск, называвшийся тогда «русским Манчестером», был, по существу говоря, скопием нищеты почерневших от ветхости деревянных построек, раскинутых на шестиверстном пространстве. Изредка кое-где из-за нищеты поднимались каменные дома купцов и длинные корпуса фабрик. Основное ж — солома и тес, чумазные избы и избенки, убожество и бедность. Обыкновенное село, — те же кабаки и тот же неизбежный трактир с чудовищами самоваров на вывесках. За избами и за фабриками — пустыри. За пустырями — лес. В городе жили —

купцы и пролетарии. Одиннадцати-с-половиной-часовой рабочий день сверхсрочными работами вырастал до пятнадцатичасового. В отбельных отделениях и на плюсовых рабочие употребляли противоядие — лук, так как воздух, насыщенный ядовитыми газами, действовал острой отравой. В сушильных отделениях работы производились при температуре шестидесяти градусов, и рабочие работали голыми. У прессовщиков, которым приходилось работать рельефы с помощью крепкой, так называемой «царской», водки, обыкновенно вываливались зубы, — воздух в прессовальных отделениях до такой степени пропитывался парами «царской» этой водки, что газетная бумага желтела там через два часа, рассыпаясь в труху. На мойных машинах рабочий не мог работать больше двух лет. На ситцепечатных фабриках рабочий зарабатывал в месяц накруг десять с половиною рублей, а на ткацких — тринадцать. На зимний сезон расценки снижались. Рабочие штрафовались из жалования — «за дерзкие слова и поступки» и «за дурное поведение», но «дурным поведением не считалось, когда молодые работницы полюбуются были сожительствовать с мастерами, с приказчиками, с сыновьями фабрикантов», сваливаясь в проституцию. При фабриках были фабричные тюрьмы. По древним традициям все имело свои прозвища. Купец-фабрикант Дербенев прозывался Каустиком. Граверные отделения — травилкой. Рабочие районы — Ямы, Завертии, Рылихи Сидеть без дела и голодать — работать у Ветрова-Гуляева. В крестьянской избе — на комнату — жило человек по пятнадцати, мужчины и женщины, старые и молодые, семейные и холостые, спали на полатах и на полу вповалку. Треть ивановского населения умирала от туберкулеза. По государственной статистике, восемьдесят процентов призывавшихся в солдаты уроженцев Иванова-Вознесенска, браковались за хилостью.

Человеческая судьба? — «Зимой и летом он постоянно ходил в полушубке и носил на рыжих сапогах кожаные, начищенные ваксой до блеска галоши. На

длинной, выгнутой, как у гуся, шее болтался зеленый с горошком шерстяной платок; концы его, замазанные, с бахромой, служили носовым платком, — прессовщик сморкался в них и вытирал после кашля серые, с коричневыми пятнышками губы. Прессовщик жадно, с проклятиями трудился. Когда он работал на прессе, лиловая кожа вздувалась на его тонкой шее, лицо багровело, и коричневые крапины на губах бледнели, как лишай. Кашляя и хрипя, он налегал грудью на пресс, и казалось, что не прессом, а своим маленьким телом выдавливал он на молете рисунок. После праздника однажды он вошел в мастерскую, пошатываясь, устался на пресс неподвижными глазами и хрипло, ни к кому не обращаясь, сказал: «В Могилев уезжаю. К-ха... выпьем, дьявол вас побери, на прощание!» — и впервые рассмеялся, у него были черные редкие зубы. Он попросил подручного сбегать в казенку. Когда тот вернулся с водкой, он снял с рыжего сапога блестящую галошу и, как рюмку, наполнив галошу водкой, обносил всех смолкших граверов: «Пей — не жалея! — одна померать!» — Он сорвал зеленый платок с шеи и, по-бабьи взмахивая им над головой, пустился в пляс. Он запел:

Как на Уводи вонючей
Стоит город наш могучий —
Иваново-Вознесенск!.

«Он хотел спеть еще что-то озорное, но в горле забулькало, он зажал рот ладонью. Сквозь дрожащие пальцы, нанизывая на них черные кольца, просочилась и побежала по бороде кровь».

Прессовщик умер.

Купцы? — капиталисты? — ясно.

Ивановский Совет рабочих депутатов — был не только первым в мире советом рабочих депутатов, прообразом советской власти, но он был также и большевистским советом, ибо ивановские пролетарии чистого вида, естественно, нашли чистого вида пролетарскую партию.

Семьдесят два дня длилась всеобщая стачка ивановских рабочих и семьдесят два дня работал ивановский Совет рабочих депутатов. Стачка началась 25 мая.

26 мая заработал Совет и сумел себя поставить в посаде Вознесенском социалистическим государстве в Российской — расейской! — империи, — так поставить, что губернатор прашивал у Совета разрешений на печатание своих приказов и тот же губернатор писал в имперское министерство внутренних дел о нервах — у него-де «развиваются признаки сердцебиения и нервного расстройства».

Что требовали рабочие? (и как отвечали предприниматели?).

1) 8-часовой рабочий день. (Ответ предпринимателей: «перемена произведена не будет, так как вопрос рассматривается в государственном порядке»).

3) Отмена сверхурочных работ («Отмены быть не могут»).

5) Минимум заработной платы для обоих полов 20 р. в месяц. («Исполнено быть не может»).

7) Отпускать рожениц за 2 недели до родов и на 4 недели после родов с сохранением заработной платы («... впредь до издания закона в государственном порядке»).

8) Устроить ясли на фабриках. («Устройство яслей находим крайне затруднительным...»).

14) Уничтожение обысков. («К сожалеению, отменены быть не могут. Обыски женщин можем допустить женщинами же»).

22) Уничтожение фабричной полиции и тюрем при фабриках. («Не подлежит нашему обсуждению, как явление законного порядка»).

23) Начальство и войска не должны вмешиваться во время забастовки в дела рабочих, иначе за последствия ручаться нельзя. («Не подлежит нашему обсуждению»).

24) Право свободно собираться и обсуждать свои нужды. («... Не подлежит нашему обсуждению»)

30) Устройство рабочих касс взаимопомощи («... не подлежит...»)

31) Установление праздников 1 мая и 19 февраля. («Празднование 19 февраля и 1 мая ввиду большого числа у нас православных праздников и царских дней находим неудобным».)

«Начальство и войска не должны вме-

шиваться»... Когда Совет рабочих депутатов заявил властям, что он существует, власти дали для его заседаний помещение... мещанской управы. Все замечательно в судьбе ивановского Совета, — и то обстоятельство, что в память, в историю социалистического рабочего движения этот Совет ушел — Советом на Талке. Ныне Красная Талка — так называлась река около Иванова, тихая река, протекавшая зелеными лугами мимо высокостволого соснового бора. Совет заседал под открытым небом, на берегу Талки, на лугу и под красностволыми соснами. Совет заседал вместе со своей армией, с тридцатью тысячами рабочих, став для этих рабочих «вольным социалистическим университетом», как определило министерство внутренних дел. По утрам, когда не переставали еще петь соловьи и уходили ночные туманы, около лесной сторожки, на лужайке, на берегу Талки, были пленумы Совета, где обсуждались дела стачки, события и новости вчерашнего дня и на сегодняшний день. Пленумы всегда заканчивались совместными собраниями с выборщиками, когда депутаты по очереди забирались на дегтярную бочку, прикаченную из города, служившую трибуной, и перед тысячами стачечников отчитывались в делах и в событиях, в переговорах с предпринимателями, в сношениях с властями, в посланиях министру внутренних дел и братьям-рабочим. Здесь принимались и отсюда направлялись делегации. Здесь прочитывалась корреспонденция Совета, приветствия и угрозы. Здесь творился пролетарский суд. Здесь распределялись деньги, полученные от братьев, — по гривеннику на одинокого стачечника и по тридцати копеек на тех, у кого были семьи. Когда эти дела кончались, всегда выступали ораторы, которые говорили — обо всем, что хотели знать рабочие. А рабочие хотели знать все, и ораторы говорили — о положении класса у нас и в мире, о рабочем движении, о социализме, о Марксе и Энгельсе, о Добролюбове и Чернышевском, о Пушкине и Гоголе. Когда ораторы и слушатели утомлялись, ораторы и слушатели пели революционные песни. После песен ораторы

говорили вновь, погружая внимание стачечников в их величества Девяносто третий, Сорок восьмой и Семьдесят первый французские годы, — в пути и веси российской истории, — на большаки и проселки Ивановских земель, где фабриканты обросли каменными заборами, не менее крепкими, чем стены суздальских монастырей, а рабочие закапывались в нищету ивановских Ям, Завертий и Рылих, о пауках и мухах, о кулаке, подпертом казачьей нагайкой и троеликим богом. Это был вольный университет. Проходили май и июнь, когда заря с зарею близки, когда поют соловьи и бродят по ночам туманы. Многие стачечники оставались на Талке по ночам, и тогда под соснами горели огни таборов. В золе костров стачечники жарили картошку, ели ее с крутою солью и — конечно, конечно! — через туманы, в ночи видели прекрасное будущее, если не для себя, то для своих детей и для своих братьев. Тогда пелись революционные песни, прекрасные песни. На рассвете на Талку приносилась из подпольной типографии революционная газета — «Бюллетень Совета рабочих депутатов». И наступал новый день. Это был пролетарский лагерь — табор в лучшее — со своим написанным управлением и со своими традициями, написанными пролетарской дисциплиной, за нарушение которых высшей карой виновник должен был выходить перед товарищами и рассказывать им о своем преступлении.

«Начальство и войска не должны вмешиваться»... Бастовали, кроме ткачей, кустари феодальных «мануфактур», домработницы и прачки, половые ресторанов и трактиров, приказчики, железнодорожники, типографы. К Иванову присоединялись Шуя, Тейков, Кохма. В Совет приходили ходаки из Лежнева, Родников, Орехово-Зуева. Крестьяне Шуйского уезда обратились к Совету с запросом — «как отобрать землю и земских начальников уничтожить»? — Крестьяне Муромского уезда присылали ходоков, чтобы они научились у ивановских рабочих «делать забастовку». Делегат ивановского Совета товарищ Терентий ездил в Кострому организовы-

вать стачку костромских рабочих и вывел их, как в Иваново на Талку, на берег речки Костромки. В Москве, в Саратове, в Ростове-на-Дону, в Ярославле собирались деньги для Иванова, и тамошние большевики выпускали прокламации ивановских событий. Совет организовал рабочую милицию и боевые дружины. Совет предложил губернатору, приехавшему на события из Владимира в Иваново, закрыть на время забастовки водочную и винную торговлю, равно как питейные и игорные заведения, — и губернатор закрыл их. Рабочие патрулировали фабрики. Распоряжения Совета были для рабочих законом, — и на самом деле распоряжения губернатора выполнялись только с разрешения Совета. Политические требования Совет посылал министру внутренних дел — через губернатора, и губернатор отсылал их. Город был военным лагерем двух классов, когда каждая сторона ждала случая померяться силами. Фабриканты объединились в «союз». Через губернатора они требовали рассылки паспортов бастующих по их родинам с тем, чтобы вслед за паспортами этапом разошлись бы стачечники, — Совет не позволил провести рассылку паспортов. Фабриканты запретили отпуск продуктов рабочих из фабричных лавок, — Совет отменил это распоряжение. Фабриканты писали и телеграфировали в министерство внутренних дел, — ивановский «кулак» не жалел телеграфных переводов:

«... То количество войска запятая которым располагает полициеймейстер запятая недостаточно для водворения мира и порядка точка жители города обращаются к вашему превосходительству с настоятельной просьбой притти к нам на помощь точка городу грозит полный разгром и в недалеком будущем голод и убийства точка происходят ежедневные сходки не ради экономического запятая а ради политического вопроса точка процессии с флагами и непристойными на оных надписями многоточие анархия

царит во всей силе многоточие жители посада тире города Иваново тире Вознесенска в страхе и ужасе точка власти бездействуют точка официальные сведения о том запятая что рабочие держат себя смиренно запятая члстейший вымысел точка убедительнейше просим ваше высокопревосходительство немедленно защитити точка паника полнейшая точка жители бегут из города точка подписи...»

Официальные донесения были верны: рабочая милиция не позволяла «гулять» черной сотне. Министр внутренних дел предлагал властям — «действовать!» Губернатор сообщал министру внутренних дел и шефу жандармов, кроме своего нервного состояния, о том, что

«... арестовать главарей невозможно в виду правильной организации охраны стачки».

«... предвидеть конец забастовки невозможно ввиду неустойчивости сторон...»

«... результаты сходок сводятся к единодушному (по крайней мере с внешней стороны) постановлению продолжать забастовку...»

«... рабочие каждый день собираются на реке Талке, судят, рядят, слушают своих ораторов и, узнав их решения, мирно расходятся. И так изо дня в день...».

«... Хотя в городе спокойно, но сходки за городом принимают противоправительственный характер, руководящая движением рабочая партия держит в своих руках массу». «... затрудняюсь запретить сходки ввиду слабости войск». «... убедительно прошу прислать лицо, облеченное большими полномочиями, могущее объединить деятельность всех ведомств, чувствую себя не в силах...»

«... С другой же стороны, если разгонять сходки, то, на-

верное, будут грабежи и поджоги; город и его окрестности будут в опасности; рабочее движение примет характер открытого мятежа...»

«... Воинские части крайне несочувственно относятся к своей роли охранителей порядка, так как оторваны от своего прямого назначения...»

Министр внутренних дел предлагал властям — «действовать!»

И 15 июня в Иваново казаки расклеивали приказ, за подписью вице-губернатора и отпечатанный во владимирской полицейской типографии:

«Ввиду ежедневно входящих до меня от самих же рабочих сведений, что лица, собирающиеся на реке Талке, не ограничиваясь обсуждением своих чисто фабричных дел, занялись вопросами государственного значения, причем отдельные лица позволяют себе явно возмутительные речи против правительства, я не нахожу возможным далее допускать многолюдные собрания на реке Талке, а также и в других окрестностях города, и предупреждаю, что виновные в нарушении сего постановления будут подвергаться законной ответственности».

Было солнечное утро 16 июня. Шло заседание Совета. Рабочие писали протест против приказа вице-губернатора. Еще с рассвета в это утро вокруг рабочего лагеря разместились казаки, под командою полицеймейстера Кожеловского. И без всякого предупреждения, после залпа из винтовок, с гиком и свистом, оставшимся от татарских орд, с шапками и нагайками, казаки помчали на рабочих, на безоружных. Казаки стреляли в бежавших. Кожеловский арестовал председателя и секретаря Совета. На поляне у реки и в лесу лежали окровавленные люди.

23-й пункт стачечных требований гласил: «Начальство и войска не должны вмешиваться в дела рабочих во время

забастовки, иначе за последствия ручаться нельзя».

И через час после расстрела в Иваново были уничтожены телеграфные и телефонные провода, вход в город от Талки был загроможден баррикадами, горели склады фабрики Гандурина, лети стекла складов и дома городского головы. К закату солнца на десяток километров вокруг Иванова полыхали зарева фабрикантских дач. А ночью рабочие дружины стреляли в казаки раз'езды и в полицию, загнав их по казармам. В эту же ночь фабриканты, иные переодетыми, уезжали из Иваново в Москву, телеграфируя губернатору и министру по испорченным проводам о том, что в Иваново они не вернутся до тех пор, пока там не будет восстановлен «законный порядок». Но и губернатор, с эскадромом казаков, ночью тайком бежал из Иваново.

Совет рабочих депутатов не погиб с арестом его председателя и секретаря. Совет рабочих депутатов вернулся на Талку. Рабочие, вернувшись на Талку, постановили единогласно:

- продолжать стачку,
- требовать освобождения товарищей,
- требовать суда над Кожеловским.

Стачка продолжалась. Товарищи были освобождены. Губернатор из Владимира просил у Совета разрешения опубликовать в Иваново его приказ об увольнении в отставку ивановского полицеймейстера Кожеловского. Рабочие победили, перешагнув через кровь Талки. На кровь Талки рабочие ответили заревами пожаров фабрикантских усадеб.

Когда Совет рабочих депутатов собрался последний раз на Талке вместе с рабочими, чтобы вынести решение о возобновлении работ, он закончил свою резолюцию следующими фразами:

«Мы же, принимаясь за свой тяжелый труд на фабриках и заводах, примемся готовиться к другой борьбе, борьбе серьезной, на жизнь и на смерть, за свободу... И когда наступит час, когда весь народ встанет с оружием в руках...»

Это были никак не пророческие слова, — но слова убежденного значения.

Это было тридцать лет тому назад, в медовом июне багряных зорь и в сенокосном июле Пятого года. Совет тогда просуществовал семьдесят два дня. За пятым годом шли годы от седьмого до четырнадцатого. Пятый год шел зарею перед Семнадцатым. Большинства, большинства тех, кто были на Талке, нет уже в живых, но Талка — первым в мире Советом рабочих депутатов, Красная Талка, прообраз советской власти. Талка напоминала Арбекову безы-

мянное озеро смертных мыслей. Какая жизнь, какая жизнь начиналась на этих берегах!..

... Жить, жить! — жить бодро, радостно, с товарищами, в коллективе, в классе, с любовью и с детьми... — это и у безымянного озера, и в соловьино-ландышевую, не подлежащую оглашению палехскую ночь, — и жить никак не пешим хождением к раменьям смерти, жить конструкцией самолета, жить на ледоколе истории, жить так, чтобы жизнь была прожита прекрасными грозами класса, революции, детей, любви!..

(Продолжение следует)

СЫН

Б. КОРНИЛОВ

Только голос вечером услышал,
молодой, веселый, золотой,
ошалелый выбежал, — не вышел, —
побежал за песенкой, за той.
Тосковать, любимая, не стану —
до чего кокетливая ты,
босоногая,
по сарафану
красным нарисованы цветы.
Я и сам одетый был фасонно:
галифэ парадные,
ремни,
я начистил сапоги до звона,
новые,
шевровые они.
Ну, гуляли...
Ну, поговорили, —
по реке темнее и темней, —
и уху на первое варили
мы из красноперых окуней.
Я от вас, товарищей, не скрою:
нет вкусней по родине по всей
жареных в сметане —

на второе —
неуклюжих, пышных карасей.
Я тогда у этого привала
подарил на платье кумачу.
И на третье так поцеловала —
никаких компотов не хочу.
Остальное молодым известно, —
это было ночью, на реке,
птицы говорили интересно
на своем забавном языке.
Скоро он заплачет, милый, звонко,
падая в пушистую траву, —
будет он похожий на соменка,
я его Семеном назову.
 Попрошу чужим не прикасаться,
побраню его и похвалю,
выращу здорового,
красавца,
в летчики его определяю.
Постарею, может, поседею,
упаду в тяжелый, вечный сон,
но имею все-таки надежду,
что меня не позабудет он.



Дорога на Океан

Роман

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

(Продолжение ¹)

Аркадий Гермогенович и его начинка

Все, зная лично Аркадия Гермогеновича, единодушно относили его редкостное долголетие за счет разумной воздержности. Он не пил, не курил и, следуя римским рецептам долголетия, не волновался никогда. Железное здоровье гнезилось в этом подсушенном организме. Не слышно было также, чтобы в молодости он изнурял себя и любовью. Была совершенна его биография, точно выдуманная в поучение непослушным детям. По его собственным словам, жизнь свою он выпил восторженно и неторопливо, как стакан морса на знойном переулочке из одной пустыни в другую; судя по цвету его щек, осадок на дне был так же сытен, как и радужная пена у края. Скромный учитель гимназической латыни, он обучил экстерпориалиям свыше пяти тысяч учеников, и сознание, что это хоть в малой степени украсило их существование, доставляло потребное спокойствие его совести. Кроме того, в жизни он никогда ни в чем не сомневался, встречал замечательных людей, дружил с Бакуниным, имел жилплощадь в Москве и враги его перемерли. Всюду, куда забрасывала его судьба, находились люди, способные понять душевную прелесть этого человека и оценить качества его отличной, бархатистого фетра, шляпы. Ее тулья была высока, а под широкими полями всегда стояли сумерки. Она придавала романтический отте-

нок не только взгляду, но и мыслям, и даже поступкам Аркадия Гермогеновича. Поистине, шляпа являлась частью его характера, и, может быть, физической личности, если порешился спуститься за нею даже в дудниковскую могилу. Эта невероятная вещь имела свою историю.

Ей и прежде грозили несчастья. За три года перед тем она едва не погибла от вспыхнувшей керосинки, а восемь лет назад ее почти унесло в море. Это случилось в Крыму, в одной уединенной татарской деревушке, куда он попал проездом в Феодосию. Он возвращался из дома отдыха, где очень поправился. Обычно кучера останавливались в этом месте поить лошадей, и у Аркадия Гермогеновича было время осмотреть в небольшом радиусе окрестности. День выпал свежий, в снежно-белой каракульче бежали волны (—и вообще в этой местности круглый год длится какой-то неистовый шабаш ветров). С Аркадия Гермогеновича сорвало шляпу и со скоростью велосипедного колеса покатило вдоль безлюдного пляжа. Он ринулся вдогонку; ветром парусило его брезентовый плащ. Старик то отставал, то даже перегонял свою беглянку, и становилось непонятно, кто за кем гонится. У самой прибойной полоски кто-то, однако, догадался наступить ногою на сбежавшую собственность. Аркадий Гермогенович поднял на спасителя глаза. Перед ним стоял тучный, рано одряхлевший человек в поношенных штанах, вправленных в трикотажные гетры, и в просторной,

¹) См. «Новый мир», кн 9 с. г.

как море, серого тканья, рубахе. Дымила по ветру его седая грива, стянутая по лбу узким ремненным пояском. Восхищенный Похвиснев вслух сравнил этого человека с Овидием, скитающимся в устьях Дуная и обдумывающим свои Послания с Понта. Сравнение попало в самый нерв. Человек улыбнулся и показал на двухэтажный дом; он приглашал нового знакомого к себе обедать и сушиться. Тем временем последняя линейка прошла из Отуз.

Новый знакомец Похвиснева и сам не раз уподоблял себя опальному поэту. Но нет, с Овидием себя сравнил он сам. Никто не отсылал его в забвенье. Участник скандальной поэтической плеяды, он угасал здесь без славы и литературного потомства. Время было такое, когда пророки нарождаются в народе, — поэт мнил себя одним из них, но и отлично сложенные пророчества его не сбывались. Порою гости бывали единственными потребителями его творений, равно величественных, неискренних и умных. То были художники и профессора средней руки, состарившиеся поклонники и просто милые и болезненные люди, которым врачи прописали умирать на южном побережье. За комнату и близость к музам они платили беззаветным восхищением перед меркнувшей звездой поэта. Со скуки здесь любили чудаков. Хозяин представил Аркадия Гермогеновича гостям, как друга Бакунина и автора многих неопубликованных латинских стихов... Гостеприимство поэта не соответствовало количеству комнат в доме; на ночь Аркадия Гермогеновича поселили в библиотеке, в блаженной сени рыжих и пыльных фолиантов. Утром хозяин повел гостя смотреть Карадагские ущелья, а вечером — древнее киммерийское плоскогорье; польнь хороша на закате. Он знал здесь каждый уголок и самое море считал своим произведением. Так Аркадий Гермогенович и прижился. Хозяин дома умел ценить друзей, которые делили с ним черствый хлеб и скорбное Овидиево уединенье.

Постоянное поэтическое возбужденье поддерживалось в этом доме. Каждый сочинял что-нибудь в меру сил. Кто-то

высказал однажды вслух догадку, не Похвиснев ли анонимно сражался с Рейнской газетой за оклеветанное имя своего знаменитого друга. Аркадий Гермогенович промолчал. Он был сама тайна, которая улыбается, чтоб остаться неразгаданной. Вряд ли это была сознательная хитрость; он просто не понимал, чего от него хотят. Изредка он отправлял куда-то письма, и один бездельник выяснил, что старик хлопочет о пенсии и разыскивает некоего Дудникова, старого своего врага. Конечно, Аркадия Гермогеновича не столько интересовала скромная сумма пенсионера, сколь официальное признание государством всей его предыдущей деятельности. Этого человека всегда глубоко и искренно волновали идеи свободы. Правда, он не предполагал, что все это произойдет так сурово; к революции он привыкал долго и трудно, но втайне чувствовал себя несбывшимся бунтарем, чуть не сбежал с Бакуниным к Гарибальди и... Словом, на медных досках истории, хоть сбоку и петитом, он помещал и свое имя. И так, жил он совсем хорошо, татары уважали его шляпу, гости попроще называли его профессором, и сам он, следуя кокетству стариков, стал понемножку набавлять себе годы.

Дача поэта стояла на самом берегу. В свежую погоду дом наполнялся солоноватой горечью моря и мокрым скрежетом песка. Старика не спалось в такие ночи. Он выбирался на одноногую каменную скамью у ворот; другим концом она упиралась в зарубку большого меланхолического дерева. (Аркадий Гермогенович утверждал, что это просто вологодский осокорь; ему верили, потому что не возражали и в остальном.) Легкие волны бежали к берегу и во множестве гибли на песке. Дерево ежилось; сквозь ланцетовидные тamarисковые листья обильней проникали звезды. Аркадий Гермогенович усерднее затахивался в свой бумажный халатик. Тогда безликое пространство перед ним принимало видимость женского лица, призрачного и голубого. Женщина была причесана по моде восьмидесятых годов, когда жил и созревал этот важный старичок с прилизанными височками. Она

звала его к себе. Ее лучистые ресницы мерцали и жутким холодком оведали его лоб. Аркадий Гермогенович внушал себе, что видит вечность, и это было так же приятно, как есть мороженое.

Видение объяснялось скорее лирическим настроением, чем расслаблением сетчатки. (Все в мире он воспринимал возвышенно; всегда он был немножко капризник и фантазер; бахнув однажды в компании, что у него на Карадаге оторвало ветром пуговицу, он деспотически заставил остальных себе поверить...) Всем внешним обликом вечность напоминала Танечку Бланкенгагель; нежный и смутный образ ее он пронес сквозь годы разочарования и суеты. Этой девушки, смуглой и задумчивой, никогда не смогли заменить другие. Конечно, она умерла в молодые годы, но стихотворение о ней осталось. (И опять старику везло: дочери крупного, хоть и просвещенного аграрного магната трудно пришлось бы сегодня в жизни, и было бы подло со стороны Аркадия Гермогеновича не помочь ей в нужде). Именно здесь, у моря, выработалась привычка мысленно, раз в неделю, посещать это воображаемое мирное сельское кладбище. — День померкал, тени становились вдвое длиннее предметов, которые их роняли. Оранжево золотился черный люстриновый пиджак. По ему одному знакомой тропке Аркадий Гермогенович входил. В запотевшей руке увядал букетик полевых, липких от смолки, цветов. Почтительно и важно, привстав на колени, старик клал их в приножье могилы. В который раз он читал надпись на щербатом и замшевом камне, цитату из Иезекииля, который даже съел свою горькую книгу и не насытился познанием. Танечка была рядом. Она вся растворилась без остатка в птичьем щебете, в блеске вечернего светила, в зеленом шуме простоволосых берез... Словом, старинная олеография эта радовала его, как ребенка новая игрушка и воробья — мерзлый комок навоза на снегу.

Ты прав, Овидий: бессонница мать видений!.. И вот, занавес памяти раздвигался, и просыпались спящие актеры. Аркадий Гермогенович видел лиловую кайму леса, откуда тянуло свежестью и

грибом. По широкой и гладкой поляне, зеленой, как сукно ломберного стола, ехали на прогулку Танечка Бланкенгагель и молодой студент Аркадий Похвиснев. Маршрут их неизбежно повторялся изо дня в день: лесным проселком на Балакино, ближе к Боршне, и оттуда, вдоль новой железнодорожной насыпи в долину реки Псны с ее колдовскими кувшинками и болотной ряской в затоках. Дорога строилась в почти волшебном молчании. Издалека были видны рыжие, глянцевитые бугры нарыгой глины и разрозненные группы людей, но ни свистков десятников, ни стука мотыг и лопат не доносилось никуда. Вечерний тучный благовест раскачивал тишину и скрадывал звуки, искажавшие прелесть пейзажа.

Танечке захотелось поближе взглянуть на народ, о котором так много и пополам со страхом говорилось в усадьбе. Они свернули с просеки, Похвиснев первым въехал в кучку землекопов. Люди собрались ужинать. Посреди них неряшливо, плюясь искрами и по-стариковски разговаривая сам с собой, горел костер. Чадила отвалившаяся головня, и довольно вкусно булькало в котелке над огнем. Самые люди показались Танечке горбатыми, кривобокими и как будто даже с выемками от заступа в груди. Рано состарившаяся баба, одетая в посконину и нищее лыко, кормила грудью ребенка. Вытянутыми землистыми губами он жевал такой же землистый и длинный сосок. О приезжих догадались. (Танечкин отец ежедневно бывал на линии.) Иные встали, сдернув с себя грешневик, высокие валяные шляпы, иные остались сидеть; никто не поклонился им. Но какой-то озороватый старик, вроде тех Никол, что, вырубленные из колоды, стаивали по северным церквам, придвинулся ближе разглядеть немужичью танечкину красоту, ее пуховую, с синей вуалькой шляпу и ловкую, в обтяжку, ее амазонку... (Столько лет прошло, а все мучило Аркадия Гермогеновича воспоминание о том, как лоснилась ткань на ее острых, целомудренных коленках!)

— Как живете, ребятки? — по-свойски спросил Аркадий Гермогенович,

присаживаясь на стопку нарезанного дерна, и почему-то ребенок заплакал в этом месте и все зашикали на него, как на взрослого.

— Живем хорошо, из блох сало топим, — тяжелоვნно пошутил коренастый мужик, малость как бы подрезанный с ног, видимо, староста артели, и, обернувшись к бабе, приказал прикрывать ся: — Глупая, вишь, барышня смотрит!

(Но еще прежде, чем он закончил, мать сама, полою армяка, ревниво прикрыла своего младенца.)

— Смотри, чтоб не задохнулся! — остерег ее Аркадий Похвиснев, хорошо осведомленный в случайностях крестьянской жизни, и продолжал: — вы что же, пришьле?

Ему не ответили, но некоторые заметно подтянулись. Опять тоненько заскулил ребенок, и почему-то теперь, полвека спустя, плач этот в представлении Аркадия Гермогеновича связывался с удушливой струйкой дымка, исходившей от головы. Как ни мяла, как ни закачивала его мать, орал и скандалил непонятливый мужичок.

— Чего он плачет у вас? — подаваясь с седла в их сторону, спросила Танечка и пожалела, что не захватила с собой ни конфетки, ни яблока.

Тогда один, лет сорока, сухопарый и с медными, продавленными внутрь висками, выступил вперед. Лицо его было угрюмо и жестки над ним лубяные волосы; староста лишь покосился на него, кашлянул разок ради острастки и тотчас же опустил голову. Ему-то было известно, что это и есть Спиридон Маточкин.

— Евойнова отца, милосердная барышня, француз ноне обыкновенно ногой саданул, — сказал Спирька, вслушиваясь в каждое слово, как оно звенит, и никому, кроме самой барышни, не глядя в глаза. — Видите что, он ему норовил в хлеб попасть, а угодил в самый страм. Должно, и плачет младенчик, что без сестриц, без братцев станет век коротать. Ишь, така жулябия! — и перстом, прямым и негибким, как рог, по-хозяйски ткнул в маленькое тельце, спрятанное под армяком. Но и в этом нарочито грубом жесте было боль-

ше ласки, чем в той учтивости, с какою он обращался к приезжим.

(«Остановите спектакль!» — кричал своей памяти Аркадий Гермогенович, ио уже никакая сила не смогла бы теперь разогнать актеров.)

Широкими глазами, готовая и заплакать, Танечка глядела на эту бессловесную нищету; она бы и заплакала, если бы не настораживал острый и короткий смехок, на который нанизывал свои слова Спиридон. Ей было известно, о ком шла речь. Это был Поммье, инженер и подрядчик, очень милый и остроумный собеседник, которого Бланкенгагель в особенности ценил за требовательную резкость с подчиненными. Конечно, любые задворки даже великих дел всегда отвратительны; она смутилась.

— Какие они... — И не дошпнула молодому человеку. — Смотрите, ведь у него уха нет!

— А где же у тебя ухо, братец? — строго спросил Похвиснев и коснулся своего, чтобы вопрос легче достиг темного сознания Спиридона.

— ... ухо? — Спокойно, даже не безленцы, тот пощупал грязноватый лоскуток над дырочкой. — Ево обыкновенно тожь блохи с'ели. Земляна блоха, скажем по-нашему, сляпая. Она не зрит, что ест, ей бы токмо хлебцем припахивало... — И опять никто, даже сам он, не засмеялся на эту неслыханную в те времена дерзость.

Танечка оскорбленно хлестнула свою Белку. Старик смешно шархнулся назад. Всадница выскочила из таборного круга. О, Аркадий всегда лгал ей о великодушии и мудрости народа!.. Похвиснев же, следуя зовам совести и чтоб укрепиться в гражданских чувствах, отважился зайти в землянку, где лежал зашибленный мужик. Итти было недалеко. Спиридон взылся сопроводать его. Держась за обитую ногами ракиту, Похвиснев спустился вниз. Нужно было нагнуться, чтобы не расшибить лба. Сквозь дерновую, на хлибких жердях, крышу просвечивало кое-где небо. Здесь стояли козлы, забросанные конскими потниками. Поверх, в рубахе, задранной к самой шее, лежало безгласное одлиневшее от муки человеческое тело. Голо-

ва запрокинулась; лица Аркадий Гермогенович не разобрал, а только оскал зубов блеснул в потемках. Но оранжевые отлогие лучи солнца окрашивали раненому пятки и руку, в смертной истоме скинутую к земле (— и один палец на ней то прижимался к ладони, то с ужасной медлительностью выпрямлялся вновь.) Голый живот мужика был обильно закидан глинистой землей прямо из карьера; слегка вздымаясь, она лежала там, как в чаше, и самая рана, таким образом, была сокрыта от постороннего любопытства.

— Землицей-то мы его, видите что, она огонь отводит, — равнодушно молвил Спиридон и покосился в перепуганное лицо гостя. — А справный был паренек. На покос, бывал, выйдет, ровно стакан стоит: плотно!.. извольте глянуть, барич, как он его к лёв о грохнул... — И небрежно, точно рыл могилу, стал разгребать этот живой суглинок, скидывая его прямо на сапоги Похвисневу.

От растерянности лицо молодого человека стало толще и краснее. Он хватал длинную, жилистую руку мужика, моля об осторожности, и тот без усилия сопротивлялся, как бы говоря: не трожь, это наша е... Уже победив, Похвиснев взволнованно запрещал ему называть себя баричем; точно стихи читая, он утверждал, что и он такой же, оттуда же и з народа, что и сам он ненавидит угнетателей (— и украдкой оглянулся, произнеся это слово —), что пока надо терпеть и острить топоры, что час мщения близок... и еще уйму таких же блудливых и неопределенных слов, от которых и самому становилось жарко и гадко. А Спиридон, сощурился, глядел на оставшуюся за дальним сквозным кустом половинку солнца, и ничего нельзя было разгадать в нем, — на закате всего чернее омут.

— ... а пока вам надо учиться, читать книги! — запинаясь, бормотал Похвиснев. — Народ должен понимать, какой акт он совершает, беря власть в свои руки. Я дам кое-что, у меня есть... сперва самое простое, по географии, по химии. Знаешь дупло у дороги на Балакинской опушке? Я положу туда, а ты возьми... Читайте вслух, понемногу, об-

ясняйте друг другу. Я к вам зайду, проверю, как усвоили... — И тряс руку Спиридона, торопя его согласие и втайне опасаясь, как бы не ударил тот его наотмашь, учуяв скользкую и растерянную его лживость.

Без раздражения или усмешки он махнул рукой и первым пошел вон из землянки. Похвиснев побежал следом. По счастью, никто не видел их вместе. Люди все еще стояли, как давеча поставило их изумление перед барышней. Лошадь рванулась... Хорошо, душисто было в вечерних, сенокосных лугах!.. Скачка продолжалась долго; не существовало большего удовольствия, как мчаться навстречу первовечерней звезде и сознавать молодость, здоровье и только-что испытанную страшную близость к народу. Тени сливались с самыми предметами, и скакать по сыреющей дорожке было мягко, как по ковру... Уже в лесу он догнал Танечку; приспустив поводья, она ехала шагом. Носок его сапога прыжком ударился о круп Белки. Бедро скользнуло о бедро. Девушка вздрогнула, точно настигли ее призраки и мысли. Сперва осторожно, а потом все смелее и развязнее, Аркадий Похвиснев заговорил о скором всемирном бунте, о свержении смешного, с бакенбардами, царя, обманщика и лиходея, о том, как прольется по усадьбам тяжелая, красней и гуще неочищенной ртути, барская кровь. Втайне он сомневался, чтобы это загнанное, недавними плетями исполосованное племя спсобно было на что-нибудь большее, чем разбой, но нищему и разночинцу было приятно произносить эти угрозы. Они удовлетворяли какой-то смертный, темный зуд в душе, и вместе с тем чужая девушка, напуганная ими, становилась ему ближе и доступней. Правда, он не предлагал ей бегства с ним (хотя этот шаг, по его мнению, и охранил бы ее от народного гнева); он опасался, что Бланкенгагель, быстрый на руку, попросту излупит его. Все же он попытался обнять девушку за талию; при его дурной посадке это был поступок почти героический. Танечка еще ниже опустила голову... И уже последовал тот единственный поцелуй, до сих пор обжигавший

его губы, как вдруг напали комары, какие-то особенно певучие и зедровой раскраски. Молодые люди помчались в Борщюю. На террасе, красивый и насмешливый, сидел Дудников и жрал вишни. Эдмошка, младший брат Танечки, отвечал ему урок о Меровингах и следил за полетом косточек, вылетающих из пухлого и низменного дудниковского рта.

Здесь заканчивался спектакль, актеры расходились спать до следующего раза. Вздыхая и ворча, море качалось, точно подвешенное на цепях; можно было даже слышать, как они гремели в глубине. Ночные облака, пепел сгоревшего дня, тянулись над бескрайними просторами моря. Каждое напоминало предметы, когда-то бывшие в употреблении, или людей, неизвестных, как отраженье в заветренной воде. Незаметно для себя Аркадий Гермогенович и сам вступал в призрачный хоровод теней и звезд. Так, длинными окольными путями подступал к нему насыщенный старческий сон.

Тот же А. Г. Похвиснев в натуральную величину

После смерти поэта, которого здесь же и похоронили в соленом киммерийском песке, Аркадий Гермогенович вспомнил про племянницу и без уведомления направился в Москву. Лиза не порешилась отказать в ночлеге старику, с узелком стоявшему на пороге, а на другой день он, как и всюду, стал уже своим человеком. Он ходил в очереди, штопал чулки, с особым воодушевлением варил обеды и целый маленький огоролик развел на подоконнике. В фанерных ящиках произрастали у него и лук, и салат, а пучки сухого укропа, на нитках свисавшие с потолка, что-то знахарское придавали комнате. Лиза не каялась; скоро судьба заплатила ей за доброту Протоклаитовым. Комната осталась в единоличном владении Аркадия Гермогеновича. Он перевез сюда книги, сохранившиеся где-то в провинции, и стал давать уроки латыни каким-то недоучившимся аптекарям. Жизнь налаживалась, и в тот же год он совсем случайно наткнулся на Дудникова.

Старика давно томило подозренье, что

Дудников тоже любил Танечку и, может быть, с большими успехами, чем он сам. И он стал ходить к нему в подвал, чтоб постепенно распутать тайну его прямолинейных и нечестивых намеков. Теперь, когда распались все остальные связи с жизнью, одна эта древняя вражда роднила и сближала соперников. Старики сходились в молчании провести вечер; все было уже сказано. Сидя друг против друга, они до мелочей припоминали Борщюю, какую она была полвека назад: дом, выстроенный амфитеатром, ковровые цветники, высокие оранжереи с распятыми на стенах апельсинными деревьями, липовый парк и тинистые сумерки его аллей... Во весь рост перед ними вставал Орест Ромуальдович Бланкенгагель в сиреновом халате и с царственными бакенбардами; сын его Эдмошка, тринадцатилетний паренек, прозванный дворовыми девками щекотун; управитель Никодим Петрович, горбатенький, похожий на морского конька; Танечка, вся застывшая на полупорыве, точно услышала зов, вкрадчивый и неотвратимый; Спирька... И тут оживала еще одна сцена из развалившегося спектакля.

Шумит непогода, ветер хлопает оторванной ставней. Собаки топчут по нижней террасе и, как из гаубиц, гаркают на тишину. По дому со свечой в руке проходит Никодим Петрович. Похвиснев терпеливо ждет: вот-вот слабый желтый луч из замочной скважины прочертит ночной сумрак. Но нет луча, и не дается сон. Не то сторож гремит своей трещоткой, не то сердце. Страшно. По насыпям еще не открытой дороги ездят охранные патрули. В людской живут и жиреют стражники, присланные исправником Рында-Рождновским. В деревнях, наверно, не спят сотские. По всему уезду нехорошо. Где-то поблизости бродит со своей оравой Спирька. Он и с торгашей берет свою долю, что же касается сословий повыше, то он грозит вывести их начисто. Верно, до конца веков будут бродить в приволжских мужиках неугасимые кровинки Пугача... И тут звон, чуть глуховатый и мелодичный, в три разных струны, достигает ушей молодого человека. Он по-

своему разгадывает это. — Танечке тоже не спится; она встала, раздумчиво тронула клавишины. Музыкальная фраза звучит, как вопрос. Потом открыла окно. Падая одна на другую, движутся во мраке хлопотливые тени. Осень обдирает дубы и липы в парке, и они кричат, как Марсий в беспощадных руках Аполлона. Небо какое-то забинтованное. Звук повторяется, и Похвиснев почти видит танечкины пальцы, смутно мерцающие на клавишах...

Предсмертное, оставшееся без кары, признание Дудникова меняет весь текст пьесы. Новый режиссер, бессильная старческая ревность, перестраивает и крушит мизансцены. Снова Аркадий Гермогенович пробуждается среди ночи. Чья-то рука шарит снаружи по дощатой черепородке, у которой стоит койка Похвиснева. Шорох приближается, и опять хочется думать, что это дворецкий. Но нет, Никодим Петрович спит в своем чуждане. Это Дудников, в одних кальсонах, красномордый, самонадеянный, крадется в танечкин мезонин. Дюймовый слой дерева мешает молодому человеку прокусить эти осторожные шарящие пальцы. Стараясь ступать по краю лестницы, чтоб не скрипели половицы, Дудников удаляется. Танечка встречает любовника на пороге. В потемках руки ищут встречных рук. Нападение Дудникова стремительно. Ночная жуть и близость спирькина ножа лишь усиливает грубую, телесную радость свиданья. И тогда-то нежный струнный звук приобретает новое и страшное объяснение.

— Перестаньте, — мысленно кричит им Аркадий Гермогенович. — Вы не один, я тут... я слышу все!

Не клавишины, а пружинный матрац деловито звенит над головой, равномерно колеблемый двумя телами. Ковер на полу танечкиной спальни фильтрует и смягчает звук, но ревность, подобно усилителю, возвышает его до вулканического грохота. Аркадий Гермогенович задыхается. «Воздуху!» Он распахивает окно, и тяжелые от ночной росы листья вырываются в комнату, к нему на помощь. «Мало...» Раздетый, он бежит наружу. На крокетной площадке с шипеньем крутится палый дубовый лист,

и что-то злое есть в его центробежном разгоне. Безумие овладевает стариком, мокрый ветер не отрезвляет его. Забыв о Спирьке, он бредет наугад и свертывает головки каким-то высоким и поздним цветам. Ничем нельзя остановить чужое свиданье. Покорный и иззябший, он возвращается и с головой прячется под одеяло. Они все еще ломают пружины. «Остановите же их... он убьет ее!» — Наверно, в следующем варианте он разбудит весь дом, сбегит челядь, и сам Бланкенгагель с суковатой палкой поднимется в танечкину спальню...

Вот, счастливые любовники уже не существовали, но это не доставило удовольствия третьему, обманутому. Больше того, с уходом Дудникова утерялся последний смысл бытия; Аркадий Гермогенович как-то сморщился и пожух. Непорочная девушка, от которой он не требовал ничего, кроме знания о его любви, которую он украдкой посвящал в мечтанья Сен-Симона, Фурье и в свои собственные, становилась теперь еще обольстительней. Он начинал постигать, что означает этот затаенный блеск танечкиных глаз, раскрытых так, точно мир и грешные радости его увидела впервые. Не стоило особого труда расшифровать внезапное исчезновение Дудникова из Борщни и, двумя неделями позже, поспешный отъезд Танечки в Крым. Припадок запоздалого гнева и заставил старика предпринять однажды рискованное путешествие в Борщню, прерванное на середине пути, под Саконихой. Он ехал туда растоптать танечкину могилу, которую благоговейно посещал целых тридцать лет. Железнодорожную катастрофу он принял за желание судьбы, чтобы кто-либо раньше времени прочел ее книги. Он вернулся сконфуженный и притихший, как ребенок, которому погрозили бичом, достаточно сразить и быка...

Подобно всем старикам, он думал, что стоит на пороге старости, когда она оставалась уже позади. Правду говоря, он уже мало понимал в происходящем. Поколение его давно ушло из жизни, и он один, как опытный экземпляр, оставался посреди шумихи. Все двигалось и

перемещалось; одно расталкивало другое, чтоб отступить под напором третьего. Аркадий Гермогенович отправлялся в парикмахерскую помолодиться и заставлял на ее месте бакалейный магазин. Примирясь, он решался купить капустки для своих стариковских щей, и миловидная продавщица посреди фразы превращалась в основательного верзилу в косоворотке. Потрясенный, он уходил, и тут внезапно выяснялось, что домой можно ехать на автобусе. Какие-то замысловатые силы нарочно дразнили его, чтоб вышел на площадь и закричал от страха; и требовалось зорко следить, как бы его самого не подменили по дороге. Требовалось ухватиться за кого-нибудь и держаться крепче, — появление Протоклитова на своих горизонтах он приветствовал поэтому как благоволение судьбы и своевременное вмешательство потомков.

Таким образом, в несколько сеансов Илья Игнатич полностью изучил биографию своего гимназического начальства. Выяснилось, что в дни юности они, Похвиснев вместе с Дудниковым, учительствовали в усадьбе некоего Бланкенгагеля, благоустроителя Горигорезкого уезда; что они раз'ехались, когда бланкенгагелев сын отправился в кадетский корпус в Петербург; что встреча их произошла только на девятый год, — специальностью Дудникова была история; что через шесть последующих лет он оказался директором гимназии, где Похвиснев преподавал латинский язык; что в эту пору Дудников был женат на дочери видного администратора, имел недвижимость и вел себя вельможей от просвещения; что и впоследствии, став попечителем учебного округа, он держал Аркадия Гермогеновича в черном теле, обходил наградами и в 1906-м чуть не уволил с волчьим билетом, когда тот высказался за отмену форменной одежды для средних учебных заведений; что основой порядка он считал нравственность, но однажды согрешил из любознательности и лечился два с половиной месяца; что у Николая Яковлевича были две дочери и сын, застреленный при попытке бегства на гетманскую Украину; это его жена в голодный

год сгорела от вспыхнувшей керосинки, а дочерей рассеяла судьба по кабакам за границы; что последнее время он проживал с каким-то опустившимся попом, которого называл печенегом и который умер на его руках; что этот человек никогда не нищенствовал, был до конца непримирим и...

Любопытство Ильи Игнатича было удовлетворено в первые же полчаса, но только к концу полугодия он взбунтовался. Аркадий Гермогенович уже не расставался с этим внушительным мертвым телом; полвека оно, как шлагбаум, преграждало ему путь к отличиям и славе. По крайней мере раз в неделю он пробирался в протоклитовский кабинет с Дудниковым на плеч; он начинал с того, что разоблачал покойника до полной наготы, потрошил, полемизировал и дубасил его своими крохотными кулачками. Понемножку Илья Игнатич становился как бы биографом этого крупного царского чиновника. Запах тления усиливался с каждой новой страницей похвисневского повествования. Походило, наконец, что Похвиснев затащил к нему самый труп Дудникова, с намерением пристроить его здесь на вечные времена. Все стало понятно: в тухлом чреве этого мертвеца, как в заветной шкатулке, заключалась теперь вся биография Аркадия Гермогеновича.

Иногда речь заходила о другом (— а Дудников покамест валялся в ногах, дожидаясь своей очереди.) Темой бывала народная медицина (— и он приводил свидетельства классиков о знаменитом Пирре, которого вылечили от болезни селезенки трением большого пальца на правой ноге), а иногда и политика. (Он, например, порицал уничтожение Романовых. Его ужасала небрежность ночного акта; ему хотелось пышного суда, криков фанатической нации, по счастью, своевременно обузданной, исторической речи прокурора, где красноречие борется со справедливостью, но побеждает великодушие.) Однажды, решаясь остановиться на самом себе, он распространился даже о возможности падения луны на землю и набросал перед изумленным Протоклитовым полную картину, как это произойдет. Отвлеченная мате-

матическая формула Эйлера сочеталась в его рассказе с почти галлюцинаторными видениями. Повествование сопровождалось аккомпанементом старческих придыханий и многих мимических средств, к которым он прибегал для усиления впечатлений.

(В самом сокращенном виде это выглядело приблизительно так:

— ... однажды она повернется на каких-нибудь два градуса, и люди заглянут на вторую половинку земного спутника. Кратер Коперника сдвинется к самому краю, и новую черноту, надвинувшуюся из небытия, назовут Морем Внезапности. В действие вступит формула о падающем теле и о притяжении светил. Предисловие к катастрофе растянется на месяцы, и ученым будет время потолковать, в какой степени укорочение лунных суток отразится на многих побочных обстоятельствах человеческого существования. Луна начнет свое паденье по замедленной эллиптической спирали, постепенно ускоряясь и уменьшая круги. Каждую ночь, каждую ночь она будет всходить все крупнее!.. Это будет пора великих открытий, удивительных физических явлений и больших социальных деформаций. Астрономы сделают блестящие наблюдения, не нужные уже никому. Газеты, пока им не запретили говорить об этом, напечатают гипотетические справки о падении первой луны в доисторические времена, когда родилась Австралия. «Не от нее ли и пошел миф о пенорожденной Афродите?» Огромный шар, видимый и днем, станет обращаться все стремительнее. И когда край огромного конопатого диска станет появляться над горизонтом, люди испытывают то же самое, что и всякий, к кому убийца заглядывает в окно...»

«... поражает в улицах количество небритых. Последнему смятению предшествует период растерянности и восстаний. Призывы правительств, чтобы все оставались на местах, не находят отклика; производитель не нуждается в покупателе и наоборот. Никто не сидит в домах, не варит обеда, не ласкает детей. Человек скидывает с себя все, во что наряжался в предшествующие века. Разум намеренно прячется в дикарство. Воз-

рождаются древние магические секты, обожествлявшие падучую, распутство и небытие; образуются новые, сравнимые лишь с эпидемией по быстроте распространения. Их называют диланаторы, растерзатели; так будут они определены в специальной папской булле. Они пахнут псиной. Женщин и вина нехватает им. Их линчуют на всех перекрестках; в петлях они висят гроздьями, но их количество увеличивается по мере того, как луна всходит уже среди бела дня, трижды в сутки, пять, восемь раз, в чудовищных фазах, совсем не светясь, ленивая, бугристая громада. Утверждают, что за день она прибывает втрое. Нужно вертеть головой, чтоб осмотреть ее всю. Происходит разговор циников: «Она вступила в атмосферу.. вы чувствуете как бы ветерок на лице?» — «О, с нее даже сыплется что-то!..» Успокоители на радиостанциях напрасно играют народные танцы на балалайках или тянут гнусавые псалмы...»

«... уличные громкоговорители оповестили, что до нее осталось всего восемнадцать тысяч километров. Всего восемнадцать тысяч, полтора земных радиуса осталось до нее. Газеты перестали выходить. Трижды в сутки по радио опубликовались предварительные данные международной комиссии о координатах грядущего события: скорость полета, остающийся срок, место падения. Расчеты колебались в пределах, подрывавших всякое доверие к ним; между безумием и невежеством колебались они. «Они врут! Когда же косинус был равен тангенсу? — фальцетом закричал однажды голос в уличные репродукторы. — Богачи строят летательные аппараты, чтоб не быть на планете в момент столкновенья!..» Впервые мир слушал по радио странную возню, звон разбитого стакана, выстрел и хрипенье у микрофона. Ни одна война, где погребались миллионы, не приводила толп в такое иступление, как умерщвление этого простака. Именно убийство безвестного человека подняло низы. «На воздух, — кричали они, громя правительственные кварталы. — Мы тоже хотим на воздух!» (— как будто еще возможно бегство!) На улицах чаще слышна

стрельба. Декрет о воспрещении самоубийств в публичных местах не выполняется. Отчаянье воскрешает в памяти всех другую грозную дату, 1456, когда папа Калликст VI особой буллой изгнал и проклял комету Галлея; она повернулась и умчалась во-свояси, как наскипидаренная... «Слышите, братья? Как наскипидаренная, умчалась она!..» И вот, римский первосвященник, в сопровождении всего конклава, выезжает на автомобилях в Среднюю Европу. Он отслужит здесь экстренную мессу на самом большом, на самом большом поле, какое нашлось на материке, — несколько веков назад Жижка давал здесь бой немцам из своего Вагенбурга. Молящиеся, заполнившие все до горизонта, хрипло воют латинское «Тебя, бога, хвалим...». Громовым радиологосом, которому позабывал бы и Моисей на Синае, папа беседует с богом. И хотя утверждают, что пресуществление святых даров, залог небесной благодати, произошло на глазах у всех, луна восходит в этот день девятый раз. В девятый раз морда убийцы заглядывает через облачное окно!.. Проносится слух, что диланаторы снова начали свои убийства. Толпа бежит по полю, переваливаясь через самое себя, громадный ком животной плазмы, когда темное тело, подкрашенное с краев закатом, начинает закрывать небо и неторопливо опускается над полигоном позади знаменитых тушечных заводов. Опять светят звезды, пронзительные и неподвижные, — «злые живые ангелы, обитающие в пламени, смотрят на мертвых».

«... внезапно новое имя оглушает мир. Слава этого человека образовалась в полчаса. Он доцент хиромантии в албанском университете, откуда-то с Балкан родом, с глазами чудотворца и развесистыми усами отставного военного. Ему верят; сильнее наркотиков пьянит надежда. По его вычислениям, небесное тело, достигнув опасной зоны астрономов, разорвется в клочья, как это было со спутниками Сатурна и случится с лунной свитой Юпитера. Кто не устрашится каменного дождя, будет свидетелем единственного в своем роде зрелища. Лишь малая часть луны, около гре-

ти, скользнет по касательной к планете в районе от Гавайских островов до штата Алабама; вырвав некоторый клочок земной мякоти, она с хорошим ускорением умчится в самую далекую из галактических провинций. «... итак, беречь посуду, детей и ценности держать на руках, продовольствия запастись на неделю. Бодро встретим космическую невзгоду! В крайнем случае, планета расколется пополам: науке знакомы такие факты. Полушария будут вращаться одно вокруг другого. Сообщения разделенных родственников станут поддерживаться на особьх ракето-катапультах, план которых разрабатывается...» И хотя он допускал даже арифметические ошибки в расчетах, заявление маньяка вызвало целое переселение из Америки, так и не законченное...

«... целую ночь стреляло небо. Падение метеоритов напоминало горькую судьбу Гоморры. Оно сопровождалось пожарами, горными обвалами и наводнениями библейских масштабов. Вихрем вырывало деревья, многие вещи утрачивали вес. Радио бездействовало, и только один будущий Ной спал в своем арзамасском захолустьи. Он был сапожник, его звали Гаврилой. Накануне была получка, и он был выпимши. Удар последовал на рассвете в Атлантический океан. Пиринейский полуостров обрушился, и воздух над ним как бы воспламенился. Дымящаяся вода, смешанная с огнем из недр, поднялась, хороня нации и государства... Ною померещилось, что его обняло всеми руками дерево и бросило на нечто, не очень мягкое. Под утро он поднялся и двинулся в поисках овоей кадушки, обшитой кожей. Он обошел окрестность, кадушки не было. Он понял, что за ночь кооперативы закрылись, а заказчики переменили адреса. Земля была нехороша собою; кроме того, горела внутренность и болено вывихнутое плечо. Праотец будущих поколений сел и заплакал. Часом позже он поймал кошку и с'ел. Через три дня он встретил немолодую женщину с поцарапанным лицом; она поведала ему, как ангел внушительных размеров охранял ее от ночного погрома. Они поженились. Детишки, восемнадцать человек,

почитали рассказы отца про спички, самовар и ружье за откровения всемогущего. Из опасения подвергнуться насмешкам потомков Ной не рассказывал им про остальное... Все получилось очень хорошо. Отсюда пошло священное выражение: «крути, Гаврила!...»

Аркадий Гермогенович, выпалив это в один дух, изнемог и отвалился назад. Илье Игнатьичу представлялось решить на выбор, ясновидение ли это, или нормальный случай старческой деменции. Во всяком случае, стенокардия была налицо: старик слабо стонал и держался за сердце.

— Эге, да вы и фантазер, дядюшка! — ошеломленно заметил Илья Игнатьич, и тут же, как врач, порекомендовал воздерживаться впредь от подобных напряжений. — Ишь ведь, как вас прорвало...

— Да, из меня трудно что-либо выудить, — сурово и многозначительно откликнулся старик. — Но эта история принадлежит не мне. Ее автор — Бакунин... А этот человек любил поразмыслить над будущим планеты. К сожалению, он запивал. Поэтому ход мысли его был угрюмый... и, пожалуй, общение с ним и научило меня быть таким молчаливым.

Илью Игнатьича начинал душить смех; так, через непривычное, даже насильственное ощущение щекотки он медленно приходил в себя. Имя Бакунина в устах Аркадия Гермогеновича всегда настораживало его. Трудно было допустить, чтоб этот знаменитый анархист, участник международных конгрессов и оппонент Маркса, почтенный старик в старомодном сюртуке и с наружностью ересиарха, был способен на такое дурное сочинительство. (Впрочем, чтение мемуарной литературы научило Протоклитова не удивляться разнообразным слабостям великих людей.) В таком освещении Илье Игнатьичу всегда представлялась феноменальным явлением дружба этих двух, совсем не схожих людей. И он уже собрался послушать еще что-нибудь такое, неопубликованное, о Бакунине, когда Лиза, вернувшаяся из театра, позвала их ужинать.

Ксаверий получает на-чай

Недолгая болезнь Лизы получила столько же толкований, сколько было задано по этому поводу вопросов. Версия, выдуманная Похвисневым для Курилова, отпадала сама собою: Аркадий Гермогенович содрогался, даже когда на картинке попадалось ему оружие... Какому-то старику, зашедшему повидать племянницу, сам же он сообщил, что Лиза вывихнула ногу. Протоклитову, вернувшемуся из командировки, Лиза обяснила свое недомогание угаром: простыми голландцами отапливался театр. Проверять было нечем и незачем: через день она отправилась на работу. Правду знала только Галька Громова, старинная подруга, с которой Лизу сроднили многие несбывшиеся надежды.

Беременность Лизы она подозревала давно. Без всякого повода она обнимала подругу и при встречах с притворным уважением касалась губами лизина лба. Однажды ей случилось войти в квартиру Протоклитовых с кухаркой, у которой имелся ключ от замка. Она несильно прошла по коридору и заглянула в дверь. Занятие, за которым она заставляла подругу, полностью подтверждало ее догадки. Подсунув под платье круглую диванную подушку, вся откинувшись назад, Лиза прогуливалась перед большим зеркалом. Ей хотелось знать, как это будет выглядеть через полгода.

— ... и целова Елисавет. И бысть, яко услыша Елисавет целование... Откуда это? — пропела Галька, обнимая подругу. У нее всегда была в запасе подходящая цитатка, но никогда не помнила, откуда она. — Детка, надо же запирать двери! — кстати упрекнула гостью.

Скрываться стало поздно, гнев был бы смешон, запирательство не гарантировало сохранения тайны. Лиза криво и холодно усмехнулась —:

— Похоже?

Галькина деликатность проявилась прежде всего в ее подчеркнутой деловитости:

— Подложи еще вон ту, маленькую. Так будет в самый раз.

Совместными усилиями они попыта-

лись добиться схожести, но пополнение не удавалось; платье расходилось по швам. Лиза угрюмо и оскорбленно улыбалась. Тогда Галька спросила ее, тошнит ли ее уже и знает ли про это муж... О, именно он и требовал от нее этого уродства! Кажется, он рассчитывал, что появление младенца отвлечет его жену от театра.

— Ведь он зарабатывает достаточно для двоих, — с жестокой иронией сказала Лиза.

— Ему не нравятся, как ты играешь? — И оттого, что та не отвечала, продолжила: — какая это радость, сделать актрисе брюхо, чтобы настоять на своем. Конечно, ты можешь растерять все роли. Чего же он хочет от тебя?

— Чтоб я училась.

— Чему, чему?

— Жизни!

И обе не очень весело, но в лад посмеялись над дурашливым супругом. Тогда же, подметив оттенок брезгливости в том, как Лиза говорила об этом, еще безымянном, еще не родившемся, Галька предложила ей свой, много раз испытанный план. Она называла это по ч и с т и т ь с я.

— ... ты приходишь и уходишь. Все равно как к дантисту. (Знаешь, пристаю, а я рыхлая, я ленивая, мне трудно отказать!) Я не помню точно адреса, но это там же, где театр, второй дом от церкви. На ней еще нарисован бородатый, очень симпатичный мужчина в купальном халате и с крестиками. Кажется, Григорий Богослов. Дом бревенчатый, во дворе собаки. Там живет не то горловики, не то.. но ты не обращай внимания. В неприемные часы к нему ходит одна дама. У нее легкая рука. Я тебе советую сделать неполный. Ну, как же, быть или не быть? Откуда это?..

Лиза слушала ее с содроганием; самая терминология подруги заставляла ее ежиться и холодеть. Почему-то ей представился клеенчатый, в подозрительных пятнах диван и инструмент — на деревянной ручке гвоздь со сплюсненной в лопаточку и заточенной головкой. И вот, ее кладут на сохлую чужую кровь... Она спросила, вся в пятнах стыда и ужаса:

— Это... это очень неприятно?

— Детка, это не только неприятно. это вдобавок и очень больно, — тоном взрослой успокоила Галька; ей льстило ампула мировой грешницы, под каким она числилась в театре.

... прежде всего это было очень гадко. Самый дом выглядел порочнее всех других в переулке. Собаки твякнули по разу и отвернулись. Дверь вверху деревянной лестницы напоминала большое траурное письмо. Висели глазные таблицы. «Гаторен...» прочла суеверно Лиза, пока дама поучала, куря и тончайшей струйкой пуская дым:

— И воздержитесь от крика: у соседей больные дети...

Диван походил на облезлую спину кобылы с обрубленными ногами. Очень хотелось брыкаться. «Спокойно, спокойно!» — говорила дамам. Все прошло, как в чаду, и не радость освобождения, а муть; серая, безнадежная скверность последовала тотчас за болями. Дама предложила записать для знакомых номер ее телефона. Лиза ушла через час, пошатываясь. Собаки спрятались. Григорий Богослов качал бородой и приговаривал: как сука, как сука!.. Начиналась вьюга, первая вьюга той зимы. Прокожих почти не было. Вдруг пошла кровь, и слабость увеличилась вдвое. Аркадий Гермогенович понял лишь, что случилось что-то очень ужасное, женское, когда Лиза с опустошенными глазами ввалилась к нему. Старая квартира оказалась ей по дороге. (В этих условиях и произошло ее знакомство с Куриловым.)

Чувство освобождения пришло позже, но с такой примесью пустоты, внутренней неуклюжести и какого-то непонятного сожаления, что она почти не испытала обещанной легкости. Муж не возвращался. Должно быть, все режет и шьет, «портняжит во славу божию», как вышутилось у него перед отъездом. Эти два дня вялости и тоски длятся целую вечность. Галька приносит свежие новости. Постановка Мари и Стюарт решена в театре окончательно и в положительном смысле. Ставить будет Виктор Адольфович. Композитор Власов сочиняет музыку специально для четырех барабанов. Кагорлицкая, как сторон-

ница Петра Федоровича, вряд ли получит роль.

— Ты выздоравливай скорее, а то все уплывет!

— Мне не дадут этой роли.. да мне и не сыграть ее. Я боюсь, как будто мне предстоит взбираться на башню, откуда нет лестницы назад...

— Какие глупости, Лизка! Все зависит от режиссера, — и она приводит в пример бесталанных актрис, которых сработали их театральные мужья. — Ну, не болит у тебя?.. придумала, что сказать мужу? Ничего, ты его поцелуй покрепче, чтобы не успел удивиться...

— Галька, ведь я же не лживая!

— Пустяки, ты всякая, ты актриса. Но у тебя аппетит не по росту. Девчонка, а тянешься за такой ролью: что тебе в ней?

Лиза молчит с минуту, потом велит ей идти в кабинет мужа и принести с нижней полки шкафа толстую книгу в белой коже и с бронзовыми застежками. И вот, они вдвоем листают это протоклитовское сокровище. Страницы шумят латунию, черные готические литеры стоят шеренгами с важностью бюргеров или гильдейских старшин. Похоже, что текст этой средневековой германской хроники, история сражений, мятежей и злодеяний написана сукровицей, потемневшей от времени.

— Видишь ли, Галя, в свое время это заменяло газету, — почти слово в слово повторяет Лиза объяснения мужа. — Сюда сводились все, самые свежие новости века, хотя иногда расстояние между ними измерялось десятком лет. К некоторым приложены правюрки. Вот, горит Гус в бумажном колпаке с нарисованными на нем чертями. Вот битва при Грансоне (— ватаги швейцарских лучников обрушивались на бургундцев, одетых в железо и почти заштрихованных тучей летящих стрел —), а это портрет нового венецианского дожа, Николая Спонте. Он был оратор и мореплаватель. (— Долгоносый старик с рубиновой застежкой на плече и в колпаке-единогоре надменно глядел с листа. —) Понятно?

— Как он угрюм, и худ и бледен... Откуда это?

— И вот, главное, что я хочу тебе показать. Это и есть Мария.

(Гравюрка не имела качеств документа; это была простодушная запись летописца о своем впечатлении от знаменитой казни. — На стеганом атласном ковре громоздился мясниковский чурбак. Склонив на него голову, стояла на коленях немолодая женщина, одетая по моде горожанок той поры: в рубашке с четырехугольным воротником и обшитой золотым шнурком по краю. Шестнадцать пожилых шотландских баронов, все на одно лицо, коленопреклоненно и с воздетыми руками молили всевышнего освятить последнее дыханье мужеубийцы. Палач замахивался топором с силой, достаточной расхватить и самую плаху. Перегнувшись назад, он глядел при этом на своего подмастерья, схватившего за волосы голову королевы, чтоб не отскочила в сторону...)

Здесь не было ничего лишнего, но Протоклитов научил жену прочесть по-своему, с внимательностью врача, и тяжелые цепи на шеях дворян, и шербатый топор заплечного мастера, и кожаный фартук его подмастерья... В десятый раз Лиза держит на коленях эту торжественную книгу ради одной этой бесхитростной картинки. Но ее пленяет не этот сгусток темных страстей или мрачное безумие властолюбья или горячее сердце, слишком расточительное на любовь и месть, а лишь самая смерть, трагическое послесловье, происходящее уже за кулисами искусства. И Лиза не догадывается проверить себя вопросом, стал бы Шиллер писать об этой женщине, если бы ее соперница пощадила ее?

— Она была очень грешная, эта Мария?.. ты говоришь, она убила мужа? — спрашивает Галька. — Как это страшно!

— А если она ненавидела его?

И, точно пугаясь мысли, что Галька заподозрит и ее в дурных намерениях, торопливо рассказывает о своей героине. Она знает о ней почти все, кроме того, что надо почувствовать актрисе. — Семи лет от роду она стала королевой, шестнадцати вышла замуж за будущего французского короля. Девятнадцатилетней вдовой она вернулась в Шотландию, привезя с собой знамя католической реакции. Она не признала Елизавету на-

следницей ее матери и сама приняла титул королевы. Она вступила в брак со своим двоюродным братом и, после гибели его, обвенчалась с его же убийцей. Гражданская война выгнала ее из Шотландии. На двадцать шестом году жизни она попала в руки Елизаветы и восемнадцать последующих лет провела в заключении, тратя время на интриги, заговоры и любовь. На сорок пятом году ей отрубили голову. Она была некрасива; это она изобрела знаменитый стиль артов чепец, чтоб прикрывать свой высокий, продолговатый лоб. Ее книги были переплетены в черный сафьян, а на нем вытеснен лев в щите и сверху корона. Она никогда не снимала с пальца перстня с веткой дрока на камне, древним украшением шотландских племенных вождей... И по всему видно было, что не Лиза, а сам Илья Игнатьич работал за нее над будущей ролью, собирая всякие сведения о несостоявшейся английской королеве. Лизе оставалось лишь запомнить никогда не использованные ею подробности. Она принадлежала к той несчастной разновидности художников, которые возлагают успех только на природное дарование и на чудесную, кратковременную одержимость. Приписывая обстоятельства этой борьбы личным отношениям между королевами, она обкрадывала самое себя, потому что преуменьшала размеры события, которому сценой служила вся современная Европа. И так, это была влюбленность даже не в самый образ, а лишь в его нарядную книжную эффектность, в старую материнскую сказку о женщине провинившейся и несчастной.

Сбивчивый лизин рассказ прерывает какая-то распря в прихожей. Двое кричат во весь голос, и можно подумать, что через овраг переключаются они. Галька бежит узнать и, возвратясь, беззвучно хохочет в ногах Лизы, окутанных пледом. Лиза накидывает на плечи халатик. В прихожей разговаривают двое глухих. Кухарка гонит смешного старика в равной бекешке, закапанной стеарином, в старомодном, с золочеными кисточками, башлыке. Воинственно размахивая рука-

ми, тот не собирается уступать ей позиций. Свет из двери падает в потемки, старик оборачивается—:

— Скажи ей... — плачевно произносит призрак, ища покровительства Лизы.

Ее испуг проходит быстро. Это уже не прежний Днестров-Закурдаев, а чучело, поеденное молью. Наверно, притащился за подачкой, и Лиза мучительно напоминает, куда она засунула деньги.

— Ну, войди, — и, посторонясь, пропускает Ксаверия в кабинет мужа. — Видишь ли, я нездорова...

— Я только башлык сниму. Все простужаюсь, знаешь. Плохи, плохи ксавериевы дела: сплошной цикорий дела! Я ведь ненадолго, Лизушка... Хотелось поглядеть тебя разок!

Он сдергивает свою рвань как попало и бочком вбегает в комнату, не давая Лизе времени одуматься. Руки его плотно прижаты к поясу; он не здоровается, чтобы не вводить Лизу во искушение обидеть его. По всему видно, что с ним уже не церемонятся. Он немножко суетлив, но смиренный, совсем ручной. Не верится, что это тот самый озорник, утравившийся посреди трагического монолога стащить пенсне с суфлера, изобретатель настойки на сухих грибах, повергавшей самых отъявленных пьяниц, фанфарон и самаркандец, как его в ту пору называли. От бывшего Ксаверия остался только кадык да вислый чувственный нос, да цветная рубашка отложным артистическим воротником; даже обычной перхоти нет на пиджаке. «Ага, ты почистился, прежде чем заявиться сюда. Ты даже снял тубетейку, чтобы видней была твоя старость...» И верно, именно седина придает Ксаверию такую почтенную чистоплотность.

Он осматривается, трогает вещи; вывешенного к номерному существованию, все его восхищает здесь. «О, у тебя Шекспир!» Он отмечает это с благоговением, точно видит его живого, и пальцем проводит по золоченому корешку, чтоб и его коснулась эта святость. Лиза зорко следит за его руками; надо приглядывать, чтобы не стащил чего-нибудь в суматохе чувств.

— Я рад за тебя, Лизушка. Ты деловая женщина, я всегда таких боялся. Ты ловко устроилась в жизни, но смотри! Силу опасно заменять хитростью... Впрочем, ты молодчина... и это правильно: надо поиграть всеми игрушками в этом мире! Но только не запивай. Что бы с тобой ни случилось в жизни, — не пей. А у тебя еще много будет всякого в жизни!..

Так, значит, он пришел каркать, этот подшибленный ворон? Лизу настораживает его жалкий и какой-то зыбучий хохоток.

— Как ты отыскал меня?

— Я к дядюшке забегаю. Тоже оборотистый, в линию пошло! Мы с ним посидели на сундучке, пошептались по-стариковски, ухо на ухо. О, нет... боже сохрани, чтоб я о чем-нибудь проговорился. Я сказал, что был твоим учителем... Ты ведь сейчас за доктором?

— Да, он хирург.

Ксаверий внимательно смотрит на ее поддрагивающие губы—:

— ... ты сказала, хирург? Это хорошо, очень хорошо. Вот инженеры сейчас тоже хорошо зарабатывают. Им премии дают, дачи, автомобили, очень приятно. И что же, любит он тебя?

— Да, повидимому...

Ладонь приставив к уху, Ксаверий взволнованно покачивает головой—:

— Это тоже очень хорошо. Любовь — самая страшная, только малопрочная власть. Владей им, владей, не выпускай, жми его, пока не раскусил тебя. Знаешь, я сюда третьего дня заходил, да старуха твоя не пустила. Ядовитая... жаль, что лаять не умеет. Душа моя болит о тебе. Что с тобой было?

Лиза пожимает плечами—:

— О, совсем пустяки. Поела несвежей колбасы...

Старик придвигается вместе со стулом. Лиза у него заискивающее и виноватое—:

— Что, что ты говоришь? Ты громче, я, ведь, не слышу. Закурдаев-то какой стал! Курам на смех, цикорий, а?

— Я говорю, отравилась! — в лицо ему кричит Лиза.

Он кивает, кивает, обрадованный, что она не сердится на него.

— Ты осторожней со своим здоровьем. Ты хрупкая, маленькая... береги себя! — В его голосе звучит ревнивая заботливость о женщине, которая выкинула его за ненадобностью.

«О, Галька права: вас чаще надо бить по сердцу, по щекам вашего сердца!»

Лизе становится скучно. Ясно, старец будет просить о чем-то. Было бы непростительной дерзостью тащиться к ней вовсе без всякой цели.

— Ладно, ладно! — Он все мямлит, и она сама идет напрямки: — как ты живешь? Я спрашиваю, как ты существуешь?

— Я? О, хорошо. Я теперь перешел на социалку, снимаю угол у вагоновожатого, очень хорошо. В общежитие хотел, да вакансий нет: плохо помирают...

— Пьянствуешь, поди? Вот, тетеря, я говорю, поди, водку хлещешь?

— Я? О, нет. Меня из статистов-то не за пьянство, а за глухоту выключили. Левое-то еще немножко слышит, его лучами лечили. А вот на правое не избрели подходящих лучей. Цикорий дело! Я сейчас архив один разбираю. Синие бумажки налево кладу, а розовые в отдельную стопку. Работа неинтересная. Товарищ Тютчев посулил хоть в билетеры определить, все-таки по специальности. Ты с Тютчевым не знакома? Большой человек, даже коммунист, а просто-ой. Зайду, поговорю с ним, а мне и лестно. Соскучился, знаешь, по людям. Со мной говорить-то трудно, глотка сипнет. Ты уж молчи, береги себя, Лизушка! — И с усмешкой глядит на ее голое плечо, с которого соскользнул халатик. — Твой муж не сердитый? Ничего, что мы сидим у него? Ты ему скажи, если спросит, что мы с тобой, как Иосиф и Мария, как Иосиф и Мария... А?

— Ничего, сиди. Его нет дома. Я говорю, он уехал. Может, есть хочешь?

— Нет, что ты! Я ведь так зашел, по знакомству... чем стала, взглянуть. Я издаля-то слезу за тобой. Пахомов (ведь когда-то служили вместе!) билетик даст, я и отпраляюсь... Такой праздник, такой праздник. Я все твои роли наизусть знаю... — И сам смеется

такому явному неправдоподобию выдумки. — Соврал, прости, Лизушка, на слабости моей!

— Ну, и как, нравится тебе?

— Неплохо, неплохо... — И такой-то сатанинский уголек блестит в ближнем его глазу. — Но до Мари тебе далеко, как до Англии. Ты сладенькое любишь, а тебе бы рассольцу хлебнуть! Единственно в ролях твоих — резвости много. Но играть ты могла бы. Однажды в жизни ты играла... смертельно играла!

Она вся подается вперед, она хватается большую, как растекшееся по коленке тесто, руку Закурдаева: —

— Когда это?.. когда это было?

— А в тот раз, Лизушка, когда ты пришла ко мне в номер. — Мятый, крупчатый нос Ксаверия краснеет. Гость шарит по карманам и сморкается так громко, что, кажется, должен прорваться платок. Остатки закурдаевского пафоса заставляют дрожать его надтреснутый голос. — Ты была дитя природы, дикой нашей российской природы. Ты пахла ситчигом и вся была, как репка, тверденькая, едва сполоснутая из ведрышка родной ковой водой. И песочек твой до сих пор на зубах у меня хрустит. Ты играла девочку, невинную до степени бесстыдства... ты играла самое себя. Тобой руководила истинная страсть, если ты посмела заявиться в логово, устланное костями предыдущих жертв. Господи, лопаточки-то как шевелились у тебя!.. и, помню, васильки твои были блеклые, щипаные такие, как цикорий... И даже я, я поверил тебе!

Этот человек имеет право быть несправедливым к ней. Лиза морщится и до самой шейки запахивается в халатик.

— Ну, перестань, довольно об этом. Я рассержусь!

— Лизушка, я ведь не в обиду. Ты только расплатилась за слезы, какие причинял я сам. Все равно, кто-нибудь должен был с'есть Закурдаева! По слухам, мудрый заяц благословляет волка, который его грызет, благословляет и пищит. Ты меня извини за нескромность: твой муж курит? Укради у него папиросочку для меня, а? Не курит... чудной

у тебя муж... если деньги на табак есть!

Опять начинается сморканье. Старческая чувствительность сопряжена с постоянным насморком. Не замечая лизинных зевков, он длинно распространяется о своих чувствах. «Вот когда, Лизушка, я сыграл бы Лира!» Несомненно, он и репетирует его тайком от всех: сидит на бульваре и читает, читает эти, для него одного написанные, строки.

— Ну, ладно... ты надоел мне. Надоел, говорю!

Он вскакивает, тормозится, поднимает с полу башлычок.

— Ты извини, Лизушка. Старики ведь все надоедливые. Нашего брата надо на ночь уксусом заливать да на холод ставить. Я уж побегу. У меня, знаешь, тоже дела...

Лиза идет проводить его. Расчувствовавшись, Ксаверий надевает протоклистовские калоши, и Лиза молчит: пускай уж! Ради сохранения достоинства он бормочет еще о каких-то житейских пустяках. Лизе неудобно, чтоб он ушел от нее с пустыми руками. Она возвращается к себе и торопливо ищет в сумке. Пестрый краешек двадцатирублевой бумажки вылезает из-под пачки квитанций. Ксаверию достаточно!

— Возьми это себе. купишь что-нибудь..

Тот отшатывается; красные фуксинные пятна проступают по лицу. Лиза засовывает ему бумажку в нагрудный карман бекешки.

— Ну, какие пустяки, бери же. Только условие: не напиваться. Ну, ладно, ладно...

Старик убегает в состоянии, близком к аполексическому, и даже забыв повязаться башлычком. Он ломится в стену, не видя дверей. Золоченые кисточки волочатся за ним по ступенькам. Лиза зовет работницу почистить кресло, где сидел Ксаверий: с него могли и напользти!..

Галька входит с видом понимающей и сочувственной серьезности. Все становится понятно.

— Ты подслушивала? — с ужасом спрашивает Лиза.

— Детка, не могу же я протыкать себе перепонки ради твоих гостей.

Имеющий уши слышать пусть подслушивает... откуда это? Кстати, сколько ты ему дала?

Через полчаса к Лизе приходит сожаление, что дала так мало. «Впрочем, все равно проплет!» В сумерки приносят телеграмму. Илья Игнатьич приезжает ночью. Надо выспаться, чтобы никаких признаков болезни не осталось на лице. Ей очень хочется увидеть во сне свою героиню, хотя бы та вышла к ней из подземелья Фозеринге со своею окровавленной, улыбающейся головой подмышкой. Говорят, для этого надо только сильно захотеть и загадать перед сном. (Ей все еще кажется, что проникновение в предмет состоит в усердном размножении деталей!)

Воображение переносит ее на пустынную дорогу от замка Фозеринге, места казни, на юго-восток, к резиденции Елизаветы. Лиза стоит, прижавшись к дереву, идет зимний дождь. Ледяные капли, собираясь на голых сучьях, падают ей на плечи. Деревянный мосток, еле видимый в ночных потемках, пересекает овражек перед Лизой. Во тьме она слышит скрипы, топот и плеск разбрызгиваемых луж. По размокшей дороге, прыгая на коленях, без остановок, через всю Британию мчится наглухо закрытый возок. Дюжина оголтелых молодых, сильных и веселых от смородинового вина, конвоируют эту чортову телегу, втыкая шпоры в своих чудовищ. Их факелы задевают о сучья и роняют трескучие крупички огня. В возке сидит плохо выбритый человек в сапогах с отворотами и с ячменем на глазу. Человека мучают блохи; время от времени он просовывает кончики пальцев под камзол и сквозь низаную кольчугу чешется, чешется. Боченок, обвязанный кожей, стоит на его коленях. На ухабах слышно, как плещется там желтый спирт и содрогается царственная тяжесть, помещенная в нем. От этого вещественного документа зависит теперь спокойствие всего королевства. Это голова Марии... Видение проскакивает сквозь Лизу, оставляя холодок на лице и внутренностях. Сверкают мокрые ступицы, гремит мостовой настил, бессонный возница лупит коней, нависая над ними, как судьба.

Лиза закрывает глаза и вместо выдуманного, желанного во сне к ней вламывается пьяный Закурдаев. Двадцатка пригидилась старику. Лиза бежит от него, захлопывая и запирая двери, но количество их бесчисленно, как бесконечна самая погоня. И тогда вмешивается благодетельный, все подавляющий Протоклитов.

— Ты очень кричала, Ли... (— это ее домашнее имя —)... и я решил разбудить тебя.

Он, как ребенка, целует ее в лоб и тотчас же, несколько дольше, в голое плечо. Ветер из его ноздрей щекотно колышет какой-то завиток ее волос. Лиза со скукой узнает этот признак; но сейчас она закричит, если муж вздумает обнять ее. И, чтобы отвлечь в сторону, произносит первое, что вспомнилось:

— Как хорошо, что ты приехал. Представь, вчера вечером ворвался какой-то человек в железнодорожной форме. Очень хотел видеть тебя, но не назвался. Груша заметила, что, уходя, он направился вверх по лестнице... Мы так перепугались!

Все это очень странно. Илья Игнатьич живет на последнем этаже и выше приходится лишь чердак. «Если это был Глеб, то почему не оставил записки?» Лиза еще долго слышит, как Илья из угла в угол расхаживает по комнате. Потом ее веки тяжелеют, все невесомее становится тело, и, вот, уже кажется, что радость жить на свете состоит в том, чтоб безнаказанно совершать глупости.

Кольцо

Никогда Илью Игнатьича не занимала в такой степени личность его брата. В конце концов, он ничего не знал о нем. Глеб налетал неурочный, всегда чем-то взволнованный, излагал очередное дельце, тряс руку и растворялся в тишине за дверью. Улица, поглощавшая Глеба, не достигала сюда вовсе. По самому своему ремеслу Илья был уединенного, камерного действия человеком. Его работа не терпела посторонних вторжений; улица же, первичный и самый шумный цех жизни, была прежде всего септична. Так высокое искусство

владеть скальпелем доставляло старшему Протоклитову сомнительное право на замкнутость.

Сперва Илье казалось, что Глеб попросту строит из себя загадочную натуру. Позже он сочинил для него образ непоседливого человека со множеством излишних телодвижений. Последняя подробность насчет прогулки Глеба к чердаку не выходила из того же ряда; если только он не был чердачным вором, он не заслуживал никакого внимания! И этот хитроумный врач с известностью, наполовину обязанной его изобретательности, не сумел отыскать самого простого житейского объяснения: не потребовалось ли Глебу переждать у чердака какое-то время, прежде чем снова появляться на улице...

Карьере Глеба, так расчетливо начатой десять лет назад, на всем разгоне грозило крушение. Страх родился изнутри, внешних поводов для него пока не имелось. Дело началось с пустяковой анкеты, присланной для заполнения. Предвидя всякие случайности, Глеб готовил тогда же краткое, полное достоинства и мужества заявление в Центральный Комитет, где сокрытие социального происхождения объяснял разумным нежеланием платить за политические преступления отца. Добровольность этого признания, сопоставленная с безупречной семилетней деятельностью, должна была, по его плану, парализовать центральный пункт возможного обвинения. Через неделю настроения его в корне изменились, и опасная бумага была уничтожена. Как-раз на другой после того день он получил длинейшее, третье по счету, письмо от Кормилицына, вложенное во второй конверт и с припиской, сделанной незнакомым почерком. Она гласила, что адрес был уже написан покойником, когда произошло несчастье, задержавшее отправку письма на целых полмесяца. Евгений Алексеевич Кормилицын, купаясь в реке, утонул при неизвестных обстоятельствах.

Так иногда с червивой улыбкой Ирода-Антипы судьба дарит удачнику голову его врага. Но в самом начале гнев был сильнее радости о смерти дурака.

Глеб с яростью прочел эти шесть убористых страниц, начиненных благодарностью, пересыпанных множеством интимных признаний, почти улик, и украшенных восклицаниями вроде — «Молодец ты, Глебушка, наши нигде не пропадут!» или «Мы на тебя издали сможем, любимся украдкой и гордимся тобой...» или «Уверен, что дойдешь до высоких степеней; но, зная твой темперамент, просим — не торопись!» Письмо отличалось от предыдущих искренностью, порою даже нежностью, а кое-где и проблесками живой мысли. Кормилицын и сам предвидел изумление приятеля: «Пусть не покоробит тебя это нашествие непрошенных слов. Но всякий имеет право закричать однажды о своем разочаровании. Вот, мне пошел сорок первый год, и я без прежней беспечности гляжу в будущее. Кроме того, я вижу разные вещи, и они стыдят меня. Странное дело: много убили, а пусто не стало! А помнишь, как страшно пахла земля сраженным, упавшим человеком? Еще недавно в краю нашем усердно помирали мужички, а дети их нынче шпартят плясовые на гармонях (— помню, как ты всегда ненавидел эти расписные, поющие голенища!) и составляют планы великого набега на мир. И, знаешь, Глебушка, мне нравится и трактор сам по себе, и наш совхоз с его прекрасными конями, и даже армия — сытая, умная, в добротных сапогах (— я сам, своєю рукой их шупал!) А вчера, блуждая по рошце и слушая трельные девичьи голоса на вечерней реке, я даже спугнул чужую любовь. Жизнь-то весьма продолжается, Глебушка...» В этом месте он элегически распространялся о горечи преждевременного стариковства; предчувствием близкой гибели были пронизаны эти строки.

«... растрогало, что ты выполнил мою просьбу. Старушка пишет, что получила, наконец, твои деньги, хотя и не поняла, почему ты внезапно превратился в Григорьева; я объяснил ей письмом как умел. Не жалею, что ограбил тебя на эту сумму. Со временем верну тебе с лихвой, а пока считай, что ты помог своей собственной матери. Теперь этой старушке ты стал роднее ее процальгити-

сына. Ладно, чорт с тобой, зарабатывай благословение Исааково, не ревную. (Между прочим, зря ты послал все пятьсот. Я нарочно запросил, а ты не поторговался. У меня есть подозрения, что старушка скупает на черный день мануфактуру. Она обошлась бы и половиной суммой!) Зато насчет Зоськи берегись! (Писал я тебе о своей женитьбе, милый друг?) Она фельдшерница, умница и красавица из тех, какие могут только сниться избурленному войной солдату вроде меня. Довольно часто она спрашивает меня о тебе; видимо, черты твои в моей передаче выглядят особенно привлекательно. Зоська — это все, что во мне еще не умерло. Вот уже полгода длится мой медовый месяц. Но если и ее отнимут у меня злые люди, тогда... Кстати, чтоб не забыть; я из газеты вычитал, что комиссаром на твою дорогу назначен некий Курилов. Узнай, не тот ли, на которого мы так безуспешно охотились в Камский период. Если же так, то остерегайся его. Эти люди умеют мстить, и, отдав справедливость, это у них недурно получается. В крайнем случае, сматывай удочки и катись к моей старушке под крыло...» Глеб сжег письмо и проклял наивную дружбу, водившую пером этого недостреленного изгнанника.

— Тебе следовало отправиться купаться до написания письма. Вода прогрелась бы твой жар... — сказал он вслух, растирая в ладонях хрупкие стружки пепла.

С силой взрыва вспомнилось ему все, что старался забыть. Значит, не порвались связи, не остыло прежнее родство! Прошлое протягивало ему свои обугленные культяпки; он прятал руки за спину, и тогда властно, мозлами обрубков, оно сжимало ему самое сердце. Было ужасно думать, что кто-то третий прочел это болтливое послание с иного берега. Он подверг всестороннему изучению внешность конверта и нашел, что клеевая полоска в одном месте сдвинута в сторону. В течение недели он с беспокойством всматривался в лица своих черемшанских знакомых. Всякая мелочь, даже небрежный кивок соседа, настораживала его. К нему возвратился детский страх,

как у раскрытого окна освещенной комнаты; по внутренней неловкости он угадывал снаружи чужие, недобрые глаза; он не различал ни одной пары из них, а они видели его в подробностях, недоступных ему самому. И все ждал, кто первым по нему выстрелит... Он явно заболел. Сидя на заседаниях, он испытывал болезненный зноб, почти паралич воли, едва кто-нибудь вставал позади и смотрел ему в затылок. Потребовалось истребить у себя все, что могло обнаружить его знания или культурные навыки; его комната опустела, но и самая голызна бревенчатых стен выдавала. Он научился урезывать свои потребности во всем, лишь бы не утратить спасительной легкости и зоркой подозрительности. Он ждал залпа по себе и уже уставал ждать.

Его душевное состояние отразилось на его деятельности. Газеты отметили перебойность в работе Черемшанского депо. Очень своевременно забыли, что оно дважды получало почетные дипломы, а его начальник ставился в пример отстающим. Теперь этот человек падал, и причины падения заключались в нем самом. Задолго до развязки он вынул вожжи из своих рук, утратив уверенность в доверии к себе. Депо изобиловало людьми, мало склонными к новым порядкам на железных дорогах, и даже самого дерзкого из них Протоклитов не смел назвать негодяем из опасения получить в ответ еще худшее слово. Несмотря на увеличение штрафов и взысканий, грозивших войти в систему, к зиме неблагоприятие достигло почти аварийных показателей. Это происходило в самый разгар знаменитой истории с комсомольским паровозом. В продолжение двух месяцев Протоклитов противился выделению машины в руководство деповской молодежи, пока редакция дорожной газеты не приняла участие в начинающемся скандале. Начальник депо ссылался на пункт инструкции, требовавший от машиниста годовой работы в качестве слесаря. (Сайфулла же, комсомольский кандидат, миновал это условие, сразу выдержав экзамен на машиниста.)

Общественность всего узла не реша-

лась включиться в борьбу; Протоклитова боялись. Только что назначенный из ЦК партийный организатор работал до того директором маленькой обувной фабрики; его знания не превышали знаний рядового пассажира. Протоклитову не составило труда убедить его в рискованности комсомольской затеи. Вдруг, круто повернув, начальник депо согласился отдать молодежи одну из лучших машин, ходившую на товарных дальнего следования. Угадывая какой-то хитроумный ход, молодежь отказалась и взамен предложенной взяла другую, добротную, но запущенную машину, стоявшую в бездействии с отломанным колесом. Ее ремонт начался немедленно. Скандал как будто улаживался, но тогда-то и начались таинственные происшествия с комсомольской машиной, закончившиеся приездом заместителя редактора дорожной газеты, Пересыпкина, очень в едливом и вредного, по слухам, паренька... Везде не без болтунов: в это, приблизительно, время Протоклитову и сообщили, какого рода справки наводит о нем стороню Курилов.

Так, значит, сам Курилов был за егеря в этой удивительной области. И, вот, Глебу вспомнился во весь рост этот большелобый, олегова обличья, седоусый человек, первая встреча с ним, неискusstный тон его лукавого приятельства, и еще — как усердно, точно пыж в шомпольное ружье, набивал он табак в прогорелую свою трубочку. Такие загонщики, в случае временной неудачи, не отстают, а лишь пускаются наперерез зверю. Все чаще Глеб испытывал волчье стремление бежать из Черемшанска, пока охотники, живые и мертвые, не образовали сплошного кольца. Путиами, слишком утомительными даже в перечислении, Глеб изучил биографию врага и не отыскал в ней ни одной черты, позволявшей ему рассчитывать наговор или пощаду. Он правильно сообразил, что в случае раскрытия тайны одним из первых о ней узнал бы сам Курилов, как едвойне заинтересованное лицо. Тогда он решился на поступок, вполне обнаруживавший его смятение. Он бросился в Москву, с намерением в упор потребовать объяснений от Курилова. Эта бесе-

да была задумана в тоне бравады, даже прямого нападения обескураженного и загнанного человека; она должна была выяснить, много ли Курилов знал о Глебе.

«Мне противна эта слежка, пойми меня. За один квартал меня посетили шесть всяких бригад. Обследуют все, кому не лень. Последняя интересовалась, правда ли, будто я ежедневно с'едаю два казенных обеда. Пойми, что это дискредитирует меня как начальника. Дешевле и проще было бы снять меня вообще с работы!»

«Чего же ты впадаешь в панику? Трудись, пока ничего не случилось, а мы посмотрим...» — трезво возражал воображаемый Курилов.

«Ты не отпустил меня с дороги, когда я просился, а теперь расспрашиваешь моих врагов обо мне. Сообщи мне свои подозренья. Может быть, я поджигал грудных детей на керосинке, или продавал паровозы в частные руки, или резал своих партаргов и муровал их в стенку? Скажи, и я признаюсь или попытаюсь доказать тебе, что это не совсем точно!» — И хотя все это была только симуляция гнева, самая опасность предприятя заставляла его сжимать кулаки.

Так, разгорячив себя, он взбежал по лестнице в управление и остановился с чувством досады и растерянности. Из коридора подвигалась на него необычайная процессия с Куриловым во главе. Двое поддерживали его под руки, а один из них, с выраженем государственной скорби на лице, был Фешкин. Курилов шел неверным, шатким шагом, беспоясый и с померкшим лицом. Ему было очень больно. Он показался Глебу огромным, несчастным и трагическим. Уборщица волочила кожаное его пальто, а старичок справа, почти не касаясь пола, нес фуражку и пояс. Глеб прижался к стене, пропуская шестие мимо себя. Их глаза встретились, и в куриловских не отразилось ничего. (Все, что Глебу удалось выяснить в секретариате, было крайне неточно и противоречиво. На этот раз припадок сопровождался рвотой, и хотя Курилов жаловался на боль в пояснице, местный, недавнего выпуска врач настаивал на отравлении. Глеб имел

основания не поверить диагнозу этого самонадеянного молодого человека; слишком едко однажды, в его присутствии, потешался Илья Игнатьич над ошибками амбулаторных врачей...).

Итак, сводя их на поединок, судьба уравнивала и самое их оружие. В этом свете даже гибель Кормилицына приобретала высокое провиденциальное значение. «Э, не без козырей в любой колоде!» Теперь все зависело от характера и темпов куриловского заболевания. Желтое, остаревшее лицо врага живо стояло в памяти Глеба. Во время войны и позже, когда доводилось выезжать на дорожные катастрофы во главе вспомогательных поездов, он научился распознавать жертвы не по искосерканности их тел, а по признаку особого равнодушия и отрешенности в глазах. В эту минуту пока еще неуверенного торжества он испытал странное смущенье, почти стыд за свои мысли, и понял, что давно, с самой первой встречи завидует Курилову. И если только всякая зависть есть уважение подлеца, он уважал его за все — за то, что тому не надо скрываться, что перед ним лежат прекрасные, океанской широты пространства, что достойна подражания прямизна его жизненного пути, что даже промахи и ошибки его величественны и человечны. Зависть становилась гигантской увеличительной линзой, под которой в гипертрофированных размерах представляли достоинства врага. Но этот немудрый душевный прибор обладал всеми недостатками своего вещественного оптического собрата. Он показывал объекты по частям, и в каждой из них Алексей Никитич переставал быть самим собою, а на деле Курилов был обычный человек, не чуждый ни одной из земных утех: он любил вино, могучие деревья, статных лошадей, хорошие книжки и, случалось, засматривался на красивых и всегда чужих женщин. Только эта завершающая встреча объединяла в целое разрозненные наблюдения Глеба. — Был смертен даже и этот человек, отец идей, выходящих далеко за пределы видимых горизонтов!

Глеб вышел на улицу, когда, по его расчетам, куриловская машина должна

была уже от'ехать. Стемнело; с высоты зданий лилось пльвучее сиянье вечерних прожекторов. Наступил торопливый час раз'езда; иною, noctную сторону поворачивалась Москва. После первого морозца приходила первая оттепель. Снежинки щекотали лицо. Вдоль громадных отсырелых стен двигались пешеходные потоки, то тончая до узкой нитки, то уширяясь и выступая на мостовые. И тогда, мешаясь с миллиейскими свистками, раздраженной кричала автомобильные гудки. Глеб бесцельно двигался вместе с общим потоком; в одном месте кто-то отдернул его за плечо, и тотчас же аварийная машина, подобная осадной башне, скользнула мимо. Он так и не понял, что именно произошло. От непривычки к новым обстоятельствам все раскачивалось в нем, и эта неустойчивость была так же приятна, как выздоравливающему его радостная слабость. Скоро он свернул в переулок и вышел на один из московских мостов. Здесь, опершись о перила, он смотрел вниз, в черноту ледяных промоин. В воде отражалась часть кремлевской стены. Рябая снежная мгла все гуще заволакивала это азиатское нагромождение золота, древних святынь и белого камня. Снегопад усиливался. Когда Глеб поднял голову, рядом с ним стоял старик в рваном треухе. Тощий пес у его ног как бы удостоверял личность человека. Старик пристально смотрел на Глеба.

— ... подари десять рублей, сынок, — говорил старик. — Выхворался весь до полной тощести, а нас двое...

Были еще какие-то две фразы до этого и после; Глеб не разобрал их. Мельком он покосился на опухшие руки нищего и подумал, что милосердие требует почти больничной опрятности просящего. Грязная, невеселая нищета никогда не трогала его. Он отодвинулся и продолжал следить за ленивым бегом зимней воды.

— Я тебя, сынок, лучше принимал. Помнишь, на Пушечной... вы там человекка искали, а человек-то на чердаке у меня сидел. Забывчивая юнче молодежь!

Голос был чужой, бродяжий, но наг-

лость обращения не могла быть беспричинной. Этот человек собирался что-то напомнить, подмигивал и даже положил поспинелую руку на кожаную рукавичку Протоклитова. Глеб помнил точно, у него не было знакомых с таким лицом, как бы оклеенным в седой и мятый войлок... но вдруг он выдернул руку и побежал. Собака метнулась за ним, да и сам старик, опасаясь упустить поживу, проявил несвойственную его возрасту резвость. Выгоднее всего оказалось бежать прямо в узкий тот проход, где из-за густоты движенья и близости трамвайной остановки всегда происходила толчея. Как-раз там образовалась пробка. Слышалась брань ломовых, нетерпеливые возгласы машин и резкий, знобящий свисток постового. Поверх толпы вскинулась оскаленная, с хомутом по самые глаза, голова битюга, как смаху осадил его возчик. Из-под его татарского малахая сверкнули закошенные глаза, и тотчас же кто-то закричал надорванным фальцетом: «Задавили, задавили...» Изовсюду рванулись люди, и даже в окнах прилежащих домов явилось какое-то оживленье. Мгновенно образовалась толпа; задние еще вопили, а передние уже смолкли, удовлетворив свое любопытство к смерти.

... третью голову на протяжении недели дарила Глебу судьба. Напуганный ее щедростью, как будто тем грознее становилась расплата, он вернулся и, протискавшись, выглянул из-за чужой спины. На утоптанном снегу, перед самым колесом пятитонки, лежал длинный, косматый, сплюснутый посредине мешок. Но это была только собака старика. Радужный отблеск от зеркального обода фары падал на голову дворняги, и было видно, что успели втоптать в снег и хвост, и простецкое ухо Егорушки. В сутолоке несчастья шофер подал машину назад, и, следовательно, в то случилось дважды. Милиционер махнул рукой, чтоб не задерживали движенья. Толпа раздалась, булькнула жидкость в длинных оплетенных бутылках, и колесо в третий раз ступило на омеличевского друга.

Движение приходило в прежнюю стройность; только на заиндевелом экра-

не кремлевской стены еще шарахались четверорукие, двойные тени пешеходов. Глеб испытал облегченье: в счет шла только собака! Но сбоку от себя он опять заметил старика. Глеб ускорил шаг, и тот последовал за ним. Если раньше у него и не было намерения выдать Глеба, сейчас, озлобясь за гибель собаки, он мог решиться на все. Глеб вскочил в автобус, и целых пять минут старик терся сзади о его плечо. Они вылезли на одной и той же остановке, и уже ясно стало, что вовсе не денег нужно было преследователю от Глеба. Прорваться сквозь густую вечернюю улицу казалось безнадежным предприятием. И тут-то, ускользающему от этой непонятной погони, Глебу и потребовалось заглянуть на квартиру Ильи, случившуюся по дороге.

Пересыпкин ищет деятельности

В те годы создавались черновики будущей истории эпохи. С ними торопились, пока жили непосредственные участники ее. Разделами сюда входили фронты, заводы и восстанья, — все, вокруг чего объединялись боевые и творческие силы революции. Все стремились подводить итоги, как будто эпоха была в основном уже закончена. Заместитель редактора дорожной газеты Алеша Пересыпкин также решил примкнуть к этому, почти стихийному движению. Правда, Волго-Ревизанской дороге не равняться было, конечно, с основными очагами рабочего движения, но и у нее имелись свои герои. Кроме того, дорога росла с каждым годом, и юноша верил, что со временем из нее образуется нечто большее, чем только транссибирская магистраль. Подобно Алексею Никитичу, он также имел виды на будущее, хотя и уступавшие куриловским в масштабах. Так, например, он уверял Алексея Никитича, что вовсе не рыбой или лесом или сырыми кожами пахнут вагоны, приходящие на их дорогу с востока, а прежде всего свежим вольным ветром Океана, которым и предстояло дышать последующим поколениям. Иногда это оформлялось у него в фантастические проекты объединения всех железнодо-

рожных линий в восточном и юго-восточном направлениях, как будто это имело отношение к объединению воль миллионов таких же нетерпеливых юношей, как он сам, жаждавших борьбы, шумной деятельности и подвигов. По его словам, это диктовалось особыми мирными задачами Советского Союза на помянутых окраинах.

— Замечательный ты парень, Ленка! — задорил его Курилов, стремясь проникнуть в самое его существо. — Демагог, правда, и чуточку сердит. Впрочем, у испанцев есть даже поговорка: мужчина должен быть свиреп. Кстати, и нос подгулял, точно велосипедом переехало. Ты б его хоть припудривал... все-таки лицо официальное!

Тот принимал с видом равного этот дружеский шлепок —

— Бóтай, бóтай меня, старик! — (Как ни старался Алексей Никитич, так и не сумел выгравить из речи Пересыпкина полублатных оборотов, привычки беспризорных лет.) — Ты мой старший товарищ, и я, твое творенье, верю тебе во всем... но не зазнавайся, Алексей! Я начинаю там, где кончаешься ты. Нынче забегал ко мне в редакцию Костя Струнников... он заведует домом отдыха в Боршне. Парень — нечем крыть; мы с ним школу кончали вместе. Я еще ему однажды кронциркуль проспорил... Так вот, говорит, что надоело жить на ренту от папаш, скучно пересчитывать простыни да варить супы для малокровных. Пора, говорит, и нам з а и м е т ь свое прошлое. А Костя у нас не один! — И он закусывал при этом безволосую губу, а глаза загорались сдержанной и гызывающей усмешкой.

— Учись пока, Ленька... всему учись. Без знаний не бывает истинной храбрости!

К слову, о Пересыпкинне. — Этот непоседливый юноша был значительным эпизодом в семье Куриловых. Под Царицыным Алексей Никитич снял его со своего вагона, маленького обмороженно-го дикаря. За это путешествие мальчик платился всю жизнь; уши и нос его приобрели удивительное свойство шелушиться во всякую погоду. На расспросы Курилова он отвечал, что мамка его

сгибла, об'евшись глины, а сам он намеревается пробраться в Турцию, а зовут его Ленькой. Два месяца мальчик жил в куриловском вагоне, деля с ним поровну всякие фронтные приключения. После того, как в вагон попал снаряд, легко подранивший их обоих, Алексей Никитич отослал приемыша к Катеринке. Приручение малыша происходило с трудом; бродяжки склонности время от времени пробуждались в нем, он убегал и возвращался, всякий раз — тише и задумчивее. Ввиду частых переездов Курилова с места на место Пересыпкин на время учебы был помещен у Тютчева, не покидавшего Москвы. Они часто встречались, и Алексей Никитич с пристальным любопытством присматривался, как из беспризорного парнишки пробивается отличный молодой человек, годный и жизнь делать, и, в случае нужды, нащурив левый глаз, бить из автоматического ружья. В последнюю встречу Пересыпкин смотрел на жизнь уже вполне серьезно, был препоясан множеством неизвестного назначения ремешков и носил сбоку кожаную, военного образца, сумку с государственными бумагами. Курилов всегда держался в отношении к нему тона покровительственной иронии, а Ленька платил ему вспылчивой и беззаветной дружбой. На дорогу Пересыпкин пришел годом раньше.

Толчком к началу Алешиной работы послужила одна макулатурная брошюрка, подложенная под пачку книг, чтоб веревка не резала переплетов. Это был оттиск анонимной статьи с очень трудным и длинным заглавьем. Явно полемическая, статья эта обсуждала некоторые вопросы государственного кредитования и гарантий строителям частных дорог в бывшей Российской империи. Стояла дата: 1876. В редакционных сносках внизу приводились точные цифры оказанных правительством льгот Либаво-Орловской, Феодосийской и С.-Петербургско-Варшавской железным дорогам — сравнительно с теми, какие получили учредители новой линии Волго-Ревизанского общества. Именно эта дорога, четверть века спустя преобразованная в Волго-Московскую, доводилась прабабкой той, где теперь работал Пере-

сыпкин. Статья была написана по-русски, она не изобиловала цифровым материалом, касалась предметов уже знакомых, но Ленька прочел ее трижды и не понял ничего. Глиняная ассирийская дощечка была бы в той же мере доступна ему, как и эта архаическая путаница из Вестника промышленности восьмидесятых годов. Самолюбие Леньки было задето; несколько дней он потерпел, а потом с готовым предложением ринулся к Курилову.

Вначале он потребовал объяснения многих непонятных ему терминов, Алексей Никитич выразил удивление. Советская система настолько круто перестроила все правовые, финансовые и прочие отношения, что уже незачем было воскрешать варварских законоположений минувшего века. Он даже обмолвился в том смысле, что история дороги должна быть прежде всего историей революционного движения на ней. И тут Алексей Никитич прочел молодому человеку небольшую лекцию о том, как правительство Александра Второго, напуганное провалом Севастопольской кампании, бросилось на поддержку любой частной инициативы, сделав дороги ведущим тезисом государственной политики тех лет. В заключение он советовал прочесть ряд общеизвестных книг по истории капитализма, списаться от его имени с живыми участниками революционных бурь и пригласить толкового сотрудника со стороны, который придаст бы стройную последовательность собранному материалу. Словом, он строго учитывал небольшие возможности товарища Пересыпкина. Будущий историк отмалчивался; по всему видно было, какая-то сенсация переполняла его. (После того как газета раскричала одно не шибко удачное изобретение по автоблокировке, Алексей Никитич стал подозревать Пересыпкина в излишней склонности ко всякого рода сенсациям.)

— Ты меня не понял, Алексей, — осторожно намекнул Пересыпкин. — Я хочу проникнуть в самые истоки.

— Чудак, ищи их в общем развитии экономики.

— Мне хочется понять, что поделывали самые людишки, пока развивалась

твоя экономика. Видишь ли, тут пахнет какой-то махинацией... — уклончиво возражал Пересыпкин и вдруг высыпал перед Куриловым целую пачку давно забытых и безжизненных имен.

— Да зачем они тебе, отроча? Зачем тебе главноуправляющий Мельников или этот парижский банкир Исаак Перейра?

— Мой Бланкенгагель учился мошенничать у Перейры.

— Умойся, Леня... какой Бланкенгагель?

Впрочем, начальник так и понял, что его приемш замыслил в художественной форме свести кое-какие счета с отечественной историей. Стремясь всемерно поощрять развитие искусств на транспортной тематике, он значительно облегчил Пересыпкину доступ к дорожным архивам. Ничего там, однако, не оказалось, кроме устарелых отчетов о грузооборотах и сводок о движении профсоюзных взносов. Предстояло или отступление, или создание длинного очерка, каких имелись уже десятки. Тогда Пересыпкин вспомнил, что именно Боршня была когда-то штаб-квартирой Волго-Ревизанской авантюры. Косте Струнникову было послано слешное письмо с просьбой, во имя проигранного кронциркуля, прислать любые клочки испсанной бумаги, какие отыщутся на борщнинских чердаках. (В бытность беспризорником товарищу Пересыпкину приходилось посещать провинциальные чердаки, и всегда ему бросалось там в глаза обилие осиних гнезд да использованной бумаги.) Юноше повезло в размерах, заставлявших подумать о существовании высшей справедливости. Через месяц в адрес редакции прибыл ящик из-под копченых сельдей, 42 × 65, полный старой бумаги. В уголки Костя насовал яблок из собственных садов, прямо с веточками (— и яблочный запах одолел все прочие!), а в сопроводительной записке прибавлял, что послал бы почтой одну музейной давности старушенцию, не то няньку, не то дядьку последнего помещика, если бы не опасения, что рассыплется на составные части при перевозке. (Старуха проживала в сторожке при парке, на-

вода суеверный ужас на все юное население Борщни.)

Даже яблока не надкусив, наш историк кинулся на обследование полученных сокровищ. Он испытал головокружение, знакомое лишь удачливым кладоискателям. Немыслимо было в один прием охватить разумом исполинский дар Кости Струнникова. Все это были остатки личного архива Ореста Ромуальдовича Бланкенгагеля. Сюда входили амбарные и инвентарные книги с полными, за несколько лет, отчетами по усадьбному хозяйству; альбом рыжих овальных дагерротипов с изображениями всех тех, кого Пересыпкин сажал ныне на скамью подсудимых; проект и устав Волго-Ревизанского общества с копией прошения на имя главноуправляющего Чевкина о дозволении произвести путевские изыскания; переписка на разных языках, а о чем — это было пока сокрыто от Алеши; неоднократные рапорта горигорецкого исправника Рынды-Рожновского о военных действиях против разбойника Спирьки; две жалобы управляющего именем М. Бородулькина о потрахвах гречихи, о самовольном выкосе трав и о блуждании мужиковских умов; акт поимки помянутого Спирьки на свадьбе в деревне Кострица 12 мая 1876 г. и тут же подшпиленное удостоверение местного врача Дубяги и приходского священника о смерти его от неисследованной хронической болезни; телеграммы директора Флуговского завода в Берлине, Унруэ, о продаже и отправке первой партии, шести паровозов, в адрес Волго-Ревизанской дороги; набросок карандашом миловидной девушки в амазонке, сделанный на обороте официального уведомления Министерства двора о том, что предводителю горигорецкого дворянства, О. Р. Бланкенгагелю, надлежит явиться для несения ночного караула при прахе государя Александра II в ночь с 15 на 16 июля 1881 в Богоявленский собор; еще один рисунок той же особы, отлично сохранившийся, если бы не давленная муха, прилипшая к ее лицу; неизвестно каким образом попавшее сюда послание сергиевского архимандрита Антония к горигорецкому ие-

рарху о выгоде соседства с железной дорогой по причине наплыва лишних богомольцев («... видится мне токмо польза, преосвященный брат, а буде приступит грех, да не смятемся, встретим в поле и сразимся с ним!»); ругательное, в сжатой форме, письмо Э. Г. Гриббе об отыскании неизвестной личности Пафнутия, ангелиста по виду и присутствию длинных волос, и о нахождении при нем саквояжа с книгами преступного содержания, как-то: «История французского крестьянина» и «Сказка о четырех братьях» (— по указанию г. уполномоченного корпуса жандармов, штаб-ротмистра А. Т. Штейнпеля, Гриббе просил установить наблюдение за домашним учителем А. Г. Похвисневым...); вырезки из газет об открытии Волго-Ревизанской дороги, чем завершась присоединение Горигорецкого округа к лону европейской цивилизации; переписанная от руки роль магнетизёра Жезлаковского из несохранившегося водевиля Дядюшкин пцелуй, поставленного на домашней сцене в Борщне 19 июля 1876; афишка помянутого спектакля, с указанием исполнителей и вставленная в пенальчик из бамбука... (В виньетке, сработанной в древне-славянском стиле, желтые херувимы с лицами присяжных поверенных несли в зубах, за неимением рук, визитную карточку с загнутым уголком. На ней под титлами написано было: Дядюшкин пцелуй. При этом выяснилось, что роль гусара выполнял Н. Я. Дудников, роль дядюшки — О. Р. Бланкенгагель, роль лакея Робино — г. Жак Поммье, роль Аглаи, 22 л. — Таня Бланкенгагель, роль волшебника Агафита Абдула 72 л. — г. Шемадамов и, наконец, роль шалопаю Митрофана Спиглазова некий Аркадий П., причем в скобках было помечено карандашом три с полтиной и мощный восклицательный знак. Отвергая всякую мысль об уплате исполнителям в домашнем спектакле, следует предположить, что это был только домашний псевдоним артиста.) Словом, нет никаких возможностей перечислить в один дух все сокровища, обвалившиеся на Алешу Пересыпкина. Уже от одного

созерцания их должна была родиться новая Илиада!

Весь тот вечер он потратил на изучение лишь одного из них. Это была фотография большого размера, снятая на террасе борщнинского дома в день открытия дороги. На обороте имелись дата и фамилии лиц, составивших группу. Этот документ пострадал больше всех; какой-то своенравный мальчик подправил его по своему вкусу и одного из гостей одел в юбку, другого подрумянил отличной, цвета речной бодяги, зеленью, третьего же превратил в подойник. Пересыпкину долго пришлось смывать ваткой этот простосердечный комментарий потомка. Труды его, впрочем, были вознаграждены полностью. Налицо был иллюстрированный список действующих в его будущей повести лиц... Все это были покойники. Перед обширной террасой, под сенью превосходных лип, сидели они в предвкушении обильного обеда, свидетели открытия Волго-Ревизанской дороги, которая уже не существовала в прежнем своем виде. Покойники прислуживали им, таща мертвую ботвинью и заливную осетрину, изготовленную покойниками же. Умерло время, но сохранилось мгновение, запечатленное на бромосеребряной бумаге... Покойник наводил на них суставчатый, длинный глаз штейнгелевского объектива, который давно устарел. Уже невесомые клочья пены падали из бокалов, поднятых за здоровье героического Бланкенгагеля. Шипучее вино, охмелявшее их рассудок, было с тех пор и облаком, и лужей, и мокрым снежком в руках ребенка; оно поднималось на высоту лишь для того, чтоб сверкнуть в полосе радуги; оно извергалось из глаз страдалицы или из мочевого пузыря животного; оно просачивалось в затхлую глубину земли, кроша камни по дороге, чтоб через год вкрадчиво вползти снова в гроздь винограда, голубую от солнца. Так, через тысячи скрытых от разума русл, оно вливалось в трепетный недремлющий Океан. Материя стремительно пронеслась сквозь эти призраки, напрасно раставлявшие руки, чтоб уловить ее и задержать. И даже солнце — непотворимое, моложе на полвека — гре-

ло этих заносчивых и деловитых мертвецов.

В центре помещался плотный, львиного вида человек с отменнейшими бакенбардами. Они были главное в его лице, остальному предоставлялась роль декоративного дополнения. Они уходили за отложной воротник сорочки и, несомненно, продолжались вдоль всего тела, до самых пят, наподобие лампасов. Это и был старик Бланкенгагель. Парадный, как базилев, он один сидел в кресле. По сторонам, уже на стульях, сидели другие мужчины, все еще в соку, с цилиндрами на коленях и в приятно-замысловатых позах. Один только затесался между ними старичок с лысой и острой, как ракушка, головой и со старческим вислым сальцем на щеках. (Вдумчивый ребенок преобразил его в дерево, покрытое желтыми, вроде одуванчиков, цветами). На нем был надет мундир неопределенного ведомства и с таким обилием орденов, что Алеша Пересыпкин даже засмеялся тихо-тихо. (Не этот ли Эдуард Гаврилович Гриббе и был главным сообщником Бланкенгагеля?) Обращали на себя внимание еще один, пришедший на обед со здоровенной саблей, и другой, в громадном сюртуке, откуда и выглядывал, как св. Тихон Калужский из своего дупла. Какой из них был П. Д. Пестриков и какой П. П. Хомутов, выяснить стало уже невозможно. Прогрессивные демократы, они позади себя поставили четых рослых, с решительными физиономиями и крестьянского обличья, стариков; наверно, это были родоначальники каких-то купеческих или кулацких династий. И как будто совсем случайно попал сюда молодой студент, А. Г. П., в форменной тужурке; но он двинулся в момент съемки, да так и остался для истории с неуловимым, смазанным лицом, подобным горшку на гончарном круге.

Схема возникновения дороги была налицо. Оставалось подыскать связь между событиями, перенумеровать датами эти звонкие кости и, по способу Кювье, надеть на них румяное тело событий. Сама судьба, предвидя суд потомка, копила эти документы на борщ-

нинском чердаке. Удачами такого рода Алеша не был избалован, и, кроме Курилова, иронии которого он всегда побаивался, не было у него ни матери, ни сестры, ни задушевного приятеля под рукою, чтоб поделиться с ними радостью. Но — «ты честно заработал мой кронциркуль, Костя!..» В эту пору Алеша еще не знал, что ему придется всесторонне исследовать существо бланкенгагелевой аферы, в хитроумной паутине которой путались сами испытанные министерские пройдохи.

Знакомства расширяются

Следствие по этому делу затруднялось смертью как подсудимых, так и свидетелей. Но поэту, одержимому его идеей, всюду мнится бесценный материал. Он бредет по земле длинными руками, ощупывая людей, ветер и страны; он дерево обращает в соломинку, чтоб вплести ее в шляпу героя, песчинку взращивает до размера скалы, о которую сам же разобьет его через неделю, и даже в плеске дождевой капли различит грохот его исполненного паденья. Мир для него становится единой палатрой, и многоголосое, тысячерукое начинает разговаривать и действовать в униссон. Сама судьба, такая снисходительная к маньякам и детям, начинает злоупотреблять совпадениями. Так случилось и с Алешей Пересыпкиным. Бумажка с адресом Аркадия Гермогеновича на фешкинском столе чудесно совместилась с инициалами А. Г. П. из бланкенгагелева архива.. Итак, последний свидетель еще жил, но возраст его заставлял торопиться. Близился момент, когда и Аркадия Гермогеновича должна была природа разобрать на части и, как утиль, запустить на образование новейших и совершеннейших миров.

В течение двух декад Пересыпкин каждое утро собирался навестить Похвиснева в его переулочке, но сперва газета переходила на новый формат, а потом заболел выпускающий; времени оставалось лишь на то, чтоб обновить в памяти блангенгагелевы листки да часок-другой посидеть в Главном архиве. Когда же все вернулось в прежний по-

рядок, из Черемшанска было получено известие, взволновавшее всю молодую общественность дороги. Оно касалось комсомольского паровоза и живо затрагивало самого Пересыпкина. Он по справедливости считал себя шефом этого большого почина. С телеграммой в руках Пересыпкин рванулся к Мартинсону, но тот сидел на диспетчерском совещании. Фешкина не было на обычном месте, никто не охранял ворот к Курилову. Молодой человек влетел туда без стука и тотчас смущенно отступил.

Начальник был не один, и посетительница его мало подходила к общему характеру их учреждения. Женщины, заходившие сюда по делу, обычно бывали одеты по суровой моде девятнадцатого года, женщины-работницы, спящие по ячейкам громадного перенаселенного улья. Эта же прежде всего ошеломила воображение юноши. (Мало того, что он был нехорош собою, он был еще и влюбчив!) Ее пушистый беретик с голубой кистью, ее нарядная шубка, ради которой умертвили, может быть, тысячу белок, показались ему бездельным изощрением вполне буржуазной фантазии. Подозрительному юноше также показались искусственной наивная стрельчатость ее ресниц и вялая яркость губ; ответ какой-то воспаленности раскидывался от них по всему лицу. Словом, глядеть на эту женщину Пересыпкину было приятно и тревожно. И, хотя в статьях своих он никогда не проповедывал аскетизма, однако он не предполагал таких знакомств и у Курилова... Сунувшись, он мгновенно отпрянул назад, но Курилов как будто даже обрадовался его появлению и не позволил уйти.

Невольно Алеше приходилось стать свидетелем разговора, очень официального и только-что начавшегося.

— ... я рада вашему удивлению. Оно показывает, что я не слишком затруднила вас, если вы настолько прочно забыли этот случай! — И улыбнулась так искренно и доверчиво, что Курилову стало неловко за деловую сухость, с какой он ее принял.

— Что ж, рана оказалась пустяковой?

— О, все обошлось благополучно, —

уклонилась она. — Я звонила вам на квартиру, но вашей жены не оказалось дома. Мне хотелось поблагодарить вас... — Она порылась в маленькой сумочке, в сравнении с которой портфель Марины представлялся дорожным курдюмом со слины верблюда, и там Алеша разглядел со стороны массу мелких и изящных вещей неизвестного ему назначения. Потом она положила перед Куриловым незапечатанный конверт. — Это вам и вашей жене! Она очень милая. Передайте ей, я крайне сожалею, что ей пришлось тогда остаться на улице и в снегу. Я как-то не сообразила сразу...

С неподвижным лицом Курилов покосился на Пересыпкина. Он испытал незнакомую ему прежде неловкость отца в присутствии сына, слишком живо помнившего покойную мать. Но юноша пристально разглядывал профильную карту дороги на стене, повешенную под портретом вождя. Он делал это с показным усердием. — О, его вовсе не интересовали любовные похождения овдовевшего начальника!

— Что здесь? — строго спросил Курилов.

— Это билеты... — И виновато, потому что поняла свою оговорку относительно жены, прибавила, что это билеты на утренник, что завтра, в пятилетие театра, идет в пятидесятый раз *Сын Фредерика*, что в этом спектакле ее лучшая роль, что, наконец, пьесу хвалил даже ее муж, который очень придиричив к современным авторам. Словом, она заметно поторопилась сообщить, что она замужем.

— Он... э, тоже артист? — поиграв пальцами, спросил Курилов.

— Он артист, но только в другой области. У него и фамилия другая. Я играю под своей девичьей — Похвиснева.

Она с надеждой взглянула на него. Нет, он не слышал, в его лице не отразилось ничего, кроме смущенья.

— Я недавно на сцене... и это довольно трудно в искусстве — заставить помнить о себе!

Курилов вдруг заторопился —:

— Нет, я приду, непременно приду.

И, как-раз, совсем недавно мы вспоминали вашу фамилию.

— Кто же был ваш собеседник?

— Один молодой, подающий надежды журналист. — Он заметил нетерпеливое движение Лизы, — Идите-ка сюда, Пересыпкин. Это артистка Похвиснева, — со значением сказал он. — Знакомьтесь!

Тот придвинулся каким-то странным зигзагом, потому что боролся с непоспешимым влечением убежать. На нем были надеты громадные ботинки, как бы для хождения по горным вершинам; они прилипали к полу, стукались друг о друга, когда он с усилием пихал их вперед. И уже совершенно не подлежа к глашению, что творилось с его носом. Алеша пожал руку Лизы так, точно пробовал себя на силосере.

— У вас большая газета? — спросила она, потирая пальцы.

— Порядочная. Ее читают на протяжении почти полуторы тысяч километров.

— Значит, в ней имеется и театральный отдел?

Он сокрушенно пожал плечами —:

— Она называется Пролетарий на транспорте.

Лиза вежливо удивилась; название она слышала впервые.

— А!.. я видала что-то в этом роде. Это где про паровозы и кондукторов. Зачем же вам потребовалась тогда моя фамилия? — и уже холодком веяло от вопроса.

Лицо Пересыпкина напряглось; ответ его выражал, конечно, лишь крайнюю меру юношеского отчаянья —:

— Я рад, что знакомство с вашим дядей начинается так приятно... — сказал Алеша.

И все трое засмеялись на такой ослепительный ответ. Разговор был закончен. Прежде чем уйти, Лиза сказала еще:

— Да, он забавен, дядя... если его кушать понемножку. Но мы живем на разных квартирах. Он скучает и нуждается. Конечно, он будет очень признателен, если вы поможете выхлопотать ему пенсию (— ему нехватает каких-то пустяковых бумаг!) или напечатаете, на-

пример, его воспоминания. По его словам, он даже дружил с Бакуниным...

Она ушла, забыв пригласить на спектакль молодого журналиста. Она ушла, оставляя по себе едва уловимый запах духов. Оба молчали, пока не растворился он в стоялом табачном смраде.

— Она пахнет отравой, — все еще внюхиваясь, отметил Пересьпкин.

— Она актриса... и существует специальная парфюмерная промышленность.

Тот не дал ему договорить —:

— Она существует для более разумных целей! — И помолчал со значением. — С возрастом вы становитесь снисходительнее, товарищ Курилов. А лет пятнадцать назад такие мыли у тебя полы в концентрационных лагерях...

— Видимо, ты не имеешь привычки выслушивать доводы противника, молодой человек!

— О, я вообще свободен от привычек, которые считаю вредными. Словом, замнем, старик!

— Ты огорчен, юноша, что столичные театры не выписывают твоей газеты. Что ж, сумей придать ей живую и увлекательную внешность или заведи театральный отдел. Кстати, я могу помочь тебе для начала.. — Он весело подмигнул ему. — Забирай эти билеты, пригласи свою девушку и отправляйся завтра...

— Мне не до девушек, Алексей!

— Зря, не пренебрегай. Чем дальше в жизнь, тем все недоступнее и сложнее становится это...

Пересьпкин блеснул глазами и поправил на груди какой-то незначущий ремешок —:

— Вам это лучше знать, товарищ Курилов!

Он был дерзок сегодня; повидимому, его пригнала сюда какая-то очередная сенсация. Курилов шуточно просил его поделиться новостью со старцем, непригодным уже ни к чему.

— Твои настроения, Алексей (— вполне понятные! — и кивнул на дверь, куда ушла Лиза —) сейчас значительно охладятся. Вот: мерзавцы кинули горсть песку в цилиндры комсомольского паровоза. Завтра же я выезжаю в Черемшанск...

И правда, едва было названо Черемшанское депо, Алексей Никитич тотчас потянулся за трубкой. Он сразу надымил вокруг себя и, зябко потирая руки, глядел на вечеряющее окно. За последнюю неделю показатели работы в Черемшанском депо понизились, но они ухудшились и по всей дороге. Своим чередом шла зима. Снежило и таяло, а в промежутках ударяло азиатским морозцем. Тогда сразу наваливались топливные грузы, открывались течи дымогарных труб, лопались рельсы по ночам, замерзали водонапорные колонки, а в околотках толпились обмороженные люди. Дорогу начинало лихорадить... но и хваленое протоклитовское благополучие оказывалось ненадежным. Впервые до него доходил плеск скрытой борьбы; чья-то яростная пятерня просунулась из тишины, и опять все затихло. Правда, иногда в основе таких явлений действовал механизм обычной человеческой зависти; кое-где она становилась обратной стороной соревнования и, следовательно, как в случае с горстью песка, приобретала крупное социальное значение.

— Будешь в Черемшанске, присмотришь к Протоклитову. Ты любишь шахматы и ребусы, тебе не будет скучно... — Он ограничился намеком и не дал никаких определенных инструкций. — Я не тороплю тебя, юноша... но, кажется, ты засиделся у меня!

... через час билеты снова попались Алексею Никитичу на глаза и теперь вызывали лишь чувство досады. Предстоящий выходной день он собирался потратить на то, чтоб крепко выспаться после двух сряду бессонных ночей. Вдобавок Алексей Никитич всегда был равнодушен к этому виду искусства. Зачем ему театр, когда настоящие реки скитаются по земле и живые птицы концертируют в вершинах неподдельных деревьев. Кроме того, в актерской слезе совсем с иною математической кривизною и, во всяком случае, с откровенным нарушением пропорций отражаются события чувственного мира. За театром он оставлял одно лишь учительное право, предостерегать. Но разве за время тысячелетнего существования театра предостерегся хоть один? (Хитрые люди! Даже

листая Иеремию, они не забывают, что был когда-то молод и этот слезоточивый пророк.)

Он попытался сплавить билеты Фешкину, благо Фешкин, по слухам, понимал в театре. Но секретаря энбило; он сидел нахохлившись и мычал что-то в телефон. Друзья уже раз'ехались по необъятным окраинам, и на примете оставалась лишь Клавдия. Алексей Никитич не любил, когда даром пропадает добро. На всякий случай он позвонил сестре. Несколькo раз она переспросила, что же это за билеты, если он так хлопочет о них.

Он смутился —:

— Билеты обыкновенные, в ложу. Идет какой-то Сын. Хвалят.

— Ты, что же, кассиром или барышником заделался, чтоб билеты распределять?

— Билеты мне достались бесплатно... но неудобно перед актерами... пустые места.

— Но почему ты именно мне предлагаешь их?

— Я думал, ты заинтересуешься. Тема очень такая историческая...

Клавдия удивилась —:

— Ты, кажется, предполагаешь, что я настолько одряхла, что ни к чему другому не способна, кроме как ездить по историческим спектаклям!

— Да нет же, я просто хотел проявить внимание к тебе, Клаша, — мягко объяснил Алексей Никитич. — Не арифмомегр же и ты, надо и тебе отдохнуть...

Слышно было, с какой глубокой досадой вздохнула она —:

— Возьми чистый палец в рот, Алексей, и подумай, какую ты сказал банальность. Ты хочешь пристроить ко мне билеты, ненужные тебе самому. Кстати, мы давно не видались. За это время ты стал впадать в младенчество. Ведь это ты устроил со звоном?.. щепочку подкинул в звонок — ты? Вы так летели по лестнице с этой девушкой, что я сразу догадалась...

— Ну, и что получилось? — насторожился Курилов.

— А то, что на меня высыпали все домочадцы, человек девять... и какой-то

дедушка с костылем устроил мне форменный хай. Они решили почему-то, что все это проделала я. Было очень нудное объяснение. Но ты ведь знаешь, я не люблю уступать... — Она тотчас же прервала свой смех, едва услышала, что смеется и брат. — К слову, что за женщина была с тобою?

— Есть одна такая. Она работала на дороге, теперь уходит. — И тут же, вдруг почувствовав свои вины перед Мариной, решил именно ее пригласить с собою в театр. — Очень милый человек. Судимостей не имеет, торговлей не занималась, во вредных уклонах не заме-

— Ты находишь ее милой? — странным голосом спросила Клавдия.

— Уж не ревнуешь ли, Клаша?

— Я не ошиблась. Ты заметно поглупел, Алешка. Плохо, что это сказывается на деле. Дорога твоя работает неважно!

— Но все-таки лучше других, Клаша.

— Плохое дураку оправданье, что и сосед дурак.

Тогда, беря грозную сестрицу на измор, он терпеливо принялся объяснять ей все, от причин, увеличивших норму оборота вагона — до колхозников, которые без варежек, без сахара, без ситцу не идут на расчистку путей. Он говорил долго, вводя в речь непонятные ей слова — тяга, эксплуатация, перепробег — а она поняла его маневр и не прерывала. Он сдался, наконец.

— Иной раз утопился бы, да замерзло везде! Ты заезжай, я изложу тебе все это в живой и увлекательной форме.

— Да, я навещу тебя завтра, — посулила Клавдия, и на этом они простились.

... Утром он поехал к Марине. В сугробах окраины он признал ее дом лишь по длинной фабричной трубе в конце улицы. Девочка с синими от холода колечками провела его на черный ход: парадный на зиму забивали для тепла. Курилова впустила тучная женщина с маргаритового цвета лицом. Она вытирала мокрые руки о передник на колеблющемся своем животе и ждала.

— Мне Сабельникову...

Та с достоинством качнула головой; расправилась и заглянцевила бородавка

на подбородке, а глаза потонули в маргарине. В этом дьявольском фортеле и состояла ее улыбка.

— Я ее тетя, Анфиса Денисовна, — гостеприимно произнесло чудовище. — Войдите. Полы у нас скрипят, но вы не обращайтесь внимания!

Они двинулись мимо целой вереницы дверей; половицы рычали под тетей, пока она занимала Алексея Никитича разговором. — Жильцов, действительно, много, но жильцы все подобрались хорошие. Живет военный музыкант с матерью, образованный человек, из латышей; живет также Гришин с водопровода. Странно, что Курилов не знает его, потому что Гришин тоже начальник. Правда, в угловой налево проживал один специалист, но, слава богу, его отдали под суд. «Представьте, он военному музыканту котенка в кастрюлю кинул, и тот заметил только в конце обеда. Вообразите, ему играть что-нибудь такое, а его с души воротит...»

— О, это такая роскошь по нынешнему времени — приличные жильцы!

Она ввела Алексея Никитича в бедную комнату об единственном окне. Самое нарядное здесь было — вычурный инейный рельеф на стекле. Дыханьем протаяв глазок на улицу, смотрел туда мальчик лет семи. Табуретка под ним опасно покачивалась. Он не обернулся на шорох.

— Зяма, — учтиво произнесло чудовище, — подойди и познакомься с маминым знакомым.

Мальчик не ответил, и тетя сделала жест, которым как бы обращала внимание гостя на подрастающее поколение.

— Может быть, хоть вы подействуете на него! Это растет невыносимый скандалист. Третьего дня отправился на северный полюс, и Марина поймала его уже на трамвайной остановке. — Она вполне удовлетворилась успокоительным взглядом Курилова: все обойдется и станет очень хорошо. — Где твоя мама, Зямочка?.. она ушла гулять или читает?

Тете, видимо, очень хотелось изобразить перед гостем вполне интеллигентную жизнь.

— Она бюлье вешает на чурдаке, —

сказал Зямка и, неохотно отрываясь от окна, больно ударился коленом о край табуретки. (Они всегда скептики и разоблачители по преимуществу, эти дети окраин!)

Чудовище еще раз проделало фигуру с улыбкой и уплыло. Мальчик поочередно то потирал коленку, то поглядывал на окно, за которым оставалось главное.

— Это твоя машина? — спросил он вдруг. — У тебя жараз две машины или одна?

— Одна, Зямка!

— За што тебе орден дали?

— Видишь, меня однажды искали белые, чтобы повесить, но не нашли. А я не испугался и продолжал работать.

— Это хорошо, — сказал Зямка рассудительно. — Ты коммунист?

— Угу, а ты?

— Я все расту... больно долго!

— Ничего, мы подождем. Вырастай скорее, а то дела есть... Давай знакомиться. Тебя зовут Зямка. Это я по лицу узнал. А меня Алексей..

Они сделали паузу, давая окрепнуть дружбе. Тем временем Курилов огляделся. — Свисали с подоконников бутылки с фитилями, чтоб не стекало на пол в ростепель; недоштопанные детские чулки валялись на стуле, ходики вертляво помахивали хвостиком. Кровать была одна, и в ореховой рамочке над нею было пусто. Лежали зямкины сокровища на стуле: мятая железная коробочка изпод табака, носившая следы всех своих обладателей, фарфоровый изолятор, рваная резиновая автомобильная груша и отличного желтого цвета зуб от какой-то гигантской гребенки. Алексей Никитич увидел также знакомую игрушку под столом и поднял ее. Уже не марш, а нечто грустное игралось теперь на гармошке; видимо, Зямка помыл ее под крапом и вскрыл нутро из любознательности... Пауза закончилась.

— Коленка не болит совсем.

— Это хорошо. Это и есть мужество. Зямка. Запомни.

— Нет, не болит, — отозвался тот, не поняв, чего от него требуют. — На парашуте летал?.. а почему? Меня Марина не пушкает, што я маленький. А ты уж ждоровенный..

Знакомство явно налаживалось. Все же стремясь обследовать сообразительность нового знакомого, Зямка деловито осведомился, бывает ли жар у градусника, умеет ли Калинин управлять машиной, бывают ли у мух товарищи и есть ли в лягушке кость? Нет, Алексей был сообразительный, хотя насчет лягушки они и разошлись во мнениях. Потом они стали играть, и к возвращению Марины их дружба приняла опасные для общезнания масштабы.

Комната отдаленно напоминала чем-то манчжурские сопки.

— Лучше, давай, ты Япония, а я Дальний Вошток, — договаривался Зямка об условиях.

— Так ведь это ты маленький, а я большой. Ну, кричи, как я тебя учил, и нападай на меня!

И Зямка бросался напролом, размахивая черенком кухонного ножа, и стулья рушились, и фарфоровый изолятор, заменявший воздушную бомбу, с грохотом взрывался, и самый воин увязал в широких объятиях Курилова, который немедленно вязал ему руки, побежденному, красным пионерским галстуком. Марина озабоченно взирала на этот переполох. Она объяснила потом, что порвалась чердачная веревка, и ей пришлось переполаскивать целых полкорзины белья, хотя и знала, что Алексей Никитич ждет ее.

— Едем в театр.. опаздываем, — мельком бросил Курилов, следя за очередной хитростью Японии.

— А что идет? (— Получалось как будто, что она могла еще и отказаться, и Алексей Никитич понял ее вопрос правильно, как рефлекс на недавнюю обиду.)

Когда очередное сражение закончилось, Марина оказалась уже одетой. На ней было узкое, раструбом книзу, в огромных цветах платье, подпоясанное лаковым ремешком; Курилов с удовольствием отметил, что туфли на ней были также новые. (Но он и представить себе не мог, как они жали в подеме крупную ногу Марины.) И хотя они отправлялись в малозначительный театр, на посредственную и с неважными актерами пьесу, Марина выглядела старшей

сестрой Зямки, от радости и смущенья. Вдевшись в монументальные валенцы, Зямка конвоировал их до улицы. И пока Марина садилась в автомобиль, мальчик все выдeldывал различные головолмные фигуры на одном коньке, стараясь возбудить низменную зависть в Курилове. Восхищенный Алексей Никитич пообещал ему послать за ним машину после спектакля.

— Ты поедешь ко мне, мы сперва поедим конфет, а потом мы сразу обсудим все — и о градусниках, и о мухах.

— Ладно, — согласился тот. — Если меня дома жараз не будет, я тогда, значит, у Шаньки буду... Ты шмотри, не загуляй, мать! — деловито прибавил он Маринс.

(Только через неделю Алексей Никитич понял, что означало круглое желтое пятно вроде головки сыра в открытой форточке, которое он заметил в минуту отъезда. Это Маринина тетя, привстав на табурет, любовалась на негаданное счастье племянницы.)

Припадок

Марина вошла в полупустую ложу и пугливым жестом женщины, на которую смотрят и которая не очень уверена в безупречности внешности своей и наряда, провела рукою по волосам, на осязание проверяя каждую их прядь. Но мускульное ощущение в плечах, в груди, даже в коленях (— оттого, как складки платья бились при ходьбе, точно шла по высокой траве!) подсказало ей, что все ее тревоги напрасны. Все еще не выходя из ниши, она бегло и озабоченно, в два поворота головы, окинула взглядом пространство перед собою. Оно было безличное, живое, чуть-чуть враждебное. Мерцали непонятные световые пятна на потолке, роились шопотки, и опоздавшие смешно метались между рядами. Склонив голову, она смелее шагнула вперед, только бы скорее сесть и стать незаметной; но затхлым таинственным теплом театра пахнуло ей в лицо, ноздри расширились, из рядов обернулись в ее сторону, и она испытала кратковременное торжество, как перед зеркалом, в ко-

тором она отразилась вся. Было жутко и любопытно посмотреть на себя сотнями чужих глаз, и тут заиграла музыка, и Алексей Никитич придвинул ее стул к самому барберу.

И вдруг ей стало нравиться все здесь (— и этот же самый театр совсем не походил на тот притон искусства, где однажды наблюдал свою жену Протоклитов!): нарядные полукружия соседних лож, отделанных полированным дубом, — густые оранжевые блики света стекали в нем; простая и величавая кубичность зрительного зала, образовавшаяся от выемки пола между двух, одна над другой комнат; праздничная — как всегда бывает от одного присутствия неопробованного еще вина — возбужденность зрителей, уже оплативших свою порцию искусного обмана; сложная осветительная арматура под потолком, на которой, как на рояле, играл неопытный осветитель; даже незамысловатый холстинковый занавес, еще задернутое, но уже колеблющееся окно в чудесную страну тайн и совпадений, — в его складках прятались лиловые сумерки, готовые расцвести... Марина и Курилов приехали во-время: в полнакала горели лампочки. Голубовато засветилась рампа. Легкая судорога, как в ночном, перед рассветом, небе, пробежала по занавесу. И тотчас же спрятанные музыканты заиграли что-то грустное и о том, чего не бывает в жизни. Марина нахмурилась, и вдруг философические раздумья Власова перебила беспечная песенка, заставлявшая вспомнить о невытоптанных лужайках, об июньских ветерках, колышащих тонкие, на струнных стеблях цветы, о сонмищах пестрых и важных жуков, играющих на однострунных игрушечных виолончельках... Постепенно в музыке растворились и говорки, и скрипы сидений, и даже лаистый январский кашель.

Но это было только лукавое коварство постановщиков. Вместо обещанной идиллической банальности они подсунули другую, банальность нищеты. У сводчатого подвального окна тачал свое изделие сапожник. Он был очень усердный и поднимался из-за верстака только ради одной молоденькой девушки; в ее присутствии вещи падали из его рук.

Потом пришли его товарищи по ремеслу и судьбе, трое. Из их разговора выяснилось, что стал бы гордостью всей сапожной гильдии этот отменный мастер, если бы не захватила его глупая и тщеславная блажь стать непременно королевским сапожником. Но парень был упорен и молчал. Кстати, и добивался-то он своего звания в неурочное время. Трое туманными намеками указывали ему на нищету народа, на его право приостанавливать жизнь, когда она несправедлива, — на его священный обычай брать хлеб бесплатно, если не на что его купить, — на его старинное пристрастие рубить в первую очередь головы королевским холоуям. Но девушка была ветрена и жестока; она хотела нарядных платьев и хотя бы тех смешных почестей, до каких может дослужиться сапожник. В общем, первый акт состоял из десятка более или менее удачных суждений о семье, о праве мастера на свое мастерство, о тех торжественных моментах, когда право народа на восстание превращается в его гражданскую обязанность. Фабула пьесы была нарочито упрощена до сходства с формулой, да зрители и воспринимали ее, как сказку, легко запоминающуюся и не заставляющую думать. Содержание легко угадывалось из названия. Фредериком мог быть всякий проходимец, но пронумерованным только король. Судьба сапожника также была ясна, потому что пьесы с двойным решением вопроса редко попадали на сцену. Марина запомнила фразу из текста: народ живет желудком, герой — сердцем, а вождь — разумом, и почувствовала облегчение, что ей не нужно никому разъяснять социальную направленность пьесы.

В антракте Курилов ушел подымить свою трубкой, и вернулся, когда второе действие уже началось. Очень условная, на сцене помещалась опочивальня старого короля. Под балдахином, высоким, как небо, на витых бронзированных колонках, желтый, плоский и ужасно длинный лежал он сам. Он умирал. Врач в черном сюртуке, похожий на стоячие часы, озабоченно составлял лекарство, необходимое, чтоб прикрыть бессилие придворной медицины. На ступеньках ря-

дом, раскачиваясь от горя, плакала маленькая женщина, слишком красивая для королевы, неискренняя для дочери, молодая для сестры. И хотя агония происходила в красноватых потемках, а линзы маринина бинокля давно сбились с оптических осей, она сумела разобрать лицо актрисы. Это была Лиза, и враждебное чувство к ней возникло у Марины еще прежде, чем она подняла с колен свою битую, с перламутром, драгоценность. Она решила не глядеть на сцену, и тотчас же в поле зрения ее бинокля попал козлобородый начальник финсектора их дороги. От этого писклявого придиры ей всегда доставалось, когда сдавала ему оправдательные документы по поездкам. Он сидел один, в обычной голстовке, — мешковатой и глухой до ворота рубашке, выгода которой заключалась в возможности подолгу не менять белья. Петров глядел на сцену и ел мятные пряники, предварительно ломая их в ладонях и вбрасывая под усы. Зрелище было еще тоскливее. Марина снова обернулась к сцене, где Лиза оплакивала своего высокого любовника.

— Наверно, эта женщина никогда не плакала в жизни. У нее так фальшиво выходит! — вполголоса сказала Марина Курилову.

Она ждала возражения и, когда его не последовало, обернулась к Алексею Никитичу... Курилов сидел, подбородком упираясь в грудь и с закушенными губами. По влажному лбу его проступили темные, с глубокой тенью, жилы. Он делал конвульсивные движения при этом, точно отпихивал что-то боком. Марина схватила его холодную руку, он постарался улыбнуться.

— Мне нездоровится, я хочу уехать домой. Вы оставайтесь, Марина... — И, толкаясь, почти не различая людей, вышел из ложи.

Марина побежала следом. Курилов стоял на ступеньке лестницы, держась за перила. Когда Марина заглянула в его прищуренные, остановившиеся глаза, он сделал один, совсем механический, шаг и весь выпрямился, точно шел на протезах. Теперь это был какой-то подмененный человек, родной брат той шарнирной Клавдии, которая напугала Ма-

рину во сне. Ей хотелось кричать, чтоб помогли, чтоб разбудили ее...

— Она меня жут... — четко проговорил Курилов про боль, и Марине почувнилось, что она сейчас же рухнет вниз, как большая сломавшаяся вещь.

Протекла мучительная четверть часа, прежде чем Марина успела вызвать машину из гаража. Алексей Никитич сидел в раздевальне, изнеможенно привалясь к чужим шубам. Лицо у него было чужое и красное, как будто уносил на себе тревожный багрец королевской опочивальни. Внезапный одинокий вскрик, потонувший в грохоте рукоплесканий, вернул его к действительности. (Окраина аплодировала какой-то ловкой режиссерской выдумке, которую тот обыграл смерть деспота.) Очень удивленно Курилов смотрел в овальное, плохо оштукатуренное окно, где кружились снежинки. Ему на плечи накинули пальто; чуть набекрень, как на пьяного, насадили фуражку; он не позволил Марине взять его под руку. Гардеробщики в несколько рук открыли дверь. Отшатнулся нищий. Машина рванулась на полный ход. Вдруг Курилов фальшесом закричал шоферу, чтобы ехал скорее. Он торопился домой, как подбитый зверь в берлогу, где можно было выть илизывать невидимую рану. В лифте он стоял спиной к Марине, чтоб не видела его лица. Припадок усиливался.

Он пробежал комнаты и бросился на диван. Им владела животная уверенность, что, если изловчиться, прижать плечо к щеке, завязаться узлом, можно обмануть боль. И он старательно избретал эту позу, изгибаясь, запрокидывая туловище, заставляя звенеть пружины, лишь бы сгнули, затихли на мгновение эта резь, эти корчи и смертное жжение в спине. Диван был узок, Алексей Никитич не помещался на нем целиком; он опробовал стол, кресло, даже низенькую скамейку, заказанную еще Катеринкой для кадушки с хамеропсом (— увядшим вскоре после нее). Так он проходил по всем комнатам, под новым углом пробуя мебель; и минутами боль отступала. Он поднимал голову, с радостью чувствуя другую, маленькую боль в прокушенной губе и слыша отча-

анный голос Марины, по телефону вызвавшей врача.

... у нее спрашивали, терапевт или невропатолог нужен, — в суматохе она забыла разницу. От нее добивались названья болезни или хотя бы пищи, какую он ел, сердились, язвили, что это специальность ангелов — заочно ставить диагноз. Тогда она разыскала на каком-то заседании Клавдию Никитичну. Приподнятый звенящий голос Марины беспрепятственно пропустили к аппаратам, недоступным для других. Суховато, спокойное удивление Клавдии не отрезвило ее; испуг пришел много позже. Клавдия не переспрашивала, она обещала приехать с врачом. Еще Марича держала трубку, еще жили там замирающие вибрации старухина голоса, когда ее оглушил звонок в прихожей. О, только ангелы могут так быстро... Марина распахнула дверь и увидела Клавдию Курилову. Явление походило на галлюцинацию, от которой прыгают с любого этажа.

— Здравствуйте... — с ужасом прошептала Марина.

Та осмотрела ее с головы до пят, может быть — искала какого-нибудь непорядка в ее туалете и не нашла, и промолчала. Единственный вопрос, возможный в таком случае, отпал сам собою. Конечно, Алексей Никитич был дома, если эта женщина, не жена его, присутствовала здесь. На этот раз Клавдия выглядела необыкновенно; она несколько располнела за последний месяц и была наряжена почему-то в черный нагольный полушубок, обвязанный поверх добротной шалью. Под ним оказалась ситцевая, навывпуск, кофта и длинная, темной ткани юбка. В довершение всего она пришла в валенках и с корзиной, крест-накрест обтянутой красным ящичьим кушаком.

— Катеринка дома, девушка?

— Нет... она же умерла! — с раскрытыми глазами прошептала Марина.

— А-а! — длинно протянула женщина и почему-то поглядела на свой прутяной сундучок (там лежал ее подарок для Катеринки.)

Что-то рачинало проясняться. Это была не Клавдия; эта была шире, добрей, разгонистее в движеньях. Когда-то эта

была красавицей, а та... была ли та когда-нибудь и женщиной? Эту сестру звали Ефросинья, по старшинству она была средняя из живых Куриловых. Не дожидаясь рассказа о Катеринке, она неуверенно прошла в комнаты. Все здесь говорило об отсутствии постоянной хозяйки: нежилой, подтравленный табаком воздух, много пыли, вороха бумаги от покупок по углам. Потом ей бросилась в глаза кожаная фуражка брата, скатившаяся на пол с дивана; она стяхнула с нее пыль и положила на место. В соседней комнате, брошенное на письменный стол (— так, что на сукно пролились чернила), валялось пальто Курилова. С удивлением она повесила его на спинку стула и озабоченно глядела то на темную, наполовину впитавшуюся в сукно, лужицу, то на свои испачканные пальцы. В предпоследней комнате она обнаружила ремень и гимнастерку, разорванную по шву. (Это был путь, которым он проходил, сбрасывая с себя вещи.) И, наконец, у самой крайней двери она громко позвала брата по имени; ей не откликнулось, она заглянула вовнутрь.

Алексей лежал на боку, подогнув под себя ноги, поперец катеринкиной кровати, как свалила его боль, уткнув лицо в пыльные, несмятые подушки. Рубашка задралась, и видно было тело с рубцом старинной раны под лопаткой да жировая складка на пояснице, покрасневшая от натуго перевязанного ремешка. Ефросинья решила бы, что он спит, если бы не эти, досиня сжатые кулаки, скомкавшие тканьевое одеяло. Они не виделись четырнадцать лет. Тогда он был быстрый, молодой, презрительный к опасностям и болезням, — гвозди вязал в узелок; нынешнее их знакомство началось с этого тяжелого, седеющего затылка.

— ... Алеша, что с тобой?

Она наугад коснулась его руки; он содрогнулся и заворочался, точно хотел уползти от нее.

— Вот, пропадаю, сестра... — скоипуче произнес Алексей Никитич. — Погибаю, как последняя сволочь...

Больше он не отвечал ни на что. Тогда она побежала звать кого-нибудь — доктора, Марину, бога, чтоб пришли

спасти этого человека. На пороге передней она наткнулась на Клавдию; с нею был врач. Сестры не обнялись, и хотя не виделись столько лет, даже не протянули рук друг другу. Старшая спросила, где Алексей; младшая молча показала рукою. Клавдия шагнула вперед, и этим решительным движением как бы принимала на себя верховную власть в куриловской квартире. Прежде чем зайти к больному, врач пожелал вымыть руки.

Клавдия вернулась в прихожую; Марина все еще сидела в своем уголке.

— Идите сюда, — сказала старуха. — Где лежат полотенца?.. и вообще, где у Алексея Никитича находится белье?

— Я не знаю, — отвечала Марина, привстав. — Я не знаю, где лежат его полотенца...

— Как же это вы не знаете! — Она больше всего не терпела ханжества, и от допрашиваемых требовала прежде всего безоговорочного признания вины. — Это, по меньшей мере, странно...

Если никто, кроме Катеринки, не мог похвастаться ее расположением, то не в ее привычках была и такая обидная, разрывающая резкость. Но она волновалась и была уверена, что пышная эта, на невысокий вкус, девица метит замуж за брата. Марина молча и строго глядела в бесстрастное, точно из желтоватого алебаstra высеченное, лицо; Клавдия опустила глаза и отвернулась. Затем все прошли к Курилову. Стало тихо. (В театре, наверно, повстанцы уже свергли килога и малодушного Фредерикова сына; прозревший королевский сапожник уже ворвался в дворцовую башню и стал трицветным королевский горностаи. Дома терпеливо ждал Зямка, что, вот, заедут на машине и отвезут его в сказку...) Дверь снова отворилась. Клавдия подошла к Марине, и отзывало лаской даже это мимолетное прикосновение ее руки.

— Что же вы сидите здесь одна, Марина?.. сердитесь на меня? Не стоит: старики сгарливы и неуживчивы. Идите, он зовет вас.

Все сидели. Врач укладывал свои вещи в чемоданчик. Зажгли свет, но абажур с лампы лежал почему-то на подоконнике. Алексей Никитич полулежал

в кресле, с чуть опухшим, красным и сконфуженным лицом. Не глядя ни на кого, он наощупь набивал себе трубку. Левый его рукав был закатан чуть не до самого плеча. Вдруг кiset с табаком выскользнул на пол; Марина подняла, и Курилов дружественно кивнул ей. Он советовал возвращаться в театр, была надежда застать последний акт. Речь его была машинальна; он путался в словах и, было заметно, все время прислушивался к удивительному затишью, наступившему во всем теле.

— Зямка ваш преотличный субъект, мы, наверно, подружимся. Кланяйтесь ему... — и повернулся к врачу. — Это был морфий? Хорошая вещь...

Врач заговорил; он подозревал худшее, чем обычная невралгия, и рекомендовал обратиться к хирургу. Из-за болезненности обстоятельное прощупыванье, пальпация, — как он сказал, — была невозможна, но ему показалось, что почка не двигается. Клавдия быстро подошла к нему, точно боялась, что он скажет лишнее в присутствии больного. Она сумрачно глядела, как купалась и при этом пропадала в бесцветной жидкости тонкая игла, доставляющая облегченье.

— Так это же хорошо, что она не двигается... Чего же ей двигаться! — нервно и сухо сказала она.

— Да я от нее и не требую, чтоб она резвилась сверх положенного... — Шутка не удалась, он стал прощаться.

Клавдия пошла проводить его. Она плотно прикрыла дверь, с особым значением взглянув на остающихся женщин. Некоторое время все молчали.

— Как поживаешь, Фрося? — спросил брат.

Она сказала, что понемножку ее жизнь снова налаживается.

— Ог мужа не имеешь вестей? Он у меня на дороге устроился, но, кажется, свежал теперь...

Нет, они расстались с ним давно, еще до высылки из городка. «Все мечется, какого-то смиренья ищет, да разве Омеличевых ржаным хлебом накормишь!» Она сообщила также, что хочет уехать подальше, в Сибирь. Знакомый писал ей оттуда, что у них на строительстве требуется хорошая повариха, а Ефросинья е

юности была отмечена особым кулинарным даром.

— Надо уехать. Слишком много людей помнят нас, как мы жили прежде...

— Это правильно, это правильно... — невпопад подтвердил Алексей Никитич, и видно было, что все это время думал о другом. — Ну-ка, поди, послушай, про что они там балакают! — неожиданно, общинческим тоном попросил он.

Он подмигивал сестре, кивал ей на прихожую, где обсуждался самый главный секрет его существования. Ефросинья колебалась, а пока она делала что-то, не очень необходимое, вернулась Клавдия. Алексей Никитич заметил, что она не глядит ему в лицо. Марина воспользовалась паузой, чтоб проститься и уйти. Зазвонил телефон, Алексея Никитича приглашали на какую-то вечеринку.

— Нет, я не буду записывать никакого адреса, милый товарищ Похвиснева, — раздраженно заметила Клавдия. — Алексей Никитич не терпит никаких вечеринок... и не звоните ему больше.

Очень деловито и кратко она изложила свой план. Алексею необходимо заняться своим здоровьем. Болезнь, по ее словам, была почти пустяковая, но пока он нуждался в постоянном присмотре. Клавдия поймала его пытливым, требовательным взгляд и, впервые на его памяти, смешалась. О, ничего страшного, но — диета и полный отдых! Самый режим лечения будет зависеть от врача, и Алексей отправится к нему завтра же. Что касается длительного отпуска и всяких переговоров в лечебных комиссиях, эту сторону дела она брала на себя.

— Соску мне купите... — поморщившись, сказал Курилов.

Сестра не удостоила ответом его шутку —:

— Ну, как твоя боль сейчас?

— Я почувствовал облегчение, едва ты вошла. Она испугалась тебя, Клаша! Уже без прежнего осуждения и нетерпимости Клавдия покачала головой —:

— Когда же ты, наконец, станешь взрослым, Алешка?

Она все чего-то не досказывала; он начинал подозревать худшее, сидел беспомощный и подозрительный, выжидая, что сестра проговорится. Та беспокои-

лась, как он проведет ночь, совсем одич, когда действие наркотика прекратится. Разумеется, Ефросинья приехала своевремено, и нужно, чтобы на некоторое время она осталась у брата: свои дела она успеет потом! Но Ефросинья медлила с согласием, и Клавдия начинала сердиться.

— Может быть, тебе не выдали паспорта? Это, конечно, хуже!

— Нет, паспорт мне дали. Я уже девять лет работаю сама. Но, видишь ли, я не одна здесь...

— ... муж?

Нет, но с нею был ее ребенок. Она оставила его на вокзале, пока навестит Катеринку.

— Я же не знала, как встретит меня Алексей. Мог и погнать...

— Как тебе не стыдно, Фрося, — сказал с досадой Алексей Никитич. — Все-таки родня!

— Ну, какая мы родня. Ваша радость с нашим горем — вот кто родня. (Она кратко посмеялась и стала оттирать лиловые пятна с пальцев. — Какие нынче чернила ядовитые пошли!)

Тогда Клавдия решила проявить инициативу —:

— Бери мою машину вниз и поезжай за своим чадом. Ты должна пожить здесь... отдохнешь кстати! — В ее голосе слышалось нетерпение, продиктованное боязнью за брата.

... и вот, получасом позже Ефросинья толкнула к ним худенькое существо в стоптанных сапожках и крест-накрест укутанное в старенькую шаль. Когда его раздели, оно оказалось мальчиком лет десяти. Мать подтолкнула его вперед, чтобы поклонился, и в самом жесте заключены были и жалость к сыну, и согласие остаться в доме до выздоровления Алексея, и смущение за свою чедавшуюся жизнь.

— Лукой звать, — тихо сказала она, кланяясь за него в пояс.

Прошла долгая, неловкая пауза.

— Ну, здорово, цыганенок! — естественно бодрясь, крикнул Курилов.

Мальчик молчал. Подломив ножку от застенчивости, он исподлобья глядел на всех поочередно. Он был смуглый, большеглазый и не очень хорош собой, потому

что болезненный и хилый; обращала на себя внимание его нерусская кудрявость. Весь он был похож на стрижа, если вынуть его из-под крыши и, испуганного, положить на ладони.

— Что же ты молчишь, мальчик? — за брата спросила Клавдия. — С тобой здороваются, а ты молчишь...

В его взгляде появилась недетская обеспокоенность; он хотел понять что-то и не умел.

— ... он у меня глухонемой, — строго объяснила Ефросинья, беря сына за руку, но что-то сорвалось в ее игре. Лицо стало серое, старое, и задрожали губы. — Дети-то, дети-то за что должны отвечать... — сказала она и заплакала.

Илья Игнатьевич предпринимает шаги

Когда схлынуло первое счастье, Илья Игнатьич вполне добросовестно исследовал право жены на ее профессию. В последний месяц он старался не пропускать ни одного спектакля с ее участием. И тогда ни один рабочий день не доставлял ему столько утомления (а случалось, что он до сумерек не выходил из операционной.) Всегда он волновался так, точно присутствовал при ее дебюте, длившемся целые месяцы. Вначале бывало стыдно и жалостно глядеть на нее, хотелось ворваться за кулисы, схватить, измять, насильно увезти домой. Это была жалость мужа к жене, заискивающей у администраторов, нечестной в отношениях с подругами, лишь бы не мешали обманывать третьего, кто покупает билеты. Сквозняк лживости, интриги, душевной оголенности стал проникать в атмосферу, которой дышал Протоклитов: Лиза делала все, чтобы втянуть и его в свои планы. Постепенно он сам становился участником этого уголовного, по его мнению, предприятия, наравне с дирекцией, заманивавшей публику в свой сомнительный подвал искусства, наравне с режиссерами, подменявшими живую игру страстей умственной акробатикой, наравне с кассиршей, продававшей талоны на заведомо недоброкачественный продукт.

Позже ко всему этому присоединился

протест мастера, привыкшего работать точно и безупречно, согласного оправдать даже праздность, но не эту рационалистическую подделку. Дальнейшее бездействие становилось в его глазах низостью, сделкой с совестью, даже взяткой, на которую он покупал лизину любовь. (Кстати, всякий театральный термин вызывал в нем в эту пору беспричинное ожесточение.)

Однажды она полюбопытствовала, чего он хочет от нее —:

— ...чтобы я бросила для тебя театр? Никогда, милый.

— Я хочу, чтоб ты училась.

— Ты просто не понимаешь новой сцены, Илья.

— Но ты же мало знаешь. Всякое добачное знание научит тебя критически относиться к себе, даст представление о мире, в котором ты заблудилась...

— Разрешите мне быть просто средним человеком, — холодно попросила она.

— Но это преступно, преднамеренно делать себя средним человеком!

Он сердился, он давно разгадал ту распространенную категорию художников средней руки, для которых искусство служило средством занимать место в обществе, не принадлежащее им по праву. Их расчет был или на некультурность, или на благодушие потребителя: покупают же граждане спички, которые не горят! Даже привыкнув к мысли, что дарованья их нехватит на великие дела, они продолжают мириться с нищенским заработком в надежде, что какая-то лотерейная случайность вознесет их на уровень славы знаменитых стратонавтов, бурильщиков атомных глубин, спасателей арктических экспедиций. Старая, они объединяются, чтоб по образу семи тощих библейских коров действовать сообща на темных перекрестках искусства...

Лиза слушала, и губы ее бледнели. Она почувствовала, что это созревало в нем давно, еще до знакомства с нею, и прорвалось только теперь. Уже не протест мастера, а бешенство потребителя звенело в голосе Ильи. Конечно, такой не задумывается нанять десяток горластых молодцов, чтоб засвистали ее в очередной премьере. Намеки мужа относительно искусства, в котором больше

скорлупы, чем сытного, с'едобного ядра, она ревниво отнесла к себе одной. «Так что ж, Самарин, наследник самого Шепкина, тоже говорил про Ермолу, что из нее ничего не выйдет!»

— Меня радует, что ты так близко принимаешь к сердцу мою судьбу. Суждения твои, конечно, реакционны. Никаких тайн, милый, в этом деле нет. Каждый может написать пьесу, если только он общественник и умница. Кроме того, ты можешь справиться обо мне в самом театре. Они круто изменили мнение обо мне с тех пор, как я сыграла в Фредерике!

Он и сам поинтересовался однажды на эту тему у одной ее приятельницы: она показалась ему остроумной девчонкой. По ее версии Похвисневу терпели, потому что каждому лестно иметь в запасе человечка, который, в случае нужды, стал бы резать его со снисхождением. Это обнаруживало кое-какие закулисные приемы Лизы.

— Я запрещаю тебе употреблять мое имя в театре. Это низко и смешно!

Лизиной улыбки хватило лишь на то, чтоб прикрыть угрозу и ожесточение —: — Ты теряешь самообладание, зря. В таких крикливых объяснениях растворяются без следа даже самые горячие привязанности.

Тогда он вспомнил, что она беременна, подошел и обнял ее, тоненькую, маленькую мать своего будущего ребенка. (В эту пору Илья Игнатьич еще не знал происшедших перемен. Она не позволяла ему медицинских осмотров; ей было стыдно представлять мужу в ином виде, кроме как жены.)

— О, я молчу, вы перекричали меня. Га, вас двое!

И второпях она сочла эту внезапную мягкость за испуг, и, следовательно, за признание своей правоты. «Я же поняла, у тебя просто горло заложило, и, вот, ты его продуваешь. Верно ведь?» Расчеты на мир оказались преждевременными. Илья Игнатьич давно решил на последнюю меру, на разговор с директором театра. И он отправился к нему незадолго до окончания юбилейного спектакля, но уже с целью обратной той, какая была вначале. Ему сказали, что

директор полчаса назад уехал обедать и вернется в театр не раньше шести. Илья Игнатьич еще находился в раздумьи, как распорядиться этими двумя часами с половиной, но тут спектакль окончился, и публика, точно освобожденная из заключения, ринулась к вешалкам. Чтобы не сбили с ног, он отошел в дальний угол коридора, соседнего с зрительным залом, и почти тотчас же из артистического прохода к нему вышла Лиза. Она была вдвоем с подружкой. Они дружелюбно болтали и прошли бы мимо, если бы новый поток зрителей не оттиснул его прямо на них.

— Это очень мило, что ты подождал нас, — защебетала Лиза, повисая на его руке и попеременно обращаясь к ним обоим. (Она отступила, пропуская мимо себя эти стремительные ноги и падающие на них туловища. — Какую пыль они всегда поднимают!) Знакомьтесь, это Кагорлицкая. Прелестная актриса и хорошенькая женщина. Знаешь, я так много рассказывала о тебе мужу, что он заочно втюрился в тебя. Он у меня влюбчивый, но ты единственная, к кому я буду ревновать. Знаешь, она играла сегодня Жаклину, невесту этого сапожника. Какая эффектная у нее сцена с капитаном в третьем акте, правда?

Протоклитов криво улыбался на эту бессознательную, почти наивную испорченность. (И еще подивило его, что, несмотря на беременность, жена не утратила своей обычной певучей ясности.) Кагорлицкая заметила его усмешку и сказала тихо, что лизушкина ребячливость просто очаровательна. Это была почти тощая для своего роста женщина с неприятно тонким носом; наверно она страдала чем-нибудь специфически женским. Но подкупало в ее глазах, больших и тревожных, выражение настороженной взволнованности; таков бывает взлет лесной птицы, напуганной овражным шорохом. Рядом с Лизой она выглядела дурнушкой, бедной родственницей, и, наверно, Лиза трезво учитывала ее внешность, расточая свои коварные похвалы.

— Мы отправляемся со Стаськой купить что-нибудь для гостей. Ты не забыл, надеюсь, что вечером у нас гости?

Будут Васильев, Пашка, Трубевская, Пахомов... Ты слышал что-нибудь об Елене Аренс? Мировая актриса! Так вот, ее сделал Пахомов. Александр Иеронимович также обещал заехать после заседания в Наркомпросе. Три кило сосисок, как ты думаешь, хватит? Пашка позаботится о вине. Будут человек пятнадцать. Для тебя же, чтобы тебе не было скучно, я думаю позвать одного начальника политотдела... ты все равно не знаешь его фамилии. Мы вас запомним, дадим вам коньяк... вы будете говорить о роли партии в медицине, а мы станем танцевать. Но он суровый... как ты думаешь, он не испортит веселья? У меня сегодня какая-то животная потребность веселиться. Так ты не забыл? — еще раз пальчиком погрозила она.

Нет, он помнил. В этот день молодому театру исполнилось пять лет, срок по тому времени достаточный для юбилея. Одна крупная газета обещала поместить статью и поместила бы, если бы своевременно не раздумала. Когда среди актеров возникла идея отпраздновать эту дату в тесном кругу, только Лиза могла предложить для вечеринки свою квартиру. Актёрская молодежь ютилась где придется. По первому варианту Илья Игнатьич должен был переночевать у приятеля, но Лиза настояла на его присутствии. «При тебе они остерегутся нализываться до непотребства...»

— Ты тоже едешь домой?

— Нет, Ли, мне необходимо заехать в клинику.

— Как это скучно. Опять кто-нибудь волнуется?.. мужчина?.. женщина?

— На этот раз девочка, лет пяти. Га, очаровательная, как из Диккенса. Она проглотила что-то острое...

— Вы любите детей? — странно и не глядя в глаза, спросила Кагорлицкая.

— Га, не знаю... я уважаю и побаиваюсь их.

Лиза капризно сдвинула бровки —:

— Ну, сошлись две родственные души!.. Стасья, ты никогда не видала, кстати, как он у себя в клинике проделывает это? О, он вскрывает их, как арбузы: чик-чик, красное, «клеммы!» — и готово.

— Ты ужасные вещи говоришь,

Ли, — заметил, пожевываясь, Илья Игнатьич.

— Почему?.. разве это позорно — помогать людям?

Они так и не успели объясниться: пошел трамвай. Илья Игнатьич отправился в обратную сторону. В клинику, однако, он ехать раздумал, чтобы не опоздать к директору, а других маршрутов не было... но, вот, оказалось, что когда-то видел этот угловой, утесистый ком, подобно кораблю, разметающий площадь на две смежных улицы. Год назад Протоклитов добирался сюда с другой стороны. В его воображении возникла неопрятная отшельническая борода Дудникова, и с чувством того же мальчишеского любопытства он прошелся по переулку, в поисках знакомого церковного дворика. Ничего там, впрочем, не было: срыли, разнесли вместе с дохлыми сиренками. Две метростроевских вышки стояли над целой группой свежих, непокрашенных тепляков. Не то пар, не то дым пополам со снегом подымался из темного зева шахты. Люди копались на глубине, как бы доискиваясь пропавшей кароновской луковицы.

(Вещь эта, дальними путями сблизившая его с Лизой, находилась теперь в коллекции Ильи Игнатьича. И если только не азартный чорт коллекционеров запускал ее снова в людской обиход, чтоб попользоваться процентами с оборота, можно было бы на ее примере проследить закон перемещения таких сокровищ, непохожего на движение других материальных ценностей. Чаще всего, в периоды крупных социальных сдвигов, эти вещи вырываются из узкой орбиты ценителей и знатоков и, подобно комете, движутся сквозь самые различные прослойки общества, минуя любительские сундуки и музейные витрины, не задерживаясь нигде, кроме места, где суждено им погибнуть. Так, из кармана санитара, утаившего эту вещь при перевозке Дудникова в морг, она последовательно побывала в руках старьевщика, мелкого антикварного спекулянта, вторичного вора, блатного скупщика, следозателя, оценщика и, наконец, часовщика старого знакомого Ильи Игнатьича. Поистине заслуживает некролога этот нарядный

шедевр часового искусства. — Итак, это был хронометр на одностороннем, шпindelном ходу, с репетиром и календарем, ранних номеров, изготовленный, судя по водяным знакам на циферблате, в 1758, часовщиком Кароном в Безансоне, в год совершеннолетия его сына, Пьера-Огюстена Бомарше, дослужившегося впоследствии до звания «смотрителя комнатных собак и хранителя королевских удовольствий» (— и, кроме того, автора нескольких отличных сочинений). Самый механизм, чудо своего века, заключался в футляре из прекрасной пронзительно-голубой эмали, такой глубины и силы цвета, что вещества ее хватило бы покрыть все небо, если бы нашелся подходящий растворитель. Чеканная монограмма первого владельца этой жемчужины осталась непрочитанной до самого конца. Было бы бессмысленно, в случае гибели этой вещи, искать ей замены: судьба не улыбается дважды. Но замыкался этот круг; только одно последнее событие отделяло хронометр от его уничтоженья. И, торопясь на разговор с директором театра, Протоклитов тем самым укорачивал этот срок.)

... трамвайный вагон успел обернуться у заставы. Тот же самый кондуктор выдал Протоклитову обратный билет. Вечерняя очередь стояла у театральной кассы. Директор еще не возвращался. Илья Игнатьич обошел все помещение, узнал из стенной газеты, что местный счетовод не ходит на производственные совещания, а уборщица Трунина проявляет рваческие тенденции. Так же он приподнял чехол с кресла и увидел бесвкусную бедность; поговорил со стариком, топившим печь, и узнал, что он женился полгода назад... Очень страдая от безделья, Илья Игнатьич вошел в зрительный зал и уселся в углу амфитеатра. Было прохладно, пели вентиляторы в тишине. Как всегда во внеэрабочее время, занавес был раздвинут. На деревянной стойке посреди сцены горела лампа. Гнутый листок жести отбрасывал в зал пронзительные лучи своими ломаными плоскостями. На их пути попадались — или бутафёрское дерево, или козуха осветительных установок в верхней ложе, или ажурная холстина паддуг и партика-

блей. Благодаря им голые известковые стены покрылись суровыми силуэтами, наложенными один на другой, и всякий отыскал бы свою тему в хаосе этих неповторимых фресок — кусок батального сюжета или фрагмент циклопической стройки, или снасти корабля, уходящего в безвозвратное плаванье, и даже сад, весь в цвету сад, если бы только сад потребовался по ходу мысли.

Сейчас театр казался неизмеримо громаднее, чем он был на деле. Тревожное, приподнятое над действительностью беспокойство зарождалось от созерцания пустой, без всяких прикрас, сцены. Высокая, кирпичной кладки стена позади рефлектора, заставленная дворцовыми каминами, рощами, цветными витражами средневековых соборов, накрепко пропиталась выделениями человеческой души; крепче цемента они связывали между собою грубые кирпичи. Наверно, можно было соскрести ножом и держать в руке этот серый, землистый тлен человеческих страстей. Понемногу Илья Игнатьич стал узнавать знакомые образы, обступавшие его с детства и скреплявшие его культуру. Здесь плакал Гамлет, действовал неугомонный Скапен и в мильонный раз ненасытный Жуан губил покорную Анну. Они кишели, видения, по всем углам этой пустоты, чтобы в любую минуту сойти на театральные подмостки.

И вот, в тишине зародились монументальные, неторопливые шаги. Испытанные всякой нагрузкой, трещали под ним половицы настила. Все было ясно: Каменный гость, соскучась стоять в паутинном углу между обветшалых задников, украдкой спустился с пьестамента поразмять ноги. Событие надвигалось, близился грохот каменных ботфорт, зловеще шевельнулась правая кулиса. Илья Игнатьич приготовился увидеть явление, неописанное никогда... Тогда из-за груды декорационных щитов вышел продолговатого вида пожарный, в каске и смазных сапогах, одним видом своим способный устрашить огненную бурю. Но театральные пожары становились редкостью, и караульный от скуки пускался время от времени в обход своих владений, может быть — в надежде увидеть огонь. Обойдя сцену по кривой, он оста-

новился у лампы и деловито прижал к ноздре большой палец правой руки. Последовал звук, напомилавший всхлип кузнечных мехов. И, опровергнув во всем разбеге протоклитовскую романтику, он повернул лампу рефлектором в глубину сцены. Фрески смыло мраком, и в ту же минуту кто-то назвал Протоклитова по имени. По той уверенности, с какой к нему приближался белобрысый, доброго роста и скандинавской внешности человек, легко было догадаться, что это и есть директор.

Илья Игнатъич принялся шутовски извиняться, что без билета забрался подсматривать самое сокровенное существо театра. Он рассказал о проделке Каменного гостя во внеслужебное время, и оба посмеялись, одинаково склонные рассматривать этот случай, как законную формулу отношения жизни к образному мышлению о ней. Смех сблизил их почти на расстоянье дружбы, и Протоклитов перестал сомневаться в успехе своего предприятия.

— ... вы не узнаете своих пациентов, профессор, — сказал тот, присаживаясь рядом. — Правда, мы встречались мельком: я лежал, а вы стояли. Я плохо запомнил последующее, но, кажется, вы резали меня...

— Да, это в прошлом году. Как ваша печень?

Тот сказал, что весьма доволен качеством протоклитовской работы. И верно, при более близком соприкосновении легко было убедиться, что этот человек порядком выпивал за обедом. Он прибавил, что сочтет радостью быть полезным исцелителю своему. Трудно было пойти на полную откровенность в таком двусмысленном и щекотливом деле; тогда Илья Игнатъич и решился на маневр, который в иное время счел бы недостойным себя.

— Я хотел говорить с вами об одной актрисе.

— Их у меня табун. Но вы имеете в виду свою жену?

— ... мою бывшую жену! — внушительно поправил Протоклитов. — Мы расстались около месяца назад, но эта женщина не безразлична мне и я хочу посоветоваться с вами о ее будущем.

Собеседник заметно удивился легкости, с какою этот почтенный человек посвящал его в свои семейные дела. Это обязывало, он насторожился. Со своей стороны Илья Игнатъич сообразил, что допустил промах: директор был приглашен на лизину вечеринку. Отступить стало так же поздно, как и объяснять смысл его, не очень хитрого, приема. Директор принял вид лукавой и недочерчивой серьезности.

— Это очень значительное обстоятельство... — И подавшись вперед, крепко, по-мужски, пожал протоклитовскую коленку.

— У вас сильная рука... — заметил Илья Игнатъич.

— Бывший теннисист: это остается на всю жизнь!

— ... и несоразмерно доброе сердце. Это не обвинение, конечно...

— О, не стесняйтесь, дорогой друг. Я, как ваше изделие, с глубоким вниманием...

— Поймите меня правильно. Зачем вы держите в театре плохую актрису?

Только теперь директор стал проникать в причины протоклитовского визита. Было бы невероятно заподозреть Протоклитова в намерении мстить женщине, когда-то делившей с ним любовь. Но директору были известны случаи из жизни (— и тут, как напомним, пожарный снова прошелся по сцене, но никто не заметил его на этот раз!), когда любовь толкала людей не только на героизм, но и на низость, и неистребимая сила одного чувства придавала свирепый разбег другому, ему противоположному. Лицо директора стало скучное и отсутствующее, и сразу размер благодеяния, оказанного ему Протоклитовым, уменьшился до величины, которой стоило пренебречь ради такого случая. Он промолчал, давая гостю своему возможность оправдаться или высказаться полнее.

— Я пристально наблюдал ее, — продолжал Илья Игнатъич. — Эта женщина не работает, не творит, а служит. Га, она берется петь, не зная нот, которыми написана жизнь. У вас она только насвистывает, и то с чьего-то фальшивого голоса. Искусство в наши дни —

это труд чернорабочего. Угадать будущее русло реки в половодье — не значит ли создавать его самому?

Директор улыбался, по-своему объясняя запальчивость хирурга. Похвиснева всегда нравилась Виктору Адольфовичу, а злость обманутых мужей нередко делает их придирчивыми критиками.

— Мне лестно, что вы предъявляете такие значительные требования к нашему театру. Это показатель вашего серьезного отношения к нему. Но театр наш молодой...

— Я говорю об одной лишь актрисе.

— Она почти ровесница с театром!

Протоклитов сердился—:

— Га, молодость не оправданье бездарности, не так ли?

— С точки зрения вашей науки вы сможете провести границу между гением и бездарностью?

— Итак, вы думаете, что не зря платите ей деньги?

Тому почудилась какая-то надежда в голосе Протоклитова; он взглянул мельком в его лицо и не прочел там ничего, кроме спокойного и жесткого ожидания, как и в тот раз, в операционной.

— Во всяком случае любому контрольному органу я сумею доказать, что она вполне оправдывает свои сто сорок в месяц. — За двойственной формулировкой обнаруживались истинные мнения администрации. — Видите ли, профессор, — говорил он дальше, снимая с собеседника незаметные пушинки и пуская их в воздух, — она вряд ли выбьется когда-нибудь на первое место... и, конечно, мы не пострадали бы от ее отсутствия. Но она любит театр и, разумеется, отдала бы за него душу, если бы имела ее, чорт возьми! Я хочу сказать, что в каждом искусстве нужны не только творцы, но и рядовые работники, та рабочая плазма, в которой развивается гений. Кроме того, не кажется ли вам, что большое сердце — это не сразу? — И, продолжая освобождать гостя от несуществующих пылинок, привел пару общеизвестных цитат, чтоб закрепиться на своих позициях.

— Все это очень неточно, — несколько мягче согласился Илья Игнатьич. — Покамест наши науки о человеке — по-

казатели нашего невежества. Люди никогда не были в силах дать абсолютное определенное явление без того, чтобы не отпечатлеть в нем несовершенство, свойственных веку. Я хочу сказать, что любая идея носит на себе дату своего выхода в свет... Но и в этих условиях ясно, что у Похвисневой налицо только ребяческое влечение к искусству, помноженное на детское тщеславие.

— Вы правы в том смысле, что искусство всегда служило ареной для столкновения честолюбий!

— ... словом, я прихожу с улицы и вмешиваюсь не в свое дело. Я не могу требовать от вас искренности, нужной мне, как лекарство. Но мы, хирурги, привыкли к большему мужеству. Приятнее сказать пациенту, что он здоров, но честь нашего ремесла мы полагаем в нашем диагнозе. Чем позже обнаруживается болезнь, тем хуже. Запущенные, они приводят к катастрофе. Мне следует извиниться за похищенное у вас время.

Директор удержал его на месте. Оба сошлись на среднем мнении. Протоклитов вовсе не собирался совершать гадости в отношении своей бывшей жены; равным образом, и администрация сходилась с ним во мнении, что этой актрисе нужна хорошая школа жизни. В общем, к концу получаса директор понял истинные намерения Протоклитова, и чем больше он соглашался с ним, тем непримиримее становился его тон.

— У нас не найдется прямых причин для ее увольнения.

Протоклитов поднялся—:

— Этот разговор становится похожим на заговор, а я собирался просить вас лишь подумать об этом.

Несколько минут они толковали еще о новых постановках и наиболее интересных операциях. Последующее молчание скрепило их союз.

— У меня есть один план, — сказал директор на прощанье. — Это очень крупное общественное начинанье... вы прочтете о нем в газетах. И если только вы не связываете меня сроками...

— Нет необходимости просить вас о сохранении этой беседы между нами?

— Я сам заинтересован в том же. — Он улыбнулся в самые глаза: — уви-

дите вашу жену, передайте ей, что я не смогу быть сегодня на ее вечеринке. Меня вызывают на совещание... теперь такая возня с репертуаром! Нам хотят резать Марию.

Огкровенный намек директора, что он разгадал побуждения просителя, следовало расценивать как не очень тактичную фамильярность. Добиваясь ухода Лизы из театра, Илья Игнатьич тайне надеялся на отказ; во всяком случае быстрое согласие администратора огорчило его. И тогда Протоклитов понял, что не уважает этого человека ни как партийца, ни как работника.

Гибель Карона

Он вышел из театра и вдруг понял, что ему нечего делать в этот вечер. Еще утром у него созрело решение вернуться домой возможно позже. Его присутствие могло повредить веселью лизиних друзей. Он навестил девочку Еву, обошел больницу и неожиданно поймал себя за тем, что бессмысленно листал прошнурованную операционную книгу. Потом он почувствовал голод и обрадовался возможности убить время на еду. Таким образом оказалось, что суетки построены неравномерно в отношении к приливам человеческой деятельности. Он поехал в Дом ученых, сердясь на быстроту, с какой все происходит в жизни.

Машина пронеслась по перерывным московским улицам. Официантка принесла заказ прежде, чем он успел переменить меню. Никого из знакомых не встретилось ему. Остаток времени он потратил на чтение газет и возвращение пешком. И точно дьявольская сила докинула его, вдруг он оказался у себя на лестничной площадке. Как во всех кооперативных домах, двери были тонкие; из квартиры его несло сиплое дребезжанье джаза и смутный гул голосов. Он и танцовали. Илья Игнатьич ошибся в расчетах; основная группа гостей собралась только после вечернего спектакля, и пирушка была в самом разгаре. Он снова спустился вниз, и эти дополнительных два часа были наполнены незеселыми переживаниями человека, у которого спорело все. Итти в

кино было поздно, кафе закрыли перед самым его носом, и целых полтора подлых бездомных часа он провел на бульваре, наблюдая сценки ночных людей. От долгого пребывания на холоде всегда у него зябла голова, он отправился домой. К его возвращению часть гостей действительно разошлась, но пиршество еще длилось. Он позвонил, и долго не отпирали. Вдруг в раскрытой двери появилась Лиза в необычайном каком-то халатике, цветы и листья, голубое с золотом. Щеки ее пылали. Тяжело дыша, она смотрела на серое, усталое лицо мужа. Все выше, удивленнее поднималась левая ее, подрисованная бровь.

— А, это ты? — сказала она разочарованно.

Он уловил смысл ее душевного движения.

— Я встретил случайно в Доме ученых твоего директора. Он просил извиниться... Я тоже запоздал, прости. Ты чем-то озабочена?

Она перебила его—:

— Ничего, ничего, раздевайся. Но там притащился один старик, мой первый сценический учитель... ты не слушай его! Верь мне, все это неправда. Я еще не жила, я даже не рождалась, когда выходила за тебя. Как мне гадко, Илья, как гадко! Не гляди на меня, я совсем пьяная...

— Зачем же ты? Тебе нельзя пить, даже преступно...

— О, мы пили за мужей, я не могла отказаться. Все запасы иссякли, оставалось только пиво. Но ты не бойся, я всех их перехитрила. У меня только голова закружилась, раскололась, оторвалась, поплыла... Но я все, все соображаю. Семнадцать на семнадцать — двести восемьдесят девять... правда? Кстати... это верно, что пивом пьют только за лошадей? — встревоженно и виновато заключила она.

— Га, я плохо разбираюсь в этом, Лиза.

— Я тоже... Но где же ты был все-таки? А, в клинике... я все забыла!

Гостей оставалось совсем мало. На подзеркальнике, удвоенные отраженьем, лежали две мужских шляпы, выдровая обтертая шапка и зимний картуз; то,

что вначале Илья Игнатъич принял за белый беретик Кагорлицкой, на поверку оказалось стареньким, с кисточкой, башлычком. Значит, оставались только мужичины. На шопот супругов выглянул Виктор Адольфович в фантастическом наряде, скомбинированном из всех пьес, в успехе или провале которых он принимал участие. Так, он имел на себе президентскую ленту из К о в а р с т в а и л ю б в и, расстегнутый, с прорезными буфами на руках колет Д о н - К а р л о с а (— из-под ленты виднелись старенькие, самолично отремонтированные подтяжки!) и еще круглую бороду вкруг шеи, мучившую своею знакомостью...

— А, сам обгаряющий руки в крови! Много ли народишка безвинного порезал? — возгласил он тоном игривой, испытанной дружбы и, помяв Протоклитова в притворных объятиях, передал остальным.

Отяжелев, гости уже не подымались с мест. Их было шестеро, одетых так же пестро и невероятно. Один, достаточно пожилой, чтоб не ждать от него предстоящего хамства, с тесно поставленными глазами и в черной докторской мантии, вызывающе назвался Горадио; почему-то этому верилось. В другом, глыбистом и рыхловатом, без труда узнавался Фальстаф; здороваясь, он сорвал с себя рыжую шевелюру и величественно помаhal ею, как шляпой. Еще двое, столь же полосатых и необыкновенных, в обнимку спали на тахте, может быть — Монтеки и Капулетти, примирившиеся за давностью сроков. И, наконец, коллекцию завершал седой длинноволосый, в меру пьяненький старикашка; он один пребывал в естественном своем виде, но зато самая внешность его сходилa за подчеркнутый, даже чрезмерный грим актера из Д н а. Он долго и униженно тряс руку Ильи Игнатъича, как будто надеялся вытряхнуть что-то, например — запасную бутылку из протоклитовского рукава, и все бормотал при этом о радости, какую доставляет ему созерцание лизушкина благополучия... Нетрудно было догадаться об интимном замысле этого дружеского маскарада. Наверно это были костюмы ролей, переигранных ими за юбилейные годы.

Беспорядочно сдвинутые стулья, залитая скатерть, груда бутылок в углу, алюминиевый тазик, зачем-то прилаженный к патефону, и, наконец, явственный, совсем необъяснимый след мужской ноги на обоях... весь этот неряшливый хаос лаконически повествовал об юношеских страстях и выдумке в самом начале вечеринки. Все было выкурено и выпито, веселье шло на убыль; оживленье вызвала непочатая бутылка, извлеченная Илей Игнатъичем из заветного тайничка. Ее встретили теми же аплодисментами, что и чудесную воду две тысячи лет назад в евангельской Кане. (Илья Игнатъич потирал руки, он озяб.) Таким образом, горячего хватило еще на четверть часа. Потом беседа, естественно, вернулась к прежней, до появления Протоклитова, теме. Только тогда Илья Игнатъич понял, откуда происходила сконфуженная возбужденность Лизы...

— ... теперь я заканчиваю. — едко возвестил человек в обличьи Горадио. Он постучал о рюмку, и Лиза сразу сжалась, как бы в предвестии удара. — Мне осталось немного... и ты сама этого хотела!

— Только чтоб всем было слышно... чтоб всем! — захопотал старикашка, прикладывая к ушам ладони, сложенные дудкой; он привстал и уселся поудобнее.

— Итак, ты уже подкралась и заматываешься на Марию. Без возраста, без темперамента, без становой актерской жилы, упрямая от слабости своей, коварная, равнодушная к людям, ты кидаешься в новую авантюру. А по существу, что на тебя ни надень, ты не почувствуешь разницы! Какие права ты имеешь на эту роль? Ответь, случалось ли у тебя в жизни, чтобы ты три дня не помнила ни о чем, кроме своего несчастья? Убивали у тебя жениха, или умерал твой ребенок, или выгонял из дому отец? Ты же никогда не страдала, не жила, не любила...

— Какой ты скучный и жестокий, Пахомов! — металлическим голосом вставила Лиза.

Тот пропустил мимо ушей ее упрек, которым она хотела остановить дальнейшее. Илья Игнатъич долил в свой ста-

кан остатки коньяка и тотчас поймал на себе краткий и острый взгляд Пахомова. Ему показалось, что все они, шестеро мстителей, нарочно дожидались его возвращения, чтобы в присутствии мужа довершить уничтожение Лизы. Старикашка сиял, как будто зная все наперед.

— ...я говорил тебе: разруби себя, и, если срстется, приходи, поговорим об искусстве. Я не знаю верного рецепта, никто не знает, у каждого по-своему. В древности продавали душу дьяволу, позже влюблялись в негодея с крашеными усами и в обтертой визитке. Говорят, что помогает также, если убить мужа... Не пойми меня буквально, милочка: дело целиком предоставляется твоему вкусу и изобретательности. Ты девушка, способная на все. — Он снова покосился на Протоклитова, который, допив коньяк, старательно составлял розочки из кусочков семги. — Но живи, двигайся, бойся душевного жира; помни — то, что не горит, не зажигает! А пока не тем ключом ты отпираешь дверь в искусство.. У всех нас развилась дурная потребность нравиться начальству, а истинный успех приходит только снизу, и слава наша — отход производства, стружки с души, мусор, щекотная и ядовитая пыль нашего цеха. А ты полагаешь, что от близости с большим начальством ты вырастешь в высоту? Только в толщину, милочка, только в толщину! (— По всей вероятности Илью Игнатича он принимал по крайней мере за директора какого-нибудь промышленного комбината.) Не нравится тебе моя правда?

— Ну, ты ее не очень, не очень! — испуганно затормошился старикашка, а сам придвинулся ближе, чтоб не пропало ни слова. — Ты уж больно тово, под ложечку...

— Помолчи, Закурдаев! — небрежно отмахнулся Горацио. — Ты, как ревизор, появляешься у меня только в финале. Ешь пока! Ешь, что подороже: завтра не дадут. Жри, уничтожай! Пускай она платит за то, что мы сидим за ее столом.

Нужно было какое-то длительное раздражение, усиленное вдобавок нехваткой

вина, чтобы при муже так дерзко поносить жену. Он прервал поток своих ругательств лишь за тем, чтобы чокнуться с Фальстафом. «За нищих комедиантов!» — воинственно возопил толстяк, открывая карты, и реплика прозвучала, как пароль заговорщиков. Он выпил и с комическим ужасом взирал себе на живот, который двигался и содрогался. Его пухлые пальцы побежали по опустевшим тарелкам; так же поступал бы и живописец со своею палитрой, творя образ знаменитого обжоры и задиры. Пользуясь передышкой, Лиза метнулась на кухню, и через четыре минуты вынужденного молчанья три котлеты, обеденная порция Ильи Игнатича, шипели и смрадили на сковородке. Так, усердными хлопотами по хозяйству Лиза стремилась купить сострадание товарищей по ремеслу. Никто не обращал внимания на эту испуганную суетливость, чтоб не увеличивать степени униженья; никто, кроме мужа. Затем, присев на краешек дивана, она украдкой следила, как капризно расковыривал Горацио доставшееся ему мясо.

Еще вчера, еще вчера — как хотелось ей залучить к себе этого холодного, озлобленного, всегда чем-то обиженного человека! Приобретая его расположение, она тем самым завоевывала признание всех остальных врагов, которые его боялись. И как она каялась теперь в своей предприимчивости! Она вспомнила недавнюю остроту директора о нем: «закройте же, наконец, этого человека, я простужаюсь от него!» За три года Лиза хорошо узнала Пахомова. Этому актеру никогда не везло. Не испытав даже простой известности, он с тем большей желчностью знатока распространялся о существе славы. Когда профессия актера не далась ему, он сменил ее на грозную профессию неудачника. Единственную женщину, полюбившую его, постигла судьба Коммиссаржевской: ее сглотдала черная ташкентская оспа. Женщину звали Елена Аренс, она была отмечена задатками великой актрисы, память о ней всячески поддерживалась в театре, где работала Лиза. Как всякая молодая организация, театр нуждался в своих собственных святых. Давняя близость

с этой женщиной безмерно возвышала Пахомова в глазах товарищей; так выглядит благодарность мертвых. И, правда, он положил не мало усилий, чтоб помочь покойной актрисе овладеть своим дарованием. Но когда умирает творение, судьбу его неминуемо разделяет творец. Сам того не замечая, он уже четыре года жил на проценты со своей тайны. В эту пору люди были забывчивы; все чаще приходилось ему трогать свой основной капитал. (Амплуа неподкупного судьи временно спасало его самого от нападок. Щадить Лизу — значило бы растрчивать свою злую репутацию, — все, что у него оставалось.) Все знали, что очень скоро он заговорит об Елене, и было интересно, как это у него получится на этот раз.

— Итак, разберем по пунктам один момент твоей биографии, милочка...

— Поздно, Пахомов!.. Пора по домам! — торопливо заметил Виктор Адольфович. — И у тебя какой-то деструктивный ум...

— Жуй свой паек и не дави мне колесо, — скрипуче продолжал Горацио, входя в азарт расправы. — Ты модный постановщик, тебе даже горю ничего в трусиках простили, а я старый актер и друг Ксаверия Закурдаева. Мы заработали право говорить во всяком доме, где проживает актер. Целых восемнадцать лет мы таскались с ним по провинции, из города в город, полуголодные (—или, наоборот, страдая от переполнения желудка, что одно и то же!), беднее церковных крыс, в сапогах, напоминавших апостольские сандалии, заго в шляпах, этих засаленных фиговых листках благородной нищеты! И мы пропили с ним наши юности не потому, что папа с мамой зародили нас в беспутный час, а потому, что старый русский актер — мотор, работающий на тяжелом топливе. В российскую глушь, где моральные нормы диктовали поп с исправником, мы тащили грузную колымагу с Шекспиром, Островским и другими святыми отцами мирового репертуара. Мы изучили на себе географию этой страны — размах ее бессмысленных пространств, лютость ее морозов, разливы ее воистину песенных рек,

своевольное гостеприимство ее жителей, из которого только и узнаешь про ядовитость чужого хлеба. Ну-ка, вы, нынешние, в трусиках, походите по ней!.. и кто из тех пастухов, ставших замаркомами, или сельских учителей, которые нынче вершат историю мира, не помнит нас, коробейников великого искусства? Ха, хлопайте нам; если уж не сытный харч и обеспеченную старость, то по крайней мере это сотрясение воздуха мы заслужили с ним! — Он переждал несколько мгновений, глаза его увлажнились, и тоска раздвинула его губы. Сейчас это был родной брат Ксаверия, осмысливший свою бездомную юность.

— Не дотянули, не дотянули мы с тобой, — всхлиывая, шептал Закурдаев и все требовал, чтобы тот рассказал про какой-то особенный, саратовский случай.

— Молчи, они не поймут Саратова! — вскинулся Горацио. — И зог перед вами сидит пьяный, глухой, всем надоевший Закурдаев. Спрячься, неряшливый, гнусный старик, не срами истории русского театра. Эта женщина стыдится тебя и ненавидит меня за то, что я притащил тебя с собою, как призрака, как совесть, как чуму. Ничего, милочка, не жалею его, чорт с ним! Российский актер всегда любил умирать на больничной койке. Он будет лежать в большой сводчатой и тухлой комнате, с березовым поленом под головой; молодые люди с ножичками вынут из него сердце со следами алкоголического перерождения. Они не будут знать, что это чучело, составленное из тряпья и горсти седых волос, было когда-то актером проверенного мастерства, честного, наивного, хоть и дикарского таланта. Он был смешной, он разносил баллюстры, играя Отелло, а в Трильбиныходных актеров хоть на веревках подтаскивай к нему, как к Сальвини или к Рыбакову. Он уходил со сцены в царских, порезах, синяках, в тридцать лет — с одышкой, чтоб, напившись в своей мурье, перележать ночь до следующего спектакля. Это был не ваш зригель, нынешний, который ходит в музеи, в публичные библиотеки, в вечерние университеты... Наш зритель был

волосат, неграмотен и дик; он знал единственную книгу — псалтырь, книгу мертвых. Нужно было ежевечерне взрывать самому, чтобы потрясти эту нечеловеческую пустыню. Да, милочка, этот ничтожный старик заставлял содрогаться или ликовать от радости страшилищ в чиновничьих мундирах, в чуйках, в лагных картузах, ремесленников, никогда не видавших неба и смертно лупивших своих жен со чады! Мы пахали эту страну наравне с сельскими учителями и известными агитаторами будущей правды. Этот старик — целая академия! Повернись в профиль, Закурдаев, пускай они тебя запомнят навсегда... ты особенно хорош в профиль. Правда, эта академия любит выпить, всегда любила...

— Правда, правда... — заворкотал, засуетился Ксаверий, как будто Пахомов лстыл ему. — Чертей видал! Я их щупал... плешивые, с то-оненькими плечками, и сквозь шкурку синенькое просвечивает...

— ... и, вот, ты два года жила с ним ежедневно, ежечасно... чему ты научилась от него? Не пугайся, я не о благодарности твоей говорю. Дай ему еще пятерку к тем двадцати, на которые у тебя хватило дерзости: ему за глаза довольно! Но укажи, какую черту в твоей душе оставила смешная, запоздалая закурдаевская любовь? Взгляни в зеркало: у тебя ж молодое, младенческое, ничем не тронутое лицо... и в нем непригворная ясность ребенка сочеталась с прожженным старческим практицизмом. Большая это вещь в искусстве — преодоление молодости...

— А разным образом и сохранение ее! — поучительно зааминил его декламацию Виктор Адольфович.

На этом бы и остановиться, эффект пахомовского выступления был полный. Вполне достойное отращения зрелище увлажнившегося старца усиливалось чувствительным кряхтением Фальстафа, испуганным видом проснувшихся Монтекки и Капулетти и, наконец, сосредоточенным молчанием самого Протоклитова. Он как будто даже улыбался, рисуя какие-то замысловатые восьмерки по скагерти, а испытывал, наверно, то же

самое, что и всякий муж, когда любимую его жену публично, под кнут и через палача раздевают на площади. Какие бы новости ни узнал он сейчас дополнительно, ничто не поколебало бы его уверенности: постигшая кара значительно превышала лизину вину перед этим стариком. Пахомов собирался продолжать пытку, и теперь только упоминание об Елене Аренс могло отвлечь в сторону внимание и злость мстителя.

— Елена тоже выглядела молодожавой, но ты, помнится, держался иного мнения на этот счет, — тихо сказала Лиза, а глаза кричали: «ты сам, как ворон, питаешься мертвой Еленой и, вот, вьешься, отыскивая новой падали!»

— ... ты назвала это имя! — вскричал Горацио, и какая-то страстная несытая хрипотца явилась в его голосе. — Но вспомним, как она делала самые маленькие из твоих ролей. Никто не забыл, как она играла на вступительном испытании: вещи сыпались вокруг нее, и ждали, что самый потолок рухнет над нею. О, Елена была прежде всего женщина великого сердца, умевшая любить достойных, а кроме того, умница. Она до самого конца продолжала оставаться молодой... ты слышишь? а не молодожавой. Французы, гостившие тогда в Москве, назвали ее второй Дузе, и она была бы ею, если бы не катастрофа. (Во что только не рядится судьба, чтоб придать разнообразие своим убийствам!) А я помню Дузе... в пьесе своего дурака-мужа она играла вместе с Цабони у Рейнгардта. Глубина голоса, трагическая прелесть лица...

— Ну, положим, Аренс была нехороша собою, — молвил Фальстаф, выпучив воловьи глаза.

Пахомов осекся; спустя всего четыре года он и сам запомнил ее прыщеватый, хоть и вдохновенный лоб, ее нехорошие уши и лицо, слишком инфантильное для рослой и могучей женщины ее лет. Отступить ему было поздно —

— ... они стоят перед моими глазами, эти рыжие кудри, свитые в тяжелые кольца и уже пронизанные тонким себрем, которым она платила за свою кратковременную славу. Она была вся

как маяк, пламя ее таланта горело на ее голове. И когда в последний раз я держал эти прекрасные волосы, чтоб отстричь одну только прядь...

В этом месте Протоклитов поднял голову—:

— Вы были ее парикмахером? — И зевнул, прикрывая рот рукой с видом вежливой и терпеливой скуки.

Намеренно-грубую выходку Ильи Игнатьича можно было расценить как удар в спину и, принимая во внимание болтливость Монтекки, даже как покушение на жизнь. Горацио споткнулся на полуслове и жалко озирался, ища помощи от друзей.

— Он был ее мужем... — укоризненно пояснил Виктор Адольфович.

— Невероятно! Лиза мне рассказывала кое-что об Аренс. Повидимому, это была достойная женщина. Но та апология алкоголизма, которую мы выслушали только-что...

— Я вижу, вам не нравятся наши суждения, — прервал его оправившийся Пахомов, без особого достоинства и за благовременно собирая в горсть полы своей мантии. — Что делать! Вы сами гадаете иногда, как авгур, по внутренностям своих пациентов. В спорных вопросах вынуждены анатомировать и мы. Правда, я не досказал всего...

Илья Игнатьич привстал—:

— Ваш анализ моей жены не пострадает, если на этом и закончится. При том же, коньяк выпит, время позднее, а хозяева хотят спать.

Сразу стало очень нехорошо в этом уютном месте. Все кроме Лизы, шумно поднялись, как бы выходя в открытое поле, на поединок. И так, они бежали, эти размалеванные чудачки, как дьяволы, едва сплет полуночный петух. Как быстро облупилась и осьпалась их бутфорская позолота! Фальстаф, отличавшийся нравом от шекспировского, шарил под столом паклеву, на столярном клею, прическу, чтоб не взыскали за утраченный реквизит. Монтекки и Капулетти уже в прихожей ссорились из-за калош. Очень бледный, но приветливый по-своему, Илья Игнатьич стоял у двери, опираясь рукой о притолоку и каждого провожая суховатым поклоном.

Его заметно потешал Закурдаев; старик деревянно покачивался посреди, мигая и недоумевая, кто именно изгоняет его из волшебного рая. Скандалист и гуляка, он в душе изголодался по сытной еде (—и чтоб ее можно было есть медленно, не торопясь никуда!), по белой тугой скатерти (—и чтобы милая сердцу женщина присутствовала за столом!), по мирной и дружественной беседе.

— Ну, нахамили, Ксаверий, и хватит! Здесь живут благородные люди... зрители! Они не любят отсебятины и постороннего шума... — говорил Горацио, встряхивая старикашку за плечо. — Тебе пора бай-бай до радостного утра!

Он повлек его за собой, упирающегося, жестоко и властно, как вещь, вышедшую из здешнего употребления. Тому не хотелось уходить, не сказав чего-то главного, очень оскорбительного, но ничего не изобреталось. «Жирненькая стала, она стала жирненькая!» — лепетал он без прежней похоти и хватался за мебель, за друзей, за все, что попадалось по дороге. Илья Игнатьич вышел взглянуть, как станет Пахомов натягивать пальтишко поверх своей дурацкой мантии. Оказалось, необходимо было предварительно зашпилить ее на булавки, и тогда под нею обнаружились обыкновенные полушерстяные, с рисуночком, брючки. Вся в пятнах стыда и ужаса, надеясь поправить происшедшее, Лиза выразила сожаление о раннем уходе гостей. Ей ответили со зловещей учтивостью, что трамвайное движение прекращается в этот день на час раньше обычного.

Последним уходил Виктор Адольфович—:

— Прощай, Лиза! — сказал он эффектно и пощекотал бородкой ее увядшую, бесчувственную руку. — Халло, дорогой профессор. Вам нужна жена, а нам актриса. Не будем ссориться по пустякам. Она сама сумеет сделать выбор!

Горацио-Пахомов поддержал его—:

— Забирайте ваш инструмент и играйте сами... — И уже с порога, из безопасности, прибавил что-то насчет скрипки, которая под любым смычком играет одинаково плохо.

— Вы ничего не захватили из моих

вещей? — со сжатыми кулаками крикнул ему Протоклитов.

Он запер дверь и, развязывая галстук, давивший его, прошел к себе. Свежая книжка Хирургического вестника валялась на столе. Он листал ее, разрывая ладонью листы и прочитывая одни заголовки статей. Молчание Лизы беспокоило его. И когда уже собирался отправиться к ней, в расчете найти ее примирившеюся и покорной, она сама ворвалась к нему.

— Что ты наделал? — И вихрилось все кругом нее, воздух, мысли, самые вещи. — Как неуклюже и плоско это вышло у тебя! Ты стал кричать на человека, который хотел мне добра. Ты, аристократ, зазубривший свои книжки, ты хочешь, чтоб я штопала твою белую и таскались на рынок за капустой? Они же выгонят меня теперь! — Она тянула его за руку и не могла сдвинуть даже на полдюйма: — иди, догони их, верни...

— Я не безгранично широк, моя дорога. И очень хорошо, что все разъяснилось. Га, тебе все равно придется временно уйти из театра, а там посмотрим...

Он держал ее руку и слушал; еще билась ее рука, но необыкновенная его пациентка была уже достаточно подготовлена к операции. Тогда он заговорил по возможности быстро, трезво и сжато. Операция должна была состояться без наркоза, и, как бы болезненна ни была, он торопился закончить ее. Первичный разрез был уже сделан, и он не стеснялся в сравнениях: хирургическое вмешательство всегда носит элементы грубоватого и умного насилия. Он говорил, что власть Лизы над зрителем обманчива, что служить курьершей и разносить горячий чай в опрятных стаканах честнее этой суетни вокруг пустого места, что полезность общества определяется результатом деятельности, а не почтенностью намерений. На выбор Лизе предоставлялось или учиться, чтобы со временем помогать ему в работе на условиях, гарантирующих ее самостоятельность, или искать работу в соответствии с дарованиями. Самый уход из театра диктовался предстоящим ро-

ждением ребенка. Конечно, это будет сын, — это удивительное окно в будущее! Его планы в связи с этим были громоздки, восторженны и фантастичны. И до чрезвычайности выразительно Илья Игнатьич нарисовал перед нею, подавленной и молчащей, образ крохотного человечка, шагающего в ногу с нею по улице. «Этакий поджаренный, с розовой корочкой на щеках, бубличек!» Не боясь быть осмеянным за сентиментальность, он живописал перед Лизой его пухлое личико с усами, нарисованными шоколадом, его рассудительность, с какой он подвергает обсуждению события внешнего мира, его повадки, в которых смешно и жутко узнавать самого себя. При этом он намекнул, какое высокое звучание при социализме будет иметь это, самое древнее слово планеты, мать (отец же станет только составной частью этого единого понятия). Операция подходила к концу. Лиза сидела как бы в забытьи, низко опустив голову, и вторично обманула Протоклитова мнимая ее покорность. Он подошел сзади и за подбородок вскинул ее голову вверх —:

— А когда все окончится... — Емкая пауза включила в себя несказанные слова о временном ее уродстве, о всяких лишениях и хлопотах, о родовых муках — ...когда кончится все это, мы поедим все трое к любому морю. Уж на этот раз я отвоюю себе отпуск. И мы, двое стройных и любящих мужчин, согреем этот холодный носик, озябший от слез...

Фигурально выражаясь, это была последняя нитка кетгута. Но тогда Лиза отпихнула его в грудь и закричала, что ребенка не будет, не будет, что нет ему ребенка, что этот маленький требовательный человек никогда не войдет в их жизнь...

— ... я убила его... в тот раз, помнишь, когда ты вернулся и я сказала, что угорела в театре.

Больше всего боясь, что он сочтет ее признание следствием запальчивого желания доставить ему боль (а потом будет долго терзать ее ожиданием ребенка!), она спешила назвать ему переулочек, день, час, цену и тысячи прочих подробностей,

убеждавших в правдивости происшедшего. Весь ее намеренно приподнятый до крика рассказ служил прикрытием ужасного смущенья перед мужем, который, по ее же собственной морали, вправду был почитать себя ограбленным. Спрятав лицо в ладонях, вся раскачиваясь, может быть, жалости к себе добивалась она. Сквозь пальцы она видела его глухое и важное лицо, темное от запонки пятнышко на горле, которое заметила только сейчас, его темные ноздри, где шевелились волоски... и казалось, что весь он изнутри подбит длинным черным мехом, без горячих человеческих внутренностей, механический и рассудочный человек. Ей становилось тем более страшно, что уже иссякал ее крик, а он все еще не проронил ни слова. Вдруг он сказал —:

— Я вытру вас из себя... га, как стирают губкой написанное мелом! — и, повернувшись на каблуках, пошел вон из комнаты.

Заложив руки за шею, он вошел в столовую. В окнах светало; кто-то успел потушить свет, и тем явственнее белели раскиданные по полу окурки. Илья Игнатьич услышал, как тихо и вкрадчиво Лиза позвала его, но осталась стоять. Ему было удивительно, что когда-то одно приближение этой женщины повергало его в стыдное, почти юношеское смущенье. Помимо воли всплывали в памяти подробности этого запьянцовского балагана, и предстал Ксаверий, в сотню раз поганее, чем это было на деле. Не ревность, но брезгливость испытывал он в эту минуту. Потом он услышал звук, множественный и разгнанный, точно сразмаху швырнули о пол пригоршню монет.

Слышно было, как последняя катилась дольше всех, по спирали смыкая круги. Он понял это так: Лиза любым способом хотела вернуть его назад, чтобы самой перейти в наступление. Машинально он припомнил все вещи на своем столе, какая из них могла произвести такой ломкий и хрусткий звон. Через его глаза прошли — граненый синий стаканчик, где хранились перья и цветные карандаши, потом новехонький дистоскоп, с уширенным полем зрения и

великолепными цейссовскими призмами, чудо оптической техники, только-что привезенное из-за границы, и, наконец, китайское эмалированное блюдечко, куда складывались старые бритвы, запонки и всякая канцелярская мелочь. И его мучило, что он не может вспомнить того главного, что еще четверть часа назад видел у себя на столе.

— ... что там упало? — через всю квартиру гаркнул он.

В три громадных шага он достиг двери кабинета и заглянул. Лиза сидела на корточках, спиной к нему. Одна выше другой, торопливо двигались ее лопатки. По осколкам глубокой эмали, разбрызганной по полу, Илья Игнатьич догадался, что погибла его карононская луковица. (Он имел привычку всякую новинку своей коллекции подолгу выдерживать на столе, пока не освоится с нею). С глубоким и злым любопытством он зашел сбоку. Дрожащими исколотыми пальцами Лиза пыталась втиснуть назад, в исковерканный футляр все эти колесики и шестеренки. Количество их как будто удвоилось. Маленькие частички неизменно выпадали из ее рук и, покатавшись, снова ложились перед нею.

— Они у меня не влезают... — жалобно прошептала она и с отчаянием подняла голову.

Одним мимолетным словом он мог овладеть ею навсегда. Он не понял. Челюсти его разомкнулись, как зев пещеры. Он зевнул преувеличенно громко и пошел вон из кабинета.

— Ящер, ящер... — взгонку ему шепнула Лиза.

... через два часа она неслышно, босая, приблизилась к двери и заглянула. Илья Игнатьич в одной сорочке сидел у посветлевшего окна, посасывая свой коньяк. На этот раз она не решилась нарушить его раздумья, но через час ее снова разбудило тревожное ощущение одиночества. Мужа не было в комнате. Она испугалась, но, проходя мимо эскала, задержалась на мгновение; актриса хотела запомнить, какое лицо бывает при этом. (В ее натуре было переживать свои несчастья быстро, бурно и бесследно.) Илья Игнатьич сидел на

прежнем месте, и почему-то коньяка в бутылке значительно прибавилось. (Она отлично запомнила, что в прошлый раз уровень жидкости приходился по нижнему краю ярлыка. Второпях трудно было сообразить, что это была вторая бутылка.) Лиза подошла к мужу. Стратегия ее была до крайности проста: легкий шелк подчеркивал ее наготу.

— ... но это же глупо пьянствовать в одиночку, — смущенно сказала Лиза.

Он молча поднялся и взялся за трубку телефона. Номер, названный им, был неизвестен Лизе; он звонил в больницу, но не в свой кабинет, а в комнату дежурного врача. Очень заботливо он расспрашивал о здоровье какой-то Евы. Чужое женское имя поразило Лизу; в первую минуту она была готова заподозрить даже в этом разговоре прозрачную и банальную хитрость всех мужей. Нет, ее не интересовали его шашни с пациентками!

— Меня крайне беспокоит участь этого ребенка. Она улыбалась мне даже на столе! Да, мать можно допустить теперь, — продолжал Илья Игнатьич. — Зайдите к ней и позвоните мне потом. Я буду дома...

Тогда Лиза вспомнила, что этой Еве всего пять лет. Ей стало холодно и стыдно, и собственное появление ее здесь в такую минуту казалось примером какого-то крайнего распутства. Горбясь, она вернулась к себе.

Я разговариваю с историком А. Н. Волчихиным

Мальчика Луку Омеличева я встретил только раз, в одно из последних посещений Курилова и почти накануне того, как произошли грустные и непонятные события. Сидя на полу, он играл с моделью паровоза, поднесенного Алексею Никитичу железнодорожниками. Такого страстного восторга перед вещью я и впоследствии никогда не наблюдал у детей. Игрушка была чудесна. Она обладала всеми подробностями настоящего паровоза. И даже, если просунуть палец в будку машиниста, можно было нащупать на котле тоненькие тру-

бочки инжекторов. Стоило толкнуть легонько механизм, и поршни двигались, колеса бежали, а мальчик бил в ладоши и, запрокинув голову, трубно мычал в воздух. Было не шибко весело смотреть на эту последнюю ветвь омеличевского дерева.

Когда я занимался в Пороженске всякими раскопками о детстве Лизы, мне повезло отыскать одного краевого патриота, Андрея Матвейча Волчихина. Превежливый старичок с двухярусными шишковатым лбом и цепкими проворными руками, он приходил в некое поэтическое иступление, если речь заходила о его родине, — впрочем, в радиусе не свыше ста километров. От него я и обогатился кое-какими сведениями об омеличевской родословной. Я зашел к нему на часок, а он усадил меня в красный угол и, забаррикадовав самоваром и всякими маринадами, до утра потчевал меня знанием о Пороженской старине. Он водил меня по дремучим лесам земли Буртас и древней Мордии Константина Порфирородного, мимо шалаша легендарного мордвина Теша, через вотчины первых мордовских правителей Пурейши и Пургаса, сквозь буйные орды болгар и половцев. Я наклонялся над князем Иоанном Брюхатым, что принял смерть от казанца Арапши на речке Пьяне; наблюдал благочестивого Дмитрия Константиновича, удирающего из Нижнего без штанов; дивился подлости Симеона Кирдяпы, натравившего татар на восточную окраину тогдашней Руси. В упор, размахивая буздыганом, двигались на меня из мрака ночи громадный Улу-Ахмет с сыном Мамлюком, ногайский мурза Ахмет-Аминь, полонивший воеводу Хабару Симского, что погребен в подпольи пороженского собора, поджигатель и громила Сафа-Гирей во главе своих ватаг, и, наконец, запросто присаживался к столу какой-то Ибрагимка, а чего он натворил в истории, я уже не разобрал. Утомясь в одночасье от мелькания имен тихих наших рек и урочищ, буйных монастырей и военных деятелей, поивших кровью неплодные здешние пески, я боролся с сомнением, не врет ли, не расцветивает зря свою пустыню этот оглушительный

старичок. Было жарко натоплено в его лачуге; вдобавок пучило меня от волчихинской солонины, слишком долго ожидавшей гостя на дне глубокой кади. А тот все потихивал меня в бок, чтобы запоминал я это дымящееся крошево безглавых туловищ, опустошенных храмов и обугленных богатств. Сконфуженный таким гостеприимством, икая и скорбя, я брался за шапку, и снова поддавался магии его бисерного и образного повествованья. И снова он вгонял в меня неисчислимые массы чая, гриба и особо хрустких, сатанинской прелести, ватрушек.

— Опиши нас, деточка. Опиши древность нашу. Покажь ученым людям пороженское человечество, как боролось оно и как росло, и как не удалась ему жизнь. А и осудят — на пользу! — И было бы бесчестным по отношению к старику умолчать в этой повести о его рассказах.

Он напоминал мне былого гостинодворского торгаша, что пытается всучить и коляску и пару хомутов покупателю, пришедшему к нему за шлейным ремешком. Ради нескольких страничек об Омеличевых я должен был выслушать целые трактаты о различии моровых язв, навещавших Пороженск («возжигали мы навоз по оврагам, да разве от бога откуришься?»), об одиннадцати тысячах казней, произведенных тут при подавлении тушинского бунта («все больше на колья обожали сажать людшек. Уж и воняло у нас при тишайшем царе!»), о многих именитых пороженских гражданах. Я постарался отвлечь его в сторону Омеличевых и упомянул об отроке Луке. Андрей Матвейч отпрянул от меня, как ужаленный. Мне стоило труда убедить его, что имя это без умысла скользнуло у меня с языка. Но и после, когда характер этого человека пересилил все, долго еще с опаской поглядывал на мою тетрадку.

Его повествованье об омеличевской династии носило в себе элементы и былины, и криминальной хроники, и даже экономического исследованья. На этом примере он выводил закон падения всех таких скоропалительных торгово-про-

мышленных фамилий. Слишком поспешная смена условий существования, не сопряженная с непосредственной борьбой за хлеб, отразилась на последующих представителях рода. Зачинателей и подвижников первоначального накопления сменили растратчики заготовленного впрок; они питались верхушками знаний и ценностей, добытых не ими; род сгорел в продолжение века, полыхнул и погас. Касаясь мальчика Луки, Андрей Матвейч словесно изобразил нарядную колыбель, а вокруг нее всяких дядьев и родичей. Сюда собрались и беглые, графа Салтыкова, мужики, и купцы, и кликуши, и буяны, и милостивцы, и просто юродивые, променявшие хоромное уединение на хрестардное подзаборное житие. Каждый из них принес последнему потомку частицу себя в дар, и ни одно из приношений не выкинуто было из невинной колыбельки. Даже вступленье новой крови (— я не понял, имел ли он в виду Ефросинью Курилову или ту бедную таборную цыганку, мать нынешнего Омеличева —) не смогло уберечь род от гибели.

— Вещество-т шлакуется при каждой плавке, убавляется в ем первобытный металл, — сказал Волчихин, придвигая кислые, не крупней грецкого ореха, яблочки — Кушай, деточка, наше яблоко. Оно голос прочищает, и кожа в лице мягше становится!

Итак, он начал издадека, с давнего золотого века, когда Пороженск лишь накапливал славу и капиталы. Оборотистый, он брался за все, что доставляло барыш: золотил кресты во всех соседних епархиях, строил кареты для столичных щеголей, кормился на кружевах особого плетенья — мышиная тропка, и льняную пороженскую крашенину знавали в России так же, как отборный пороженский орех. Но не спроста на городском гербе был изображен умирающий бык, влекомый двумя гражданами внушительного вида. Ему был обязан своим процветанием городок. По многочисленным трактам сюда сгонялся отовсюду рогатый скот, чтоб, погостив на пороженских бойнях и салотопнях и кожевнях, двинуться на Макарьевскую ярмарку в виде мыла и овчин, шорного

товара и свечей. Это была пора, когда не знали ни керосиновых ламп, ни газа. Желтая саленная свеча одинаково чадила и во дворце петербургского вельможи, и в избе деревенского дьячка.

Главная прибыль, однако, происходила через знаменитую пороженскую юфть. Ее брали нарасхват, и красная, болгарская, шла в Азию, белая в немецкие земли, а черная и полуфабрикат, мостовые, на вольный Дон. Труд был тогда дешевый, и кожевенные заведения следует понимать в самом упрощенном смысле. Дуб толкли пестами в каменных ступах, а кожу прыскали дегтем прямо изо рта. Заводишки эти сгрудились на восточной окраине, справедливо названной Погибловкой, и сград в этом месте достигал такой плотности, что приобретал даже свой собственный цвет. По отзыву Волчихина, он был, якобы, слоеный, глухого кубового цвета и с желтыми, под адский мрамор, струйками. Текли вонючие лужи, и в них, надо думать, гнездились всякие моровые бактерии, чтоб вспрянуть однажды и черным смерчем пройтись по планете. Большинство этих кожевен принадлежало предприимчивым крепостным мужикам, находившимся у господ на оброке. По закону, крепостные не имели права иметь крепостных же, но ухитрялись заполучить их в кабалу, по двести за душу, и можно было представить, каково жилось этим рабам рабов!

В ту пору и пришел в Пороженск мужчина в войлочной шляпе и поношенной черкеске. Он стал ходить, глядеть, примеряться, и часто его видели: стоя на высоком берегу Мялки с закинутой головой, то ли вглядывался в лесные, дымчатые дали, ставя предел будущим завоеваньям, то ли вслушивался в особенную пороженскую тишину. Круглые сутки стояло над городком жалкое бледное овец и мычанье убиваемых волов. Иногда незнакомец заходил в чужую лавку на гостином дворе и все помаргивал, часто-часто, левым веком. Его признали, назвали черкесом, боялись гнать и обходили при встречах; он наводил ужас, потому что не говорил, не дрался, не пьянствовал и ничего не про-

сил. Все, духовенство и гражданского звания люди дивились, какие только народы не населяют землю! И тут влетается легенда. В половодье, в неурочный час дня, увидел он на реке — плывут в дырявой лодке трое, либо святые, либо беглые. Несло их льдом, закручивало. И будто бы он спустился к ним и помог от смерти, и беседовал с ними, и они плакали, посинелые, скорчась на талом снегу, а на рассвете выменял у них грудку золота за полтора штофа водки, топор и четыре горсти гвоздей. Словом, тайну омельчевских богатств каждый расцвечивал сообразно достатку и воображению. Скоро после того пришлец приобрел себе кожаную у бездетного купца, собравшегося ко святым местам. При составлении купчей он показал бумагу, и из нее узнали доверчивые пороженцы, что прозывается черкес Лукой Омеличевым, и вовсе он не черкес, слава богу, а отпущенный бурмистров сын, обласканный баринном Салтыковым за некие секретные услуги.

Подробности забывались, и чем дальше жил Лука в Пороженске, тем все менее знали о нем. За высоким, без щелочки, забором гремели и тякали цепные псы. Ночью стучали сторожевые колотушки. И в самый светлый день темно бывало в окнах. Кто-то выбил сучок в доске, и люди могли видеть в дырочку, как самолично, камешек к камешку, мостил и утапывал свой двор Лука, проводил канавы для стока кожевенных нечистот и сажал деревья. «Клёны же возлюбил он таче всего!» — сказал Волчихин. Только к обедне и показывался Лука на народ, и то в сопровождении двух ражих кожемьяк, длинноруких и молчаливых, как его вечерняя тень. Видно было также: у левого на лбу, под скобкой волос, выжжены были литерные знаки железом палача. Весь черный, как высмоленный, Лука и в церкви стаивал недвижно, не молился, а, нацеляясь на икону, все помаргивал, мелко-мелко, точно страдал пречистую и ее младенца. Никто не мог похвастаться, что хоть на грошик испил от омеличевского гостеприимства. Один только градоправитель заезжал к нему в крепость, не

чаще двух раз в год, и через полчаса весь красный и довольный убирался во-свои.

Завод Омеличева выходил на первое место в Пороженске, но богатства его росли вне всякого соответствия с коженными успехами. Допускали, что он сеет деньги в землю, и уже к утру, напуганная его помаргиваньями, она родит урожай. Года четыре спустя, из той же неизвестности, к нему приехала жена с двумя рослыми сыновьями; мужицкие пошевы в'ехали в ворота, которые замкнулись с гробовым стуком. На пятый год Луку нашли зарезанным у чана с квашеными кожами. «Весь успел выгтечь, и натекло с него, как с дождя!» Почти стделенная от туловища голова все еще помаргивала понатым. Меховщик Подсосов, сосед Омеличевых, показал на следствии, что в канун злодейства встретил в Басурманке у часовены трех равных людей. Имея нужду в рабочей силе, он нанимал их свежевать зайчатину, но они только засмеялись, и так проникновенно, как умеюг только святые да беглые. Не билась вдова на погребеньи, улицы были пусты, выли собаки, дрожали попы. Младший Омеличев, Иван, истулил в наследство в тот же пвидимому, год, когда старший, Афанасий, постригся в Высокогорскую, что на Мялке, пустынь.

В те времена богатства рождались или стихийно, или хирели в зародыше, не успев процвеств. Слишком много было путей ко внезапному обогащенью. Происходило это или от глубокой реформы экономической жизни (— но железные дороги и коммерческое судоходство были еще впереди! —), или большая война и связанные с нею поставки могли доставить состояние бесчестному и ловкому дельцу; наконец, всякое промышленное нововведение, удешевлявшее производственный процесс, нередко возносило своего изобретателя. В основе всех путей лежала хищная человеческая страсть к объединению сокровищ, и первые Омеличевы были в преизбытке исполнены этого сурового стяжательского аскетизма. В середине прошлого века пороженские капиталы оборачивались до пяти раз в год. Изворотливость Ивана

помогла ему в кратчайший срок укрепить имя фирмы и раскидать малосильных конкурентов. Он брался за все, никакой барышистый товар, ни щетина, ни воск, ни серая калмыцкая овчина, не отбивался от его рук. Так же, как и отец, Иван ходил по городу с низко опущенной головой. Вскоре сограждане поняли, чего он там высматривал, внизу.

Почва нижней части Пороженска доселе перемешана с гниющими отбросами коженен. Где ни покопай землю — везде песок да подзол, дуб и скотий рог. Вскоре после крымской кампании, не прекращая отцовского дела, Иван Омеличев первым в Пороженске устроил кошомный и войлочный завод; подражатели пошли вслегую, доверяясь инстинкту старика. Ежегодно он сам отправлялся в об'езд Казани, Судислава, Осташкова и других кожененных городов. Он скупал коровью шерсть и овечью, из которой работался высший сорт белых шьярковых кошем. Ее свозили к нему во двор тысячами подвод, и длинный черный человек со скорбным взором, с утра до ночи считавший возы в воротах, был он сам. Позже его фирма занялась также варкой клея как из овчинных ножек, так и из мездры с кожененных заводов. Этот сорт клея, как содержащий много жира, расценивался значительно ниже, но потребность в нем была громадна. По России входил в употребление керосин, но еще не было ни железных цистерн, ни наливных судов для перевозки, ни баков для хранения на пристанях. Керосин содержался в дубовых бочках, эмалированных клеем изнутри. Спрос во много раз превышал предложение. Продукт варили из всякой падали, и люди, проходя мимо омеличевских владений, в кулаки зажимали носы... Чего ради, дивились они, истязал он себя и безмолвных своих страдальцев, этот беспокойный старик? И верно, в шестьдесят он сумел сохранить ярость двадцатилетнего и острый блеск зрачков во впалых глазницах, как у мучеников, влюбленных и безумных. У него уже было собственное боеенское дело, три завода, не мелких по тогдашнему Пороженску, пять каменных домов, оптовые лавки и денег тысяч с полтора. Его власть и влияние росли

с каждым годом; он замышлял об открытии общественного банка в Пороженске; его прочили в ратманы магистрата, — «авось, утихомирится!» И вдруг новая затея заставила содрогнуться сердца сограждан.

Главным предметом пороженской меховой торговли был заяц-русак. Но с начала шестидесятых годов требования на бунтовую зайчину стали сокращаться. Этот простецкий мех, слишком дорогой для низов и дешевый для высших сословий, выходил из моды и употребления. Следовало найти ему подходящую замену для внутреннего рынка. В продолжение пяти месяцев, в глубокой тайне, шла подготовка нового завода. Иван Омеличев открыл кошку на Руси. Через полгода он выбросил на сотни верст свои длинные руки и с трех губерний сгреб первый улов. Впервые в Пороженске раздался жалобный, с ума сводивший, кошачий плач; по слухам, он заглашал даже благовест вечерних колоколов. И проклинали в Пороженске кошкотава, но машина работала, и дело, заклепленное как нечистое, процвело. На второй год через фирму прошло свыше полутора тысяч голов. Битая кошатица шла сюда даже с Ирбита. Роптали, судили, завидовали; ждали, когда же, растратив свое неистовство, пострижется и он замаливать отцовские злодеянья. (А уже стало известно, как наудил в Высокогорске Афанасий. По второму году он умолил игумена заточить его в затвор, и тот уступил, невзирая на молодость его и синодские запреты. Но на третий день после того, как заложили камнем стену, молодой затворник проломал потолок и подобно дикому зверю выбежал в мир. Как он утолял свою жажду в нем — неизвестно. Через полгода он приполз назад, больной и битый, в рваной гуньке, мерзее и горше падали, из которой Иван варил свой клей. И братия отворачивалась от него, как от нагого. Мало досталось богу от вчерашнего богатыря. Братья сиделись при закрытых дверях, рыдание было слышно и крик Иванов, после чего Афанасий остался в монастыре уже накрепко.)

Составившись, Иван изредка напра-

влялся в обитель навестить брата. На дрожках впереди, между его колен, садился старший сын его, Гурий. Самый ласковый и девически мягкий, он один из всех пяти сыновей тешил безрадостные сумерки старика. Встреча происходила после обедни. Братья садились друг против друга и молчали, потому что в этих стенах не имели разногласия ни в чем. Беседа начиналась только перед самым расставаньем.

— Все кисок давишь? — гундосил через носовую щелочку Афанасий в миру, и трясся в хохотке, и шуршал нарядной рясой.

С момента поступления в чин ангельский он заметно утерял в облике человеческого: тучнел, плешивел, и благодать от него источалась какая-то гнилая. Зажав племянника между колен, он гладил его по волосам, строил ему козу, и мальчик смеялся высоким, нелюдским, в захлебку, звуком.

— Тятенька-то, — начинал он снова, — у горцев в плену сидел, в Багдаде турчанок щупал... Тятенька-то людей под Бузулуком драл, а ты кошек. Мельчаем, братан!...

— И то! — скорбно вздыхал Иван, двумя оттопыренными крашеными перстами запахивая полу поддевки. — Я тебе белужки привез да паюсной с Нижнего. Вели распаковать. Вот, к Волге присматриваюсь. Все капиталы туда бегут...

— Как тебя хватает на все?.. небось, хрустишь!

— Ничего, меня семеро. — И вдруг с тоскою: — эх, ничего я не успею, брат, не успею!

И, не имея с кем поделиться новостями и планами своими, докладывал этой гряде гнилого мяса: как открывал он при живодерне красильню на немецкий образец, как налип на него баринок Бланкенгагель на предмет вовлечения в железнодорожное строительство и как его не пустили на порог петербургские дворяне. «Врете, ваши сиятельства. Где моя шкатулка, там и я сам!» Каким бы ни был Афанасий, эта глубокая ямина страстей, лучше прочих мог понять стужательский недуг Ивана. И какое-то темное чувство заставляло его окуты-

ваться в юродство, пуще и пуще задорить брата.

— Пропахнул ты весь, Ванюша. Ангелит от тебя шарахаются, поди, от кошодава! У их носы чистейшие. Они и о цветы-то страшатся запоганиться!

Иван кивал ему брюзгливо —:

— Душа не провонят. В мешке. В кожаном. Ништо ей!

— В Нижний-то пошто ездил?

— Огневу купил. Названье Бова, сорок восемь сил. Пускай ходит...

Был нечеловеческим его прыжок в мир. Старик преуменьшал свои успехи. Уже он арендовал два буксира и построил три, только-что появившихся тогда баржи. Начинался упадок пороженской юфти, и старик заблаговременно искал себе зацепки на иных вольных реках и землях. Семейные условия соответствовали крутому перелому в деятельности старика. Многочисленная голодная родня ненавидела его, сыновья — за исключением Гурия — откровенно ждали отцовской кончины, дочери еще при жизни стали поигрывать с красномордыми дюжими приказчиками. В городе, несмотря на пожертвования в пользу благотворительных учреждений, его не называли иначе, как кошачья смертуха. И он не имел времени опустить на подпольных шептунов свою страшную карающую руку. На Волгу он ринулся скорее от одиночества и прошлого своего, чем в поисках новых прибылей. По роду деятельности он часто сносился с волжскими судовщиками, постоянными заказчиками или подрядчиками по перевозке кожевенной клади. Всегда подкупала его могучая доброта этих первобытных волгарей. Както пришлось и самому проехать от Елабуги до Самары. Были пустынные берега тогдашней Камы; в лубяных шалашах дремали дровяные караульщики, и деревья, одно на другом, как после боя, гляделись в темные затоны. На девственную эту глушь надвигалось пугающее колесатое чудовище, сопровождаемое потоками чада, руганью лоцманов, грохотом балансирующей, об одном поршне. машины. Это была занятая двухрубная паровая лодка с железной покрывкой над палубой, чтобы уберечь

пассажиров от обильной искры и мелко-го древесного угля. Впоследствии грозную силу запрятали в умные, экономичные котлы, а в ту пору все еще было на виду. Пар с шипеньем извергался всюду, содрогался кузов, звенели стекла, и волос поднимался дыбом у православного народа... Но старика пленила эта новая сила; и, глядя, как далеко за корму, подобно перышкам от подстреленной птицы, неслись комья пены, он ежился, как от холода, и грустно думал о том, чего не увидит никогда. И жалел, что мало у него и рук и срока, чтобы поглотить все, еще не открытые сокровища. Переселиться на Волгу он так и не успел. Смерть опрокинула его в Рыбинске, на пристани, и он рухнул с раскинутыми руками, как обычно спал, лицом в накаленную солнцем булыжную мостовую.

Третий Омеличев, Гурий, прославился приукрашением своей житейской скуки. Из белоголового кроткого мальчика получился ленивый и болезненный человек. От отца он перенял лишь жестокое его и уже вполне бесплодное бесплоичество. С первых же шагов видно стало, что это господин с игрой. Откупив развалины екатерининского градоправителя, голые, крепостной толщины стены, среди которых росли дылдыстые деревья да резвились мелкие пороженские черти, он восстановил их под жильем. Его наказ не рубить деревьев был выполнен, так что в кабинете его, возле самого стола, произрастал в натуральную величину ясень, и, пока не засох, все ходили смотреть, правда ли это. В праздники он любил собрать родню и, спойв ее, приглашал пороженских властителей любоваться на омеличевский ассортимент. О его доброте ходили легенды, и сам он хвастался не раз, как любили его бабы и собачки. «Спускай любую, и меня не тронет!» Три года спустя после смерти Ивана он лопал под олеку после неудачной попытки открыть ресторан в новопокоренном Ташкенте для новоприбывающих скобелевских воинов. Подыскав соответственный пункт в завещаньи Ивана, родня всей стаей накинулась на имущество и рвала его на куски. Фирма распалась, братья разде-

лились, и младшему, Степану, досталась Кама.

При нем наступила пора окончательного упадка. Спрос на прочную, но грубоватую в отделке русскую юфть понизился. Появлялись конкуренты в других городах России. Одновременно правительство приказало закрыть кожевни при домах во избежание заразы. Желаящим отводилось место в трех верстах, за чертой городских строений, на берегу Мялки, вниз по течению. Беда напала не в одиночку. С развитием пароходства и появлением железных дорог знаменитые пороженские тракты утратили всякое значение. Табак, чернослив, пшено и другая бакалея, шедшие на ярмарку гужом, с перевалкой в Пороженске, поехали в Нижний окольными путями. Сердце края билось вполсилы. За двадцать с малым лет эта почтенная дорога из Бухары, Персии и волжских низовьев была совсем забыта. Опустели шумные постоялые дворы. Ульи, откуда цедились славные меды и браги на радость урюпинских ямщиков, загасли. Сама владычица края, кожа, изменила Пороженску. Не стало ей выгоды ехать сюда, чтоб становиться юфтью. Лошадная доставка сырья на пороженские заводы удорожала стоимость товара на десять процентов, не считая удлинения переработки на двухнедельный срок. Да и по другим отраслям шел развал. Заповедные орешники, источник ценного масла, повыврубили; мануфактура пестрым плечиком высаживала с рынков знаменитое здешнее суровье. В городе появились клубы приказчиков и зубоврачебные кабинеты. Торговый народ побежал из Пороженска от разоренья. К этому времени Степан Омеличев уже окончательно утвердился на Каме. Но место было новое и трудное. Первый в Пороженске стал последним на Каме. Волгу в те времена лихорадило. В упорной борьбе умерли дровяные буксиры, покончились гребные кабанские пароходы, и замолк протяжный бурлацкий вскрик. Благополучие фирм колебалось в зависимости от наличия грузов. Главным из них был хлеб, и неравномерность заволжских урожаев вызывала сильные понижения фрахтов. Великая река меле-

ла чуть не вдвое против Олеариевых времен. Фрахты падали до полуторых копеек, а глубина на перекатах до четырех четвертей. Землечерпалок еще не знали...

— ... как многого и мы еще не подразумеваем, деточка. Пускай внучатки пошевелят ножкой кости наши и вспомнят наши труды!

К концу своих дней Степан стал почти единственным обладателем всего портфеля акций «Общества Срочного Товарного Камского Пароходства». — С этого места стал заметно туманиться и спадать волчихинский рассказ. Уже и на Степана не нашлось у Андрея Матвенча красок. Можно было понять только, что Степан запивал и, в эти периоды, скрывался из дому. В один из подобных побегов он привез с собой цыганку из табора и сделал ее женою. Эта востроносенькая, как лоскут ветра, быстрая женщина родила ему сына Павла и зачахла. «Каково ей было, деточка, из цыганства своего да прямо в старую веру. Хуже проруби, вот и ознобилась!» И тут Андрей Матвейч зевнул.

Волчихин был глубоко сухопутный человек и никогда не покидал Пороженска. Его еще увлекали дела первых Омеличевых — это был героический эпос Пороженска; будничная суета второстепенной пароходной фирмы не интересовала его вовсе. Реки он не знал, лоцмана путал с боцманом и о делах Степана Ивановича мог судить лишь по отраженному блеску на его пороженской резиденции. Когда же речь зашла о нынешнем Павле, старик проявил совсем необъяснимую сдержанность. Судя по тому, что Ефросинью Курилову он не называл иначе, как Фрося (— да и по некоторым другим наблюдениям), я склонен предполагать, что этот пороженский богач отбил у него невесту. (Соседи подтверждали мне, что Волчихин всегда враждовал с Омеличевыми.) Должно быть, простив ему свое горе, а может, и затем, чтоб не показывать его посторонним, старик не желал, чтоб пришлый человек волочил имя его врага по всей советской земле.

Ночь была для меня потеряна. От

окна дуло. Время от времени поывало в трубе, и верилось, призраки, разбуженные Волчихиным, убийцы и убиенные, грабители и ограбленные ими, мчатся вокруг его избы, сцепившись в лютном хороводе.

— Так-то, деточка. Слава не стоит, богатство мимо течет!

Курилов берет в долг у Омеличева

Ижевско-Воткинское восстание белых и одновременное падение советской Казани в начале августа восемнадцатого года определили положение на средней и нижней Каме. Фронт красных частей мысом вдавался в территорию, уже занятую белыми. Вторая армия Советов (28-я железная дивизия Азина) висела на тылах сообщения поволжского отряда генерала Чечека. Ее средства были незначительны, чтобы произвести фланговый охват неприятеля, и, кроме того, сзади, всего в трех переходах, ей угрожал белый Ижевск. Десятого сентября контрударом десантного отряда красных моряков Казань была взята обратно, и эта операция была решающим моментом в образовании 5-й советской армии. Отступающая лавина бело-чехов, нудаясь в широком коридоре для отхода, двинулась к востоку, напрямки. До того времени Кама не играла самостоятельного стратегического значения; ее судьбу решали основные направления возникающей войны. По существу, только теперь гражданская война вступила в тихие прикамские города.

Тот из них, где накрепко обосновался Павел Степанович Омеличев, издавна был как бы штабом второстепенных камских пароходчиков. Он помещался в уютной котловине, образованной пологими скатами высокого берега, пестрый, на две трети деревянный и весь в садах; и даже пароходики у дощатых пристаней напоминали стайку ящерид, намалеванных ребенком. После бегства из Ижевска и кратковременного пребывания в Сарапале Алексей Никитич добоался до этих мест в самом начале сентября. Он вошел в город всего за два дня перед тем, как отряд полковника Степанова, подкрепленный силами

чехов, обрушился на городок. На другой же день, неожиданно для себя, он встретил на улице сестру Фросю. Она обрадовалась, спросила, что он делает здесь. Алексей Никитич сообщил, что месяц провалялся в сыпняке и теперь находится в отпуску. Она поверила; Курилов выглядел неважно. Она предложила погостить у них в доме. Он пообещал заглянуть при случае. Они расстались.

Красные ушли отсюда без сожаления, едва с речных судов началась бомбардировка. Стреляли неметко, на высоких разрывах, и многие выходили посмотреть, как выглядит эта самая война. Вскоре началось восстание, обычное при переходе всякого населенного пункта из рук в руки. Группа гимназистов и приказчиков захватила комендатуру. По улицам провели первого арестованного, еще не избитого, но почему-то в одном белье; человек был долговязый, очень конфузился своего вида и все поеживался. (Уже летели листья, и резкий ветер задувал со стороны Набережных Челнов.) Человека убили в тот же день, в развалинах старого городища, и этот первый выстрел пробудил зажиточную часть населения к деятельности. Все спешили сделать что-нибудь для возрождения старой России, и не умевшие стрелять срывали советские объявления со стен или громили лабазы на товарной пристани. Шла беспорядочная распродажа присвоенного добра, из города потянулись вереницы перегруженных крестьянских подвод. Двух пулеметных очередей хватало бы рассеять этот обывательский переполох. Бело-чехи вступили в городок лишь поутру следующего дня.

Они проходили по улицам, голубоглазые, не очень веселые, поскрипывая желтой кожей, в которую были одеты. Было в них что-то от клинка, пропарывающего живую мякоть. Они шли и озабоченно улыбались на цветы, кинутые им под ноги. Грохот духового оркестра мешался с набатным благовестом. На Соборной ждали завоевателей потные, взволнованные отцы города и духовенство в пасхальных ризах. Военачальники поднялись на помост, последовала краткая команда, победители сдержали с себя ке-

пи с лакированными козырьками. Курилов вместе с другими наблюдал из толпы. По особым причинам он не эвакуировался вместе с красными и, пользуясь тем, что был здесь впервые, не скрывался совсем. Случилось, однако, что один малый с параличным правым веком, одетый по-праздничному, в зеркальных сапогах, стал поглядывать на него украдкой. На всякий случай Курилов протолкался из толпы наружу, но и парень немедленно повторил тот же маневр и уже стоял сбоку. Он был, видимо, с пристани; густое рыбное зловоние обволокло Курилова, как облако.

— Дождь будет, как полагаете? — спросил парень и жаждал послушать куриловского голоса.

Действительно, ветер усилился, хоругви поворачивались по ветру, как флюгера, и голоса певчих растворялись в нем. Белые гребешки побежали по реке. И хотя ничего угрожающего не было пока в вопросе парня, Курилов понял, что его опознали по какому-то неуловимому признаку. Не торопясь, Курилов двинулся прочь по боковой улочке. Парень последовал за ним, и вот, его стало уже вдвое. Второй был пониже ростом и в рудых усах, таких широких, точно булку держал закушенной в зубах. Курилов лениво пересек опустевший базар и стал спускаться вниз, держа направление на рабочие казармы спичечной фабрики. Тем временем погоня размножилась человек до пяти. День был все равно бездельный, праздничный, развлечений не предвиделось; всякому лестно было уловить в н е з а к о н н о г о человека и посмотреть, как он станет выглядеть через десять минут страшного и суматошного вдохновенья. Алексей Никитич повернул на Аптечную и, быстро пробежав ее до конца, шагал, как ни в чем не бывало. Но его обошли; он увидел человек двенадцать позади себя, и впереди выступал тот же, с параличным веком. Боясь приблизиться в открытую, они что-то кричали издали и подманивали во все двенадцать пальцев.

Тогда Курилов побежал, заглядывая во дворы, и все живое на улице рванулось следом, и даже рыжая цепкая глина хватала его за сапоги. Одна мысль о

повторении ижевского приключения за-жигала незажившие кровоподтеки на спине. Погоня отстала, и только один, не по возрасту деятельный, старичок резво бежал принести свою жизнь на алтарь отечества. Курилов выждал его за углом и, когда громкое одышливое стенанье подсказало о близости врага, он выскочил и ударил его всей тяжестью тела, и тот покатился на скользкую осеннюю траву. Еще через минуту отчаянного бега Курилов потерянно огляделся. Высокие тесовые заборы, границы купеческих владений, стояли по сторонам. Чужая собственность взяла его в свое кольцо. Из последних сил, подтянувшись на руках, Курилов перемахнул по ту сторону ограды. Показалось, что его схватили на лету; сапог зацепился за гвоздь, и Курилов плашмя повалился на грудь прелой листвы. Так он лежал, тиская рубаху над сердцем. Собачий гул и вой пошли по саду, — ему все стало безразлично. Потом он услышал шаги и понял, что это свидетель его цирковых упражнений.

Возле встал нестарый, всего лет на шесть старше его, черноволосый, цыгановатый мужчина в короткой суконной куртке, что носили в любое время барские егеря. И хотя единственная их встреча произошла лет девять назад, в Перми, Курилов сразу признал в нем мужа сестры. Судьба поступила бы умнее, подсунув сюда Фросю в эту невеселую минуту, но сейчас он рад был и Омеличеву. Он неуклюже поднялся, потирая ушибленное колено; но это был жест маскировки, колено не болело совсем. Омеличев ковырял спичкой в зубах, шурился и не протягивал руки. Все слышнее становились крики и волчий гон по ту сторону забора. Надо было начинать любой разговор —

— Вот, сапог испортил... хорошие были сапоги! — и поглядел сокрушенно куда-то вниз. — Сестра в гости звала... и в каком виде пришлось заявиться!

— Пора пошла, шуровья с неба вальтятся... — откликнулся хозяин и глазами показал на открытую дверцу ближнего погреба. — Взгляни мое хозяйство пока, после поговорим.

— Ну, спасибо... — кивнул Курилов,

ужасно спеша и все еще оставаясь на месте.

Омеличев затворил гостя и спустил цепных собак. Их было только четыре, но они мгновенно наполнили собою сад. Минута была выиграна; на заборе вдруг появился парень с приспущенным веком и тотчас же шархнул назад, когда четыре зубатых геенны с ревом прыгнули ему навстречу... Ночью, когда все зануло (— и только изредка и непонятно постреливали на реке —), Омеличев провел Курилова в дом, стоящий в глубине сада. Поскрипывали желтые лакированные полы, простеленные домотканной дорожкой. Наклоненное пламя свечи оставляло за собою струйку копоти и плыло — то в белых изразцах печей, то в стеклах почетных дипломов фирмы, развешанных по стенам. После двухнедельного ижевского сидения странно было видеть мебель в несмятых полосатых чехлах, церковный аналойчик в углу (— жива еще была бабка, Глафира), зеленые дебри тропических растений у окон. Было тихо, в доме Омеличева некому было шуметь и сорить. Один только маятник бухал, как в бубен, в тишину. Гости провели на чердак. Ефросинья постелила ему на сундуках, и потом он ел холодные рыбные щи и прислушивался, как рыщут во мраке псы, хранители омеличевской недвижимости.

— ... чего все вздрагиваешь? — спрашивала Фрося, кутаясь во что-то большое, с пестрым турецким рисунком. — И глаза у тебя пуганые. И кашляешь. Ты что, больной?

— Нет, я здоровый и красивый. Но реку пришлось переплывать. Должно, простуда.

Она еще не догадывалась, что за простуда терзала ее брата.

— Как не надоест тебе, Алеша. Себя надо жалеть: ближе родни не бывает! Устали мы с Павлом. Даве опять по реке-т Ваня пробежал, пальнул два разка и наутек... — Она имела в виду боевое судно Волжской военной флотилии В а н я № 5, которое несколько дней спустя геройски погибло у селения Пьяный Бор, попав в засаду между двух белых батарей. — Что будет-то, скажи!

— Будет советская власть, только и

всего. Чего твой Павел на площадь-то не ходил?.. не нравится?.. с чего бы это? Ши, между прочим, у вас отличные. У всех должны быть такие. У тебя свежей рубахи не найдется? Мне можно и старую, если жалко: сойдет. И потом притащи чего-нибудь спину смазать. Я тут рухнулся, подшиб кой-где... — И было стыдно пожаловаться женщине на ненавистную ошкуровскую плеть.

... в этой низенькой, продолговатой коробке, отведенной под всякий домашний хлам, Алексей Никитич прожил полторы недели: разболелась спина. В полукруглое чердачное окно виден был полинявший омеличевский сад, занимавший почти весь квартал, деревянная колоколенка и бескрайние поляны по ту сторону реки. Курилов зябнул здесь; наверно, по утрам в камских затонах ледяной кромкой подергивалась вода. Наверно, куриловские товарищи бьются с беляками где-нибудь у Вятских Полян; он совсем потерял ориентировку, в каких направлениях расположился теперь фронт. В углу отыскалась стопка книг без начал и концов, творения всяких провинциальных властителей дум. Ксавье де Монтепелена, Густава Борна... И он до одури лузгал эти мадридские и прочих столичных городов любовные тайны; читал и вслушивался в редкую пальбу на затихшей реке.

За все время Омеличев только раз навестил постояльца. Покачав головой, он заставил окошко картиной, чтобы с улицы не видели света. В золоченой раме возлежала голая дамочка с прелестями на низменный вкус, а на нее шел густой и почему-то желтый дождь.

— Покури сперва, — сказал Павел Степанович и высыпал махорки в давно опустевшую жестяную баночку Курилова. — Не тошно станет с буржуем-то сидеть?

— Если буржуй умный, то не тошно! — И лез в карман за трубкой, тогда еще совсем новехонькой. — Газетку бы принес!

— Я сам газетка. Даве прапорщик один старушку грохнул за дерзкое слово. С удару, военная сноровка! А я и петуха минут восемь кромсаю...

(По всему видно было, радости по

поводу прихода белых он не испытывал. У него хватало зоркости взглянуть поглубже в будущее; за чехами он угадывал прибытие новых полчищ иноплеменников, которым наплевать было на омеличевскую Россию. Но, значит, не шибко верил и в силы красных, если прятал Курилова на своем чердаке!) В ту пору Алексей Никитич не догадывался, почему Омеличев терпел его здесь, не бежал за людьми полковника Степанова, чтоб пришли и закололи его спящего, как медведя под снегом. Никто в то время не сумел бы учесть соотношения сил, хотя по стратегическим обстоятельствам власть белых на Каме и не могла быть долговременной. Но русская история всегда изобиловала неожиданностями, и оттого Омеличеву выгодно было приобрести друга на черный день. Правда, в их отношения впуталась Фрося на правах сестры, но никакое родство не имело значения в условиях ожесточенной гражданской войны. Равнодушных в эту пору не было.

— Вяну я у тебя, Павел Степаныч.

— Может, пища скушная. Все рыба да рыба. На реке живем.

— Выходит, как бы в должок я у тебя беру, Омеличев... а?

— Боишься, что отдать нехватит?

Пароходчик засмеялся, поигрывая тяжелой связкой ключей. Переливчатый звон их сопровождал до конца их ночную беседу.

— Горчит тебе мой хлеб... тогда жуй что знаешь!

— Ушел бы, да вот спина: изогнуться не могу. Негодный я пока человек... — И верно, было стыдно ему сидеть на омеличевских хлебах, пока не остановилось самое дыханье. Кашель обрывал его на каждом третьем слове. — Что же, нравятся тебе большевики и то, как они смотрят на твою собственность?

Тот правильно понял вопрос —:

— Нет, я не сообщник твой, Курилов. — И опять проникновенно звенели ключи. — Руки коротки: не верю, не верю в тебя!

— Нам тебя и не надо. Народ поверит!

— Народ! — Он сердито усмехнулся. — Ты, вот, не кашляй так. Народ!..

у меня в доме двадцать два человека этого народа живут. И они растерзают тебя, коль скоро проведуют, что ты тут. Понял про народ? И не умеешь ты с народом. Ты возьми у меня все, но дай мне аршин, один аршин земли... и я выращу на нем чудо. Ты увидишь дерево, и птицы на нем гнезда станут вить посреди золотых яблок. Но чтоб аршин этот был мой, сына, внука, правнука моего...

— Бессмертия ищешь, Омеличев... и собственность — вот призрачная лесенка к нему! А у тебя и сына-то нет пока...

Омеличев пренебрег его издевкой —:

— ... не меньше тебя человека знаю. Он волшебником становится, когда отвечает только за себя. Никто ему с его ценятами не подает в голодный день, и он знает это, сукин сын. И он ищет, тискает свои мозги, изобретает, радуется. Ты деда моего, Ивана, помнишь? Взрыв-человек! Загляни в него, поучись, Алексей Никитич. Человек-человек!.. чем ты ему заменишь радость земной, тяжелой власти? (Ты мне механику свою не раскрывай. Она мне тоже ночи портила, чужая нищета...) Чем ты работать его заставишь, как не выгодой. Али ради развития тела?.. Али страхом?.. так ведь он тоже ненависти сродни. Борьба-борьба!.. и слово-то какое-то не русское, не наше.

— Есть еще чужое слово, которого ты не знаешь, Омеличев. Мы с тобой оба вышли из скотской пороженской жизни... но только я осердился, а ты сел поверх кучи и успокоился, что иным еще гаже твоего! Там не слышали про это слово. Назови этим словом пароходшко, и тебя засмеют на Каме, кредита лишат. Это слово творчество, Павел Степаныч!

Лицо Омеличева окрасилось гневом, и ключи захрустели в ладонях —:

— Ты... ты солдат, ты бездомный, ты молчи. Ты покамест токмо убивал, а что ты создал? — И так же сразу утих.

Казалось, Курилов делал все, чтобы тот выгнал его отсюда, но тот не гнал, кормил его, скрывал от смерти. И снова продолжал беседу, точно насытиться стремился от истины, которую носил в

себе Курилов. Дождик барабанил в крышу, и где-то в застрехах близкой кровли пищали сонные птицы.

— ... чего с ключами ходишь? Крадут, что ли, у тебя?

— У меня красть некому, Алексей Никитич. У меня сытые.

— Смотри, зарежут очи тебя. Сытые — самые проворные на это дело. Они тоже хотят сыновей и внучат иметь... А?

— Еще кого из нас раньше, посмотрим! Искали тебя даве, комиссар.

— Кто...? — И тело изготавливалось к прыжку.

— Двое молодых людей приходили, полковника Степанова холуи, со взводом. Должно, подглядел кто, как ты через забор сигал. Один-то сушая дубина, а другой деятельный и на руку скорый. Все в дом норовил вступить...

— Ну?

— Я ему... — И победительно звякнул мелкий ключик в руке. — Я ему сказал, что не извещен, мол, много ли у вашего полковника лишних штанов, что он так заботится... а у меня в это дело, в Россию, полтора миллиона вложено. Я, дескать, лучше вашего знаю, молодой вы мой сокол, что такое большевики. Идите на фронт, с матросами драться, а не старух лупить на площади... А ты знаменитый стал, Алексей Никитич. Ведь он по фамилии тебя спрашивал!

Видно, Омеличева тешил этот обман. Рассказ был длинный и сводился к следующему. — Поручик поверил и решил, что Курилов прячется у служащих Омеличева. Два часа ушло на осмотр комнат, чуланов и шкафов. Что помягче — протыкали штыками. И пока рылись у лодмана Чернодыдьева, перебежавшего к красным, девочка его, всего пяти годков, притащила офицеру свою одноглазую куклу, чтоб и ее, осмотрев, проткнул разок. «Ляльку мою, и Ляльку!» И так длилось, пока не гаркнул тот, весь багровый, чтоб убрали ребенка. (— Курилов заметил, что даже нежное слово нашлось в грубом омеличевском словаре для описания чужого ребенка... —) После того разговора они не видались больше. Дня через три Алексей Никитич сбежал, не вытерпев

пытки бездельем. Ночью он разбудил Фросю, она дала ему хлеба и проводила до ворот. Накрапывало. Золотые серьги поблескивали в ушах сестры.

— Золота-то на тебе, как на матушке-троеручице, — пошутил брат.

— Не дразнись, Алеша.

— Пойдем со мной, как есть... хочешь? Павлу твоему есть за что гибель примать: он за свободную торговлю стоит, а тебе-то?..

Она схватилась за мокрый столб верей, вся подалась вперед, и Алексей видел жадный оскал ее зубов. Черно и пусто было на реке. Торопливая пулеметная очередь где-то пронизала ночь. Завоевателям мнилось — все идут на приступ неумирающие, неубиваемые никакой человеческой силой! Эта далекая, внезапная тревога помешала обняться брату и сестре. Оба успели справиться с минутным и бессознательным порывом. Оба прислушались, но ничего не было, только непогода шумела в ближних ветлах. Алексей засмеялся —

— Ну... прощай, родная: ашшо буду, ашшо нет! — сказал он словами песни, и сразу унесло его ветром куда-то под гору, в бездомную и манящую ночь.

Разбитое корыто

Маленький покойник незримо лежал в протоклитовской квартире, и, пока не вынесли, все жили неслышно, думая только о нем. Илья Игнатич не встречался с Лизой. Его рабочий день наступал, когда Лиза была еще в кровати; она возвращалась из театра, когда муж уже спал. Однажды они столкнулись в столовой; корректный и немногословный, Илья Игнатич выпил свой черный чай и солдатским шагом прошел к себе. Лиза проводила его прищуренными глазами. Иногда она сама ловила на себе его внимательный, без прежней ласки, взгляд; он как будто искал в ее облике отпечатка преступности и сердился, что не находил. Совсем нехорошо стало в доме. Лиза рискнула нарушить это гнетущее равновесие. Утром она ушла в театр и не вернулась. У нее хватило самолюбия и такта не брать с собою даже протоклитовских подарков;

она ушла нищей, как и пришла. Она не оставила записки... Было стыдно возвращаться к дяде; она долго шаталась по улицам, готовая пойти хоть на вокзал и сидеть, сидеть, пока не подберут. Ночь была звездная, и Лиза промерзла. Через калитку, проваливаясь в снег, она добрела до окошка Аркадия Гермогеновича и постучала.

... все обернулось по-старому, и уже дядя вынужден оказывать гостеприимство своей незадачливой племяннице. Снова ситцевые петухи перегородили тесную светелку. Едва солнце — они оживают, изгибают шеи; это старик начинает свой хлопотливый день. Одеваясь, он бормочет что-то и, нет-нет, на губах его взрывается дудниковское имя.

— Забудь его, он же умер... — грустно говорит Лиза.

— О, разве смерть освобождает от ненависти живых?

Ненависть! Он расходует ее понемножку, чтоб хватило надолго. Это и есть та горячая жидкость, на которой движется теперь его престарелый организм. Вот он водружает на керосинку закопченный кофейник, отправляется за хлебом и приносит газету. Они пьют жидкий овсяный отвар, и старик вслух читает новости дня. Челюскин пробивается сквозь льды, Араки бушует у себя на островах. Аркадию Гермогеновичу нравятся волнения, уже не опасные для его жизни. Профессиональный навык заставляет его с особым чувством выделять из текста всякий случайный факт. Лиза греет пальцы об остывающий стакан и смотрит в окно. Она никогда не выпячивается из-за этого суетливого старика.

Аркадий Гермогенович обожает молчаливых собеседников. Их становится все меньше: молодежь не любит философического безделья. С тех пор как он получил официальное извещение о пенсии, он стал еще разговорчивее.

— Случалось ли вам, Лиза, смотреть на жизнь так, как будто вы наблюдаете ее извне? Всмотритесь, и вы увидите бесчисленное количество вариаций на одну и ту же тему. Наверно, э... мир будет длиться, пока не осуществляются все возможные комбинации из этих грубых ве-

щественных элементов. Все должно отразиться во всем и, отразясь, содрогнуться и отхлынуть. Все летит, все выхрился во всех направлениях и отовсюду. Все проходит сквозь нас, и мы проходим сквозь все. Мы только временные сосуды, в которых природа сохраняет свою мысль. Каким понятным все становится, когда оглядываешься из старости! Какая простота во всем... А вспомните, в каких чудовищных горнах ковались эти благословенные миры и бездны. Подсчитайте, скольких усилий вещества стоило хотя бы вот это дерево, тощая ботаническая разновидность, с которой летом и венчик не набрешь. Стоило ли оно затраченного труда?.. или вы скажете, что человеку, мастеру земли, дано исправить и увенчать мудростью подготовительную работу бога?

Он выжидает ответной реплики, но Лиза молчит, смотрит сквозь стекло, поцарапанное морозцем. Голос старика походит на надоедливую струйку дождя в водостоке. Лиза думает о своем. Шла деятельная подготовка к спектаклю, которым театр рассчитывал привлечь общественное внимание. Неделю назад, когда директор вызвал Лизу сообщить о включении ее в колхозно-узбекскую бригаду, она видела на его столе эскизы костюмов к Марии. С завистью, которую удваивала обида, она смотрела на это пестрое сборище министров и послов в шляпах, похожих на сады при бенгальском огне, тюремщиков с ключами, имевшими профили людей, шутов с мягкими вислыми носами, жезлоносцев в парчевых робах, отороченных мехом... и, наконец, сама Елизавета: ее мертвенно-синеватые груди, втиснутые в корсаж-корзину, могли отпугнуть не только смеходительного Дудлея. Колдовские краски тлели на бумаге, а директор скучным тоном проповедника говорил о самоотверженности и о пристальном изучении монументальных страстей народа, без чего не бывает истинного художника. С пылающими ушами она послушно кивала ему, догадываясь, что ее изгоняют из театра без надежды на возвращение. (Растерянная и уже сломленная, она готова была признаться в любой вине, существа которой еще не понимала серд-

цем.) На сегодня назначен отъезд этой бригады, составленной из актеров, не занятых в очередных постановках. Поезд уходит в половине одиннадцатого. Она уже опоздала...

Журчит в жолобе вода—:

— ... давайте же, осмыслим эти эмпирические упражнения природы. Не кажется ли вам Лиза, э... что природа стихийно ищет какого-то счастливого сопядения, которое оправдало бы ее хаос, ее смятеные, самые масштабы ее неумелости? Вспомните, она движется наощупь, она создает уродов и губит, стыдясь их; она чертит и смазывает свои творенья, еще не успевшие осознать себя; она бьет их по головам, приговаривая навскрик — не то, не то! Ни в одном производстве не бывает такого брака. И вот, э... вы сами только черновики гигантов, которые узнают в свое время, что и они карлики. Вы зеваете, вам скучна моя воркотня?

— Вчера ты говорил о том же самом. Налить тебе кофе?

— Полчашки. — Он испытующе косится в ее сторону. — Мне кажется, я надоедаю вам...

— Я зябну, дядя.

Тогда он вскакивает и приносит свое брезентовое сооруженье; оно не гнется, оно трещит, как замороженное, оно похоже на саван.

— ... дует от окна. Сегодня все розовое от мороза. Газеты пророчат арктический февраль. Надо экономить дрова... — И недовольным жестом тычет в газетную сводку. — Дороги не справляются с перевозками топлива. Накиньте эту вещь на плечи, Лиза, и вам э... будет тепло, как солдату в будке!

— Я оденусь в это когда-нибудь позже. Пока еще рано! — со значеньем произносит она. — За что напала на тебя соседка? Она читала ту рецензию, где мне рекомендуют заняться белошвейным ремеслом?

Аркадий Гермогенович понуро опускает голову—:

— Соседи всегда злы, а рецензенты— соседи искусства. Вы не опоздаете на репетицию, Лиза?.. Когда у вас начало?

Краснея и пряча глаза, она говорит, что в двенадцать. Старик не догадывает-

ся ни о чем. Он собирается на работу, и уже Лизе достается чистить картошку на обед. «Ужасно как губит ногти картофельная кожурал!» Вдруг краска заликает ее лицо. Зажав рот ладонью, Лиза слушает, как шумит щеткой соседка, вызывая на ссору. Это жена водопроводчика мстит Лизе за отказ в дружбе. «Грязнуля, — громко возглашает она за дверью. — А еще с доктором жила!» Немедленно надо что-то делать. Лиза вскакивает и бежит на автомат, в аптеку. Мерзлый снег заодно взвизгивает под подошвой, на заборах балагурят, попрыгивая, воробьи. Лиза дважды звонит Гальке Громовой, но аппарат неизменно занят. Она бросает в щель последнюю монетку, чтобы услышать вопросительный, настороженный голос подруги. Должно быть, она боится Лизы: несчастье заразительно... Да, списки сокращенных уже вывешены в театре. Да, имя Похвисневой значится там. Нет, Галька не знает, что следует предпринять в таком случае. Кажется, составляет труппа в Ойротину... Их разединяют. Волнуясь, Лиза стучит по рычагу: гудки, гудки... Кассирша смотрит на нее с сожалением. Лизу уже признали здесь. Бывают дни, когда она звонит на целый рубль. Устала, она возвращается. Не хочется ходить больше никуда, чтоб не слышать сочувственного и лишь в разнообразных тембрах мычания. Она возвращается медленно, со страхом думая, что у Аркадия Гермогеновича сегодня отменили урок. (Чудно, — он обучает своих фармацевтов читать Горадия в подлиннике, как будто без этого нельзя отличить аспирина от слабительного!)

День Лизы становится громаден, и ей нехватает себя заполнить его до краев. Она берется за десятки дел и не заканчивает ни одного. Она штопает старенькое белье, сохранявшееся у дяди в ее провинциальном сундучке. Оно из простенькой холстинки, и рваных мест в нем больше, чем самого белья. Она сваливает его как попало назад. Присев на скамеечку, она растапливает печурку. Колени охватывает тепло. Огонь с хрустом пожирает поленья. Лиза перелистывает книги из стопки, предназначенной

на продажу: им нехватает на жизнь. Тут Лафарг и Дарвин, Овидий по-русски и разрозненные томики Франса. Эти сочинения выпали из обихода Аркадия Гермогеновича. На его столе появилась Добротолюбие, толстая, сутулая книга схимы, старчества и христианского примиренья. Он читает ее не потому, что ищет веры, а оттого лишь, что уже нечем ему питать свой атеизм. Здесь на полке есть одна, любимая: о Марии. Лиза прочла ее несколько раз сряду, но ей все мало. Она узнала о Риччио и Дарлее, любовниках Марии, хотя оба и не помечены у Шиллера в списке действующих лиц. Она удивилась, услышав имена Норфолька, Вольсингема, Мендозы и Филиппа, главных режиссеров трагедии. Она прорвала нарядную оболочку образа, чтоб заглянуть глубже, и он стал увядать в ее руках. «Так вот какая ты была на деле!»

Соседка кричит через дверь, что ее спрашивает гость. Ее голос неожиданно почтителен. Лиза нерешительно идет в прихожую. На пороге монументально высится Протоклитов. На нем такая доха, что теперь уважения соседки хватит на целую неделю. «Как быстро сбываются желания, когда это не надо!» Лиза кланяется в полкивка и не протягивает руки.

— Можно мне войти к вам, Лиза?

— Нет, у меня сидят люди. — И только теперь сознает, зачем ей нужен был его приход: в лицо, в лицо ему крикнуть о своей свободе! — Вы по делу или просто так, на огонек?

Все двери комнат в квартире настезь. Девять жильцов пьют вечерний чай, слушают их и получают удовольствие.

— Выйдем на лестницу, — говорит Лиза. — Ну?

В разбитое стекло парадной двери струится холодок и доносится скрип шагов.

— Я не думаю, чтобы я был несправедлив к вам, Лиза, — размеренно начинает Протоклитов. — Такая профессия у меня. Га, мы делаем добро людям, и они боятся нас, как огня. Но если даже миновать все поступки, которые вы совершили...

Она перебивает его нетерпеливо, закрывая ладонью горло:—

— Я же мерзну, излагайся скорее!

— Хорошо. Я хочу предложить вам денег... вам, наверно, трудно? — Его мучит опасенье, что его беседа с директором может стать причиной ее увольнения. Он не знает, что это уже произошло. — Я обязуюсь делать это ежемесячно, пока вы не вернетесь.

«Смешно, барин приходит дать копеечку».

— Вы хотите купить мою верность?

«Га, она не догадывается ни о чем».

— Логика обиженных всегда чудовишна... но я не вижу причин и для обиды.

— Я согласна с тобой, Илья: я работаю плохо... не умею лучше. Но я ем то, чего заслуживаю, и... чорт, мне нравится моя еда!

Он кланяется с видом удовлетворения от исполненного долга и отступает на ступеньку—

— Хорошо, Лиза. Ваша твердость делает вам честь. Я вернусь через полгода.

— Напрасно!.. в такой шубе, в такие трущобы. — И уже вдогонку: — тебя разденут в нашем переулке!

...четыре полена, суточная порция тепла, сгорели; чернеет и пеплится огненный тлен. Лиза подходит к окну. Иней осыпался; деревья торчат, как обугленные. Приходит Аркадий Гермогенович. Они едят вчерашний суп. Дядюшка шумен как никогда.

— Вы чем-то опечалены, Лиза?

— Нет... но я стеснила тебя. Ни приветить, ни выместить...

— Вы хотите намекнуть, что в моем возрасте старики трудны в общежитии? Это правда, Лиза. — Он виновато треплет ее по руке. — Как прошла ваша репетиция? Я так пугаюсь... я не приду на этот спектакль!

— Знаешь, дядя... я, кажется, откажусь от этой роли. Я раздумала... — Она прикладывает пальцы к щекам. — Как щеки горят... это от печки.

Аркадий Гермогенович демонстративно зажимает уши, гремит посудой, пятится от племянницы. И по этой неумелой, слишком прозрачной хитрости Лиза понимает, что старик давно уже догадался обо всем.

Тело

На всем распорядке куриловского дома сказала хозяйственная власть Ефросиньи. Мебель прочно встала по своим местам; в промытые окна поступало вдвое больше света; поверх шкафов, куда и не заглядывала болезненная Катеринка, не осталось пылинки. Обед готовился к установленному часу, и Ефросинья бранилась за каждое опоздание Алексея Никитича. Клавдия чаще навещала его, и всякий раз оказывалось при этом, что она забежала случайно. Медленно проходя сквозь комнаты, она по каким-то неуловимым признакам читала о всех происшествиях за время ее отсутствия. Она приоткрывала буфет: новые вещи появлялись там взамен битой и разрозненной посуды; она заходила в ванную: вытертый пол сверкал. В этот нежилой сарай возвращалась жизнь. Радуюсь паркету, большому зеркалу, самому пространству квартиры, мальчик Лука бегал по коридору: тихо крался вдоль стены и вдруг пугался чего-то, созданного детским воображеньем, и с мычаньем шарахался в сторону, и снова из дальнего угла начинал свое наступление. Так играл он в прятки сам с собою... Клавдия говорила ему, что хорошие дети никогда не шумят, переводя это на язык жестов и чутко вслушиваясь в тишину: кто-то пел... Насторожась, она шла на голос. А это пела Фрося на кухне, готовя обед. (То была уже не прежняя фросина песня!..) Играя шнурком пенсне, Клавдия смотрела, как расправляются с овощами проворные пальцы сестры.

— Поешь? — вместо приветствия спрашивала она, дивясь, что жизнь не окончательно раздавила песню у этой женщины.

— Поется, Клаша, — не прерывая работы, откликалась та и откладывала в сторону капустную кочерыжку, лакомство Луки. — А что, не нравится? Больные любят, когда поют...

— Нет, ничего, пой... — И прибавляла еле слышно: — если можешь...

Сестры и прежде не ладили. Клавдия никогда не могла простить Ефросинье ее замужества. Их и прежде сближала

только забота о младшем брате. (В пору, когда Алексея отправляли в ссылку по этапу, Клавдии случилось притти в дом Омеличевых по секретному поручению брата, и тогда произошел единственный открытый разговор между сестрами, положивший предел их родству.) Вместе с тем она жалела сестру, и это было в ней последним в черашним чувством, которого стыдилась и, может быть, презирала в самой себе. Конечно, было бы лучше, если бы Фрося укатила с глаз долой в свою Сибирь!.. но Алексей был тяжело болен, и не состояло при нем другого надежного и постоянного человека.

... в другой раз, зайдя на кухню, она застала Ефросинью за протиркой стекол. Была оттепель, с крыш текло, все занавески в квартире шевелились. Едва держась за вурсы рамы, она стояла на самом краю двенадцатиэтажной высоты и глядела вниз, в снежные сумерки набережной. Какой-то томящий ветерок потягивал ее туда, и вся фигура ее как бы выгнулась над бездной.

Клавдия резко потянула ее за передник—

— Ты с ума сошла, Ефросинья. Я велю тебе сойти вниз.

Та обернулась к ней с улыбкой, не предвещавшей добра, и какое-то острое чувство вернуло ей на мгновение прежнюю красоту—

— Боишься, что прыгну?

— Ты достаточно прыгала в жизни, с тебя хватит. Ты уже не очень молода, Фрося! Но ты можешь застудиться на сквозняке...

— ... и некому станет ходить за Алексеем? — в тон ей закончила сестра. — Не бойся, кроме Алешки, у меня еще малый есть.

Клавдия осеклась, но уйти сразу не могла, стояла, трогала какие-то не очень привычные ей кухонные вещи, считала рассыпанные спички на столе.

— У тебя табаком пахнет. Терпеть не могу женщин, которые курят...

— Нет, Клаша, я не курю. Наверно, от Алексея нанесло...

И Клавдия медленно отправлялась на поиски брата.

Большинство своих дней он проводил теперь дома, обложив себя книгами и с тошным чувством приговоренного, выжидая припадка... Клавдия села рядом, потом удивленно подняла бровь, увидев такое количество всякой дальневосточной литературы. Это были очерки о всяких отдаленных народах, экономические исследования, проблемы войны между некоторыми тихоокеанскими державами, фантастические наметки железнодорожных линий, труды старинных сиологов и статистические таблицы. Сестра заинтересовалась причинами такого увлечения. Он ответил, что все это только детали одного большого слова — Океан, овладевшего им однажды на всю жизнь. Клавдии вспомнилась его давняя, с самого детства, склонность ко всяким большим водным пространствам. Она спросила только:

— Но ты, по-моему, вырос с тех пор, Алеша?

— Вырос и Океан, Клаша... непонятно? Трезвый ты человек, сестра!

Она отступила. Он, как всегда, не очень был прав, но не стоило давать сражения по пустякам. Своему новому вопросу она постаралась придать оттенок мимолетности:

— Ночью не болело?

— Не каждый же день!.. Хорошего понемножку.

— Я тебе купила шапку, принесла. Ты примерь потом! Это глупо, таскать картуз в такую стужу!.. — Она присела рядом с самым секретным видом. — Как, на твой взгляд, Ефросинья?

— Ничего, она поправляется.

— Я не про то. Этот... муж ее не ходит к ней?

— Так они же разошлись! Ты не знала?

— Да... но он может неожиданно притти... навестить своего ребенка!

— Может. И я не прогону его.

Она нахмурилась. Всегда она немножко опекала его, но теперь авторитет ее падал по мере того, как усиливалась куриловская болезнь. Но она не обрушилась на него по привычке, не только из опасения разволновать его зря. После Катеринки, незаметно для себя, она перенесла на брата всю

теплоту своей стариковской привязанности.

— Мне, конечно, неизвестно, какие у тебя с ним связи...

— Почему же, ты должна знать! Революция не отменяла прав отца... и, кроме того, эти люди кое-что сделали для меня.

Да, она слышала что-то. Кажется, они не дали белым убить его. Но не велика заслуга не оказаться подлецом!.. Тонем примиренья, точно хотела пробудить инстинкт, которым сама руководилась всю жизнь, она заговорила об осторожности.

— Видишь, Алешенька, они были сытые. А сытые всегда жалостливы. Сытому хочется поспать, но боязно, как бы не напали во сне. Так и Омеличевы с тобой...

— Это случилось после Октября.

— Что ж, они никогда не верили в наши силы. И помнишь его милую шутку на твоём суде? «Я, пожалуй, и дурак, но когда сын мой будет президентом республики, то он будет у меня президентом республики!» Он нас ступеньками сделать собирался... понятно? Теперь же, когда у них отнято все... и не в баржах омеличевских дело, Алеша, а в самых разбитых перспективах... когда настоящим горем пропитался их опыт, они озлоблены. И соломинка опасна в руках загнанного врага! Надо беречься; иногда поднимаются и мертвые, чтобы выстрелить в спину... — Ее голос опирался на низкие ноты, стал страстен и прерывист, точно выступала на митинге. — Я прошу тебя, по крайней мере, не хранить важных документов на дому. Это не трусость, это бдительность! — Он снова молчал, и она вспыхнула, и было любопытно Алексею Никитичу, как омоложал ее этот приступ неподдельного гнева: — Что же, ты собираешься возратить ему должок, Алеша?

Отвечать было трудно; новая мораль зачастую еще базировалась на расплывчатых нормах совести.

— Да... не в том же плане, разумеется! Но я помог бы ему встать на ноги, если бы он захотел изменить себя.

— Поздно ему, Алеша, ложиться в колыбель. Да и тесно будет после Камы... Мне странно, что ты задумался над ответом. Это все боль твоя. Ты еще не побывал у хирурга?

— Некогда, Клаша.

— Имей в виду, все говорит за камень в почке!

— Ерунда, у меня все инженеры на дороге с камнями в почках. Я других и на работу не принимаю...

Он окончательно выходил из подчинения ей, она сердилась—:

— Сделаем, дружок, так... я сама запишу тебя на прием. К кому из хирургов ты хотел бы?

— Покажи мне их фотографии, я выберу. Лично я предпочитаю шатенов невысокого роста. По-моему, они мягче...

— Ты доведешь меня до седых волос, Алешка! — И смеялась сама.

Она поняла, что он хочет отшутиться от своих собственных страхов; возможно, что о своей болезни он знал уже все. Не в ее власти было уничтожить опасность. Красные пятна пошли по ее лицу, и вдруг он увидел в ней ту длинную голоногую девчонку, которая однажды спасла весь его флот от пленения слободских ребят. Он ласково погладил ее руку, уже приобретающую особую угловатость старости; он гладил ее долго, и она не отнимала, и только, все растерянее становились глаза. Она горбилась и как будто даже старела от его ласки; она не привыкла, она не знала, чем ответить.

— Спасибо тебе, сестренка, — сказал он едва слышно. — Ты искренне расположена ко мне. За это я накормлю тебя доотвала! У нас сегодня отличные капустные котлеты, в твоем духе, с луковым соусом. Я уже привыкаю!.. От мяса это разнится только вкусом, цветом и запахом. — Он сложил руки дудкой и покричал Фросе, готов ли у нее обед.

К этому времени Курилов достаточно знал о себе, чтобы иметь право на такие шутки. Прежде чем явиться на осмотр к знаменитому профессору, ему пришлось пройти через длинный конвейер всяких, унизительных, как ему показалось, исследований. Выстукивали

живот, предварительно накачав кишки воздухом, пускали синьку в локтевой сгиб и потом ждали по часам, что из этого получится. Впервые он узнал о существовании цистоскопа и испытал особое чувство наготы, когда человека просвечивают чем-то невидимым. У него болело в пояснице, а ему глядели под веки. Теперь он уже и сам не очень верил в простуду. Постепенно он переставал уважать свое тело. Привыкнув смотреть на него, как на послушное и совершенное орудие, изготовленное природой для многих значительных дел, он с тем большей чуткостью замечал в нем самые незаметные измененья.

Со середины января недуг усилился, и если бы не Фрося, Алексею Никитичу стало бы совсем плохо. Самые припадки не учащались, но почти через день нападал мучительный страх, что все это повторится сначала. Иногда страх застигал среди ночи, и внезапная испарина проступала на висках. Лежа на спине, Алексей Никитич вслушивался в таинственные процессы, происходившие в его теле. Боясь кричать, чтобы напряжением не вызвать н а ч а л а приступа, он ронял какую-нибудь вещь. Это был условленный с сестрой сигнал. Телефонную книгу с этой целью они обвязали шнурком, чтоб не разлеталась при падении. Потом происходила бесшумная и привычная суматоха. Ефросинья выдвигала ящик стола, где хранился шприц с единственным куриловским лекарством. Переживая за брата, она торопилась — с риском сломать иглу в его плече. Только в самом конце месяца она приобрела навыки заправской сиделки.

Потом, сидя против него, она рассказывала о своей жизни на Каме, об омелчевской родне, о свадьбе, случившейся в его отсутствие, о последующих равочарованьях. «Чудно мне, — призналась она однажды, — рассказываю — точно восковые подвечные цветы перебираю. Все облетело давно, проволока колет пальцы».

— Я жадная была, Алеша. Наряды любила, всегда коляски мне снились и иллюминации. Человек, верно, для радости рожден... и если дается ему

грусть, затем, Алеша, чтоб явственней оттенялось веселье. На тебя с Клавдией я всегда, как на отреченных, смотрела. Мне и жалко вас было, и жутко. Я, ведь, святых никогда не любила. У свекрови Глафиры (—мужняя мачеха!) в моленной тридцать шесть икон висело, целая колода. Всех звала по-своему: всевидящее око ходило у меня под названием бубнового туза. И один у меня любимец был, Егор-Победоносец, червонный, знойкий такой, тоненький.. копейце у него, как стружка звенящая. Егор да еще Алексей — божий человек. Это был ты! Я ведь чинов твоих не знаю, в батальоне твоём не состою. А кому еще ты как человек дорог?.. назови его мне, чтоб он другом моим стал! — И вдруг оказывалось, что она засыпает. С усилием она разжимала глаза, сгоняя дремоту. — Вот и заблудилась. С чего начала-то я?

— Ты о себе начала. Я твоего мужа спрашивал, жалко ли всего, что потерял. Говорит, что нет. А тебе?

— Он-то врет, а мне и вправду не жалко. Думаешь, из серебра-то горе слаще пить? — И кивала на стену, за которой спал ее отрок, ее совесть, проклятые и радость ее жизни, Лука.

— Кто же виноват-то, Фрося?

— Кто! — И тоньше становились губы сестры. — Помнишь, что ели?.. в чем ходила?.. где спать приходилось, помнишь? Все лучше за Павла, чем в омут, а?

И еще что-то, еще о том же, во многих, смутных ночных словах. Наступал рассвет, и снова, как на службу! Алексей Никитич тащился в больницу, уже за бумажкой с описанием его недуга.

Исследование показывало на опухоль; она еще не проросла капсулы, но значительная часть ее лежала ниже ложных ребер. При прощупывании она представлялась хрящевой твердостью и бугристостью, к тому же с достаточной болезненностью для пациента. Врачей сбивали с толку именно болевые ощущения, и окончательное слово принадлежало хирургу. Имя этого профессора неминуемо значилось под всякими правительственными бюллетенями. Курилов позвонил ему, уступая требованиям

Клавдии. Очень тихий женский голос предложил узнать о дне приема через неделю; у профессора был сердечный припадок, и временно прием больных отменялся... Наконец, их свидание состоялось. Курилов вошел. Очень худой человек, весь в красных пятнах, одевался в прихожей и смаху, не видя ничего, забивал ноги в калоши. Приемная была обставлена вещами конца девятнадцатого века, когда, по окончании курса, молодой врач только свивал свое гнездо. Теперь это был равнодушный, парафинового цвета старик с явными признаками сердечного недомогания на лице. За сорок с лишним лет хирургической деятельности он успешно выменял здоровье и молодость на мировую известность и многие удобные обиходные вещи... Курилов назвал себя. Тот показал ему карандашом на кресло, поношенное и более проерзанное, чем все остальное в его кабинете. Он стал записывать сведения о пациенте. Курилов увидел здесь много мебели, старомодные пейзажи на стенах и две фотографии: Чехова (—наверно, по врачебной линии) и сурового, безупречной внешности старца с бородкой Авраама Линкольна. Где-то через этаж или за стеною звучали робкие учебные гаммы.

— Ну-те, — сказал профессор, отрываясь от своего скорбного гроссбуха. — Скажите о себе.

Алексей Никитич сообщил все, что знал, про паровоз, про опоясывающие боли. «Я потерял уверенность в моем теле. Я стал думать о нем слишком часто. Я думаю, что-то поржавело внутри». В лице профессора не отразилось ничего. Два безжизненных застылых блика светились в его глазах. Он велел Курилову раздеться, и пока тот сдергивал через голову гимнастерку, читал медицинский листок, принесенный Куриловым в запечатанном конверте. Не оборачиваясь, он приказал также спустить штаны. Осмотр длился недолго. Ледяные пальцы прошлись по телу пациента, и хотя при куриловском сложении прощупать что-либо было нелегко Алексей Никитич заметил его прикосновенья лишь по беглому холодку. Профессор не спрашивал ни о кровотече-

ниях, ни о каких-нибудь посторонних симптомах; он сказал, что данные исследования подтверждаются, с той лишь разницей, что опухоль сопряжена с камнями; они и объясняют боль. Он советовал немедленно лечь в клинику, пока случай не стал неоперативным. Рука Курилова произвольно двинулась какой-то круглый, гладкий предмет по краешку стола, свободному от книг и бумаг. Он приподнял ладонь, под ней оказалась бронзовая, отчищенная до блеска, пепельница, и в ней лежал чей-то исковерканный, насквозь изжеванный окурочок. Машинально он сам потянулся за трубкой, но вспомнил своевременно, что здесь не курят.

Профессор заметил его движение —

— Ничего, курите, — сказал он без выраженья и кашлянул в кулачок. — Решайте. — Он объяснил, что через неделю его посылают на съезд в Барселону, и сам он уже не сможет провести операцию.

— Она серьезна? — спросил Курилов и тут же подумал, что старик может не дожить до Барселоны.

— Эта болезнь опаснее всякой операции. — Голос его временами затухал почти до шепота. — С каждым днем происходит дальнейшее изменение почечной паренхимы...

Слово было незнакомое, солидное, и какое-то злое утешение заключалось в нем. Алексей Никитич постарался запомнить его.

— Я все-таки просил бы отложить это на месяц, — взволнованно заговорил он. — На днях у меня состоится железнодорожная конференция, связанная с крупным партийным заданием. А потом я собирался проехаться куда-нибудь в глушь, в снег. У нас имеется отличный дом отдыха, а я не отдыхал семнадцать лет. (— Он мог бы, равным образом, исчислять этот срок со времени последней тюремной отсидки. —) Тем временем, возможно, появятся какие-нибудь дополнительные данные о моей болезни...?

Он вложил сюда всю свою хитрость, и тот слушал его, полузакрыв глаза. Пациенты несговорчивы. Профессор давно привык ко всякого рода отговоркам,

к попыткам сбить его с толку посторонними предположениями; ему скучно было снова и снова произносить слова, надоевшие за сорок лет. Партийное задание и снежный дом отдыха — все это был только лишний варьянт на старую тему.

— Не сострадания же вы ждете от меня! — сказал он просто, как говорят только с равными.

... точно так же они требуют точного наименования своего недуга, как будто оно могло если не исцелить, то утешить. Курилов спросил и, вот, узнал о существовании слова гипернефрома. Оно было торжественное, оно гремело и по созвучию вызывало в памяти имя какой-то древнегерманской королевы. Сейчас оно означало только опухоль. Сам не понимая сущности вопроса, Курилов осведомился, злокачественная ли она; профессор отвечал, что это покажет микроскоп. Хирург взглянул на часы, как бы призывая посетителя щадить считанные минуты старика. Курилов поднялся, оставляя рядом с изгрызанным окурком и свою щепотку обугленного табака. Вдруг ужасная догадка пришла ему в голову. Кусая усы, он спросил, могло ли это произойти от удара... (— Он не сумел сразу подобрать приличного, нейтрального слова, подходящего к такой, почти священной, академической тишине места)... скажем, от падения на спину куска свинца размером со спичечный коробок.

— И с большой силой ударил он?

— Он падал, как пуля... и несколько раз.

— Как же он попал туда? — уже с откровенной досадой спросил профессор.

— Скажем... это была особого устройства плеть.

Проблеск жизни родился в глазах старика; казалось, он хотел сказать что-то, возмутиться, крикнуть... «Человека же... плетью же!» Но все погасло и остыло, прежде чем отлилось первое слово.

— Медицине неизвестны в точности причины происхождения опухолей.

... Все планы его смешались. Сестер в особенности напугало, что профессор

не прописал даже порошков. Алексей Никитич заметался. Его уход в отпуск был решен утвердительно; уже две недели Мартинсон фактически руководил работой полнотдела. За Куриловым оставалось лишь проведение дорожной конференции, и он с нетерпением ждал ее окончания, чтоб укатить в Борщню. Он еще пытался работать; два дня он провел на московских вокзалах, сравнивая их с вокзалом собственной дороги, и многие сочли за служебную самоотверженность эту нехитрую попытку укрыться от самого себя. И когда пересиливало чувство одиночества, он ехал в гости к Зямке.

Его привыкли видеть там. Маринкина тетьа выбивалась из сил, чтобы устроить ему подобие уюта. Ее глаза струили безмолвное восхищение перед будущей судьбой племянницы. Она уже видела тот день, когда отправится за бараниной в служебной машине. В доме всегда наготове стоял самовар. Тетьа доставала из-под замка сухарики, предмет великих зямкиных вожделений, разливала чай, и в каждом стакане имелось по ложечке, пролизанной до латунного блеска. Алексею Никитичу давали самую новую. Потом Анфиса Денисовна садилась наискосок и с детским восхищением рассказывала, что она испытала на-днях в крематории. «Играет орган, представьте, товарищ Курилов, и так хочется, так хочется разрыдаться насчет жизни!» Время от времени она вставала и шла к кровати поправить подзор или округлить сломавшийся угол одеяла. Она не объясняла ничего, но Алексей Никитич понимал без слов, что этот брачный эшафот, на котором двадцать шесть лет она спала с покойным мужем, она отдавала теперь в приданое за Мариной. Лечь на это ореховое сооружение было бы все равно, что повалиться в громадный курган, на кости ее покойного супруга. Курилов терпел и липкие тетины намеки, и тошное ее гостеприимство (—к этому времени особая приветливая пронизательность появилась в его речи и глазах—), подмигивал Зямке и скармливал ему сухари.

Тот ликовал, спускал их украдкой за пазуху, набивал полные щеки — :

— Ты побольше приезжай. Шухари очень вкусные, — доверительно сообщал он потом, и вдруг давился смехом: — Анфишка даве денги-то на шухари у жильца жанимала. А тому жалко жараз-то!.. Как уедешь, так все под ключ. Ты шам-то ешь. Украсть для тебя шухарик?

— Кушай, Зямка. Я привезу тебе целое кило в следующий раз!

— Можно, жнаешь, полкило. А потом еще!.. а то протухнут жараз-то, а?

— Ладно, товарищ, ладно!

Доставляло больше, чем развлечение, смотреть в озабоченное лицо ребенка, в котором еще пылал январский румянец, и угадывать, что за человек выйдет из мальчишки; и будет ли он покорять Арктику, или строить океаноцентралы, или водить воздушные поезда между столицами мировой советской республики... Иногда он забирал Зямку с собою и катал по городу. (Анфиса также пробовала уцепиться. «Верите ли, товарищ Курилов, один только разик в жизни, восьмого марта, в женский день покатали меня, да и то стоя, в грузовике!» Тетка неизменно получала от восторга, рядом с шофером, завозил в музеи, выдумывал всякие веселые небылицы, а тот заливался, энергично хватаясь за живот и стуча валенками в пол машины.

— Ты меня не смей, — всхлипывал он в передышке, — а то иж меня вещь дух жараз выходит. — И вдруг: — Все гуляешь, а деньги, небось, получаешь?

— Я в отпуску, Зямка. В отпуску не стыдно.

— Анфишка говорит, ты хворый... верно? Што в тебе хворое?

— Тело, Зямка, тело.

— Все жараз побаливает или только нутро?

— Жараз, милый.

Мальчик умолкал, становился серьезен, даже угрюм, и ни апельсин, ни смешная история не могли расшевелить его.

— Ты шмерть боишься?

— А ты почему спрашиваешь, Зямка?

— Небось, маненько тряшешься, а? — И украдкой, на ухо: — Я тряшусь.

... Сестры замечали, что по возвращении из таких поездок Алексей Никитич выглядел как-то моложавей. Они ошибались в поисках причин, относя эти изменения за счет Марины. Какое-то секретное соглашение состоялось, видимо, между сестрами, но кто из них был автором чудовищного проекта, Курилову так и не удалось узнать. Раз, ближе к ночи, Ефросинья остановила брата, когда он шел в ванную.

— Мне надо поговорить с тобой, Алексей.

Он подивился такой неотложности: —

— Это так срочно? Вода моя остывает...

— Да. Видишь ли, мне надо ехать. Письмо получила... должность моя пропадает. И потом... — это было, повидимому, главное: — ... Павла я на улице, у самых ворот, встретила. Горько мне! Не хочу его видеть, горько.

Он развел руками — :

— Разве я заковал тебя здесь? Конечно, поезжай. Тем более, что и я на-днях забираюсь на месяц в Борщню. — Он просил только, если отъезд Ефросиньи будет внезапным, запретить квартиру и ключ отдать Клавдии. — Я и так очень многим обязан тебе, Фрося!

— Мы тут с Клашей говорили. Тебе что, нравится Маринка эта? мне-то

казалось, что ты постыных любишь: Катеринка-то худенькая была. А эта... — И она по-родственному, простонародно, на ухо перечислила женские прелести Марины. — Вот бы и по рукам. Алеша, а?

— Я, Фрося, не понимаю, о чем ты?

— Чего добру пропадать... да другой-то такой и не найдешь: как она на тебя смотрит!

Предложение ошеломило его дикостью. И вместе с тем оттенок скрытой надежды содержался в замысле сестер. Глаза Фроси были ясны; значит, с чистой совестью предлагала она руку Марины, — значит, надеялись на его скорое выздоровленье? Он уточнил ее мысль — :

— Так это ты Марину во вдовы прочишь?

Должно быть, горе научило ее низости — :

— Ты стыдишься людям рублик подарить, а они и копеечке рады!

А может быть, она еще не знала ничего?

— Нет, не вышло, Фрося. Видишь ли... у меня рак. — Он без усилия отвел ее руки, которыми она в испуге закрыла себе лицо. — Все в порядке, старая изба идет на слом. — И чтоб отвлечь ее от мыслей: — взгляни, пожалуйста, не остыла ли моя вода!

(Продолжение следует)

Из раннего Лахути

Один поклоняется Мекке,
Другой Ватикана стенам.
Тот верит единому богу,
А этот — несчетным богам.

Кого за жар-птицей Востока
Охотиться тянет всегда,
Кого — наживаться торговлей,
Плодами чужого труда.

Один для обмана рабочих
Законы чтит и коран,
Другой почитает высоко
Реал и доллар и туман.

Кто ищет красавиц роскошных,
Губ-вишен, гранатов-грудей.
Кто — псу золотую попону,
Кто — хлеба для нищих детей.

Иному всё Индия снится,
Где лапы британской нет,
Иному — Ирландии воля,
Иному — афганский расцвет.

Иной почитает шаха
И славит ханский Иран...
А я, Лахути, победу
Рабочих чту и крестьян.

ИСАЙ сын МИХРАБА ¹⁾

Народу говорил крестьянин бедный:
«Несчастен я, мою оплачьте долю.
Весь век тружусь, а вместо урожая
Лишь горе и беду снимаю вволю.

Ни у меня коровы, чтоб доилась,
Ни жатвы у меня, чтоб колосилась.
Работа — мне, а прибыль — госпо-
дину...

Так горько мне на свете жить судилось.

Мир на плечах моих — тяжелый груз,
Влачу, пока до смерти доберусь».

Ту жалобу услышал сын Михраба,
И так сказал бездомный Исай:
— Уж если он и сегует, и плачет,
То кровь должны бы лить глаза мои.
Он стонет без коровы, у меня же
На теле платья нет, штаны одни.
И если он на службе господина,
То я служу ему, народ, взгляни.
Ему для печи я таскаю хворост,
Колочки для него мне жгут ступни.

Сам на плечах моих он — тяжкий
груз,
А груз, что он несет, вдвойне я
чую.

О горе мне! Ведь на своих плечах
Мир на плечах влачащего
влачу я.

АССАЛО ¹⁾

О веселый час, когда алый стяг
Над землей взвоется, и дрогнет враг,
И весь мир увидит багряный знак:
А с с а л о!

Все дворцы насилья падут тогда,
И затопит кровью все города,
И в огне погибнут все господа,
И в лачугах станет светло.

Без тебя, могучий народ трудовой,
Без твоей рабочей руки стальной
Пустьрем остался бы шар земной,
Поле жизни бы не цвело.

Пролетарий, мира строитель — ты,
Земледелец, жизни носитель — ты,
Трудовой народ, избавитель — ты,
Ты сметешь насилье и зло.

¹⁾ Исай, сын Михраба, жил в деревне Херекан. Существовал он тем, что собирал и разносил по домам крестьян хворост и колочки.

¹⁾ Ассало — восстань, арабское слово, вошедшее в персидскую поэзию; halo — вот, смотри.

Так восстань и мечом заиграй, герой!
Сделай то, что бог не свершит любой:
Вырви с корнем гнет, истреби разбой,
Асса ло!

Знай, кто держит молот и гонит плуг:
Кроме пары крепких, мозолистых рук,
Иной не придет спаситель и друг,
Ни шах, ни шейх, ни божество.
Что же медлишь ты? Подымись, вос-
стань!

Революция, грозным раскатом грянь!
Молодая заря, Восток обагрять,
Чтоб старое в ночь ушло.
О веселый час, когда беднякам
И бездомным маленьким сиротам
Богача и шаха я брошу к ногам:
Смотрите, halo!

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ.

1

У капиталиста бродил я средь шумных
цехов,
Кипело там жарко две тысячи адских
котлов.
Взглянул я, и сердце увидело: в ка-
ждом котле
Двух тысяч рабочих бурлила горячая
кровь.

2

Крестьянина сын виноградную ветку
сорвал.
Увидел отец, рассердился и кисть
отобрал.
— Не смеем мы есть раньше хана, —
сказал он, — боюсь,
Всевышнего гнев чтоб на головы наши
не пал.

3

Без силы рабочего мир красотой не
цветет,
Без плуга крестьянина хлеба никто
не найдет.
Так если творец красоты и хлеба —
Аллах,
Один есть Аллах — рабоче-крестьян-
ский народ.

4

Различна добыча, различна охота за
ней,

И знает охотник секреты различных
сетей.
Веревки, железо и дерево годны для
птиц,
Религия, раса и родина ловят людей.

5

Рабочего бросили силой в глухую
тюрьму.
— Что бледен и грустен ты, друг
мой? — сказал я ему. —
На горечь неволи напрасно ты сетуешь
так.
Не ты ль эту строил темницу себе
самому?

6

Я, труженик, буду трудиться до
смертного часа.
Труд — вера моя, и рабочий народ —
моя раса.
Спросил я невесту-победу: твой выкуп
каков?
Сказала: мой выкуп один — единение
класса.

7

Мы те, что от дремы невежества ныне
проснулись,
Мы те, что от хмеля религии ныне
очнулись,
Мы те, что стряхнули отечества ветхий
обман,
Мы те, что с рабочими целого мира
сомкнулись.

БЕЗ ТЕБЯ

О сколько раз костер страданья зажи-
гал я без тебя,
На том костре от головы до ног пылал
я без тебя.
Я сотни гурий лунноликих в каждом
городе встречал,
Но, блеском глаз твоих клянусь, их
не видал я без тебя.
Хитря, красавицы со мной искали
дружбы и бесед,
Но всё, шепну тебе тайком, в тиши
сгорал я без тебя.
Клочками сердца и слезами полны
полы у меня,
Как много перлов и рубинов тут
собрал я без тебя!

Купцов немало, и сокровища несметны
 в их казне,
 Но сердце, полное тобою, не продал
 я без тебя.
 Меня казнили, я не выдал тайну друга
 никому,
 Взгляни, как верности науку познавал
 я без тебя.
 Пришел сказать я, Лахути, о кроткой
 нежности твоей,
 Так раны сердца у бедняги врачевал
 я без тебя.

ЛОКОН

Не гневайся, услада сердца моего,
 Ты муки видеть рада сердца моего.
 Виновен я в одном: сказал, что локон
 твой —
 Петля, силки, засада сердца моего.

ПЕВИЦЕ

Не диво розы лепесток в устах у со-
 ловья,
 Но розу с соловьем в устах впервые
 вижу я.

ПЕРСИЯНКЕ

Нет, персиянка, больше мне не в мочь
 В лукавых путах красоты твоей;
 К тебе, Ирана пламенная дочь,
 К тебе сегодня гром моих речей.

Довольно я, как раб, у ног твоих
 Тебе кадил певучею хвалой.
 Теперь в словах правдивых и простых
 Я новый мир открою пред тобой.

Отныне прелесть жгучая твоя
 Осадой страшной сердцу не грозит,
 Не обовьет его коса-змея,
 И бровь кривую саблей не пронзит.

В тоске без губ коралловых твоих
 Доколе сердцу кровью истекать?
 Из шелковых колец кудрей густых
 Доколе цепи для себя свивать?

Доколе средь восторженной толпы
 В жестоких казнях пальчик твой ви-
 нить?

Доколе мне то стрелы, то шипы
 В изогнутых ресницах находить?

Доколь равнять с луной твои черты,
 Иль кипарисом стан твой величать?

Луны и кипариса лучше ты,
 Но что о том без-умолку кричать!

Поверь мне, сладкий этот фимиа
 Я лучше всех курить бы мог стихом,
 Но цену разгадал таким хвалам
 И стал тебе я другом, не врагом.

В красе твоей одушевления нет,
 Невежества на ней густая тень.
 Так туча застилает лунный свет,
 Так облако туманит ясный день.

Глаза газельи больше не пою,
 Хочу увидеть я твои дела,
 Хочу влюбленных в родинку твою
 Чтоб осмеяла ты и прогнала.

Познанье — вот влюбленный первый
 твой.

С ним об руку вступи на светлый путь.
 Над этой ли прелестной головой
 Венцу культуры гордо не блеснуть?

Позорно: воля всем, тебе — покров.
 Ужасно: мир в движении, ты во сне.
 Не тяжко ль: ты цвешь, но без
 плодов.

Прекрасна, но от жизни в стороне.

Восстань и твердой поступью борца
 Иди к труду и знанию, в шумный мир,
 И над сияньем чистого лица
 Завесу гробовую подыми.

Отличит запах розу от шипа,
 Зверей познаем выше человек.
 Учись же и одним путем ступай
 С борцами за свободный светлый век.

Ты — мать и первой речи робкий звук
 Ты вкладываешь каждому в уста.
 Тверди же людям с малых лет, мой
 друг,

О славе, о величии труда.

Пусть дочь и сын узнают от тебя:
 Позорней тунеядца званья нет.
 Трудом одним, ты им внуши, любя,
 Живет и движется и дышит свет.

С толпой насильников, сковавших труд,
 Ты первая шепни им о борьбе.
 С такой подругой-матерью нас ждут
 Горящие, как солнце, дни побед!

Перевод Ц. Бану.

СЫН

Роман

ВЛ. ЛИДИН

(Продолжение ¹)

XIV₁

В воротах дома с их облупленным от времени орнаментом Опекушин остановился. Трамвай он презрел. Скользкое месиво пришлось одолевать пешком сквозь весь город. Он был мокр под своей тяжелой шубой. Ее бобровый воротник отсырел и мазал щеки. Палка в правой руке неодобрительно потыкала несколько раз скользкий наст этого чужого двора. Здесь жила дочь. Он не был никогда в ее доме. Приход Лискова нарушил размеренный ход его жизни.

Он преодолел одышку и двинулся дальше. Лестница дома, тоже некогда предназначенного для достойного прожрания людей. Революция и голодные годы выщербили ее ступени. Люди таскали ведра с водой на пятый этаж. Вскоре среди чужих фамилий на двери он с неудовольствием прочитал свою фамилию. Звонить Ирине надо было три раза. Он позвонил и стал ждать.

— Так... — сказал он минуту спустя. — Пришлось нам все-таки встретиться. — Он взгляделся в знакомое, погрубевшее за эти годы лицо своего питомца. — Ну, что же, поговорим, побеседуем. Куда тут пройти?

Он так и не подал ему руки и последовал за ним по коридору. Комнату

дочери оглядел он, однако, не без любопытства. Вкусы определяли настроения и склонности. Он мысленно одобрил Бетховена и диван с подушками. Подушки были вышиты ее рукой, а это значило, что рукоделие она не забыла. Он снял свою шубу и шапку, достал из кармана экзамен черную шелковую ермолочку и, наконец, сел. Да, постарел, постарел названный отчим и покровитель. Пот слабости выступал на его лбу.

— Примирился с Ириной, я слышал? Что же, всё когда-нибудь стерпится-слубится, — сказал он с некоей фальшивой сентенцией. Глаза его, однако, не отражали цинической направленности мысли. Думал он о другом. — Меня все-таки интересует порядок ваших рассуждений. То, презрев отчий дом, вы бежите в неизвестном направлении... позабыв и заботы о вас, и усилия, которые были потрачены на ваше воспитание. То вы возвращаетесь на постылые места и даже выражаете склонность к покаянию. Я бы, разумеется, избегнул встречи с тобой и в дальнейшем, если бы здесь не была замешана некоторым образом и моя дочь... — Пот снова выступил на его лбу. Он достал сложенный платочек и отер его. — Может быть, ты все-таки удостоишь меня некоторым погостованием? — Синеватые глаза прикрялись веками. Углы высокого воротничка подпирали обвислые щеки. — На исповедь, разумеется, я не надеюсь. Я человек упраздненного поколения... мы

¹) См. «Нов мир», кн. кн. 8 и 9 с. г.

не способны ни понять, ни оценить ваших чувств. Бывшие отцы, бывшие люди.

— Исповедываться не собираюсь, — ответил Лащилин грубовато. — Не в чем и незачем.

— Я только предупредил, чтобы не было разочарования. Не все ваши чувства вызывают в нас отклик... так же, впрочем, как и наши чувства не вызывают в вас отклика.

Высокомерность и нарочитость сентенций изобличали неискренность. Он закрывал глаза, чтобы скрыть истинное их выражение. Лащилин прошелся по комнате, равнодушно перешагивая через его вытянутые ноги.

— Я не та неблагоприятная скотина, которая все забывает, — сказал он погодя. — Я вам многим обязан и всегда это помню. Конечно, я вам причинил неприятность... но причины вы знаете. Может быть, все дело в том, что в нас с самого начала были заложены неверные основы.

— А тебе известно, какие это должны быть основы? — полюбопытствовал вдруг Опекушин.

— Это внутренняя нравственность, прежде всего.

— Нравственность? — переспросил Опекушин. — Для вас существует еще это понятие? — Он позабыл и о своем высокомерии, и о язвительной нарочитости вступления. — Я бы дорого дал, чтобы увидеть ее, вашу нравственность! Я ночи не сплю, я ищу, я взыскую, — продолжил он с трагической одышкой. — Нравственность, это — человечность! Но ее нет — человечности. Человек позабыт. Есть политическое назначение человека, его социальные функции... но человека нет. — Его выцветшие глаза блеснули жидкой слезой. — Я схожу с ума, я тоскую, Андрюшка... дайте мне этот стержень жизни, и я пойду с вами в первых рядах... пока не свалюсь, пока позволит вот это! — Он похлопал себя несколько раз по левой стороне груди. — Ты думаешь, легко жить с сознанием, что ты позабыт и ненужен... я говорю не о славе артиста, я говорю о человеческой жизни. Я стар, конечно, но ведь и у старости есть свои права... есть опыт,

есть понимание жизни. Мне говорят, что жизнь строится по новым нравственным законам. Но где они, эти законы? Где ваши новые отношения?

Лащилин остановился перед ним и поглядел на утратившее высокомерность лицо.

— Всюду, — ответил он. — Надо только иметь к этому сочувствие, Леонид Александрович.

Опекушин потух. Казалось, скушающе выслушал он эту очередную декламацию.

— Но все-таки нравственность... где она — нравственность? В твоём примирении с Ириной? Но ведь и мы раскочились и примирялись в наше время. И без всякой ссылки на новые отношения. — Он вдруг прищурился. Человек накручивал на палец рыжий клок волос и чувствовал свое превосходство. — Впрочем, мы имели иногда честность и мужество открывать всё до конца... если мы уж сходились с человеком. Чего нельзя сказать про вас, к сожалению.

— Я не понимаю, Леонид Александрович... — сказал Лащилин.

— А ты покопайся поглубже, — произнес Опекушин вдруг с мстительным вдохновением. — Может быть, Ирина и не все тебе открыла, что следует. Во всяком случае, не в тех пределах, как этого требует новая нравственность. Советую тебе присмотреть.

— Ирина дала мне приют, потому что мне некуда было деваться. С Ириной у меня только товарищеские отношения. Неужели вы представляете себе это иначе?

Широкие углы воротничка опять были враждебны.

— Я ничего не представляю себе. Я только хочу, чтобы ты не был вторично обманут, — с обстоятельным спокойствием продолжил Опекушин. — Это некоторым образом задевает и мою честь, достаточно оплеванную, впрочем. А что, если Ирина продолжает встречаться с этим... как его имя?.. — он с умышленным пренебрежением пощелкал пальцами, — или не с тем, так с другим... по товарищескому чувству это тебе безразлично?

Он мстил. Он мстил обдуманно и бессердечно и этому обманувшему его человеку, и дочери, отвергнувшей отеческое попечение, и всей этой чуждой и враждебной ему молодости... Он разрушал этот временный приют, которым тот не по праву воспользовался.

— Так присмотри, дружок, присмотри! А потом заходи, потолкуем о нравственности, о новых отношениях, о чем только хочешь...

Ему нужно было имя врага, который разрушал его жизнь. Он готов был поверить, что этого врага он нашел. Воспитание, которое он дал ему, было осмеяно. Дочь, которую он лелеял для самых высоких целей жизни, была захватана грубыми мужскими руками. Жизнь сыро и настойчиво лезла в жилища, сдвигала установленные на десятилетия предметы, уплотняла людей в фамильярную кучу. Он отгораживался первые годы революции охранными грамотами с популярной подписью наркома по просвещению, затем комиссией по улучшению быта ученых, затем особыми правами пенсионера. Но за дверьми его комнаты проходила траншея коридора. По коридору сновали люди, которых он презирал. Они вторгались в его отединенную жизнь со своими телефонными разговорами, служебными неприятностями, любвями, запахом еды и голосами детей. Ничто не останавливало движения жизни. Его изумляло это упорство людей, его оскорбляло появление новых детей как результат пошлых и обывательских соитий. Но дети вырастали, бегали по коридорам, поступали в школы, кончали их и становились студентами. Тогда он понял, что пропустил возникновение целого поколения. К нему приходили ученики. Он ставил им голоса и обучал искусству петь без надежды на их будущее. Они казались ему хилыми последышами некогда славных традиций. Он с удовлетворением отмечал оскудение больших голосов, трудности роста новой оперы, необильность вокальных дарований. Он проходил иногда мимо здания бывшего Мариинского театра. Он перечитывал под сетками желтые и голубые афиши с наименованием знакомых опер, в которых он пел, и с перечисленьями

фамилий певцов. Он ни разу не посетил этот бывший свой кров, и фамилии певцов, не приукрашенные звучными псевдонимами, казались ему вульгарными. Хмурый Глинка, закапанный птичьей известкой, попрежнему стоял на этой площади, лишившейся былой своей неповторимости. Чуждое племя выбегало из дверей консерватории. За поворотом уходил в петербургский туман Екатерининский канал. Теперь он носил имя Грибоедова. Он, Опекушин, переходил эту чуждую площадь, на которой некогда восторженные поклонницы дожидались его после спектакля. В его квартире стояли корзины цветов. Он привыкал к тепличному тленному запаху пышных и увядающих роз и лилий с мохнатыми порочными тычинками. Он останавливался сейчас у окон цветочных магазинов. Цветы. Они цвели за оконными стеклами в чувственной зрелости, как в былые годы. Но и цветы изменили ему. Они предназначались для иных целей, и он смотрел на них, как на огрубевших потомков некогда изысканных поколений. Он шел через Театральную площадь, мимо здания театра, как его позабытый современник. Его узнавали иногда старые капельдинеры театра. Их торжественные красные ливреи и белые чулки давно сменились старомодными перешитыми пальтишками, и придворные бакенбарды — седой щетиной старчески-неопрятных щек. Они узнавали его, как такой же раритет во времени, какими были и они сами. Но воспоминаньям о прошлом они предпочитали разговоры о ценах на рынке и о талонах на ширпотреб. Он был забыт и покинут. Жизнь мстила бессонницами. Он знал эти глубокие, страшные ночи в своей комнате с колоннами, с венками прошлого, с блистающим белым роялем. Все звуки большого чуждого жилища вторгались в его уединение. Он слышал женский смех в соседней комнате, полудночное радио, ловившее заграничные передачи, далекое бляенье патефона «У самовара я и моя Маша...», плач разбуженного ребенка, грохот запоздавшего трамвая на улице, щелканье дверного замка входной двери и осторожные шаги по коридору, шум спускаемой воды в уборной, — густо на-

селенный, равнодушный к нему и оскорбительный мир. Книга лежала у постели на столике. Ближе всего был ему Достоевский. Он читал «Униженные и оскорбленные», — какое замечательное заглавие для судьбы всего его поколения. Он забыт, он унижен, но он еще жив! Он сидит напротив этого бывшего своего питомца, изменившего ему, как изменили все надежды, и чувствует мстительную радость уничтожения. Он говорит о дочери цинически, как о постороннем существе, но ведь и он для нее давно стал посторонним. Его не звали на пир, но он пришел сам, пешком, через весь город с его скользким месивом оттепели, с одышкой, с болью здесь, в левой стороне груди, где еще движется, еще живет, еще дышит сердце. Наедине, сам с собой, вполголоса, перебирая отзвучившие клавиши рояля, он пел для себя этот романс:

О, засни, мое сердце, глубоко,
Не буди — не пробудишь, что было.
Не зови, что умчалось далеко,
Не люби, что ты прежде любило!

Голос еще звучал. Клавиши были покорны. Слова утоляли.

Пусть надеждой и лживой мечтой
Не смутятся твой сон и покой..

Это было «Примирение» Чайковского. Но он не был примирен. Он хотел еще жить. Изношенное сердце продолжало биться. Для того, чтобы участвовать в жизни, в нее надо поверить. Он не верил в нее, и бессонницы продолжали его ночное бодрствование. Сон наваливался под утро и утомлял его больше, чем бессонница.

Лацилин стоял перед ним. Его скулы горчали. Лоб был наклонен, — Опекушин узнавал упрямое своеобразие, вспышки тоски весной, когда город становился вдруг тесен, крутой скрытый характер питомца.

— Леонид Александрович... Ирина — ваша дочь! — произнес тот, наконец.

— Вот именно. Хорошо, что ты вспомнил. Если бы не это обстоятельство, мы бы с тобой не увиделись. Но ведь и ты тоже считался некоторым образом сыном... Хорошее слово —

сын! — Он задумался и усмехнулся. — Сына у меня, к сожалению, не было. Дочь... казалось бы, можно и на этом поставить крест. Однако, что-то еще здесь копошится, отцовские чувства... в общем, гнилое наследие старых понятий. Я хотел, чтобы у моей дочери был дом, а не это пристанище! — Он с пренебрежением оглядел узкую комнату с грязноватыми обоями. — Я видел свою дочь на пороге славы. А взамен этой славы — место таперши в кинематографе. Я видел, наконец, свою дочь в окруженьи семьи. А где она, эта семья? — Он сам вдруг тронулся горечью, прозвучавшей в его голосе. — Ирина приходила ко мне. Я чувствовал ее одиночество. Дочь я себе не верну... — заключил он. — Но я не желаю ей окончательной гибели. — Он медленно снял свою шелковую ермолочку и положил ее в карман. — Можешь передать ей, что я заходил. А впрочем, можешь и не говорить ничего. — Он не позволил помочь ему надеть шубу. Он сам с трудом продел руки в ее тяжелые рукава. Кончик белого платочка с жалким щегольством торчал из ее старомодного кармашка. — Счастье! — сказал он вдруг, как бы отвечая самому себе. — Что нужно для счастья человека? Немного тепла, немного радости.

Он снова позабыл протянуть ему руку и вышел в коридор. Чужое жилище чужого дома. Ступени лестницы попрежнему недружелюбно встретили удары его палки по ним. Двор, полный оттепели и ленивой ленинградской зимы. Затем ворота. Сырой ветер ударил навстречу и сразу заслезил глаза. Он так и не вытер их.

XV

Рыжая голова на подушке дивана. Привычка спать низко, с замкнутым сосредоточенным ртом. Ирина глядела на упрямого даже во сне лицо. Время выравнило и мужественно наполнили его. Когда-то своеправный мальчишка мешал ее играм с подругами. Потом он подрос и стал ее защитником. Они шли вместе на каток, звеня коньками, — стройная тринадцатилетняя девочка и коренастый, со сноровкой бывалого ходока по жизни, с рыжими вихрами тор-

чащих из-под шапки волос, подросток. Детские годы ушли, пришла юность. Юность искала других чувств. Лавровский знал полтона, жаркую вкрадчивость, влияние стихов и романсов. Иным был этот своенравный и неподатливый спутник. Непохожие чувства сопровождали его вступление в жизнь, и упрямая кровь бывала иногда сильнее воспитания. Теперь, четыре года спустя, они опять были вместе. Ее узкая комната приняла нового постояльца. Его устроили в стороне, за роялем. Занавеска из кустарной набойки отгораживала его. Так снова он вернулся в свой дом. Он узнавал некоторые предметы, которые знал еще в детстве. Но вещи уже утратили прежнее свое выражение.

Она продолжала смотреть на него. Он вздохнул.

— Лежи, лежи. Я должна сейчас снова идти. — Она прошла по комнате, не снимая беретика. — Сегодня зачет по классу Гермониуса. Хочу послушать.

Он торопливо пригладил всклокоченные волосы.

— Я тебя провожу.

— Не надо. Я сяду на углу в автобус. — Белесая зима стояла за окном. Зима была на ущербе. На часиках в браслетке половина четвертого. — Вот талоны на обед. Я вернусь к девяти.

Она наспех обмахнула пуховкой лицо. Еще несколько движений у зеркала. Он остался один. Слова Опекушина приобрели вдруг язвительный смысл. Она даже не раздалась и ходила по комнате, как бы недовольная тем, что застала его в неурочный час дома. Он явно мешал ей, и она несколько раз с преувеличенной озабоченностью открывала ящики стола, из которых ничего не достала. Оттепель наполняла комнату слишком белым светом. Два месяца назад знакомые предметы приняли его в свой круг. Но в этом кругу он был пришлым. Он не знал ее жизни. Приход Опекушина как бы проявил ее, как недодержанный негатив. Она сказала, что с прошлым все кончено, но вот она уходит, и равнодушный голос прикрывает истинные ее цели.

Полчаса спустя он оделся и вышел из дома. Февраль дотаивал в оттепели. Ту-

ман лежал над Фонтанкой. Ветки деревьев на площади Лассалья плюшево обросли. Город был тучен от влаги и инея. Лед на канале Грибоедова пошел и набух. Был предвечерний час. Из двойных дверей консерватории все чаще выбегали ученики. Одинокая флейта еще распевала в пустующем классе. Расписания занятий и лекций на первой площадке студенческого вестибюля. Класс рояля. Гермониус. Занятия от 10 до 12. Старая гардеробщица знала Ирину. Нет, Опекушина не приходила. Он постоял еще в вестибюле и вышел на площадь. Со злорадством произносил Опекушину оскорбительные слова. Его ермолка и широкие углы воротничка дышали враждебностью. Но некую долю правды он ощущал сейчас в этих словах. Он проверял их теперь посреди талой и вечерюющей площади. У Ирины была своя жизнь. Она торопливо придумала цель ухода, которой не существовало. Солнце вдруг прорвало облака. Оно осветило весь этот зимний и печальный бурелом, архитектуру домов, тонко обведенную снегом. Два месяца назад он поселился в разделенной с ним комнате. Рояль был раскрыт, как в отрочестве. Он ожидал шумных распоясов в четыре руки. Это был их рабочий рояль. Другой рояль, белый и нарядный, раскрывался в торжественных случаях, когда шел Опекушин. Круглый вертящийся стул, возле которого рядом с ученицей восседала Каролина Ивановна. По-товарищески или даже по-родственному была разделена с ним эта узкая комната. В домовой книге его прописали, как родственника. Он вошел в это жилище, как пришлый. Ему ничего не обещали, и он не имел прав ни на что. Но уже неделю спустя он понял, что этого ему недостаточно.

Она приходила иногда позднее, чем он. Он слышал, как она ложилась, шорох снимаемого платья, затем ее дыхание. Но было нечто неизвестное ему в ее жизни. Вот он стоит здесь один, на этой площади. Зачет по классу Гермониуса был выдуман. Если это двойная жизнь, то она не легко ей далась. Ночное дыхание сохраняет в себе сокрушение и вздохи, которые выдают человека,

когда он перестает бодрствовать. Она жила рядом с ним, и она была далека от него, как никогда прежде. Ее негде искать в этом талом огромном городе. Пальцы ног стали зябнуть. Он не ускорила шага. Ветер из-за углов накидывался на пешехода. Он пошел по улице Декабристов, затем по проспекту Маяковского. Иней проступал на позолоте Исакия. Так он дошел до Невы.

Катя ждала его после занятий. Серые пытливые глаза приметили необычную желтоватость его лица. Он сам захотел ее видеть. В уголке гардеробной, отвернувшись, она долго нашаривала в глубине делового портфелика стыдливую коробочку с пудрой. Он был уже веснушат, этот детский, наскоро припудренный нос.

— Я готова, — сказала она делозито.

Она привыкла быть исповедальщицей и дожидалась очередного признания. Они вышли из консерватории. Площадь наливалась запоздалыми сумерками. Март шел, и дни вырастали, как длинноруче подростки. Желтые афиши были уже освещены на театре балета и оперы.

— Я тебя давно не видел, Катя, — сказал Лащилин. — Мне хотелось бы с тобой побеседовать.

Она готовно кивнула головой в своей вязаной шапочке.

— Давайте, Лащилин.

— Зайдем в кино, что ли...

Час был еще ранний, кино было пустым. Несколько одиноких фигур на стульях в фойе. Искусственные пальмы раскидывали пыльные листья. В читальне лежали мягкие журналы. Но читателей не было. Только в стороне на разостланной клееночке, заменяющей доску, два подростка ожесточенно играли в шашки.

— Сколько мы не виделись с тобой? Скоро два месяца.

Он искоса поглядел на припудренный носик Кати. Она привыкла к чужим признаниям, строгий судья и беспристрастный толкователь событий.

— Это будет разговор об Ирине, — сказал он в упор. — Я живу за роялем... мне отведено там местечко. Но я ведь

не постоялец, и мне не из жалости предоставили угол... — Он помолчал. — За последнее время я стал сомневаться во многом. У Ирины есть своя жизнь, которой я не знаю. Выходит так, что я могу иногда и неправильно истолковать некоторые ее поступки. Я не имею права проверять ее жизнь, но я имею право все знать.

Она посмотрела на него.

— Чего же вы не знаете, Лащилин? — спросила она с некоторым пренебрежением к этому мужскому и своекорыстному недоверию. — И вы уверены, что если вы чего-нибудь не знаете, то это уже порочит Ирину?

Он вдруг раздражился. Он знал эти приступы ярости, несдержанных сил в себе. В отрочестве это разрешалось вспышками гнева, неистовством переходных лет. Его запирали в отдельную комнату, лишали катка или кинематографа. Он упрямо просиживал в комнате до сумерок. Потом он пробирался в ванную, мочил голову под краном и натирал до блеска щеки, чтобы скрыть заплаканные глаза. Краска туго поползла по его лицу.

— А как называется, когда человек тебе лжет?

Он вспомнил сегодняшний день, свое ожидание в пустом вестибюле, сырую и пустынную площадь. Катя с грустью и недоверием оглядела его.

— Может быть, вы сами себе солгали, Лащилин? Если человек вам не все рассказал, это не означает еще, что он лжет. Люди все-таки должны с большим доверием относиться друг к другу...

Какая-то необыкновенно чуждая красавица была изображена на странице журнала. Ему не захотелось продолжать разговора. Двери открылись, они молча прошли в зрительный зал. Фильм проходил без начала и без продолжения. Они были разобщены темнотой, голосами чуждых соглядатаев на экране. Катя грустно и не видя смотрела на этот одушевленный экран. Три месяца назад сна ушла из своей комнаты, чтобы предоставить ее для их встречи. Она застала их примиренными. Она сама помогла перетаскивать его чемоданишко на Моховую. Новыми домами застраивались

широкие перспективы окраинного Ленинграда. На месте пустырей появлялись цветы и газоны. Она перелистывала меловые страницы журнала «СССР на стройке» и видела новые прекрасные здания, парки, выращиваемые плоды и мускулистую архитектуру стадионов. Люди с новыми чувствами должны были населять эти дома, бросаться ласточкой с вышек водных станций, нестись по реке на глиссерах и откусывать крепкими зубами спелые плоды, обогащенные прививками и пересадками. Решению их личных задач не препятствовали больше неисцеленные самолюбия, обиды не заслоняли замечательные цели, дружество направляло любовь. Она оглядывалась назад и видела позади ту черту, которая отделяла ее вчерашнюю жизнь. За этой чертой лежала провинция, некогда уездный городишко, где трудился, тянулся к жизни, растил большую семью учитель Васильев. Она помнила из рассказов старших сестер гимназические молебны перед началом занятий, ласкового сероглазого попа, хрустевшего шелковой рясой, виновника гибели Галины Зарещкой; стройную, преждевременно созревшую девочку — она видела ее фотографию, с двумя прекрасными косами, перекинутыми наперед, — и слово — беременность, которое дышало ужасом и безысходностью провинции. Ленинград был выходом в жизнь. Она ходила мимо новых домов, построенных в революцию, мимо особняков сановников и великих князей — ныне детских домов, музеев, научных институтов и загородных санаториев — и думала о высоких, самоотверженных чувствах человека, для которого открыта вся эта жизнь. Старый учитель Васильев не успел ничего вкусить от обновленного мира, старших сестер сбывали семнадцатилетними замуж, чтобы облегчить семью. Их рано награждали детьми, и провинция ревниво сберегала эти неудачливые поколения. На шумном комсомольском активе звучали еще иногда эгоистические пристрастия, своекорыстное отношение к миру. Это было живучее наследство таких же провинциальных семейств. Она выступала, как маленький громовержец, и у нее уже были приверженцы.

Как-то в себя, а не на экран, смотрел теперь и этот человек. Хриплые голоса звуковой записи звучали, как речь на улице. Он был опять возвращен к старому ходу чувств, и он не верил сейчас даже этой своей собеседнице. Катя искала новых чувств и решений. Она ходила в тот вечер, когда уступила для чужой встречи комнату, по улицам города. Это было не затянувшееся заседание группы. Решала нечто и она для себя, бродя вдоль набережных Невы и Фонтанки, переходя через горбатые мосты и сидя одна на скамеечке Летнего сада... Сейчас отчужденно она ощущала его плечо. Свет возник, как облегчение. Картина окончилась. Они вышли на улицу. Все таяло и хлюпало. Она не хотела ответить или не знала жизни Ирины. Нет, не принесла ему решения и эта встреча с Катей. Они подошли к зеленому огню остановки.

— До свиданья, Лащилин. Вот мой трамвай.

Она возвращалась иногда, когда он держал ее в своей. Минуту спустя он пожалел, но Кати уже не было.

XVI

Ночью ударило ветром с Невы. Начался март. За ночь разломало лед у берегов. Вода шумно плескалась о стенки набережных. Некая тонкая грусть была в этой надломленной зиме. Весна сыро дымилась за окнами комнаты, отсвечивая на крышке рояля. Рояль уже не раскрывался для упражнений в четыре руки. Человек жил здесь, в этой комнате, но Ирина ощущала его отчуждение. Он не искал уже совместных вечеров и не предлагал себя в спутники.

Она возвращалась иногда, когда он уже спал. Она проходила мимо его занавески, и ей хотелось приподнять ее и убедиться, точно ли он спит, или притворяется спящим. Но каждый раз она удерживала руку. Однажды ночью, когда уже прошел лед, она проснулась от ветра. Ветер бил в стекла. Далеко на Неве ухнула пушка. Начиналось наводнение. Ветром раскачивало фонарь во дворе, и белесый тревожный свет метал-

ся по комнате. Ей стало жутко. Она поднялась на локте и прислушалась. Пружина дивана скрипнула, он тоже не спал. Она лежала, опершись о локоть, и слушала. Вероятно, так же лежал он за своей занавеской из грубой изукрашенной цветами набойки. Она окликнула его. Если бы он отозвался, она спустила бы ноги с постели и пробежала бы к нему. Она почти физически ощутила сладостный холод половиц под своими босыми ногами. Это было как прикосновение руки, которая минуту спустя должна была ее обнять. Но он не ответил ей. Позднее она порадовалась, что обманулась; он спал, вероятно, и она тоже уснула под удары ветра.

Он не сказал ей ничего о приходе отца. Он верил теперь Опекушину. Он не находил уже нарочитого смысла в его появлении здесь. Она уходила по утрам, в десятом часу. Но он знал, что не одна консерватория приучила ее к регулярному распорядку времени. Иные цели заставляли ее торопливо отпивать утренний чай, наспех обмахивать пуховой лицо, надевать на ходу шубку. Он должен был знать эти цели.

Сырая северная весна голубовато заполняла каналы. Они были полноводны, как реки. Голубой Невский простирался до самой Невы. Оторванно, как мажорская шпига, сиял золотой шпиль адмиралтейства. Город был еще в сиротском опустошении. Все было мокро, дотаивал снег. Ирина ушла, как обычно, в десятом часу. Он дал ей спуститься и вышел следом за ней. Сердце было сдавлено как бы посторонней рукой. Она шла неспеша в расстегнутой у ворота шубке. На высоких резиновых ботинках поблескивал свет. Моховая по-весеннему обнажилась выщербленными тротуарами. Последние тучи уходили на запад. Небо, как бы сбереженное под ними, как зелень под снегом, блестело наивной молодой синевой. Он ощущал весь недобрый смысл своего поступка, но уже не мог вернуться назад. Она прошла Моховую и свернула на улицу Белинского. На мосту она остановилась и посмотрела на Фонтанку. Многоводна и принаряжена была эта тускловатая обычно река. На барках, зимовавших во льду, возились

люди. Скоро медленно должны были эти зазимовавшие барки продолжить плаванье, как древние корабли. Затем она перешла мост и села на остановке в трамвай. С площадки прицепного вагона можно было увидеть, где она сойдет. Трамвай сделал несколько крутых поворотов и пошел по проспекту 25 Октября. В Финском заливе еще лежали последние льды. Но река пахла весной, тревожным ходом сил. Ветер дул по-морскому. Верки Петропавловской крепости, ростры, шпили, желтые здания Академии — все было обильно закидано синевой, сиянием, светом. Трамвай перешел по мосту на Васильевский остров. Он поблуждал еще боковыми улицами и выбрался на проспект Пролетарской Победы. Как генеалогическое дерево, со своими нумерованными боковыми линиями, упираясь в Галерную гавань, лежала эта боевая улица революции.

Между 10-й и 12-й линиями Ирина сошла. Мало отличимые друг от друга дома стояли на этой одиннадцатой линии. Легкая и торопливая походка человека, когда у него счастливая цель. Минуту спустя Ирина свернула во двор огромного дома. Когда он приблизился, ее уже не было. Несколько сот васильевостровских квартир глядели непромытыми окнами на этот четырехугольник двора, где дотаивал грязный, свезенный с улицы снег. Доска под аркой ворот перечисляла фамилии населявших жильцов. Здесь были неведомые Богородские, трое Ивановых, портной Штакельберг... чужие имена квартирантов. Но одно из этих незнакомых имен было связано с именем Ирины. Он угадывал его в фамилиях неотличимых Ивановых или даже в незнакомце со льстивой фамилией Скудельский. Его могли увидеть из окна, и он покинул этот безрадостный двор. Часом позднее она вышла из ворот и направилась обратно к проспекту. На этот раз она ехала в консерваторию.

Неделю спустя он вторично поехал за ней. И она опять привела его к тому же двору на Васильевском острове. Он спросил ее в этот день, где она была утром? Она ответила: «Ходила за нотами». Она лгала, и нотный магазин Му-

зыкального издательства стал ему неприятен, как ее сообщник.

Весна шла с островов. Деревья были уже закапаны почками. Работницы стояли в окнах домов и промывали стекла. Первые буксирчики пошли по Неве. За ними двигались баржи. Аллеи Легнего сада и улицы обретали голубые перспективы. Все было счастливо, и только он ожесточался. Его как бы толкали назад, в прошлое. Мир, раскрывшийся перед ним в эти годы, сужался до четырехугольника этого враждебного двора. Мальчишки уже катались по его асфальту на самодельных дощечках с колесиком. Окна были открыты. Из некоторых квартир звучала музыка. Он слушал робкие экзерсисы и уверенную баркароллу Скарлатти. Дешевая занавеска отгораживала угол, в котором он жил. Он слышал отсюда по вечерам шорох снимаемого платья, и этот шорох казался ему порочным. Потом наступали ночные часы. В ее дыхании была утоленность. Он воображал эту комнату на Васильевском острове. В ней берегался погасивший уют. Это была большая комната с мебелью красного дерева, с английскими цветными гравюрами, с нортонскими часами, тонко и старательно вызванивающими время свиданий... Он вспоминал Опекушина, его недавний приход. Дочь шла по следу отца. Ее комната оказалась заставленной знакомыми с детства предметами. Предметы продолжали свою жизнь, от которой он в свое время бежал.

Каждую весну начиналась серия закрытых концертов. Тесно и обильно заполняли Малую залу консерватории ученики, профессора, аспиранты и родственники. Дети — братья и сестры выступающих — сидели на коленях у взрослых. Здесь дружно и преувеличенно шумно встречали этих робких певцов, начинающих дебютантов и молодых скрипачей, прикладываящих горячую щеку к скрипке. Учебный год завершался. Он проверялся этими крепнущими молодыми голосами, шумными раскатами Листа и картавой фразировкой духовых инструментов. На ошибках и успехах других познавались собственные умение и техника. Ирина должна была

прийти к четверем. Он дожидался ее, чтобы вместе пойти на концерт. Но она вернулась только в шестом часу вечера. Пальтишко было надето наспех и не застегнуто. Она была чем-то расстроена. Он знал это отсутствующее выражение ее лица. Она сняла беретик и даже не поправила перед зеркалом волос. Жалкая прядка лежала на ее щеке. Потом она достала портсигар и угловатым мужским движением зажгла папиросу. Ее узкие глаза еще более сузились. Вероятно, ей было бы приятней, если бы никого не было в комнате. Но он был здесь. Она курила папиросу, положив ногу на ногу. Пепел сыпался ей на острое колено. Потом она рассеянно тушила несколько раз обгоревший окурок о пепельницу.

— Я не смогу сегодня пойти в концерт, — сказала она. — Жалко, хотела послушать Навашину. Она по классу Григоровича первая.

Он ждал. Прядка, упавшая на ее щеку, гнала. Гнала это острое колено. Он почувствовал вдруг знакомое и освобождающее ожесточение.

— Почему ты не можешь пойти? Что случилось?

Он даже посвежел от жаркого прилива крови к лицу.

— Не могу... может быть, приду позднее, — ответила она уклончиво.

Ее рука, только-что свободным движением зажавшая папироску, вяло опустилась.

— Разве ты не можешь сказать, почему?

Он даже придвинулся к ней.

— Мне жалко отца, — сказала она вдруг. — Он одинок и несправедливо озлоблен. Я хочу к нему сегодня пойти.

— Ты можешь пойти в другой раз. Никто не виноват, что он одинок и озлоблен! — Он был уверен, что рвет сейчас всё. Это облегло безудержность. — Я за эти годы увидел другую, непохожую жизнь... а меня опять словно втиснули в этот мелкий ваш мир.

— Кто тебя втиснул? — спросила она удивленно.

Он как бы впервые увидел ее красивое бледнейшее лицо.

— Кто меня втиснул? Опекушины...

вы! Твой отец приходил сюда, чтобы меня просветить. Он был здесь, сидел на этом стуле. — Она невольно посмотрела на пустой стул. — Он пришел мне напомнить, чтобы на правду я здесь не надеялся.

Она слушала его как бы удивленно и грустно. Он ожидал обиды, негодования. Но ее рука была так же вяло опущена.

— Я тебе ни разу не солгала, — сказала она и покачала головой.

— Ты? Ты?..

Он не мог ей признаться в своем подглядывании за ее жизнью... четырехугольник двора, который на его глазах освобождался от талого снега, звучал голосами детей, шумом колесиков их самодельных дощечек, экзерсисами и вокализациями, звучащими из десятков квартир, и сам он, читающий чужие фамилии васильеостровских квартирантов.

— Я знала, что ты никогда ничего не забудешь, — сказала она с той же грустью. — Но я ведь ничего не скрывала.

Ее рука сделала жест безнадежности. Беретик снова надет. Сейчас она увидит. Он не сказал еще самого главного. Но он упрямо и выжидательно молчал у окна.

— Я уйду, — сказала она.

Это прозвучало, как прощание навсегда. Он попрежнему стоял, отвернувшись. В квартире напротив зажгли лампу под оранжевым абажуром. Человек развернул газету и стал читать, подперев голову. Женщина открыла дверку буфета и достала посуду. Зажглось еще одно окно в верхнем этаже. Когда он оглянулся, ее уже не было.

«Ну, и пускай, — сказал он враждебно. — Ступайте к отцу...»

● Он не dokonчил. Он вспомнил покорность ее упавшей руки, прядку волос, ее расстроенное лицо. Он ничего не знал о ее жизни. Он жил в придуманном мире предположений. Она вернется ночью, и он опять будет слушать и проверять ее дыхание. Человек перевернул лист газеты. Женщина блеснула тарелкой, накрывая стол. Он сорвал с вешалки свое пальто и выбежал следом. Моховая была уже в сумерках. Приблизались белые ночи. Телега ломового гре-

мела колесами. Подвыпивший возчик пел песню. Он добежал до угла, перешел мост через Фонтанку. Толпа дочкадалась трамвая. Ирину не было. Она ушла так, словно это был разрыв. Враждебный и глухой разговор вместо простых и человеческих слов, которые они обязаны были сказать друг другу. Он сел в первый подошедший трамвай и поехал без цели. Посвежавший город был люден. Синева тонких сумерок не застила Невы. Она шла полно, богатая весенними водами, и одинокий буксирчик, задрав кверху крутой морской нос, бежал к Маркизовой луже. Огни еще не зажигались вдоль набережных. Все было синее, как недопечатанный литографский рисунок. Трамвай переполз мост через Неву. Это был Васильевский остров. Привычная остановка между 10-й и 12-й линиями. Он сошел, влекомый снова к знакомому дому. Речной сигнальный огонь уже зажегся в конце этой 11-й линии, на набережной лейтенанта Шмидта. Улица была пуста, только у арки глубоких ворот в некоей старомодной выжидательной позе стоял человек. Черный плащ морского покроя с двумя львиными мордами на месте застежек небрежно был накинут на плечи. Догорающая папироска дымилась в длинном янтарном мундштуке между пальцами. Человек стоял у ворот и приглядывался к проходившему, как будто ожидал встречи с ним.

— Имею давно наблюдение за вами, — сказал он, радушно протягивая руку ладонью кверху. — Полагаю, что одни и те же чувства приводят нас с вами сюда, к сему запретному жилищу. Лисков... вы меня, конечно, забыли.

Выцветшие глазки выжидательно шурились.

— Вы... Лисков? — спросил Лащина, припоминая.

— Точно так. Вспоминаете? Облик корабельного инженера прояснился под этой накидкой с львиными мордами. — Мне думается, что некоторые общие интересы могли бы нас сблизить. Пройдемте на набережную. Может быть, в этом затруднительном для вас настроении окажусь вам полезен.

Ужимочки, однако, не соответствовали

явной невеселости его лица. Он покровительственно взял его под руку, и черный плащ оживленно защелкал о голенастые ноги.

XVII

Они вышли на набережную и сели на каменный парапет. Нева пахла морем.

— Я вспомнил вас, Лисков... вы приходили в консерваторию.

Лисков сидел, обняв свое худое колено. Ботиночки с замшевым верхом пытались еще сохранить светский вид. Поля фетровой выгоревшей шляпы колыхались на ветре.

— Да, я приходил в консерваторию, — ответил он минуту спустя. — Я ходил в консерваторию и на собрания краснофлотцев, и даже в рабочие клубы... я искал величия эпохи. Я искал молодого человека нашего времени, — продолжил он, — который поразил бы меня своим новым решением нравственных задач. Заводы может построить и человек прошлого. Я хотел увидеть людей, которые на этих заводах будут производить будущее — Его выцветшие глаза смотрели мимо, на синеватую панораму реки под овальной дугой моста. В Морское училище, четко печатая шаг, возвращалась полурота с короткими ружьями. Он поглядел на знакомые черные куртки. — Ударники, энтузиасты труда — я их видел. К труду есть новое отношение, ничего не скажу. Но я искал новой этики. Вы много встречали людей, которые по-новому решали бы вопросы семьи? — спросил он вдруг. — Обращаюсь к вам, представителю этого нового поколения. Вас изумляли смелые решения и понимание нравственного долга? Или всё больше по-старинке, с эгоизмом, с пристрастием? Вот именно так! — Он торжествующе ввинтил новую пипросу в мундштук. — Между нами течет река, — продолжил он с нарочитым пафосом, — река, отделяющая два поколения. Река более широкая, чем эта Нева! — Рука с подагрическими пальцами классическим жестом трагика указала на реку. — Я стою на другом берегу. Я — человек вымирающего поколения. Мы уходим не шумно, но планомерно. О нас

даже не печатают траурных объявлений в «Вечерней красной газете». О нас с душевным прискорбием не извещают месткомы учреждений, ячейки и фабзавкомы. Белая одинокая лошадь — по бывшему третьему разряду, когда покойник сам правит на козлах, — свозит нас в братскую могилу истории. Ничего не поделаешь. Я примирился и не скорблю. Но я хочу вот этими стариковскими глазами увидеть пышный цвет жизни. Я хочу умереть с сожалением, а не с облегчением. Я не хочу быть сброшенным в пыльный ящик истории, пока я могу еще чувствовать запахи жизни... — Он потянул своим длинным носом и насладительно вдохнул вечерний запах реки. — Я могу еще этой рукой написать, например, воспоминания о минувшей эпохе... я могу составить не один полезный учебник по строению военных кораблей. А раз я различаю еще запахи жизни, я хочу увидеть напоследок нового человека со всеми его новыми качествами!

Он вдруг умолк. На Масляном бучае зажглись огни. Внезапно дрогнула эта синеватая набережная, и цепь огней побежала во всю ее длину. Золотые жгуты, как причальные канаты, пошли в глубину.

— Это предисловие, — сказал со вздохом Лисков. — А теперь можно перейти к существу. Революция прошла и через мою личную жизнь... не только в том смысле, что я оказался представителем отсталого поколения... а и в том, что от меня отринут близкий человек. Вот тут-то мы с вами могли бы оказаться полезными друг другу. Я приведу вас в квартирку, которую столь часто посещает интересующее вас существо, — продолжил он, скандируя. — Я открою перед вами это таинственное обиталище, фамилию владельца которого вы тщетно разыскивали на жакетовской доске. Вы увидите явление нового мира, наглядное разрешение проблем новой нравственности, хранилище новой этики и прочее, прочее. Огляните и оцените. Потом вы можете мне сказать, что я устарел со своими старомодными взглядами и годен только на свалку. Я это приму как заслуженное, если вы оправдаете то, что увидите. Но если вы не оправдаете этого,

то позвольте мне считать себя не совсем упрямленным типажем... популярное слово, знаете ли, среди бывших людей. Все бывшие статские советники, бывшие придворные лакеи и бывшие прокуроры снимаются в фильмах. Превосходные типажы упрямленного класса... не избежал этого и я. Состою штатным статистом ленинградской кинофабрики. Фотогеничен и достаточно звероподобен, чтобы устрашать современного зрителя видением старорежимного мира.

Все это, однако, не искажало истинного выражения его лица. Человек был не весел.

— Куда вы хотите, чтобы я с вами пошел? — спросил Лащинин.

— В квартиру на одиннадцатой линии. В уютную квартиру с блистающими полами, с кофейничком, в котором фыркает кофе, в Голландию на Васильевском острове. Вы войдете туда вместе со мной и вместе со мной оглядите нашего общего похитителя. Мы будем жить без иллюзий... мы отбросим идеализм и обратимся к материальному миру. Мне нужен свежий взгляд на вещи.

— Но почему вы предлагаете это именно мне?

Недоступная квартира на одиннадцатой линии получала свое обозначение. Он ощутил вдруг сладостную тоску от решимости пойти туда вместе с ним.

— Вы приходили к этому дому так же, как приходил сюда я... каждый день я являюсь к этому отторгнутому жилищу в надежде, что мое постоянство смягчит черствое равнодушие. Что делать, я трудно привязываюсь к человеку, но, раз привязавшись, — не в силах покинуть. Таковы однолюбы. Я знаю всю вашу историю, — добавил он покровительственно. — Но это только внутренний круг. У круга есть касательные. Вы забрели в такой же тупик, в какой забрел и я, несмотря на нашу разницу в годах и на принадлежность к разным классам... но некоторые чувства присущи всем классам.

— Кто позволил вам решать чужие дела? — сказал Лащинин враждебно.

Его раздражали патетическая многословность и ужимочки человека.

— Напротив, — воскликнул Лисков, — я предлагаю решить всё вам самому. Я уверен, что ваше решение помогло бы и мне в моей личной жизни. А я еще хочу жить... я вынюхал не весь воздух, который полагается моему возрасту. Я не участвовал во вредительских заговорах, чтобы слезно просить сохранить мне жизнь. Я готов отдать революции опыт, мои знания по корабельно-строительному делу, двадцать восемь учебников, по которым могут учиться молодые строители кораблей. Я — честный специалист, но я хочу видеть новую этику, хотя бы в вопросах семьи... начнем с этого. Может быть, впоследствии и будет создана эта новая этика, но пока ее нет... а раз ее нет, то и мои убеждения вполне своевременны. Я имею право войти в любимое жилище и сказать любимому человеку: между нами не лежит пропасть во взглядах, как это пышно мне изяснено. Я дышу теми же легкими и теми же глазами гляжу на мир. Не уподобляйте меня ничтожному и вредоносному существу. Мы только вылезаем из грязи, из скотского равнодушия человека к человеку, невиданного эгоизма, которые были присущи нашему прошлому. Может быть, будет время — придет и эта новая нравственность. Но ее пока еще нет. Москвошвейские костюмчики шьются на один образец, — он распахнул плащ и подергал за отворот своего грубошерстного костюмчика, — но люди при социализме будут скроены на разный манер, с носами разной величины, с различными характерами... — Он обращался через его голову к этому же несправедливому обитателю васьинской квартиры. Он даже погрозила подагрическим пальцем в сторону 11-й линии. — Так не принуждайте же меня смотреть вашими глазами на то, что является для меня явлением худшего прошлого, но никак не выходом в жизнь!

Он снова умолк. Папироска его потухла. Он произносил все это отсутствующему собеседнику. Рыжеватый случайный слушатель его исповеди на гранитном парапете набережной был для него только исполнителем сложного хода в его игре.

— В эпоху социализма никто не позволит эгоистически разрушать чужую жизнь во имя личных удобств, — сказал он еще. — Каждый человек будет иметь право на долю личного счастья. Не отказываюсь от этого права и я... да и вам не советую. А ведь это только в романах Достоевского изображались такие inferнальные квартирники на Васильевском острове, в одну из которых мы с вами сейчас зайдем.

— Но как же я могу зайти в чужую квартиру? — пробормотал Лащилин.

Ему был ненавистен этот кривляющийся старик, но с любопытством и жадностью он ждал продолжения.

— Эта квартира в такой же степени ваша, как и моя. Выражаюсь не фигурально, а истинно. Дом мой — где дух мой. И ваш, и мой дух связаны с этим домом, — следовательно, это наш дом.

Ветхий плащ опять защелкал о голенастые ноги. Неяркие огни уже горели на одиннадцатой линии. Знакомые ворота дома были налиты синевой пустого двора.

— Вы изучали эту жактовскую доску, — сказал Лисков. — Она была для вас непонятна, как таблица логарифмов. Я извлеку для вас этот корень. Квартира 137.

Лащилин поглядел на доску. Три фамилии: Штанге, Иванов и Таджиев стояли рядом с цифрой квартиры. Так вот где он жил — этот таинственный Иванов. Четвертый подъезд в глубине двора. Сколько раз подходил он к этому подъезду и заглядывал в темноту лестницы. Он шел теперь позади, и трость с набалдашником из слоновой кости пренебрежительно тыкала в ступени. Наконец, на третьем этаже они остановились. Не было ни одной надписи на этой двери, обитой новой клеенкой. Только оттерт был до блеска медный звоночек. Без прежнего небрежения, однако, поправил Лисков на себе фетровую шляпу и даже откашлялся в руку. Некая робость овладела и им в этот миг.

— Прошу вас предоставить всё мне, — сказал он вполголоса. — Новая работница, и дура при этом.

И он нажал кнопку звонка. Дверь открыли не сразу. Подслеповатая старушонка приглядывалась сквозь щель, прихваченную дверной цепочкой.

— Каролины Ивановны нет дома, — сказала она.

— Я знаю, — ответил Лисков. — Это доктор.

Ихпустили. Комнатешка, переделанная из кухни, сияла оттертыми кафлями и красноватыми плитками пола. Старушонка, напятив неделю назад и незнакомая с порядками, лучилась на прошедших. Лисков великолепным движением сбросил плащ. Потом жесткой щеточкой он пригладил свой желтый бобр. В складках его запавших щек было напряжение решимости.

— Пройдемте сюда, в эту комнату.

Он прошел через кухню с ее блестящей посудой на полках и открыл следующую дверь. Вторая комната была мала и тесна. Рядом с широкой дубовой кроватью с опрятными тремя подушками белела детская кроватка. Ее никелевые овальные шишечки блестели. В кроватке, на коленях, держась руками за белый прут сетки, стоял мальчик. Ему было три года, не более. Болячки ожогов густо покрывали его щеки и лоб. Мальчик болел. Головка его была жалко перевязана. Большая щечка густо намазана мазью. Спокойными и удивленными глазами он смотрел на вошедших. Было чем-то неуловимо знакомо выражение этих темных внимательных глаз. Он должен был заплакать. Но он не плакал. Он только перестал раскачиваться, держась за прут сетки. На столике рядом лежали игрушки. Несколько пестрых истертых кубиков и большая шершавая лошадь, тщательно, видимо, выпотрошенная и зашитая нитками.

— Лошадка больна? — спросил Лисков, наклоняясь.

Мальчик ничего не ответил. Он только вздохнул.

— И ты болен? — спросил снова Лисков. Мальчик опять вздохнул. Рука с подагрическими пальцами погладила по желтоватой головке. — Я доктор. Я лечу лошадей и собак. Я могу починить тебе лошадь.

Мальчик покосился на лошадь. Потом

он снова вздохнул. Его губы покривились. Он готовился заплакать.

— Ах, лошадку уже починили? Хорошо. Мы уйдем. Будь здоров. — Рука Лискова снова погладила желтые волосики. — Вылитая мать, узнаёте? — сказал он затем. — Те же глаза. Опекушинские черты. Вижу его сам в первый раз. Каролине Ивановне привет, — сказал он старушонке. — Скажите — приходил доктор. А лучше всего ничего не говорите. — Он отступил в кухню. Лащилин вышел за ним. У Ирины был сын. — Ребенку, конечно, нужен полный покой, — продолжал Лисков развязно. — Как же так неосторожно подпустили к плите? Хорошо, что не пострадали глаза!

Он эффектно приладил перед зеркалом свою фетровую шляпу. Золоченая цепочка протянулась между мордами львов, придерживая плащ на нем. Старушонка торопливо открывала им дверь. Они спустились по лестнице. Двор был попрежнему пуст.

— Прошу вас ответить мне на вопрос, — сказал Лисков. — В эпоху социализма возможны незаконорожденные дети? Я — человек старых взглядов. Я позволил себе высказать мысль, что неуместно испытанному педагогу прикрывать грех бывшей ученицы. За это я отринут от дома, я не вхож в свое жилище, между нами идеологическая пропасть. А как вы это понимаете, товарищ Лащилин? — Он остановился и заступил ему дорогу. — Мне нужен взгляд нового человека на вещи. Вам было известно о существовании сего отпрыска?

— Оставьте меня в покое, — сказал Лащилин тихо и без ненависти.

Он повернулся и пошел от него.

— Повидимому, эффект великолепен, я рад! — закричал Лисков ему вслед. — Может быть, хоть вы поспособствуете разрешению этой семейной трагедии в духе Островского!

Палка с набалдашником из слоновой кости стала тыкать в тротуар, удаляясь. Впоеди была Нева, полный ветер реки. У Ирины был сын. Но почему, глядя на это детское, жалко перевязанное и обезображенное ожогами лицо, он не

испытал ни ожесточения, ни разочарования? Так вот почему она не пошла на концерт в тот вечер. Он помнил выражение ее расстроенного лица. Она торопилась сюда, в этот дом, к сыну. Она прибегала сюда ежедневно, и он принимал ее торопливость за любовную спешку. Мальчику становилось лучше, он выздоравливал, — и он ощущал по ночам в ее вдохах счастливую утоленность любви. Вот каким оказался этот Иванов в своей комнате с английскими цветными гравюрами и нортонскими часами, отзванивающими время свиданий. Мальчик глядел на вошедших с недетской серьезностью. У него была несчастная, обезображенная щечка. Его глаза с их узким разрезом как бы повторяли во времени глаза Ирины... Три года назад на Верхне-Исетском заводе он понял, что по-новому возвращается в мир. Этот мир не был обужен квартирой на Монетной с ее белым роялем, сладчайшим голосом знаменитого тенора и пыльными венками ветшающей славы. Большие и мужественные чувства эпохи вступали в строй, как новые домы и плавильные печи. Люди переплавили в них искривленные десятилетиями человеческие навыки. Он вернулся, обогащенный опытом и пониманием целей. Это был уже не тот Ленинград, который в ограниченном масштабе раскинул перед ним Опекушин. Не одни острова, Стрелка с каменными львами, глядевшими на большие закаты, летний жаркий Сестрорецк с его пляжем, речные парходики, увозившие в Петербург, стеклянню переполненный влагой фонтанов, отмеряли пространства этого города. Вокруг площади Стачек жарко дышали заводы — Красные Треугольник, Путиловец, Химик; Палюстрово было уставлено ими, как речными крепостями — вдоль Невы и дуги Большой Невки; улицы, переименованные революцией, упирались в заставы и гавани. Город рабочих дымов и боевых районов Новые цели требовали нового отношения к миру. И вот при первом же испытании он свернул сюда, на эту одиннадцатую линию, где по достоинству его встретил Лисков. Это был даже не мир, суженный до масштабов Опекушина, —

меньше того: убогое жилишко, из которого он в свое время бежал...

Смутный Геркулес забелел за решеткой Горного института. Освобожденный простор Невы, широко и многоводно стремившейся к морю. Белая яхта раскачивала мачтой у пристани, еще не вдохнувшая ветер в свои паруса. Он дошел до Масляного канала и остановился. Маленький мальчик со следами ожогов от опрокинутой на себя миски с супом. Он стоял на коленях и внимательными глазами смотрел на людей. Он только вздыхал. Он не плакал. Но разве могли быть еще дети, лишённые родства и семьи, незаконорожденные пасынки, подобно которым он сам начал детство? На Урале, кочуя с рабочим квартетом, он видел семью новых строителей. Неграмотные черемисы сидели в первых рядах. Они слушали музыку. Ударники-татары перевыполняли встречные планы, и сверхочередный квартет доставался им как премия. Люди шли одним сплошным потоком к цели. Здесь было еще много старой и подлой зависти, взаимной вражды и корысти. Но лучшие занимали боевые места, и отставшим приходилось пересматривать свое отношение к миру, чтобы не остаться без места. Так создавалась семья новых строителей. Страна раскидывалась над ней, как огромный шатер. В нем не было отгороженного жития, которое считал Опекушин своей привилегией. Не жалкая закута, а весь этот распахнутый мир был предназначен для каждого сына. Он шел по набережной мимо Горного института, затем Морского училища, назад — к мосту лейтенанта Шмидта. Набережные уже были в огнях. Он мог вернуться домой и взять в свои большие и огрубевшие руки — узкие руки, игравшие Скрябина. Противоречие чувств гнало его дальше. Ему нужна была помощь. Он вспомнил Трегубова.

XVIII

Все было попрежнему в этой еще не обжитой квартирке. Попрежнему, как некий метеорологический знак, висел между дверьми мяч для бокса. Только пустовавшие окна оделись занавесками,

да большая ветка тополя преждевременно распустилась в воде на окне. На этот раз не потребовалось вступления издалека.

— Где же ты пропадал столько времени? — спросил Трегубов.

Его большие руки лежали перед ним на столе. Казалось, держали они в своем уверенном полукруге кусок зрелой жизни. Радио, настроенное на неполный голос, приглушенно передавало концерт.

— Иван Николаевич, есть у вас сейчас время? — спросил Лащинин. — Только это будет разговор не совсем обо мне...

Трегубов пригляделся к нему. Глаза были воспалены, рыжие волосы торчали. Человек шел без шапки.

— Говори, — сказал он коротко. — Вечер у меня свободный. Видишь, модельку складываю, купил для сынишки игрушку.

На столе лежали металлические части «Мекано». Замысловатый подъемный кран был уже собран наполовину. И Трегубов стал мастерить его дальше.

— Четыре года назад я бросил все и уехал из Ленинграда. — Большие пальцы Трегубова старательно поворачивали модельку. — Мир оказался пошире, чем я себе представлял. Многого пришлось начать сначала, и мне казалось, что я чего-то достиг. В Ленинград, во всяком случае, я вернулся, чтобы начать жить по-новому. И вот здесь-то с самых первых шагов я снова надеялся ошибок. — Он не отвел на этот раз своих глаз от пристального взгляда Трегубова. — Мне казалось, что я сумею теперь отбросить все второстепенное и пойму главное. Но этого я не сумел. Я опять все свел до своих личных чувств, а чувства оказались мелкими...

И он рассказал ему все: о последних месяцах жизни, о встрече с Лисковым и о квартирке на одиннадцатой линии. Трегубов слушал. Его большие пальцы все еще выискивали металлические детали.

— Ну, и как же ты находишь? — спросил он не сразу. — Как могло произойти, что женщины в наше время понадеялись это скрывать? — На этот раз он отставил под емный кран. — В на-

ше время сыновей носят на руках, чтобы вся страна видела. Некоторые из них уже выросли. Они не отделяют своих целей от целей страны, не меряют всё масштабами своих самолюбий! Если ты видишь цели страны, ты видишь и свою цель. А это величайшее дело почувствовать себя сыном по праву и совести.— Он отодвинул стул и заходил по комнате.— Боевые пополнения идут, революции незачем уже хвататься за каждого, кто может носить оружие. Завтра мы пойдем драться. Владешь ли ты пером, кистью, музыкальным инструментом, — ты должен идти со всей полнотой своих знаний. И вот о женщине еще... — добавил он и движением руки как бы отмерил ее почетное место.— Женщина вместе с нами делала революцию... была и товарищем, и бойцом, и политработником. Для женщины все это по ее природе труднее, — значит, надо и больше чуткости, и больше уважения к ней. А так ведь недалеко это все и от опекунских взглядов!

Он прищурился. Он вспомнил комнату Опекушина, старческую непримиримость, бесполезные венки прошлого.

— Иван Николаевич, я не сказал вам про самое главное. Может быть, я и плохой сын... но у меня к Ирине после этого такое уважение и сочувствие, что если бы я только мог ей помочь... Я ведь в этом мальчонке себя самого увидал...

Он не договорил. Трегубов выждал. Маленький под'ёмный кран уже действовал. Еще бы моторчик, чтобы вклучить передачу, и он стал бы вращаться вокруг своей оси и поднимать груз.

— Ты это в себе проверь, — сказал он погодя. — В этом деле нужен не только энтузиазм. Отношение к обществу определяет отношение к семье. Из отношения к обществу возникает отношение к его целям. Ведь, если бы ты все это решил только по одной своей личной склонности, то это могло бы случиться с любым человеком, любого класса, в любой стране. Должно быть нечто, что отличало бы это твое решение... именно понимание новых целей и личных твоих обязанностей. Главное, кровная заинтересованность в деле, в своей работе, в своем

отношении к обществу, — сказал он сурово. — Нужны страсть, а не пристрастия, вера, а не сочувствие, поступки, а не обещания... Нового общества без переделки семьи не построишь. Семья — это колыбель тех самых сыновей, которые будут это общество организовывать. У многих еще такое отношение к женщине: я — хозяин, добытчик, она — моя тень. А ты, помимо прочего, ей главное дело доверяешь — воспитание детей, чтобы они оказались полезными обществу. Моя баба, к примеру, простая, хорошая баба... конечно, нехватает ей образования... но и она мою работу уважает, и я понимаю, что доверил ей главное: воспитание ребят. И она тут себя оправдывает. Сынишка у меня растёт — замечательный парень! — добавил он вдруг. Он поднял лицо. Так блеснули большие эти желтоватые зубы, что без причины, но от какого-то внезапного счастливого чувства, оба улыбнулись друг другу. — А если ты все это понял, только по-искреннему, без всякого наложенного на себя обязательства, то и ты близок к цели... а цель стоит этого — большая, настоящая цель!

Казалось, целая жизнь прошла со времени его первого посещения Трегубова. Тугая оттепель сопровождала темные месяцы жизни. Теперь начиналась весна. И большая, нежно-серебряная снизу ветка тополя была, как торжественное ее обещание. Трегубов подошел к радиоприемнику. Поворот ручки — и концерт широко хлынул по радио. Вступление флейт, говорливых, как встревоженная птичья стая, одинокое стелание флажолетта, — и медленно-торжественно начался Гендель.

Зелено-окрашенный фордик дожидался во дворе у под'езда. Один раз в шестидневку мог Трегубов по-своему провести выходной день. Фордик увертливо и торопливо выбирался за город. Добежав до гудрона, он яростно набирал свои семьдесят километров. Ветер движения бил в лицо. После пяти дней сидения за столом в кабинете это была как бы вылазка в мир. Удивительно расцветал этот мир за короткую пятидневку весны.

Только-что закапаннные тугими почками деревья уже давали ядовито-зеленые, огуречно-пахнущие листочки. Все оперялось ими, как нежный зеленоватый птенец, который начал подлетывать. Ползались птицы. Недавно только прилетели грачи, и первые гнезда зачернели на высохших деревьях. В этот раз уже были жаворонки. Они высоко по-летнему висели в небе. Травы выпирали из земли, и на лугах появлялись первые желтые лютики. Весеннее солнце жарко обветривало, загар стягивал кожу на лбу. Фордик легко и почти не пыля уносился по шоссе к Петергофу. Он обгонял такие же фордики, крикливые и подвижные, кроличьим стадом размножившиеся по советским дорогам. И надежная работа мотора, и указатель километров в окошечке — все веселило Трегубова: было это сделано руками сородичей, такими же литейщиками и слесарями, которых обширными поколениями выпускала Мотовилиха. А главное было — это грубоватое ощущение мышц, своих дальновзорных глаз, примечающих за километры дорогу, и весенняя смена пейзажей. Все было молодо, тронуто первым листом, опалено первым солнцем. Он не поехал до конца по этому оживленному в это утро пути и свернул вскоре в сторону. Дорога на Гатчину была пустынная. Равнина лежала по сторонам, поросшая первой травой и кустарником. Солнце осталось теперь в стороне. Живая веселая тень бежала по обочине дороги. Он проехал еще с десяток километров и остановил машину. Здесь можно было сделать передышку и полежать на травке в тени. Три северных плакучих березы мелко дрожали каждым листочком. Казалось, счастье шло из всех этих белых с черной ствол — счастье жить, дрожать листьями и шуметь придорожным шумом.

Трегубов поставил машину сбоку дороги. Он перепрыгнул через канавку и пошел лугом. Трава была глянцевиата и еще несмело путалась в ногах. Железная решетка ограды возле чьей-то безвестной могилы стояла на бугре. Трегубов подошел и поглядел на могилу. Это была братская могила бойцов, погибших при обороне Петрограда. Несколько ка-

менных плит с обозначением дат и событий ушли уже в землю. Сороч восемь бойцов из дикой дивизии лежали под северным небом. Далеко уходила равнина. Там, с невысокого ее горизонта, можно было представить себе, как стекают лавиной, с гортанными криками, всадники. Но так же, как и далекие степи их родины, зацветали весной ленинградские луга северными неяркими цветами. Цвели и сейчас они — эти желтые первые лютики и калужницы. Трегубов сел на бугор, оторвал травинку и стал грызть ее стебель. О чем они мечтали — эти полудикие калмыки или туркмены? Какое они видели будущее, умирая на этих полях? Туго из необработанного металла выплавлялись новые люди. Прошлое, навыки поколений, эгоистические надежды собственников — все это прорастало еще, и не полностью оплачена была эта братская могила, уже ставшая историей. Но шли новые пополнения, становились они всё обильнее, и некая улыбочка кривила все же сейчас его губы. Из своих сторонних блужданий на основную магистраль выходил человек. Он вспомнил все: свободу своего детства — Мотовилиху, Пятую армию, свою работу в ревтрибунале, первый робкий квадратик в петлице, годы упорного труда над исправлением исковерканного средой человека и возникновение этих самых людей, которые знали свой путь, как часть общей цели. Все было построено заново, и заново прежде всего строился человек. Был еще в лесах этот многосложный опыт его переделки, но можно было уже определить величину и назначение здания. Жаворонки звенели в высоте. Были они, как маленькие якоря, которыми эта цветущая земля зацепилась за небо. Еще неделя, другая — и деревья хлынут листвой, первые стрижи распластуются в небе, белые ночи встанут над этим северным полем. Но трава его та же, что и в далеких калмыцких степях, только родина стала шире, и эта братская могила бойцов, как обещание ее будущему. Был уже вечер, когда Трегубов возвращался назад. Фордик добросовестно изъездил окрестности. С вольфрамовой яркостью, как раскаленный брус, лежа-

ло солнце впереди, зажигая переднее стекло машины. Потом все смешалось, как затушенный бенгальский огонь, поползли красные перья, и на горизонте как бы вырезанный из синей бумаги, силуэтами труб и домов возник Ленинград. С одной стороны были трубы заводов, мужественная графика сквозных смерчей радиомачт, с другой — тронутый увяданием, сединой прошлый мир. Давно уже сменил он привычные привилегии на ежедневную службу, на путь в трамвае от куда-нибудь с улицы Жуковского на Васильевский остров и с Петроградской стороны к площади Стачек. Вместе с Опекушиным смотрел он из окон семиэтажных домов на этот город, который утратил знакомые наименования улиц, уединенные особняки с их садами, загородные рестораны и военную музыку Сестрорецка и Павловска. Он утробно глядел на возникновение новых садов, на старые министерские дачи на Крестовском и Елагинном островах, ставшие домами отдыха, на белые овалы стадионов и на шумные парады и шествия, музыка которых вторгалась в квартиры... В разрезе двух несхожих эпох знакомо обступали дома города. Выходной день был закончен. Легкие сберегали еще свежесть простора. К ветке тополя, распутившейся в воде на окне, прибавилась клейкая ветка липы. Ей только надлежало расцвести, так же опережая события весны. Трегубов был дома. Жилище еще не было согрето семей, которую он не успел привезти. Но маленький подъемный кран уже дожидался рук нового механика. Его, Трегубова, сын жадно и с требовательным семилетним упорством входил в жизнь.

XIX

Не было в этот раз ни ожидающего человека со съехавшим на сторону галстучишком, ни древней машины. И за окном ленинградского номера по-летнему простерлись рябоватая площадь, облака над городом и зеленоватый дым сада вдали. Промашка бювара сберегала номера телефонов, женские профили, набросанные во время ожиданий, и

перевернутые строки посланий, случайных, как были случайны и авторы их. Посыльный, слабый старичок в красной шапке, взялся вскоре доставить письмо.

В шестом часу вечера Лавровский пошел к знакомому памятнику Глинке. В ответной записке Ирина лаконично назначила здесь эту встречу. Просторная площадь была такой же, как в юности. Сколько раз перебегал он ее, торопясь на занятия в консерваторию. Все было прежним, и попрежнему птичьей известкой были закапаны плечи Глинки. Только новое поколение выбегало из дверей консерватории. Не было уже прежних аккуратных папок с серебряной надписью, артистической изысканности, обучаемых в порядке приличествующей необходимости девиц. Кудлатые головы, комсомольские значки, красные галстуки пионеров и даже не свойственные этому миру гармонии значки ворошиловских стрелков, ГТО и парашютистов... Но ничто не нарушилось в этом здании музыки. Попрежнему работало оно, приукрашая будничным шум, с весенней протяженностью, как рожок лагерного сбора, звучали валторны, и раскрытые окна исторгали фортепианные рапсодии и вокализы. Была своя особая гармония жизни у этого нового поколения. Оно пришло сюда с рабочих окраин, с Большой Охты, с Петровского острова, с мест, обозначенных на карте Ленинграда зеленой краской огородов, лугов и пригородного жития. Оно училось игре на скрипке и плаванию на водной станции «Динамо», теории музыки и игре в волейбол; искусству композиции и истории материальной культуры; оно читало переписку Чайковского и историю капитализма в России; Ленина и Сталина, Тургенева и статьи о политике партии в деревне; в журнальном киоске в вестибюле консерватории прежде всего расхватывалась «Правда», затем журнал «Наука и техника». Оно успевало еще в порядке шефства обучать музыке детей рабочих-текстильщиков в музыкальном кружке. Только одно десятилетие отделяло его, Лавровского, выпуск от этого поколения. Но как все было уже различно и непохоже.

Он стоял сейчас у этого знакомого с детства памятника Глинке, как бы отделенный сроком целой жизни. Торопливо и равнодушно пробегали мимо него, со своими делами, заботами, радостями и огорчениями, эти новые ученики. По-прежнему открывалось для них звучание музыки. Иным целям предназначена была она служить. Не слишком ли уверовал он в искусство для избранных, в тесное и камерное хранилище гармонии, с его золочеными завитками и классическими овалами портретов композиторов. Он знал с детства белый паричок Моцарта, ермолку Глинки, меланхолическую одухотворенность Шопена, пьяноватый помещичий облик Мусоргского. Они, как надежные спутники, окружали это отъединение музыки, дрожащие свечи в золоченых подсвечниках рояля, лакированный блеск поднятого крыла, круг ценителей. Мир петербургских гостиных, адвокатские музыкальные пятницы, портреты певцов и музыкантов и даже самого громадного, большеногого Стасова, с надписями, в рамках, в изобилии разбросанные на рояле и на этажерках. И музыка звучала в этих испытанных жилищах. Десятки склоненных голов, женские парижмахерские прически, сияющие манжеты в черных обшлагах, прядка волос, упавшая на лоб музыканта, великодушная небрежная прядь одаренности. Блистающее мрамором колонн Благородное собрание, вечерние платья, студенческие мундиры и сюртуки, тощие тела сновников, недоступные цены, жаркая толпа молодежи на хорах, нервное настраивание скрипок в оркестре и первый взмах палочки знаменитого дирижера... Несколько сот человек могли притти на это пиршество. Музыка, как привилегия избранных, доставалась им по достатку и по положению в обществе. На долю окраин, рабочих районов и всех этих Нарвских и Петербургских застав оставались гнилые органы трактиров, воскресные гармошки, карусель под баяны и военные оркестры проходящих частей. Была ли правда на стороне человека с галстучишком из вискозы, которого счел он завидующим ему неудачником, или надежнее был полукруг этих немногих ценителей,

чем шумная и неискушенная в искусстве толпа? Афиши с его именем не озаглавливали в этот раз его приезда в Ленинград. Никто из пробежавших мимо учеников консерватории не знал его. Известность предстояло только завоевать. Но завоевывалась она не в гостиных адвокатов, не на камерных концертах для избранных, а здесь — в этом шумном и благодарно принимающем мире, в котором впервые он почувствовал одиночество. Композиторы покинули насиженные овалы портретов, и в старом обиталище гармонии, как всенародное ухо, висел микрофон.

Она шла сюда торопливой и знакомой походкой, как в юности. Носки ее туфель были обращены слегка внутрь, — эта неловкость, как милый след детства, осталась. Трубочка нот в руке.

— Я заставила вас ждать, — сказала она. — Извините. Меня задержал профессор.

— Вы не удивились, что я опять захотел вас увидеть? Даже после того, что вы сказали мне в прошлый раз?

— Напротив, я довольна, Лавровский, — сказала она просто.

— За углом ждет такси. Хотите на острова?

Она шла рядом, чуть щурясь и как бы взвешивая.

— Только ненадолго. На час.

— На сколько вы захотите.

Он стал холодноват и утих. Минуту спустя они сели в машину. Просторно раздвинутый Ленинград. Весна удлинила его перспективы. Велосипедисты сияли полными дисками спиц. Помолодевшие дома раскрылись окнами, веселые сквозняки надували шторы, на балконах появились плетеная мебель и цветы. В саду Трудящихся уже взрыхляли землю для клумб. Окно машины было открыто. Легкий профиль, освежаемый ветром, движением, затем простором реки. Лицо успело слегка загореть и похорошело от весны. Тонкая дужка взлетающей брови, — он помнил могучий и выразительный развал бровей Опекушина и налитые теплой силой глаза. Таким выходил он, вероятно, освещаемый светом софитов, разочарованный, с открытым горлом певца, с траурной

белизной накрахмаленных брыжжей — Ленский. «В вашем доме узнал я впервые...» В маленькой комнате на Литейном, где готовился он, Лавровский, к жизни и славе, Ирина слушала первые робкие арии певца, эти недающиеся верхние «до», на которых он срывался. Она прощала ему неполноту голоса, неотчетливость фразировки, тривиальные жесты прижатой к груди левой руки и обращенной к невидимой публике — правой... Сейчас, когда он всем этим владел, не было уже ни маленькой комнаты, ни скромного и взволнованного существа. Годы прошли, и он сам вдруг обнаружил у себя после одной шумной ночи некие подловатые припухлости под глазами. Белый мысок слегка вторгся в начало пробора. Время. Три года назад она по первой записке, запыхавшись, взбежала бы на четвертый этаж. Сейчас она назначила ему встречу на улице и сама ограничила временем ее длительность.

Полчаса спустя они вехали в тенистый простор уже расцветшего Елагина острова. Вечерней сыростью тянуло от прудов и протоков. Аллейки были пусты. Они пошли вдоль берега пруда к Стрелке. Какие-то первые птицы возлились, еще не освоившись в новых владениях. Розоватые ноздри тонко очерченного носа. Его пленила вдруг созревшая законченность ее лица. То, что было только набросано вначале, получило сейчас новое выражение женской зрелости. Это был второй расцвет ее жизни.

— Я ехал в Ленинград и опять думал прежде всего о встрече с вами.

Песок влажно хрустел под ногами.

— Я тоже рада нашей встрече, Лавровский, — ответила она. — Нам следует договориться о многом. Я связана с вами гораздо крепче, чем вы этого, может быть, хотите. Но это значит также, что я не связана с вами никак. Сейчас мы дойдем до Стрелки. Там я до скажу.

Они прошли еще несколько аллеек и вышли к Стрелке. Серовато и плоско открылся залив. Два каменных льва на балюстраде попирали правой лапой шары. Солнце опускалось к этой Маркизовой луже, и далеко на другом бере-

гу голубовато означился парк Петергофа. Первая желтизна легла на глянec воды. Скоро должна была она зарозоветь. Каменная скамейка была нагрета солнцем. Не было никого в неурочный этот час на Стрелке. Сторож граблями сгребал в стороне прошлогодние листья.

— Ну, что же, досказывайте, — сказал Лавровский.

Он закинул руки за спинку скамьи и стал смотреть на закат. Ирина искала поглядела на похудевшее его лицо, на свежий серый костюм, на непокрытую голову. Снятая шляпа лежала на коленях. Он нравился ей, и поэтому она могла без недоброжелательства сказать сейчас главное.

— Прошло четыре года до нашей последней встречи с вами, — сказала она, наконец. — Вы захотели меня увидеть, и я пришла. Меня все-таки немного взволновала тогда ваша записка. Но почему вы не спросили, как я жила эти четыре года без вас?

— Я не спросил? — Он покачал головой. — Нет, я спрашивал.

— Так спрашивают знакомых. А я была вам близка. Но все равно... я пришла к вам тогда, чтобы проверить себя, и поняла, что ничего не осталось. Осталась я — с собой, и еще остался...

Она вдруг замолчала. Он ждал. Наконец, он повернул голову:

— Говорите.

Какое-то напряжение означилось в этом полураскрывшемся, но не произнесшем рте и в маленьких сжатых руках.

— Вы никогда не думали, что у меня может быть от вас ребенок? — спросила она вдруг.

— У вас... — пробормотал он. — Невозможно.

— Однако, это так. — Теперь она глубоко вздохнула. Глазное было сказано. — Моему сыну три года. Он живет не со мной. Я должна объяснить вам и это.

Он слушал. Рука его свободным движением не была уже закинута за спинку скамьи.

— Мы с вами происходим из одной среды, — сказала она затем. — Круг знакомых у наших отцов был не общий,

но похожий. Нас с вами потянуло друг к другу тоже потому, что мы были близки и по воспитанию, и по оклонностям. Только вот воспитание-то оказалось таким, что пришлось себя перевоспитывать. Мне это, к сожалению, удалось не вполне. Я скрыла от вас, что у меня будет ребенок, потому что гордость мешала мне искать у вас помощи или сочувствия... на это у меня хватило мужества. Но я скрыла это и от отца... и здесь вот мужество у меня нехватало. Я не хотела оказаться перед ним на положении брошенной... какое-то ненужное самолюбие или чувство стыда. Все это, конечно, от ложного понимания жизни, которое было привито нам с детства. Я много за эти четыре года пережила и все-таки пришла теперь к главному... у меня есть сын. Сына я никому не отдам. Он никогда не будет вашим.

— Вы говорите невозможные вещи, — пробормотал он. — Действительно, о такой возможности я ни разу не думал. Но раз это так, это меняет всё...

— Это не меняет ничего, — сказала она. — Это не может иметь никакого влияния на вашу жизнь.

Первый розоватый глянecь побежал по воде. Солнце, как проткнутое копье, трагически изливалоcь. Красное пожараще занималоcь на берегах, и стволы деревьев начинали тлеть.

— Я, конечно, заслужил осуждение, — сказал Лавровский не сразу. — Но я не заслужил жестокости. Чувство, с которым я думал о встрече с вами, говорит о том, что для меня не все кончено. Сейчас особенно.

Он проглядел в этих созревших чештах материнство.

— Не надо, Лавровский. — Ее рука опять коснулась его руки. — Любовь была, и ее нет. Неужели вы не почувствовали в прошлый раз, что ничего не осталось?

Он вспомнил ее неслышные шаги по ковру. Она ушла одна, и он не проводил ее до дому.

— Я хочу, чтобы мой сын ничем не был связан с тем прошлым, с которым мы еще связаны с вами, — добавила она. — Вы это особенно должны понять,

Лавровский. В его пору жизнь будет свободна от того, что мешало нам жить. И ни одной женщине, конечно, не придет тогда в голову мысль, что своего ребенка надо от кого-то скрывать.

— Можно подумать, что у вас не было другого выбора, — сказал он самолюбиво. — Я — не чудовище, Ирина... если я сначала хотел закончить образование...

— Не говорите ничего. — Морщинка свела ее брови. — У меня был другой выбор, Лавровский. Я могла притти к вам и со слезами упрекать вас, что вы меня бросили. Вы — мягкий человек... может быть, вы и изменили бы ваше решение. Какое счастье, что у меня хватило мужества поступить иначе! Я никому и ничем не обязана. Музыка и сын! — сказала она, как бы прислушиваясь к звучанию этих слов. — Я постараюсь, чтобы он стал настоящим человеком, мой сын. — Гидроплан с неуклюжими лапами своих поплавков низко и оглушительно пронесся над ними. — Может быть, летчиком, — добавила она, глядя как стремительно уменьшается он над заливом.

— Вы ставите меня в положение постороннего человека, — сказал он погoдья. — Это ваше право. Но у меня есть мое право сделать выводы для себя.

— У вас нет никаких прав, Лавровский. — Она покачала головой. — И не надо об этом Я рассказала вам все, чтобы не было никакой ложной неполноты в наших отношениях.

И снова, уже над дальним леском, как весенняя болотная птица, показался гидроплан. Он шел прямо в солнце и вдруг весь вспыхнул, засиял, раскалился. Розовая Маркизова лужа и вытянутая, все более прохладная от своих протоков, озер и куп деревьев в акварельном размыве — Стрелка.

— Ну, вот и всё. Час прошел. Теперь мы можем идти.

— Вы полагаете, что я могу примириться со всем эгим, как с должным?

— А как же иначе, Лавровский? — Она поглядела на него. — Выводы могут касаться только вас самого.

Зеленоватая прохлада ложилась уже между берез. Елагин остров погружался в вечер. Соки бродили в стволах деревьев. Мелкая зелень, как птички носики, выклевывалась из их почек. Весенняя вода еще полно стояла в озерах и водоемах. Ирина шла впереди, и милая детская походка уже не принадлежала ему. Подстриженный затылок с маленькой впадинкой. Это было как прощание с юностью. Машина дожидается их на повороте. Улица Красных Зорь прорезает Аптекарский остров. Цифры в окошечке счетчика отсчитывают километры. Еще четверть часа пути. Она просит остановиться на углу.

— Теперь до свиданья, Лавровский, — говорит она и протягивает ему руку.

Рука прохладна от ветра. Дверка машины захлопывается. Он хотел выйти следом, чтобы шофер не стал свиде-

телем этого более сложного, чем обычно, прощания. Но она уже идет по тротуару.

— В «Асторию»! — произносит он и откидывается на спинку сидения.

Но гостиница отвращает его предстоящим одиночеством. Он чувствует реальность утраты, которая казалась ему возвратимой, стоило только этого пожелать. Машина сворачивает на мост через Фонтанку. — Или нет... — говорит он и нетерпеливо листает записную книжку с адресом Абессаломова. — Чернышев переулок.

Ему были нужны собеседник, гостеприимство незнакомого крова, галстучик старого соученика, знавшего эту историю его жизни. Десять минут спустя он отпустил машину и стал подниматься по лестнице сохранившего еще казенную окраску дома.

(Окончание следует)



АЛ. РЕШЕТОВ

Сапоги, начищенные ярко,
Летковейны ленты и платки.
Над лесной опушкой небу жарко,
В хороводе девушки легки.

Пятница нарядна, как невеста,
Даже деды из колхоза «Труд»
Любоваться духовым оркестром
На гулянье медленно идут.

Слава умудренным сединою
Тайновидцам,
Мастерам полей, —
Дедам, не согласным с тишиною,
Дедам, у которых за спиною
Сотни полноценных трудодней.

Слава женихам и их подругам,
Что прекрасны силой молодой.
Слава женщинам и их супругам,
Что с утра до ночи друг за другом
С многотрудной спорили землей.

Слава августу!
Зерном тяжелым,
Как лесные зори, золотым,
Осветил он думы,
Дни и долы,
Осыпая девушкам в подолы
Зрелые, румяные плоды.

Потому и вышли на опушку,
Замкнутые в пестрый хоровод,
Русая веселая пастушка
И, как солнце, рыжий пчеловод.

Недра

Роман

П. НИЗОВОЙ

(Окончание ¹)

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. — У КАЗАЧЬЕЙ ГОРЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

С тель Азии обманчива; после дневного летнего зноя она по ночам иногда дышит осенним холодом.

Сейчас со степи дул сырой, пронизывающий ветер. Тяжелое, набухшее дождем небо опускалось почти к самым остовам будущих зданий, и по нему торопливо бороздили верхушки двух готовых домен и трубы химвкомбината. Огни построек мигали желтыми волчьими глазами.

Андрей Коренев шагал по железнодорожным путям, отыскивая «вагон-редакцию»; вчера его передвинули куда-то на новое место. Коллектив кочующей редакции комсомольской газеты обслуживал участки не только по прямому своему назначению — газетным словом, но и физической силой своей молодежи. Он руководил ликвидацией прорывов, бросая, куда нужно, энергичных юношей и девушек. Он производил контроль над рабочими механизмами, делал налеты на транспорт, уничтожая «пробки», всегда во-время появлялся во всех труднейших местах, полный молодого энтузиазма и энергии.

Теперь у «Комсомолки» в центре внимания был доменный участок.

В тупике, среди платформ с бревнами стоял знакомый вагон с развевающимся флагом и надписью. У входа — приставная лесенка. За маленьким столиком дежурный секретарь, строча заметку, то-и-дело клевал носом. Он обрадовался приходу нового человека.

— Понимаешь, третью ночь не ложусь. Вот подремлю на стуле и опять за работу. Ребят всех бросили на участок. Чорт знает, как вы тут запустили!.. Нет ли у тебя табаку покрепче, чтобы разогнать сон? Голова прямо одурела...

Сбоку, на лавке, лежал технический редактор. Худой, с шершавой черной головой. В соседнем расширенном куле сидел возле керосинки с чайником безусый рабкор в синем комбинезоне и бубнил себе под нос частушки. Он так был занят собой, что не обратил внимания на вошедшего.

— Мы твою статью завтра пускаем. Хотим — подвалом ее, — сказал секретарь, отрываясь от заметки.

— А я захел узнать, когда пойдет. Если набрана, хотел прокорректировать, — ответил Коренев, подсаживаясь и беря приготовленную для верстки, склеенную из гранок газетную полосу.

В редакцию ветром влетела девушка.

¹ См. «Новый мир», кн. кн. 7, 8 и 9 с. г.

— Ты что с такой горячкой, точно тебя жареный гусь клюнул? — недовольно поднял голову секретарь.

— Вот спешная заметка... Обязательно в этом номере нужно поместить.

Коренев обернулся. Возле него стояла раскрасневшаяся от быстрого бега Маня Дроздова.

— Я не знал, что ты литераторствуешь, — улыбнулся он, протягивая ей руку. — Ну, а стихи не сочиняешь?

Девушка в упор посмотрела на него: издается или серьезно спрашивает?

— Стихи я не пишу, — ответила она раздельно и отвернулась.

Вышли вместе; обоим было по пути. Разговаривали об оставшемся в редакции секретаре, талантливом парне, несущем на себе главную тяжесть черновой редакционной работы. Маня вначале отвечала неохотно, но потом настроение изменилось.

— Ему надо обязательно учиться, а его загрузили газетной работой. У нас это часто бывает: какой-нибудь тупице всячески помогают, дают возможность получить настоящие знания, а способного человека рвут на части; опомниться некогда.

Маня говорила убежденно и с горечью, как будто сама была страдательным лицом.

— А у тебя как дело с учебой? — спросил Коренев.

— Ну-у! Обо мне что говорить!.. Я — на последнем плане. Если захочу, то своего добьюсь. — Она помолчала. — Я жила в селе у папеньки с маменькой... А потом взяла да и заявила: «Завтра еду в Москву, хочу на завод...» Ну, и уехала...

— А родители как?

— Что родители? Насильно они меня к дому не привяжут.

— Да. Решительная ты. С волей. Это хорошо, — похвалил Коренев. — А кто у тебя отец — рабочий или служащий?

Маня неожиданно засмеялась сухим, неприятным смехом.

— Зачем тебе это знать? Если я скажу, что мой отец бывший жандарм или тюремный надзиратель, или служитель культа, так ты, пожалуй, и разговаривать со мной не станешь.

Коренев взглянул на нее с удивлением. Она шла сбоку, немного впереди, знакомым ему легким шагом, такая же стройная и привлекательная, как всегда такая же близкая, своя... Только тон голоса незнакомый. «Неужели в самом деле — дочь жандарма или тюремщика?»

Он, пожав плечами, ответил:

— Что за чепуху ты говоришь. Я знаю лично тебя, вижу твою повседневную работу. А до остального мне нет дела.

Сказав это, он тут же смутился, уличив себя в неискренности.

Дроздова снова рассмеялась:

— Я просто это так... пошутила. Отец у меня маленький почтовый чиновник. Дома — мещанская среда... Я и не вытерпела. Захотелось другой жизни...

Они подошли к котловану бессемеровского цеха. В нем работал экскаватор «Марион», два дня назад переведенный для пробы на хозрасчет. Около него находились двое журналистов, один от комсомольской газеты, другой от столичной. Проверяли и записывали его работу. Тут же, в железнодорожном тупике, трое рабкоров, сотрудников «Комсомолки», вместе с грузчиками разгружали платформы от палубного теса. Работали в общественном порядке в часы своего отдыха.

Внезапно половина участка погрузилась в потемки. Маня сорвалась с места и помчалась к постройкам.

— Ты куда? — крикнул ей в след удивленный Андрей и подумал опять: «Неужели она дочь какого-нибудь?.. Непохоже...»

— В будку! Перегорел провод! — крикнула девушка на ходу и скрылась за пустыми платформами...

Тесное помещение конторки доменного цеха живет горячей жизнью. Двое сидят за исчерченным, в чернильных кляксах столом с двумя поминутно трещащими телефонами, третий, в стороне, на откидной доске, сосредоточенно сочиняет колонки цифр, пытаясь ни на кого не обращать внимания. Люди приходят и уходят: инженеры, техники, бригадиры. Говорят отрывисто, немного-

словно: Лица серьезные, озабоченные. Единственная, прокопченная и затянутая паутиной лампочка кладет матовые блики на небритые лица, на грязные руки, на серую в цементе и рыжую в железной ржави спецодежду.

— Товарищ Коренев! На складе у вас непорядки, приходится стоять чуть не по часу... Надо принять меры...

— ... Товарищ! У нас с техникой безопасности ни к чорту не годится!..

— ... Андрей! Надо сегодня обязательно сделать заседание ячейки! Слышишь? Экстренные дела!..

Коренев привычным движением, не глядя, кладет руку на телефонную трубку:

— Дайте материальный склад!.. Вавилова позовите!.. — Голос сухо-деловит и лаконичен. Вопросы и ответы точные, без повторений: дорога каждая минута. — Прошу соединить управление! Пожалуйста, инспектора безопасности! Говорит пятый участок!..

Принцип нового секретаря ячейки Андрея Коренева — ничего не откладывать, делать сейчас же, сию же минуту...

В степи, за площадкой строительства, край неба начинает чуть-чуть светлеть, ночь медленно уходит к западу. На стройках попрежнему еще сверкают электрические луны, заливая окрестность ровным, спокойным светом. Попрежнему грохочут и лязгают машины, но в конторке стало уже тише, и энергия работающих в ней трех человек поистинилась.

В дверях показалось возбужденное лицо девушки-башкирки с комсомольской домны.

— Дайте скорей по телефону больницу!

— Что такое? Зачем? — Голос секретаря ячейки утомлен.

— Митрейкина... Плохо ей. В больницу...

— Как? Митрейкина? — сразу тревожится Коренев. — Что с ней?

— Н...не знаю... Чтобы сейчас же машину прислали!.. У ней, должно быть... Ей время родить...

— Ах, вот что!.. — Торопливый телефонный разговор с больницей...

Коренев положил трубку и думает: «Странно. Неужели родит?.. У Елены Андреевны будет ребенок... Мальчик или девочка? Пожалуй, для нее лучше, если будет девочка...»

Спустя полчаса у каупера он находит Бобкову, занятую рассматриванием чертежа. Девушка-инженер удивлена его неожиданным появлением.

— Ты что? Зачем сюда? — спрашивает она.

— Тебя разыскиваю. Ты видела Елену Андреевну? Говорят, ей плохо, в больницу надо. Я вызывал по телефону...

— Она уже отправлена, — перебивает спокойно девушка. — Доктор сказал, что к полдню можно навестись. Если все пройдет благополучно, то можно будет поздравить ее... Ты еще долго будешь работать? Я уже кончила. Иду домой.

Коренев посмотрел на часы.

— С час еще побуду... Идем, я немного провожу тебя.

Они вышли с участка. За рекой, над степью занималась заря, отражаясь в воде бледнорозовой полоской. Дым над ближним барачным поселком поднимался прямыми тонкими струйками. Появлялась и вновь таяла одинокая труба временной электростанции.

— Я на будущей неделе получаю новую комнату, большую и светлую, — довольно сообщил Коренев, неожиданно вспомнив.

— Где? — заинтересовалась девушка.

— На Старой площади... Можно получить две — спрашивали: холостой я или женатый? Хотел соврать, да как-то неловко было, — засмеялся он конфузливо.

Взгляды их на мгновение встретились и, поняв друг друга, смутились. Обоим без слов стало все ясно.

— Зачем мне одному две комнаты? — повторил со значением Коренев. — Я обойдусь и одной. Верно? — Он вопросительно посмотрел на нее, улыбаясь.

— А двоим две дадут? — застенчиво спросила девушка, не поднимая глаз.

— Конечно, дадут две.

— Ну, что ж, давай вместе... — Нина Алексеевна вдруг весело рассмеялась и протянула ему обе руки. — Вот тебе две!..

Корнев внезапно дернулся всем телом — вышло это смешно — и загоготал счастливо и глупо.

— А и здорово же у нас вышло!.. — В глазах его светилась бесконечная теплота и ласка. — А у Елены Андреевны, я думаю, будет мальчик. Ей хочется девочку, а будет мальчик, — сказал он, не зная, к чему, убежденным, авторитетным тоном.

Но это не дошло до девушки. Она молча взяла его под руку и, сдерживая его порывистый шаг, устало пошла рядом.

Идя с ней мимо черного пустующего котлована, не зная, куда, Корнев подумал на секунду: «Как же это я... с работы убегаю?» Но мелькнувшая рассудочная мысль сейчас же растворилась в нахлынувшем чувстве безмерного счастья...

II

Сегодня Андрей Корнев, работавший перед этим ночную смену, открыл глаза, по привычке потянулся, скрипнув кроватью, и взгляд его неожиданно уперся в висевшее возле постели женское платье. Он быстро поднял голову: что случилось? Почему оно здесь висит? И тут же снова опустил голову на подушку, удовлетворенно усмехнувшись.

Все эти несколько дней не находилось времени оглянуться на себя. За работой мысли были заняты делом, а когда приходил домой, наваливалась гора всяких необычных и мало приятных хозяйственных забот. Зачем все это? Разве нельзя обойтись без них? Крепко еще сидит человек в тине всяких житейских мелочей...

Итак, значит, он женат самым настоящим образом, с соблюдением всех требуемых правил. Как же все это произошло? Корнев рассмеялся счастливым, молодым смехом и, отвечая самому себе, громко произнес:

— А так, просто. Взял да и женился... Ха! Забавно!.. Когда же явится с работы моя супружница? — Он еще раз

повторил, вслушиваясь в произносимое слово: — Супружница...

Будильник на столе показывал пять часов. Яркое светило солнце; на улице разливался чей-то звонкий, бесшабашный голос. Настроение было самое великолепное. Он быстро вскочил и, все еще улыбаясь, стал одеваться.

Две комнаты казались необычайно большим помещением. В них стояли две кровати, два стола, маленький комодик и четыре стула. Все это свезено из двух квартир.

«Значит, образовалась новая семейная ячейка. Созданы предпосылки для... И так далее... Любопытно!» — Он опять самодовольно усмехнулся и принялся умываться над стоявшим в углу новым эмалированным тазом, купленным позавчера в распределителе.

За последние три дня понакуплено много такого, о чем он раньше и не помышлял. Например, оконные занавески, вот этот самый таз, несколько тарелок и чашек, на случай прихода гостей, и порядочно кое-чего другого. У него вчера даже испуганно мелькнуло: «Обрастание вещами есть первый признак мещанства. Чорт знает, куда можно скатиться!»

Но ему тут же стало смешно за свой испуг:

«Подумаешь, какие вещи: занавески, таз, пара лишних тарелок!..»

В тот же день он высказал жене новое свое пожелание, когда они вечером сидели за чаем:

— Знаешь, Ниночка, чего нам для наших комнат нехватает?

— Ну, чего? Дивана и буфета? — спросила Нина Алексеевна.

— Нет... Правда, это тоже желательно. Но я думал сейчас о другом. Хорошо бы повесить парочку приличных картин и поставить книжный шкаф. Знаешь, есть шведско-американские... Вот к этой стене. А то книги у нас валяются беспорядочными. Кроме того, это очень украсило бы и комнату.

— Твои желания идут дальше моих... — засмеялась жена. — Что ж, может быть, когда-нибудь и приобретем. Она стала вдруг серьезной: — Нам покупать теперь нужно только самое необходи-

мое — финансы у нас, знаешь, подгуляли...

Сейчас, приведя себя в порядок после сна, Корнев поставил на примус чайник и взялся за газету. До его смены оставалось еще целых четыре часа.

Читать не хотелось. Он начал ходить из угла в угол, слегка огибая стол, и задумчиво насвистывать недавно слышанный мотив. Скоро придет жена, они будут пить чай, делиться впечатлениями дня и вслух раздумывать о будущем. Это будущее теперь рисовалось ему совершенно по-иному. Новые перспективы, новые задачи. Вообще, жизнь очень неплохая штука...

В дверях раздался осторожный стук, и вслед за ним в распахнутой половине появилось знакомое, немного смущенное лицо.

— Степан Гаврилович! — воскликнул обрадованно Корнев. — Честное слово, в эту минуту я только-что подумал о вас. Хорошо бы, думаю, увидеть его и поговорить. Соскучился... А вы как-раз и стучите. Вот, любопытное совпадение!

— Предчувствие, — сказал серьезно Дородный, снимая пенсне и устремляя на хозяина ласково-добродушный взгляд. — Многие не верят в него, а я верю и не сомневаюсь. Наука завтра же докажет, что в этом нет ничего сверхъестественного. Колебание электромагнитных волн определенной частоты, и больше ничего... Ну, как, дорогой молодой, себя чувствуете в новом положении? Не надоело еще?

— Что-о? — испугался Андрей.

— А вот это новое ваше состояние? Ведь вы, можно сказать, из одного измерения перескочили в другое. Это не шутка. Не простая перемена декорации, а подчас коренная ломка многолетних привычек, вкусов, даже взглядов. Основательная психологическая пертурбация.

— Ну, я только еще вхожу во вкус. Оказывается, многое очень занято, я даже и не подозревал этого, — засмеялся Корнев. — Теперь я убежден, что каждому мужчине полезно для роста его личности хоть один раз быть женатым, хотя на один месяц... Не правда ли? — пошутил он.

— Этого недостаточно. Надо еще, чтобы жена несколько раз ему изменила, чтобы от ревности он вырвал не один клочок волос из своей головы и в таком своем состоянии сделал не одну глупость. Вот это тогда принесет ему пользу, по-настоящему умудрит, — на шутку ответил шуткой Степан Гаврилович.

Вместе с Ниной Алексеевной пришел десятник горного участка Колотухин. Год с небольшим назад он поднялся на Безрудную гору простым малограмотным крестьянским парнем. После нескольких дней погрузки камня в котловане горы ему дали невиданный им раньше инструмент — пневматический бур-перфоратор — и сделали бригадиром, начальником артели в одиннадцать человек. Спустя месяц Колотухин уже уверенно сверлил гранитный массив для закладки динамитных патронов и шел впереди многих других опытных буряльщиков. А теперь он кончает технические курсы, знает отлично политграмоту и умело выступает на рабочих собраниях с деловыми речами.

— Приехал я сюда глупым щенком. Не знал ни бэ, ни мэ, ни кукуреку. Боялся людей... Ну, а теперь ничего... Сейчас вот веду войну с математикой. Думаю, осилю. — Колотухин расцветил свое скуластое лицо довольной улыбкой.

— А, помимо всего этого, он еще шефствует над одним молодым пареньком-татаринном, хочет его по-настоящему вывести в люди, — добавил Корнев.

— Мы живем с ним вместе, — начал пояснять Колотухин. — Мальчишка он способный, только очень застенчивый и плохо говорит по-русски, ну, и всего боится... Вот я и взялся за него... Знающие люди тянут кверху меня, а я за собой волоку его. Вот так оба и поднимаемся с четверенок на ноги... Да разве только мы одни так-то? На одной нашей горе десятки таких найдутся. А на всем строительстве их надо тысячами считать... Растут людишки, растут!.. — заключил он весело.

Нина Алексеевна радушно угощала гостей откуда-то появившимся у нее печеньем и мятными пряниками. Оказались к случаю и конфеты, только се-

годня выданные в кооперативе по очередным талонам. Вид у нее был совсем праздничный, лицо светилось избытком счастья.

Дородный, смотря на молодых хозяев, думал: «Хорошо, что они поженились. Отличная пара. Вот таким и принадлежит будущее. А у меня вся жизнь кувырком...»

Возвращался он домой поздним вечером, чувствуя себя особенно одиноким.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Инженер Голич, среднерослый, большоголовый, с ногами хорошего мустанга, спозаранок шагает по своему участку, гудя пугающим трубным голосом. Крепкая, обветренная кожа на лице и на руках у него, как у индуса, оливкового цвета, с первых весенних дней приобретает прочный защитный цвет. Обычно он приезжает на гору в шесть-семь часов утра и находится на ней до девяти, а иногда и дольше. Нужно пройти по всем выемкам и террасам, остановиться у каждого забоя, привычно потрогать тяжелую магнитную руду, поблескивающую серебристым изломом, поговорить с горняками. А работа откатчиков? Пока не наладится электрическая автоматизированная откатка, до тех пор эти работы много будут отнимать у него времени, накладывая забот, доставлять всяческих неприятностей.

Кроме этого, есть закладка шурфов, проходка пробной шахты, укладка путей, работа по вскрыше руды. Есть также у него большое энергетическое хозяйство с десятками всевозможных строящихся и добывающих механизмов. Есть сложный административно-технический аппарат.

А помимо всего этого, — на нем уйма ответственности за все вместе взятое, за большое и малое, за каждый день и час, за каждого рабочего и специалиста, их у него — две тысячи человек. Горнорудный участок является ведущим. Не будь его, не нужен был бы и весь строящийся гигант-завод. Эти заботы и думы не одну новую морщинку провели

по широкому лбу тридцатидвухлетнего инженера-горняка Голича.

— Ребята-а! Не туда! Не туда!.. Поворачивай на вторую! — кричит Голич рабочим, катящим вручную вагонетки с поверхностной валуной рудой. — Мелкую надо в одно место, туда. Чего там Сидоров глядит? Не знает, какую куда отгружать? Что у него, вместо мозгов — телячий студень?..

Начальник участка торопливо повертывает на правый склон, четким шагом выстукивая по шпалам. Острым, всевидящим, хозяйский глаз шныряет по сторонам, ища, за что бы зацепиться. Изредка отмечает в записной книжке то, что вызывает сомнение, что надо проверить в другой раз или над чем подумать за столом, с карандашом в руках. Записывает короткими строчками, иногда просто знаками, вроде иероглифов: память потом разберется. Эти знаки Голичу нередко видятся во сне. Выскочит такой иероглиф, увеличенный в сто тысяч раз, и стоит перед ним, скалит зубы: «Разгадай меня, что я собой представляю?» За первым появляется другой, третий... Голич силится вспомнить и не может. Просыпается с холодным потом на лбу и тянется к графину с водой...

Снизу, по каменистой крутой тропинке, почти напрямик, поднимается высокий, худой человек в белой русской рубахе и полотняной шляпе. Голич бросает на него беглый ощупывающий взгляд и тут же кричит уже в другую сторону, как будто в пустое пространство:

— Эй! Как вас?.. Если придет сюда техник, пошлите его ко мне, к шахте!

Голос невидимого человека из каменной щели откликается:

— Хорошо! Пошлем!.. Только он ушел в контору, сюда, наверно, не придет!

Голич поворачивает голову к приближающемуся худому человеку в белой рубахе.

— Вот это великолепно! Как вы надумали? Разве свободны сегодня?

— Видите, ухитрился, — смеется тот. — До самого вечера свободен. Так уж удачно у меня сложилось. Сразу три

вахты без отдыха отмахнул. Почти полторы суток... Теперь отдыхаю. Ловко?

— Хорошо, — одобряет Голич. — А мне вот хоть пятеро суток дежурь, а для себя двух часов не выкроишь. Без тебя такое могут настрять, что потом и не разберешься... Боюсь...

Горняк Голич и худой, высокий человек, инженер Дородный, идут по участку. Они познакомились вскоре по приезде Дородного на строительство, но сошлись ближе недели две назад на одном из общественных вечеров, где оба выступали с докладами. Друг на друга произвели хорошее впечатление и решили встретиться при первой же возможности. Дородному нравились в Голиче его деловая зоркость, которой он улавливал с беглого взгляда сущность каждого дела, особенная уверенность в себе, своих знаниях и силе, помогавшие ему ориентироваться в любой сложной обстановке. Чувствовалось, что он является полным хозяином всего, что вокруг него делается. А главное, он любил самое дело. Любил не с юношескою азартностью, но спокойной, зрелой любовью. Это последнее особенно и сблизило с ним Дородного. В этом у них много было общего.

— Вы знаете, Степан Гаврилович, — говорил он Дородному. — Когда я был мальчишкой, то любил уходить в горы. Горы у нас были маленькие, сплошь заросшие кустарником. Так вот, ляжешь где-нибудь на полянке и мечтаешь. Чудилось мне, что в недрах гор живут духи, их хозяева. Сколько раз хотелось подслушать их разговор. Наверно, думал я, они друг перед другом хвастаются своими богатствами. Один владеет железом и медью, другой мрамором и хрусталем, третий — драгоценными металлами. Я брал с собой старый зазубренный топор и ржавое отцовское зубило и рубил им каменные породы, которые чем-либо обращали на себя мое внимание. Я был уверен, что натолкнусь на золото или серебро, и в крайнем случае медь-то уж обязательно найду. Железо меня в то время совсем не интересовало: слишком дешевый металл... — Голич рассмеялся и заключил: — А теперь, видите, воююсь исключитель-

но с железом и о серебре с золотом не мечтаю. Требования стали куда скромнее.

Инженеры поднялись на верхнюю террасу, сели отдохнуть возле гигантских валунов магнитного железняка. Хаос звуков сплосадки строительства доносился сюда только изредка, волнами; вокруг царил первобытная тишина, согласная с величавой картиной окружающего, вместившего в себя небо, безграничную степь и могучий хребет горного массива, протянувшегося на тысячи километров.

Голич хотел что-то сказать, но неожиданно сорвался с места, в отчаянии махнув рукой.

— Вы что? — испуганно спросил Дородный.

— А вон, видите? Никому до этого дела нет. А люди работали... А потом будут доискиваться, что и как?.. — Он быстро пошагал к середине террасы.

Дородный, сколько ни смотрел туда, ничего не мог заметить, что могло бы внушать какое-либо беспокойство. Просто стоял один, покосившийся, может быть, сломанный геологический знак — отметка исследовательских бурений. Степан Гаврилович стал рассматривать валуны, нагроможденные друг на друга огромным холмом. На ржавых с красными пятнами боках у них виднелись трещины и кой-где царапины — следы космических бурь и неведомых крушений. Миллионы столетий прошли мимо этих каменных глыб, отложившие на них свое дыхание. Может быть, эти царапины и покрытые ржавью язвы являются следами ледяных сдвигов эпохи оледенения и работы волн исчезнувшего океана, некогда покрывавшего половину Европы и Азии.

Дородный долго сидел в одиночестве, раздумывая над судьбами планеты и населяющих ее народов. Эти рыжие гигантские валуны говорили и о другом: о том, что в самом ближайшем будущем к ним прикоснется рука человека, вооруженного пневматическим сверлом, и они, пролежавшие здесь в неприкосновенности миллионы столетий, взорвутся на куски. Эти куски будут перемолоты, переплавлены и выброшены в виде готовых стальных изделий на

потребу человека, на строительство новой жизни. Всепобеждающий человеческий гений на своем пути не видит преград.

Всплыла в памяти виденная им однажды, невысокая, но упругая и внутренне стремительная фигура человека, волею которого опрокинуты, казалось, незыблемые устои человеческих отношений, и возникло новое представление об обществе. И тут же встала другая монументальная фигура. Этому человеку обязаны своим появлением здесь, у Казачьей горы, почти сто тысяч человек, как обязаны тысячи других строителей Союза, в корне меняющих не только лицо страны, но и ее сущность, самый смысл ее бытия.

Фигуры Ленина и Сталина отсюда, с вершины степной горы, казались инженеру Дородному особенно величественны и неповторимы. Он припомнил десятки могучих гениев, властно прошедших по мировой истории, и не мог ни на ком из них остановиться, чтобы привести в сравнение. Два его современника, такие близкие во времени и такие осязаемые, стояли немислимыми гигантами, перешагнувшими все эпохи. Их мыслью, их делами полон весь мир. Их нет такого народа, который бы не повторял их имена...

— Любуетесь панорамой стройки? Не правда ли — замечательна? В особенности на фоне степного азиатского ландшафта. — Перед Дородным стоял улыбающийся Голич. — А я задержался с метеорологом. Здесь, на горе, изучают преобладающее движение ветров. Это требуется для соцгорода, чтобы не построить его под заводским дымом... Ну, что ж, пойдете книзу.

Дородный, еще не совсем освободившийся от своих мыслей, молча последовал за начальником участка.

II

На средней площадке, возле бурового станка, стоял в задумчивой позе худой, длинный инженер-консультант Оберман. Увидав Голича, он шагнул к нему, изображая на лице почтительное приветствие.

Голич порывисто, с радушием протянул руку.

— Очень рад! Сразу двое удружили!. Я давно хотел вас повидать. Говорят, вы скоро уезжаете?

— Хм. Говорят... Если говорят, значит, верно. — Оберман с таким же почтительным достоинством пожал руку Дородному, подкрепив ее своей обычной медленной, тяжелой улыбкой. — Я уже третий месяц собираюсь уехать отсюда и все никак не соберусь, — снова обернувшись он к начальнику участка. — Повидимому, уже начинаю пускать корни. Почва оказалась подходящей.

— Герман Васильевич! Ну, разве у нас плохо? — воскликнул Голич. — Ну, честное же слово, у нас замечательно. Поработать на таком строительстве, это всю жизнь будешь помнить. Да не какое-нибудь там буржуазное строительство, а социалистическое, и к тому же еще одно из первых и самых замечательных. Даже ваши потомки будут гордиться: наш, мол, дед там участвовал... Ну, разве это не великолепно?..

При слове «потомки» Оберман медленно вытянулся. Сухое лицо его стало сразу строгим.

— Никаких потомков у меня нет, — выговорил он чеканно и отвернулся.

— Ваше имя наряду с другими будет записано в истории строителей «Пятилетки», — добавил с пафосом Голич, не обратив внимания на замечание Обермана.

Тот, помолчав немного, продолжал:

— Строительство ваше замечательно, это верно. И ваши методы работы тоже интересны. Я уже не один раз говорил вам об этом. Но, несмотря на это, я все-таки уезжаю и сегодня хожу здесь последний раз.

Немец замолчал. На лицо набежала тень печали и сейчас же смылась нарочитой сухостью. Он показал на группу рабочих, устанавливающих железнодорожную электрическую проводку:

— Когда пустите электричку?

Голич безнадежно махнул рукой:

— Измучила она меня. По ночам стала сниться... То одного нехватает, то

другого... Раньше осени едва ли удастся. Зато, когда пустим, дело у нас закипит...

Голиц загорелся и с воодушевлением стал доказывать, что тогда рудник будет перевыполнять намеченную программу, что не будет тогда никаких прорывов, что все неудачи сейчас происходят от отсутствия электрифицированного транспорта...

Оберман с Дородным спускаются вдвоем, потеряв по пути начальника участка. Степан Гаврилович напоминает о первой их встрече в театре, много лет назад:

— С вами тогда была молодая женщина. Шел, кажется, «Севильский циркульник». Не помните?

Оберман, нахмурив густые брови, пытается выжать из памяти уплывший образ.

— На ней было голубое шелковое платье с треном. Оно очень шло к ее золотистым, почти соломенным волосам, — рисует Степан Гаврилович, ярко видя перед собой прекрасный образ когда-то любимой женщины.

— Соломенные волосы! — сразу оживляется немец. — А как ее звали, не помните?

— Ну, как же не помнить? Ее имя было Анна Павловна.

— Та-ак... — протягивает задумчиво Оберман. — Значит, это вы к нам подкочили... О вас она много тогда говорила. Вы, повидимому, ей очень нравились. — Взгляд Обермана устремлен в прошлое, лицо озарено внутренним, приятным светом. Он теплым, почти дружеским тоном продолжает: — Нам с вами тогда так и не удалось ничего друг другу сказать... Она мне много говорила о вас. Безусловно, вы ей очень нравились... Она умерла от туберкулеза...

— Умерла? А я совсем этого не знал. — Степан Гаврилович выражает на лице неподдельную скорбь. — Анна Павловна внезапно исчезла с моего горизонта, и я не знал, куда...

— Умерла, два года спустя, на юге Франции. — Оберман повертывает свое тяжело-каменное лицо к Дородному и смотрит на него пустым взглядом. —

Она была моей женой... Умерла у меня на руках...

Дородный широко раскрывает глаза в недоумении и каком-то страхе.

— Мы жили с нею около двух лет... Она часто говорила о вас... — еще раз напоминает немец.

Степан Гаврилович подавляет.

Инженеры едут на территорию «Американского городка». Женщина, умершая почти двадцать пять лет назад, сблизила их. Дородный все еще не может освоиться с мыслью, что сидящий рядом с ним в казачьей бричке немец Оберман был мужем той великолепной женщины, Анны Павловны, Ани, которая могла быть и его женой. У него, Дородного, больше прав было на нее, чем у немца.

Бричка останавливается в березовой роще. В мозгу Степана Гавриловича туманно проносится: «В голой степи, где не встретишь ни одного деревца, и вдруг эта превосходная березовая роща... Через полгода ее срубят. Через полгода здесь будет торчать какой-нибудь десяток чахлых деревьев...»

Подчиняясь воле угрюмого немца Обермана, русский инженер идет с ним в столовую для иностранных специалистов...

Обеденный час прошел. В столовой не больше десятка человек, запоздавших, или, может быть, из тех, рабочий день у которых закончен и им некуда торопиться. Они пьют пиво и виноградное вино. Слышится смешанная иностранная речь.

На мгновение у Дородного вспыхивает чувство обиды:

«Почему им такое преимущество? Они могут распивать вино, курить отличные папиросы, сидеть за столами, покрытыми накрахмаленными скатертями, а мы, русские специалисты, не можем. Почему им, гостям, все первосортное и в большом выборе, а нам, хозяевам, остатки, кое-что? Разве мы меньше их работаем? Разве у нас меньше ответственности?»

Оберман, точно уловивший его мысль, говорит, отодвигая недоеденный бифштекс и берясь за кружку пива:

— Я иногда чувствую себя очень неловко перед русскими коллегами: ем

лучше их, могу купить то, что им недоступно, живу в лучших, чем у них, условиях и прочее, и это на одном и том же строительстве, на одной и той же работе. Но, когда начинаю думать, что я строю для них, а не для себя, что это новое, которое сейчас создается, которое перевертывает всю жизнь, будет принадлежать только им одним, то начинаю завидовать и уже не возмущаюсь кажущейся несправедливостью. Это — долг гостеприимства. Это говорит только о большом такте хозяев: сами, дескать, мы можем и после по-настоящему поесть, а в первую очередь лучшее подать гостям...

— Да, да, это справедливо. Иначе и не может быть, — соглашается Степан Гаврилович и берет из протянутого Оберманом портсигара тонкую ароматную сигаретку... Давно он таких не курил...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Герман Васильевич целое утро писал письма своим многочисленным русским друзьям, разбросанным по разным городам Союза. Он сообщал, что в ближайšie дни уезжает на родину: стосковался по ней, волнует она его и зовет к себе. Писал, что тот величайший в мировой истории эксперимент коренного переустройства жизни, который делают большевики, приводит его в восхищение. Если удастся только частично, то все равно, это такая победа, которая тысячелетия будет волновать человечество и изучаться во всех деталях. Писал, что русские поражают его своими исключительными способностями и малой культурностью. И что гигант «Пятилетка» растет и, несмотря ни на что, будет окончен, повидимому, в срок...

Сдав на почте письма, Оберман слегка покачивающейся, усталой походкой направился на площадку строительства. Шел по знакомой тропинке, пересекая улицы, шоссе и дороги и подездные пути, все еще продолжая находиться в кругу взволновавших его мыслей.

Вдруг он на полшаге остановился от неожиданно всплывших выводов, офор-

мившихся в подсознании помимо его воли:

«Инженер Шеин, несомненно, является сознательным вредителем. Почему же он, Оберман, молчит об этом? Значит, покровительствует ему? Да, он, уязвленный в своем мелочном самолюбии, недавно мысленно расписался в солидарности с ним. Разве это достойно честного работника и человека, которому когда-то близки были идеи социализма? Правда, в их осуществление он не совсем берит. Но если... если социализм осуществится и явится благом для человечества, то в этом улье будет и его капля меда...»

Герман Васильевич продолжает думать:

«Если бы не было революции, то он, Оберман, являлся бы и до сего времени владельцем завода. Возможно, и семья была бы цела. И жил бы он вполне обеспеченный, ни в чем не нуждаясь. А теперь — нет завода, нет семьи, и сам он зависит от десятка начальствующих лиц, с которыми приходится всячески ладить...»

Герман Васильевич чувствует, как в нем постепенно начинает кипеть раздражение, но он, произведя усилие, подавляет его, набирает полную грудь воздуха и делает глубокий выдох.

«Конечно, консультант Оберман будет работать до конца честно, с сознанием высокой ответственности. В полной мере оправдывает оказанное ему доверие...»

На пути к дробильной Оберман встречает техника Колотухина.

— Здравствуйте, Герман Васильевич! — весело приветствует его бывший рабочий.

— Здравствуйте!.. Вы где были сейчас?

— Наверху, в промывной... Работа там кипит. Значит, скоро фабрика наша, Герман Васильевич, загромыхает?

— Да. Вероятно, скоро, — бунчит в ответ немец, шагая тяжелым, утомленным шагом. Вдруг он останавливается и смотрит на Колотухина в упор:

— Вы ведь уже второй год работаете здесь?

— Да, в марте приехал сюда, прямо из своей деревни... Федоскино назы-

вається... Когда-то помещику Федоскину принадлежала, а теперь — вся деревня в колхозе.

— Так, — как будто соглашается немецкий инженер. — Вы сначала работали на откатке камня?

— Да.

— А потом стали на пневматик?

— Эге! Дырки вертеть начал.

— А вслед за этим принялись за ученье?

Колотухин поднял на немца серьезный взгляд, не понимая, к чему ведет этот разговор, и серьезно ответил:

— Потом начал учиться и теперь учусь, хочу больше знать.

— Это очень хорошо. Очень хорошо... — Оберман подумал немного и задумчиво еще раз подтвердил: — Очень хорошо. Из чернорабочего стали техником, приобрели солидную специальность... Ну, что ж. Продолжайте учиться. Всяких вам успехов. Всяких благ. — Он неожиданно протянул удивленному технику руку. — Люблю, когда люди сами пробивают себе дорогу...

Безрудная гора приняла теперь тот облик, который ей надлежало иметь: каменные отвалы, возвышающиеся недавно у котлованов, были уже развезены по многочисленным заводским шоссе и утрамбованы. Исчезли кучи строительного материала. С поверхности горы люди углубились в ее недра, сооружали подземные помещения дробильной и промывной фабрик, устанавливали и монтировали американские машины.

Оберман знал, что с этими машинами произошла любопытная и поучительная история. Американские инженеры предполагали, что для подъема на гору и спуска в гранитный сорокаметровый котлован стотонных рудодробильных машин на строительстве имеются специальные приспособления, в виде мощных кранов и соответствующих площадок. Но на горе ничего этого не имелось, и доставить сюда подобный кран было делом не менее трудным, чем поднимать сами дробилки.

Американцы категорически отказались от установки. Тогда за это взялись молодые русские инженеры. С при-

митивными приспособлениями, состоящими из обыкновенных лебедок, канатов и дерева, они втащили машины на гору, а потом, к великому удивлению иностранцев, опустили их на приготовленные места.

Теперь один из этих инженеров, маленький, узкогрудый, с лицом наивного крестьянского парня, стоял у входа в штольню и разговаривал с Шейным. Оберман хотел пройти мимо них, не задерживаясь, но Шейн остановил его вопросом:

— Герман Васильевич! Вы наверху были? Там сегодня приступили к работе по выемке...

— Был и видел, — прервал его консультант. — Все в порядке.

Он обернулся к узкогрудому инженеру. Лицо приняло выражение теплоты и благосклонности старшего к младшему.

— Я удивлялся вашей дерзости и тонкости расчета. Это просто замечательно. Не додумаетесь. Утерли нос американцам. — Оберман искренно выражал свое восхищение, не обращая внимания на стоящего рядом Шейна.

— Ну, чего тут замечательного? — скромно ответил молодой инженер. — Подняли и поставили. Хитрость не велика. Ведь если американцы отказались, то надо как-нибудь делать. Смелость, говорят, города берет...

— Да, замечательно, замечательно! — Этой похвалой Оберман хотел подчеркнуть разницу своего отношения к нему и Шейну.

Уходя, он подумал: «Вот, такой шуплый, а герой. И сам этого не знает. Странные люди...»

Инженер-консультант Оберман ходит по участку, мысленно подытоживая ту работу, которую провел за время своего пребывания. Результаты его участия в строительстве значительны. Он дал все, что мог. Работал безупречно, честно, нередко с увлечением...

«А честно ли то, что он прикрывал своим авторитетом промахи отдельных специалистов? Например, работу Шейна, хорошо зная, что она часто граничила с подлинным вредительством?» — Оберман останавливается и, смотря внутрь

себя, отвечает, что отвечал уже не раз: «Я не начальник. Я только консультирую, только даю советы, которые могут не исполняться, и они не всегда исполняются...»

Настроение недавней приподнятости снова куда-то проваливается. Опять над сердцем и над сознанием поднимается тяжесть.

«Скорее бы все бросить, покончить со всеми делами и сесть в вагон...»

Оберман неторопливым шагом обходит по знакомым тропинкам знакомые объекты своего участка. Завтра еще один день — и все будет окончено. Можно будет сказать: «До свиданья. До более счастливого времени».

Он разговаривает с рабочими и рабочими, пробует шутить, улыбаться, но выходит тяжело и неестественно. Внутри, вызывая болезненное раздражение, глубоко сидит заноза.

«Надо вырвать ее...»

Но...

Обязательно, во что бы то ни стало!..»

Герман Васильевич в конторе участка долго беседует с Кутасовым. Говорят о делах, связанных с их участком, потом о строительстве вообще и переходят на политику. Кутасов доказывает, как всегда, горячо и страстно, будто все это касается лично его, а консультант тоже, как всегда, вяло и холодно. И, не сказав того, зачем пришел, Оберман удаляется из участковой конторы опять с той же тяжестью и противной мутой на сердце.

Снова он ходит по горе, уже бесцельно, заглядывая в те места, где менее всего можно встретить технический персонал, — не хочется с ним видаться и разговаривать. Слоняется удрученной тенью, хмурый и нелюдимый. Все одна и та же мысль мучит и грызет мозг...

Вечером Герман Васильевич сидит одинокий у себя в квартире. В двух комнатах пусто и уныло. На столе стоит ополовиненная бутылка пива и пустой стакан. Тяжело. Смертельно тяжело. Он заводит патефон. Начинает фальшиво, с деланным усилием подпевать в такт знакомой музыке любимого марша:

Буденный — наш братишка,
С нами весь народ.
Приказ: «Голов не вешать
И глядеть вперед».
И с нами Ворошилов,
Первый красивый офицер.
Мы все умрем за...

Он сразу смолкает и отходит к окну, пристально глядит в серую пустоту. Музыка окончена, и пластинка с неприятным шипеньем вертится впустую, но Герман Васильевич не замечает этого: мысль сосредоточена все на том же...

Спустя полчаса он с почты звонит начальнику строительства.

— ... У меня есть к вам срочное и весьма важное дело. Пришлите за мной машину...

Лундин немецкий консультант Оберман говорит внешне спокойным, бесстрастным тоном, на самом же деле крайне волнуясь:

— ... Все вышеперечисленное, конечно, только мелочи, более серьезных фактов у меня нет. Но эти мелочи, как я теперь убедился, проводились им планомерно, с определенной вредительской целью. Я знал о них и раньше. Объективно я тоже виноват. Судите меня. Я мог их устранить и не устранил... Впрочем, я тогда не был уверен, что это делалось злобно. Я считал технической ошибкой...

Последняя фраза у Обермана вырвалась произвольно: где-то в глубине мелькнуло, что могут и его привлечь. После короткой паузы он твердым голосом закончил:

— Но я почти убежден, что им готовится что-то более серьезное. Мой долг — это предотвратить.

Оберман замолчал, стал вытирать сразу вспотевший лоб. Лундин поднял на него взгляд, слегка кусая губы.

— Значит, вы находите, что перечисленные вами факты являются не простыми техническими ошибками, а настоящим вредительством? Так?

— Да. Так.

— Гм. А может быть, уже есть что и более опасное? Вы не допускаете?

— Большого пока нет. Но это не значит, что не будет... Надо принять меры к устранению всякой возможности.

— А я все-таки удивляюсь, как вы, товарищ Оберман, раньше об этом...

— Я уже вам сказал, — жестко перебил консультант, — что раньше я еще сомневался, склонен был считать это техническими промахами... Что ж, если вам угодно, привлекайте и меня к ответственности за соучастие. — Он порывисто поднялся. — Я буду отвечать перед любым судом. Я суда не боюсь...

— Так. Да-да. Все это придется принять во внимание, заняться этим делом немедленно же и по-серьезному, — будто самому себе ответил Лундин.

Герман Васильевич вышел от начальника с таким же тяжелым и неприятным чувством, с каким и входил. Душалось:

«Лучше бы ничего не говорить...»

II

За тепляком Коксохимкомбината и почти готовыми корпусами центральной электростанции ласково поблескивает под жаркими лучами степного солнца огромная площадь вновь рожденного пруда, — первая победа «Пятилетки».

В спокойной зеркальной поверхности ее весело отражаются белые приземистые здания больничного городка, железобетонные корпуса ЦЭС и постройки временных электростанций. За рекой в накаленном полдневном воздухе мреет степь, раскинувшаяся на бесконечные пространства. Там все тихо, мирно, сонно, как будто этот, три недели назад возникший, пруд лежит здесь с неведомых времен, так же, как степь и горы.

Серой узорчатой полоской, похожей на кружево зубчиками вверх, вытянулась в горле реки километровая плотина. Через ее верх как-то особенно ласково перекачивается вода, образуя хрустальную, прозрачно-тонкую, в километр ширину, стену водопада.

Направо, вверх по течению, — массив воды с площадью в четырнадцать квадратных километров. Налево, ниже, — взрытое, иссушенное речное ложе со змейками ручейков.

Дородному сейчас не верится, что еще совсем недавно тут стояли копры, бетонитные вышки, землечерпалки. Пере-

ливался круглые сутки строительный звон и гул. Шла борьба человека со стихией, разумной человеческой воли со слепой природой.

Во время половодья Степан Гаврилович не один раз приходил к плотине и вместе со многими строителями втайне задавал себе волнующий вопрос:

«Выдержит или не выдержит?»

Была крепкая уверенность, что плотина выдержит весенний напор, но в глубине мозговых извилин все еще ютилась отравляющая мысль:

«А вдруг сдаст?..»

Плотина не поддавалась разрушающей силе воды. Пессимистическое карканье трусливых и злобствующих людей не оправдалось.

Теперь у Дородного, когда он смотрел на узорчатое, кружевное сооружение, с берега кажущееся игрушечным, мелькало иногда другое:

«Неужели эта подковчатая серая полоска взнуздала и крепко держит реку?»

Сознание заполнялось радостным, горделивым чувством: он тоже вложил сюда кусочек самого себя.

... Забито металлического и деревянного шпунта более двух с половиной тысяч метров, вложено железо-бетона и чистого бетона пятьдесят две тысячи кубометров. Для основания плотины сделано сто сорок две тысячи кубометров земельно-скальной выемки. Поставлены сто один бычок, сто две арки высотой в девять метров. И все это построено в два коротких срока: в семьдесят пять и семьдесят три дня. Эти сроки войдут в историю мировых строительств.

Но не это волновало Дородного, когда он, смотря на пруд, вспоминал дни постройки плотины и в особенности флутбета. Волновало его проявление того величайшего в человеке, что до времени таится в нем под внешней сухостью и безразличием, — проявление энтузиазма, высочайшего сознания ответственности перед коллективом, перед страной и поразительная, нечеловеческая стойкость...

В этот день Степан Гаврилович засиделся допоздна, заканчивая проект Дворца труда, предназначенный на кон-

курс. Здание должно было строиться на площади Сталина в соцгороде.

Проведя последнюю линию, он положил рейсфедер и, облегченно вздохнув, откинулся на спинку стула. В раскрытое окно тянуло запахом остывающего песка и тонкой смолой дерева. В комнату вливалась немного сыроватая весенняя ночь, пронизанная электрическим светом и ни на минуту несмолкаемыми строительными звуками.

К двенадцати часам ему нужно было идти на работу, на Безрудную гору, куда его после плотины перебросили. Он посмотрел на часы, посидел несколько минут и стал одеваться. Пошел не по шоссе, а напрямик, мимо земляных курганов и ям, где дорога была значительно короче.

Из горной щели навстречу дул порывистый западный ветер, поднимая столбы пыли. Не освободившийся еще от мыслей, связанных с проектом, Дородный незаметно для себя свернул в сторону и очутился возле проволочного заграждения, окружавшего запертую зону склада со взрывчатыми веществами. Днем обычно тут многие ходили, и в заграждении был устроен лаз. Ночью же строго запрещалось.

Повернуть назад, — значит, сделать полкилометра лишнего. Он решительно перешагнул примятую проволоку и пошел к склону горы. Мысли при виде склада приняли другое направление. Вспомнились гигантские дробильные машины, привезенные недавно из Америки и стоившие больших денег. Подумалось: «Случись несчастье, взрыв, — и от этих машин не останется следа, да и все бетонные сооружения, с таким нечеловеческими трудностями сделанные внутри горы, будут разрушены или зашпаны...»

Ему показалось, что в тени, между задней стеной склада и кучами камней, сброшенных взрывами с горы, промелькнула человеческая фигура. Он остановился, всматриваясь. Человек снова показался. Шел, пригнувшись, время от времени скрываясь в лощинах за камнями.

Мозг инженера обожгла догадка. Он быстро присел, почти влип в землю, не

сводя взгляда с крадущегося человека. Тот повернул в его сторону.

— Стой! — Дородный сделал стремительный скачок и схватил неизвестного за плечо. — Откуда идешь?

Растерявшись от неожиданности, человек на мгновение беспомощно опустил руки, роняя катушку с тонким проводом, и смотрел широко раскрытыми, совиными глазами.

— Откуда идешь? Почему в руках...

От сильного удара старый инженер, не договорив, опрокинулся на камни. Незнакомый человек огромными прыжками кинулся под гору.

— Держите! Держите!.. Сто-ой!.. — закричал срывающимся, хриплым голосом Дородный, опять устремляясь в погоню.

Позади него, справа, раздалась выстрелы. От склада отделилась военная охрана.

Двое людей, низкорослый и длинный, худой, не обращая внимания на окружающее, все бежали книзу...

III

Второй день идет дождь, холодный, мелкий, удручающий. Второй день дует ветер с востока, из Азии, неся пронизывающий озноб, неся скуку и безнадежность. Думается, конца не будет этой погоде. Степь издевается над человеком. Еще вчера она посылала на стройку пахучие волны весеннего тепла, радовала ласковой зеленью своих безграничных просторов, неудержимо тянула к себе. И Маня Дроздова, и многие другие мечтали: хорошо бы погулять по ней, поваляться на мягкой траве, подышать ароматом цветов. Но теперь степь тосклива и мрачна, покрыта едким туманом измороси.

Маня Дроздова день провела на обычной своей работе, с пяти часов до десяти отдыхала, а с десяти вышла в ночной комсомольский рейд, на разгрузку платформ.

Близко утро. Ветер дует порывами, дождь сечет лицо и руки, как стальной проволокой. Комсомольские бригады работают почти без отдыха, перенося на своих плечах доски, бруссы, короткие

объемистые лафетины. В начале работы слышалась песня, смех, веселый переключившийся звонких голосов. Сейчас работают хмуро, с молчаливым упорством. Поставленное задание — во что бы то ни стало закончить к шести утра, освободить путь для нового состава с цементом — нужно выполнить.

Маня чувствует, как при каждом подеме отдается в спине и ноют плечи, но она не обращает внимания: пройдет. Надо поскорее закончить... «Как возмутительно работает железнодорожная администрация! Какой беспорядок!.. Забить все пути, утонуть в грузах от собственной безалаберщины, — думает девушка чуть не в сотый раз. — Что это — глупость, недомыслие, или враждебное неприятие чуждого для них нового?.. Чужие люди. Враждебный класс...»

Кровь приливает к вискам. Сильнее забило сердце: «Ведь она тоже из враждебного... Да. Если родители... то при чем же здесь дочь? Не может она отвечать за них. И к тому же с ними все порвано. Даже с сестрой...»

Дождь все не перестает. Небо уже посветлело. Занимается день, бессолнечный, тусклый, пронизанный осенней слякотью, хотя по календарю — весна.

— Ребята! Ша-а! Кончено! — кричит бригадир-комсомолец, весело помакивая поднятой рукой.

— Отлично! Долго ты молчал, а сказал хорошо. Лучше не придумай.

Молодежь сгрудилась. Лица веселые, оживленные, хотя на каждом — следы утомления, у каждого под глазами — синеватые круги.

— Теперь по домам спать!

— Чего спать? Шамать еще сначала будем! У меня кишка кишке кукиш кажет!..

— Вымыться бы сейчас, теплый душ принять, — мечтает одна из девушек.

— Что ж, это неплохо. А потом, после этого — рюмочку, и селедкой закусить. Совсем замечательно было бы. Жалко только, что я не пью, — смеется один из парней. — А не пью потому, что нигде не достанешь водки.

Ребята с шутками и смехом, — будто не было тяжелой, утомительной ночи, — идут с участка к поселку.

Старик Сидор Кузякин, собирающийся на работу, встречает Маню добродушной ухмылкой:

— Ну, ударница-соревновательница, сколько вагонов выгрузила?

— Ничего, поработала, — смеется девушка. — Марфуша, налей-ка мне чашечку горло промочить, все пересохло, — обращается она к старухе-хозяйке, видя на столе чайную посуду.

Та соболезнет:

— Устала, небось? Вишь, позеленела вся... Заставляют девчонок бревна ворочать, как будто мужиков нехватает! — Она торопливо ополаскивает стакан. — Жидкий только и остыл.

— Ничего. Спасибо, Марфуша. Никто ведь нас не заставляет, мы сами, по доброй воле.

— Это полезно для молодежи. К настоящему труду приучает, — насмешливо философствует Кузякин. — У них, что? Кости-то растут, значит, надо им всякое упражнение. Это лучше, чем физкультурой заниматься. По крайности, для государства польза. А им, кроме всего, почет. Уда-арница!..

— Тебе тут почтальонша письмо принесла, — вспоминает Марфуша. — Куда-то я его положила: на комод или еще куда?.. Посмотри-ка, не под подушку ли к тебе засунула?.. Еще утром принесла.

Девушка вытаскивает из-под подушки письмо, и лицо покрывается матовой бледностью. Она молча пьет чай, обжигаясь и не чувствуя боли.

«Может быть, не читать? Бросить нераспечатанным?»

Старики ушли. Рука против воли тянется к письму..

«Дорогая Маша!

Твое упорное молчание я понимаю, но не писать тебе не могу. Ты — черствая, эгоистичная. Ты убила папу и маму... Разве они виноваты в том? Мама тогда же, после твоего отъезда, заболела и умерла. Не вынесла горя. А папа — он сейчас где-то на Севере работает в лесу. Может быть, тоже уж нет в живых...»

Маня сжимает в кулак письмо и опускается на кровать. До боли прикусывает губы, боясь, что хлынут слезы, без-

удержно и надолго, как когда-то, много лет назад. Всплывает неприятное прошлое.

Ее отец, настоятель прихода, с дяконом, дьячком и просвирней в престольный праздник обходил окрестные деревни. Она, десятилетняя девочка, носила корзинку, в которую бабы клали для «батюшки» яйца. Какой-то пьяный мужик, взбеленившись, вырвал у нее эту корзинку и со злобой бросил на землю, выкрикнув: «Вот тебе, батюшка, в третий день яичница! Ешь во всю утробу!» Яйца разбились и потекли. Мальчишки загоготали, а она, перепуганная, побежала домой, спряталась в чулан и там до ночи проплакала.

Это была детская беспомощность. Позднее, лет восемь спустя, Маня проявила себя по-другому.

Приехав из Москвы с курсов, на третий день, в страстную пятницу, она собрала в чемодан свои вещи и заявила родителям:

— Завтра утром я уезжаю на станцию... в Москву... Совсем... Мама, дай мне на дорогу хлеба.

Отец побелел. Молча встал, выпил из графина воды и повернул к ней ходившее скулами лицо. Спросил, глядя на нее в упор:

— Ты еще не выбросила дурь из головы?

— Да, я решила... Уеду. Больше не могу здесь жить,—ответила она твердо.

— Маня, родная, подумай, что ты делаешь! Образуешься! Что мы тебе — изверги, что ли?

— Пускай уходит! Сейчас же! Сию же минуту! — взревел отец. — Я не хочу видеть ее в своем доме!

— Доченька! Побойся бога! Что ты делаешь? В могилу нас гонишь! Накануне христова дня! Бог не простит тебе нашей обиды!..

И тогда она в тот же вечер уехала...

Сейчас Маня быстро поднимается, распахивает окно и вдыхает полной грудью прохладный утренний воздух. Снова расправляет смятое письмо:

«... Пожалуй, я тебя не виню. Ты оказалась права. Я вот теперь тоже работаю. Но они... Они ведь также не виноваты...»

Девушка в мучительном раздумьи садится на подоконник. В окно вливаются отдельные звуки грохочущих машин. Из туч вынырнуло солнце. Пахнет известью и цементом.

Она думает о сестре, о работе, о своей неудачливой судьбе...

IV

У инженера Шеина неплохого специалиста и приятного по внешности человека, был один существенный недостаток, мешавший его служебному продвижению: инженер всячески уклонялся от общественной работы. Наседавшей на него молодежи из активистов он с подкупающей искренностью обычно отвечал:

— Товарищи, с удовольствием бы, но загружен выше всякой меры. Спешно заканчиваю проект...

Или:

— Не могу, дорогие товарищи! С головой и со всеми потрохами ушел в работу: нельзя же отставать от современной западной техники...

Можно было также сослаться на разработку новых, еще не знакомых нашей практике формул и консистенций бетона, на изучение вопроса о составе материала древнеримских сооружений, наконец, указать на болезнь: «последнее время чувствуются сильные головные боли. Боюсь, не менингит ли!..» Мысль в этом направлении работала у него отлично.

Две девушки-комсомолки с рудообогатительной неделю назад на одном из цеховых собраний подошли к нему и прямо в упор спросили:

— Товарищ Шеин! Почему вы уклоняетесь от общественной работы, не помогаете рабочим строить свою жизнь?

— Как не помогаю? — изумился инженер. — Мне кажется, что я очень много отдаю своих знаний и сил для пользы и блага пролетариата...

— Прежде всего, никогда не бывает очень много,—резко перебила его одна из девушек. — Бывает только очень мало или просто не много. Во-вторых, я не вижу ваших «знаний и сил», которые вы отдаете непосредственно рабочим.

— А моя строительная работа? Мое участие в создании завода, — разве это не принимается в расчет?

— Очень принимается и ценится, — встала в свою очередь другая девушка. — Но мы говорим о вашем участии в общественной работе. Такой работы у вас совсем нет.

— Я полагаю, что как специалист-инженер я пользы принесу несравненно больше, чем в незнакомом мне общественном деле. Там я не могу сравниться с рядовым рабочим. Там у меня только попусту будет тратиться время, — не сдавался Шейн.

— Неверно, дорогой товарищ! Мы найдем вам такую работу, в которой вы будете очень полезны. Мы вас используем по вашей специальности...

Инженер Шейн великолепно умел разговаривать с молодежью, в особенности с женщинами. К тому же и голос у него был так же приятен, как и внешность... Не обещая и не отказывая, он ловко перевел разговор на другую тему и ушел тогда от активисток, оставив о себе выгодное впечатление.

В день происшествия у подножья горы инженер Шейн на работу не выходил. Домашней работнице, обслуживающей три инженерских комнаты, он утром сказал:

— Настенька! С чаем для меня вы можете не торопиться: я чувствую себя не совсем здоровым и буду сидеть дома.

До завтрака он сходил в аптеку, помещавшуюся на площади, в полукилометре от квартиры, и на обратном пути встретился с каким-то рыжеусым человеком, повидимому, обменявшись всего несколькими словами. Вернувшись, инженер лег и в постели читал книгу.

В столовую он тоже не пошел, попросив Настю сварить кофе и два яйца всмятку. Съел только одно и долго ходил по комнате, а потом опять лег.

Все это Настя отлично видела и сделала заключение: жилец, действительно, нездоров и чем-то сильно обеспокоен.

Но перед вечером инженер Шейн позвонил в комсомольскую ячейку рудообогатительной:

— Товарищи! У вас сегодня в клубе, кажется, вечер? Вы когда-то просили ме-

ня выступить. Я сегодня мог бы это сделать, если пожелаете. Будет, так сказать, экспромтом... Согласны? Ну, вот и отлично. Ровно в шесть буду...

Шейн положил телефонную трубку и, почувствовав снова утомление, тяжело спустился на кровать.

К шести часам инженер Шейн был в клубе. Вид бодрый, никаких признаков болезни. Дожидаясь своей очереди, — до него говорили двое, — он сидел в переднем углу с техником Колотухиным и часто склонял к нему ухо, выслушивая его замечания. Сам говорил мало, внимательно глядя на трибуну.

Когда председатель собрания заявил, что слово для доклада предоставляется товарищу Шейну, то инженер вскинулся с места пружиной и быстрым, крепким шагом вошел на подмостки. Говорить начал уверенным, авторитетным голосом. Сухие цифры облекались в живые формы, подкреплялись сравнениями. Отдельные фразы, умело соединенные, вырастали в целую картину, убедительную, увлекающую. И весь доклад, озаглавленный: «У них и у нас», то-есть за границей и на «Пятилетке», в целом представлял законченное, почти художественное произведение.

По окончании группа молодежи горячо благодарила его и просила сделать в ближайшее время еще один или два доклада.

— Хорошо. С удовольствием сделаю. Молодежь я чрезвычайно ценю, — ответил он, пожимая протягиваемые руки.

На следующий день утром Шейн в обычный свой час был уже на работе, побывал наверху горы у обоих бункеров, где производились мелкие доделки. Потом заглянул к компрессорам, находящимся в маленьком сарайчике, после чего спустился в шахту, попутно перекидываясь отрывочными фразами с бригадиром и рабочими, отдавая распоряжения и указания техникам и десятникам, — все, как обычно. И вид у него был повседневный, только осунулось лицо после вчерашнего нездоровья.

В одном месте рабочие обсуждали ночное событие. Шейн на минуту задержался возле них, прислушиваясь, и круто повернул к бурильным машинам. Тех-

ник Черняк угрюмо встретил его на средней площадке:

— Товарищ Шеин! Слышали, что сегодня ночью-то было?

— Да, да, слышал...

— Вот, сволота, что надумал!.. Изпод земли выроем да достанем! Не уйдет!

— Товарищ Черняк, там наверху магериналы складывают, мне кажется, не на месте. Обратите внимание.

Инженер Шеин неторопливо, спокойно пошагал книзу. Но в контору не зашел. Он направился прямо к себе на квартиру.

А перед вечером и случилось никем не предвиденное событие, заставившее говорить о себе все население «Пятилетки».

Следственной властью установлено до мельчайших подробностей поведение за последние два дня инженера Александра Дмитриевича Шеина.

Прежде всего обнаружилось, что именовавший себя инженером Шеиным в действительности был другим лицом: артиллерийским офицером бывшей деникинской армии, Степаном Зельчинским.

Телеграфист ближайшего отделения сообщил следственным властям, что в шестнадцать часов, в день события, называющий себя инженером Шеиным послал телеграмму в Свердловск на имя некоей Швицевой такого содержания:

«Вчера и сегодня погода убийственная. Заболел. Передай мое сочувствие Николаю. Алеша».

Домашняя работница Настя, трясась от испуга и вытирая передником глаза, потрясенным голосом рассказывала:

— Вчера был болен... ходил в аптеку... обедал дома... Сегодня с утра ушел на стройку... вернулся рано. Никуда не выходил, что-то делал в комнате... Потом я уснула и проснулась только от звонка: пришла к нему девушка, которая всегда ходила. Потом вот это...—не договорие, она принялась сморкаться и снова тереть наплаканные глаза.

А инженер Шеин, придя домой и заперев дверь комнаты, стал поспешно приводить в порядок свое хозяйство. Выдвинул

из-под кровати оба чемодана, достал портфель и спрятанный бумажник, потом из маленького чемодана вытряхнул все на кровать и начал укладывать в него необходимое и более ценное. После этого занялся просмотром писем.

В передней раздался звонок. Шеин вздрогнул и вытянулся, насторожив слух. Звонок повторился. В соседней комнате послышались шаги. Схватив со стола письма и на-ходу тиская их в боковой карман, он метнулся к окну.

За окном, почти возле самого дома, стояли две женщины из соседней квартиры.

Раздался стук в дверь комнаты. Шеин быстро выхватил из кармана маленький «кольт». Стук продолжался.

— Александр Дмитриевич!

Рука опустилась: голос был хорошо знакомый.

Сунув револьвер на прежнее место, Шеин повернул ключ. В дверях стояла, улыбаясь, Маня.

— А я думала, опять не застану, как и вчера... Ты что же это разбросал свои вещи, или... в дорогу куда собираешься? — В глазах девушки вспыхнула тревога.

— Ну, куда мне ехать? Просто привожу в порядок, а то у меня такая анархия, что не разберешься. — Он обнял ее. — А за вчерашнее извини. Вышло совсем неожиданно. Если бы я знал, что ты придешь, то никуда не ушел бы. Я тебе всегда так рад. Ты всегда мне доставляешь большую радость...

Инженер стал усиленно проявлять свою нежность, какой у него в последнее время уже не было. Девушка чувствовала, что это шло не из нутра, отсутствовала прежняя непосредственность. Ласки были порывисты и торопливы. За ними ощущалась какая-то тревога. Она насторожилась. Какая причина этому? Сейчас он показался ей чужим и неспятым, каким не видела его даже в первые дни знакомства. Кто он? Откуда?

В эту минуту девушка вспомнила, что Шеин никогда не говорил ей о своем прошлом... Но ведь и она ему не рассказывала о себе. Удерживал какой-то страх...

— Ты бы убрал свои чемоданы, а то придет кто-нибудь — неудобно будет, — заметила она деловым тоном.

При словах «кто-нибудь придет» Шейн вздрогнул, покосился сначала на дверь, потом на окно и подошел к кровати.

Маня поглядела на его спину, на красивый, беспокойный сейчас профиль и загорелые руки, — все очень хорошо знакомо, но все чужое, далекое. Возле сердца почувствовалась ноющая боль. «Неужели ее радости, счастья наступил конец?.. Пустяки. Это все моя излишняя мнительность... нервозность...»

Маня приблизилась к нему и нежно обняла.

— Давай посидим. — В голосе ее прозвучали просящие нотки. — Мы с тобой почти неделю не виделись.

Он поставил чемодан на пол, повернулся к ней и с нервной усмешкой, как будто беспечно, произнес:

— И в самом деле — чуть не целую вечность не встречались. Вот что, — инженер на несколько секунд замялся: — кооператив еще не закрыт. Ты, Муся, может быть, не поленишься? Магазин тут, рядом... Бутылочку токайского... Я бы сам сходил, но сильно стер ногу... — Порывшись в кармане, он протянул ей червонец. — Пожалуйста, только не сердитесь, а я кое-что приготовлю.

Минут через пять возвратившаяся Маня отворила дверь в комнату, бледная, испуганным взглядом смотрела на Шейна. Из-за ее спины выдвинулись два незнакомых штатских и два милиционера.

Инженер стоял одетым и ничуть не удивился, только выпустил из рук маленький чемоданчик; Маня заметила, что все вещи были уже собраны. Он спокойно и совершенно официально сказал, обращаясь к ней:

— Нашу беседу, товарищ Дроздова, к сожалению, придется оставить до другого раза. Извините... Можете идти.

Маня, вспыхнув и поняв, в чем дело, молча пошла к выходу. Но один из штатских вежливо остановил ее:

— Вам, товарищ, придется остаться: вы пойдете с нами.

Девушка покорно опустила на стул.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Над площадкой нестерпимо буйствует литое, сжигающее солнце. Известковые стены приземистых зданий больничного городка плавятся и тают, белым облаком уходят в степь. А со степи движется желтое горячее марево. Недавно сочные, яркие травы стали ломки и жухлы; цветистые ковры поблекли: солнце смыло краски, выпило зеленую кровь растений.

Старший хирург, пожилой, невысокий, средней полноты, не спеша, идет в больницу — наступил час обхода. На улицах барачного поселка, где он проходит, носятся с веселым криком ребятишки, ругаются у водоразборной колонки две старухи, дерутся чых-то два петуха, но доктор проходит мимо всего этого равнодушно. Зрительные восприятия окружающего человеческого быта уже не вызывают раздражения тончайших волокон его нервов. Он идет молча, думая о своем. В трех палатах лежат у него сорок пять человек оперированных. Надо всех осмотреть, некоторых назначить к выписке, почти с каждым поговорить. Кроме того, несколько человек только еще готовятся лечь под его благодетельный нож. Тяжела и ответственна работа того, кто владеет этим ножом, кто заносит его над человеческой жизнью, чтобы спасти ее. Тщательно вымыв руки и надев белый халат, доктор входит в палату и сразу преобразается: вялости и безразличия к окружающему как не бывало. Он делается моложе своих лет, становится чуток и внимателен, ни одно слово больного, ни один жест или стон не пройдет мимо его ушей. Это не от добросердечия и не от любви к страждущим, — просто долгие годы больничной обстановки выработали в нем соответствующие рефлексы.

Стремительно входит молоденькая сестра.

— Иван Адрианович! Вас просят в родильное, — говорит она взволнованной скороговоркой.

— Меня? Что у вас такое случилось?

— Скорее! Трудные роды!..

Хирург торопливо, но не теряя солидности, идет через узенькую улочку в соседний барак.

На высоком белом столе лежит с обнаженными худыми ногами роженица — бригадир Митрейкина. Тихо стонет в родовых муках. Горячие солнечные лучи шарят по простыне, по бескровному женскому лицу, дергающемуся в мучительных конвульсиях, и по холодным стальным инструментам, покоящимся в чинном порядке на стеклянных полках белого шкафчика.

Молодой акушер начинает об'яснять старому хирургу состояние своей пациентки. Говорит лаконически, языком врачебных терминов. Лица врачей таинственно-строги. Две сестры и фельдшерица по бокам стола ждут.

Иван Адрианович уверенными движениями начинает ощупывать выдавшийся живот женщины, перекидываясь отрывочными фразами с акушером. Он задает роженице простой и вместе с тем страшный по своему внутреннему смыслу вопрос:

— Вы раньше имели детей?

Пациентка отрицательно качает головой.

— Сколько ей лет? — оборачивается он к молодому врачу.

— Сорок два.

— Муж или родственники у ней тут есть?

— Как будто никого нет.

Хирург коротко приказывает сестре: — Приготовить инструменты!

Для него все ясно: воды прошли, плод не изгоняется. Чтобы спасти мать, нужно убить ребенка — пробуровать ему череп и выпустить мозг...

Хирург подходит к умывальнику и снова принимается мыть руки. Моет щеткой, долго, старательно, нахмутив густые, щетинистые брови. По белому халату и низенькой полотняной шапочке беспокойно скользит солнечный луч, будто проверяя их чистоту. Люди у стола ждут.

Роженица инстинктивно почувствовала, что за словами врача скрывается что-то страшное. Оно должно последовать сейчас же, немедленно. Но что? Слух ее уловил металлический лязг ин-

струментов. И Митрейкина поняла. Ужас надвигающегося придал ей силы. Она дернулась всем корпусом, пытаясь подняться, и истерически выкрикнула:

— Я не хочу! Я не дам его резать! — Голова ее заметалась по клеенчатой подушке. Лицо покрылось красными пятнами. — Доктор! Не хочу! Не дам!..

Хирург спокойно подошел к больной.

— Не волнуйтесь. Страшного ничего нет. Все будет благополучно. — Голос его был ровен и обнадеживающ, серые глаза на широкое, доброе лицо смотрели тепло и участливо. — Вы даже не почувствуете особенной боли. Без этого, голубушка, нельзя. Это бывает.

Опять знакомый звук стали. Елена Андреевна снова вздрогнула. Взгляд сделался полубезумным.

— Не хочу! Не надо! Доктор! Не смей!.. — Горло перехватило судорогой, из глаз выдавились две крупные слезы.

Хирург, холодно посмотрев на нее, жестко произнес:

— Родить вы не можете. Это угрожает вашей жизни.

— Я хочу, чтобы он был жив, — тихо, но твердо проговорила роженица. Лицо ее опять стало бескровным.

— Вы понимаете, что я сказал? Нормально родить вы не в состоянии. Вам угрожает смерть.

Хирург глядел на нее с нескрываемой враждебностью. Желание сорокадвухлетней женщины иметь ребенка ему было понятно, но осуществление этого желания казалось безумием. Он еще раз сказал, подчеркивая каждое слово:

— Или ребенок будет жив, или вы. Но вернее всего — ни вы, ни он. Помните.

— Я хочу ребенка, — уже утомленно, но с той же решительностью высказала Митрейкина, шаря бессильным взглядом в пространстве.

Иван Андреевич снова принялся прощупывать вздутый живот, на котором синеватым узором выдавались тонкие вены. По телу больной пробежали судороги, бедра вздрагивали, и ноги временами напрягались в инстинктивных потугах. Тяжелое дыхание чередовалось со стоном.

— Подождем еще немного, и в крайнем случае... секцию цезаря. — Хирург подумал некоторое время и решительно подтвердил: — Да, так и сделаем... — Неспеша пошел из родильной.

II

В большой операционной, залитой с двух сторон ярким полдневным светом, — все на своих местах. Посредине, на узком и длинном операционном столе, как на древнем жертвеннике, лежит наполовину обнаженная женщина. Меловое лицо, уставшее от мучительных родовых потуг, похожее на изваяние, с закрытыми глазами, с полуотверзтым ртом. Молоденькая женщина-врач, смазав ей вазелином ноздри и бескровные губы, приготавливает наркотическую «маску» из марли и ваты. В операционной невидимо струится сладковатый запах хлороформа. Кипятятся инструменты. Хирург тщательно моет руки...

Двадцать слишком веков назад неведомый римский доктор впервые в человеческой истории дерзнул коснуться ножом живота женщины-матери, чтобы вырвать у смерти мать и дитя. Этот, извлеченный на свет необычным образом, стал потом величайшим Юлием Цезарем.

За две тысячи лет искусство хирургии поднялось на огромные вершины, овладело знаниями антисептики, открыло новые медикаменты, придумало совершеннейшие инструменты. И все-таки Иван Адрианович, старый, опытный хирург, насчитывающий в своей практике много тысяч всевозможных операций, сейчас сомневается:

«Может быть, ему не следует делать этого? Если обыкновенные серьезные операции дают два процента смертности, а полостные и того больше, то имеет ли право он подвергать эту женщину смертельному риску ради того неизвестного, которому надлежит появиться на свет? И кем будет впоследствии этот розовый, живой кусок мяса? Это только еще материал, может быть, даже недоброкачественный, — через несколько недель или месяцев выпадет из жизни. А если и окажется физически здоровым, то

будет ненужным или вредным, в лучшем случае — самым заурядным человеческим экземпляром, каких миллионы... А мать — уже сложившийся, определенный социально-нужный человек...»

Хирург поднимает голову и подходит к подвижному столику с хирургическими принадлежностями, принимается над фиолетовым пламенем спиртовки сушить руки. Молодой ассистент смазывает желто-синеватый, напряженный живот роженицы жирным слоем йода. В мозгу хирурга все еще беспокойно сверлит:

«А какова наследственность? Кто его отец или дед? Может быть, сифилитик, алкоголик, человек с большой психикой?..»

Но сестра вынимает из стерилизатора щипцами резиновые перчатки. Ассистент начинает натягивать их ему на руки. Думать о чем-либо другом, не относящемся к самой операции, уже некогда. Старший хирург стоит с вытянутыми вперед руками, молчаливый, торжественный. Ему накладывают на нижнюю часть лица стерильную повязку, закрепляют сзади белоснежный халат.

— Заснула? — спрашивает он коротко.

— Спит, — отвечает молоденькая докторица, снова берясь за висящий на груди синий флакончик, чтобы добавить несколько капель наркотика на маску роженицы.

— Как пульс?

— Хорошего наполнения.

— Давайте инструменты.

Хирург берет из щипцов брюшной скальпель и смелым, привычным движением, едва касаясь кожного покрова, проводит вдоль живота, от пупка книзу, длинную линию...

В мягких торцах раскрытых живых створок сверкают прослойки белого жира, розового мяса и желтоватой брюшины.

Сестра непрерывно подает ассистенту один за другим металлические зажимы, и они непрерывно ложатся густыми рядами вокруг углубляющейся щели.

— Пульс? — не отрывая рук, спрашивает ассистент глухо.

— Падает.

Старший хирург молчалив и сосредоточен. Взгляд его тверд и пронизателен. Легкая полотняная шапочка с'ехала сверху, широко обнажив лысый лоб с глубокими заливками. На лбу то-и-дело выступают крупные капли пота, которые пожилая, строго-равнодушная няня тут же стирает комком марли.

Еще одно движение скальпеля — и в глубине щели неожиданно-быстро вырастает, выталкиваясь внутренней силой, огромный, малиново-красный плод... Лицо пациентки покрыто испариной. Щеки мертвенно-недвижны. В углах губ застыли белые сгустки.

— Пульс слабеет, — сообщает с беспокоеством фельдшерица, нагибаясь к руке.

Ее как будто не слышат.

Взгляд хирурга устремлен в одну точку. На висках проволоккой напряглись жилы. Через минуту он выпрямляется и осторожно, как величайшую драгоценность, кладет на руки акушерки на марлевую простыньку, скорчившееся подобие человека. По лицу, смытая напряжением, пробегает удовлетворенность.

— Качайте! Должно-быть, порядочно наглотался, — приказывает он и тотчас же опять наклоняется над роженицей.

Ассистент полуоборачивает голову к женщине-врачу.

— Как сон?

— Глубокий.

Обращается к фельдшерице:

— Пульс?

— Немного лучше.

Руки хирургов — молодого и старого — копаются в кровавой полости. В эмалированный таз падают красные марлевые тампоны.

Фельдшерица снова припадает к руке.

— Пульс опять начинает слабеть, — сообщает она тревожно.

В ответ — молчание.

— Иван Адрианович! Пульса нет! Совсем не чувствуется!

Старший хирург, не отвечая, накладывает последние металлические скобочки на наружный шов. Молодой ассистент быстро готовит шприц с камфорой...

Синеватое тельце ребенка в руках непрерывно качающей его акушерки нача-

ло розоветь. Один глаз приоткрылся, шевельнулась рука, и раздался слабый, первый человеческий крик.

На свет появилась новая жизнь...

У старого хирурга, утомленно стягивающего с рук резиновые перчатки, снова мелькнуло:

«Может быть, этому комку мяса в будущем суждено озарить человечество новой мыслью и перевернуть целый мир... Все возможно...»

Он, не взглянув ни на ребенка, ни на его недвижную мать, стал снимать белоснежный, испятнанный халат.

Роженица Елена Андреевна Митрейкина с трудом приподняла веки, — точно лежали на них камни, — обвела взглядом незнакомую палату с рядами коек и вдруг почувствовала ноющую пустоту в животе. Она сразу вспомнила, где находится. Впалые щеки от внезапного волнения покрылись розовыми пятнами, сердце удвоило толчки. Повернув голову к сиделке, она хрипло, ссохшимися губами через силу выдавила:

— Как? Что?

— Благополучно. Жив, — ответила та, подходя к кровати.

— Кто?

— Мальчик.

— Мальчик!..—Мать счастливо улыбнулась и в бессилье закрыла глаза.

Старший хирург, Иван Адрианович, возвращался из больницы к себе домой. Шел он усталый, ко всему равнодушный, не обращая внимания ни на мягкие, нежные краски угасавшего неба, ни на шумную толпу молодежи на футбольном поле.

Солнце уходило в степь порозовевшим, остывающим шаром, и степь темнела, суживалась, становилась скучной.

Над площадкой вспыхивали огни, — люди прогоняли от себя надвигающуюся ночь.

Поднявшись на пригорок, хирург остановился, чтобы передохнуть, и увидел, как диск солнца, ставший теперь кровавым, лежал посредине бетонного ложа строящейся третьей домны. У доктора неожиданно возникло сопоставление с

тем живым, который всего несколько часов назад трепетал на его ладонях.

Глядя на раскинувшуюся перед ним картину строительства гиганта-завода, Иван Адрианович подумал: «Рождается также в кровавых потугах и судорогах... Да будет удачлива его судьба...»

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. — РОЖДЕНИЕ ГИГАНТОВ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Последние дни Свердловский механический завод жил особенно напряженной жизнью. Постройка некоторых цехов была почти закончена, и в них шла установка агрегатов. Чугуно- и меднолитейный, в котором черное мелкое литье для собственных нужд началось еще несколько месяцев назад, теперь производство развернул по обоим отделениям. Все внимание и заботы сейчас сосредотачивались на сталелитейном и кузнечно-прессовом.

Три мартеновских стационарных печи, на двадцать пять тонн металлической шихты каждая, стояли почти готовыми. Происходил монтаж электрических, типа «Герольд», для отливки специальной стали, и трех качающихся «Вельмана».

В огромном гулком помещении главного формовочно-литейного зала с подающими «мартенами» и мостовыми электрическими кранами, люди казались копошащимися букашками. Они перекачивали по путям вагонетки, лепились чуть ли не под крышей на ажурных двигающихся мостах, сверлили, стучали как у самих печей, так и у различных подсобных механизмов подачи и разливки.

В следующих помещениях — обрубном и обжигательном — те же сложные сооружения подъема и передвижения тяжестей по земле и по воздуху, всевозможные станки, столы, различные механизмы для обрезки прибылей, для очистки литья, печи для обжига и прочее.

Кузнечно-прессовой цех, где должны были проходить поковку стальные болванки весом от двадцати килограммов до восьмидесяти тонн, был разделен на три отделения: прессовое, молотовое и кузнечное.

Сейчас собирались прессы — восьми-соттонный и двухтысячетонный, а в молотовом производился монтаж поковочных механизмов, имеющих мощность от ста пятидесяти до пяти тысяч килограммов. Каждый молот должен был обслуживаться одной или двумя печами, питающимися торфяным генераторным газом.

Начальник строительства и главный инженер по несколько раз в день приходили в цеха, всматривались в каждую деталь, прощупывали, проверяли, вели горячие разговоры с иностранными и русскими специалистами. Хотелось или рассеять неожиданно возникшие сомнения, или еще больше укрепиться в той или иной спорной мысли.

Оба помощника почти неотлучно находились на месте работ. Шухаев, внешне подобранный, с округленной опрятной бородкой и хмуро-сосредоточенным лицом, производил впечатление человека, решающего трудную и ответственную задачу.

Поводов для глубоких раздумий у него было достаточно: благополучно ли появится на свет новое детище Советской страны? Не случилось бы срыва, неудачи, последней ошибки перед луком. Это бывает, и это особенно страшно, — все равно, что при последнем взмахе молотком ударить себя по руке. Он, старший помощник главинженера, в этом очень заинтересован...

Может быть, инженер Шухаев думал о другом. Когда-то он так же вот ходил по заводу, только по старому и маленькому в сравнении с этим, но своему. В какой-то мере он являлся его хозяином: ему, сыну директора, в день рождения «на зубок» было подарено владельцем завода на тысячу рублей акций предприятия. Тысяча — не так уж много. Но к тому времени, когда Анатолий Викторович получил диплом инженера и явился на завод для работы, — эта тысяча уже во много раз увеличилась...

Все это кажется теперь чрезвычайно далеким. Захлестнулось целыми веками. Была страшная и мало понятная революция, — совсем не та, что описывалась раньше в книгах, читанных им с большим интересом, но какая-то иная. Была еще более ужасная и кажущаяся бесконечной гражданская война. Деникинский фронт, бессонные ночи в седле, необъяснимое упорство красных, и призрак Чека...

Все это прошлое давно им похоронено. Он пришел к советской власти с искренним намерением «по мере сил и умения честно участвовать в строительстве», — так он сказал себе, когда ехал сюда. Так и поступал до последнего времени. Но обстоятельствам угодно было измениться...

И еще был у него основательный повод для тяжелого размышления. Анатолий Викторович давно ощущал тяжесть семейных уз. Сколько раз у него возникала мысль о разводе. Но как? Где повод? Старые традиции сидели в нем еще крепко. А гиря, привязанная к ногам, — именно гирей, тупой и бездушной, считал он свою жену, — с каждым днем все сильнее тянула книзу. Все свои несчастья он приписывал ей. Если бы не было ее, то так низко не скатился бы. Так продолжать дальше нельзя...

А тут еще другое: несколько дней назад он неожиданно обнаружил... Правда, полной уверенности в этом еще нет. Только догадка, только подозрение, но очень правдоподобное — жена ему изменяет с его приятелем Антипом Звэрыкиным....

Но возможно, Шухаева тревожили и другие мысли. Известия о событиях на «Пятилетке» перекинулись и сюда. Об этом вчера утром узнал он в управлении.

Анатолий Викторович ходил по цехам тяжелым, не своим шагом, двойную подошву рабочих ботинок ставил с медлительным нажимом, будто упорно и безнадежно пытался задержать себя на месте. На лице оградилась следы глубоких волнений и бессонницы. Временами вспыхивала перед ним воображаемая картина двух бегущих людей. Один из

них — высокий, худой, в очках — хорошо знакомый. Бегут по каменистому склону горы, падают и снова бегут... В этом была некоторая доля комизма. И вдруг часть горы, где сотни людей много месяцев упорно долбили гранит, взлетает на воздух, вместе со всеми сооружениями, с дорогими американскими машинами...

Не взлетела она только из-за случайного обстоятельства, но могла. Несомненно, могла. А тот, который будто бы в связи с этим задержан, — кто он?..

К концу дня Анатолий Викторович почувствовал себя нездоровым и, заявив об этом в управлении, поехал домой.

Лежа на диване, он первое время думал совершенно не о том, что его волновало и что нужно было сейчас неотложно глубоко продумать. Мысль издевательски подсунула совсем неподходящую тему:

«Французский ученый, Бюффон, пришел к выводу, что продолжительность жизни большинства высших животных в шесть-семь раз дольше периода их роста. Лошадь, например, достигающая предельного развития в четыре года, живет двадцать пять — тридцать лет, то-есть в шесть-семь раз дольше. Собака, рост которой в среднем равняется трем годам, может жить восемнадцать — двадцать один год. Так же должно быть и в отношении человека: формирование его заканчивается в большинстве только к восемнадцати — двадцати годам...»

Чтобы отогнать навязчивую, ненужную мысль, Шухаев резким движением поднялся и подошел к окну. Но прежде, чем распахнуть раму, все-таки подумал ее до конца:

«Двадцать помножить на семь — будет сто сорок. Почему же, черт возьми, человек так позорно мало живет?..»

В раскрытое окно ворвалась предвечерняя свежесть и веселый ребячий гомон.

«А как мои дети: Коля и Миша? — вспомнил Анатолий Викторович. — Где они? Что делают? Должно быть, тоже гуляют?»

Ему вдруг страшно захотелось увидеть их, приласкать, послушать лепет маленького, поговорить со старшим, пятилетним.

Он осторожно отворил дверь в столовую. Дети там находились одни. Разговаривая друг с другом почти шопотом, они раскладывали на полу картинки и открытки.

— Здравствуйте, детки! Что вы так присмирели? Совсем не слышно вас?

— Мама сказала, что ты болен, шуметь нельзя, — ответил младший, Миша, не поднимая головы. Он был занят составлением из цветных картинок какого-то архитектурного мотива.

Шухаев опустился на одно колено рядом с сыновьями, положив руки на то и на другого.

— Почему вы устроились на полу, а не на столе? Тут неудобно и пыльно, — сказал он, всматриваясь в открытки.

— Здесь лучше, — не согласился старший и сдвинул со своего плеча отцовскую руку. — Ты мне мешаешь... Тяжело.

— Я тебе мешаю? — обиделся отец.

— Не ты, а твоя рука... Папа! А почему вот у него горб? — спросил Коля, показывая открытку с рисунком верблюда.

— А видишь ли, Коленька. Здесь у него жировые отложения. Природа сделала ему это для того...

Анатолий Викторович начал странно объяснять сыну условия, в которых живет это животное. Но такие подробности того не интересовали.

— Папа! Почему небо синее, а деревья в саду зеленые? — задал он новый вопрос.

Отец с удовольствием стал объяснять, упрекая себя: «Надо было серьезно заняться с детьми. Жена права — совсем не уделяет он им внимания. А, помимо всего, это просто интересно, самого уводит в прекрасный мир детства. Хорошо с ними отдохнуть от житейской сутолоки, неудач, склок, разных интриг...»

— Папочка! Ты все знаешь, — сделал вывод младший. — Давай с нами играть. Ты будешь разбойником, Коля королем, а я охотником.

— Почему, деточка, я разбойником? Мне тоже хочется побыть в кортлях, — засмеялся отец. — Давай, я лучше буду королем, а ты разбойником.

— Ну, давай в другую: ты будешь волк, я лисичка, а он — луна... Волк воет на луну, а лисичка его спрашивает: «Волк, волк! Зачем ты воешь?..» Ну, папа, отвечай?

— А что мне отвечать?

— А зачем ты воешь?..

Вера Александровна уже несколько минут стояла в дверях, наблюдая эту сцену. Сначала она была поражена неожиданной картиной. Потом удивление перешло в теплое, хорошее чувство к мужу. Она осторожно попятилась, чтобы уйти незамеченной, не сплунуть у мужа необычное настроение.

Но тот, чему-то громко рассмеявшись, поднял голову и увидал жену. Она вздрогнула: «Сейчас рассердится и будет кричать».

Анатолий Викторович не рассердился. Он, все еще смеясь, стал смущенно оправдываться:

— Заставили играть с ними. Хотели сделать разбойником, но я отказался... Вот, все этот карапуз, Михаил Анатольевич!.. Ну, ребята! Довольно. Пойду заниматься!

Шухаев поднялся, тщательно отрянул с коленок пыль и направился в свою комнату.

Через несколько минут жена послушала в дверь:

— Анатолий! Я забыла тебе сказать — звонил Зарницын. Ты ему нужен по какому-то весьма важному делу.

И все провалилось у Анатолия Викторовича. Все его неожиданно вспыхнувшее хорошее настроение при этом сообщении рухнуло и полетело в какую-то черную пропасть. Опять горой надвинулись страшные вопросы, которые неотступно мучили вчера и сегодня.

Звонить к Зарницыну тотчас же он не стал, хотя чувствовал, что разговор этот имеет для него особую ценность. Чай пить тоже не пошел — не хотел видеть ни жены, ни детей. Начал ходить вдоль кабинета тяжелыми шагами и думать...

Поздно вечером, после долгих и тяжелых раздумий, Анатолий Викторович надел новый костюм, положил в портфель нужные бумаги и неслышно вышел из квартиры. Только по пути на вокзал вспомнил, что забыл позвонить Зарницыну, но об этом не пожалел.

Утром жена, войдя в кабинет, нашла на столе большой пакет с деньгами и запиской, в которой сообщалось:

«Деньги и все вещи оставляю в полном твоём распоряжении.

Искать меня не трудись — бесполезно. О детях я позабочусь...»

Вера Александровна некоторое время стояла с широко раскрытыми глазами, все еще не понимая, в чем дело. Потом у нее прилило к вискам, все предметы закружились, и она без сознания опустилась на ковер...

... Одновременно с Шухаевым, только в другом вагоне, уезжала из города и гражданка Швивцева, направляясь на Кавказ лечить больное сердце...

II

Илья Федотыч Кузьминых в эти дни совсем не выходил из своей маленькой квартирki на окраине города, неподалеку от Верх-Исетского завода. Сначала заболела голова, потом перекинулось на сердце, и, спустя некоторое время, он совсем ослаб. Районный врач, выслушав, прописал какие-то порошки и выдал бюллетень. Теперь можно было не ходить на службу, спокойно лежать в постели и думать, о чем захочется.

В сенях доктор вышедшей за ним невестке сообщил:

— Болезнь простая, но лекарств от нее у нас, к сожалению, нет. Вот порошки немного подкрепят его. А там... — Он многозначительно развел руками...

— Неужели нельзя помочь? — испугалась невестка. — Какая же у него болезнь?

Доктор хмуро и недоверчиво посмотрел сверху вниз на говорившую женщину и, убедившись в ее искренности, спокойно ответил:

— По-ученому болезнь эта называется мудрено, а по сути — просто изнашивается организм. Вот, как изнашиваются

машины: подтираются поршни, цилиндры, слабнут винты. Ремонт, то-есть лечение, не поможет. Конец...

Невестка хотела заплакать, но вспомнила, что у нее поставлено на керосинку молоко для ребенка: как бы не убежало. А потом нужно идти в кооператив за картошкой. Она махнула передником по глазам и поспешно пошла в дом.

Илье Федотычу лежать все-таки не хотелось. Он садился к столу и привычно открывал свою толстую тетрадь, по счету десятую, на которой красовалась фигурно выведенная надпись: «История Уральского края. Часть пятая».

Илья Кузьминых в своем огромном историческом труде перевалил ту черту, которая, как горный водораздел, отрезывала прошлое от настоящего. Он должен был уже спускаться в долину современности. Но, чем длительнее любовь, тем больнее выправить ее из сердца. Чем длиннее корни растения, тем труднее вырвать его из земли. Любовь Ильи Федотыча к прошлому своего края связана многими десятилетиями, корни ее уходили к дням далекой юности.

Сегодня, как и вчера, он сел за тетрадь, чтобы писать о новом, но образы древнего опять заполнили мозг.

В комнате тихо. Дети работают, внучата гуляют, невестка куда-то ушла. В раскрытое окно врываются приглушенные звуки обновленного старика — Верх-Исетского. Илья Федотыч против воли своей думает о Булгарском царстве, о Биармии, о восточно-финской культуре Приуралья. За окном раздаётся знакомый хриповатый голос с басовитым раскатом:

— Хозяин-то дома, что ли?

Илья Федотыч приподымает голову и видит за подоконником верхушку знакомой зеленой шляпы.

— А-а! Семен Семеныч! Войди, проведай. Если калитка заперта, так ты потяни за веревку... Все ушли, один я...

Семен Семеныч по-хозяйски премит калиткой, стучит тяжелыми ботинками и снова басовито, уже рядом:

— Ты что, брат, не вовремя хворать вздумал? Я только вчера узнал об этом. Дай, думаю, зайду, навещу

приятеля, благо, день у меня сегодня отгульный!

Семен Семеныч служит в проектно бюро бухгалтером. Он не намного моложе Кузьминых, но значительно крепче его, шире костью и бреет бороду.

— Хворь-то, как ночная тать: незаметно подкрадывается. Да я думаю, скоро пройдет. Сегодня уже легче себя чувствую, — отвечает Илья Федотыч, силясь казаться бодрее.

Приятели, разговаривая о служебных делах, о всяких мелочах дня, смотрят друг на друга ласковыми взглядами далекой молодости. Кузьминых сообщает, что старшего сына на службе огметили: из простого прокатчика сделали бригадиром.

— И жалованье повысили. Теперь на заводе для них горячка — ставят новые печи для динамного железа, — говорит си, умильно смотря в глаза гостя. — Новые корпуса, новое оборудование, потому что пришли новые люди. А вот мы... Выходит, что нам — уж время на свалку...

Илья Федотыч смолкает. Он думает о годах юности, когда сила лилась через край, когда казалось, что если понатужиться, то можно опрокинуть мир. Город тогда был маленький, грязный, и никто не заботился о его внешности.

— А помнишь, как мы с тобой, мальчишками, чуть не утопили было в грязи на главной улице? — спрашивает с тихим смешком Илья Федотыч своего гостя.

— Мало ли таких случаев было, — отвечает тот. — Все разве упомянешь?

— Да, верно. В жизни столько всего встречалось, что и не упомянешь... Вот приступаю к описанию нашего времени. Боюсь, не слажу. Многое непонятно мне. Люди пошли какие-то другие, сразу их не раскусишь. Прежде куда было проще.

— Это правильно: многое непонятно, — подтверждает Семен Семеныч. — Мы об этом часто спорим с Зарницыным. По его — жизнь, видишь ли, не такая уж мудреная штука, чтобы над ней голову ломать. Раз человек родился, говорит он, то должен расти, должен есть, пить, любить, пользоваться всякими удовольствиями. А так как в

жизни очень тесно, то люди и грызутся — всякому хочется занять место по-лучше. Если ты, дескать, своего врага не слопаешь, то он слопает тебя. Этого не делают только дураки да ханжи..

— Зарницын... Зарницын... — силится вспомнить Илья Федотыч. — Как будто знакомая фамилия. Кто он такой?

— Это мой сосед по квартире. Мы живем с ним из двери в дверь. Ученый плановик.

— Помню, помню... Голова у него, должно быть, тупым топором обтесана — коряво думает. А может, он просто сам из волчьей породы. Это бывает... Так вот, сижу я над работой, пытаюсь заглянуть глубже, по-настоящему понять теперешнюю жизнь — и не могу. Чего-то еще не додумал. Надо подольше посидеть.

Илья Федотыч в раздумьи трет свой огромный лоб, смотря не на собеседника, а куда-то только в видимую им одним точку. Старческое лицо его опечалено.

Семен Семеныч в это время сосредоточенно свертывает сигаретку из тонкой бумаги и легкого табаку. Пальцы с широкими плоскими ногтями замараны в чернилах. Помуслякв сигаретку, он кладет ее на стол — не хочет большого приятеля окуривать дымом.

— А как, слышал про «Пятилетку»-то? — неожиданно задает он вопрос.

Кузьминых неспеша переводит усталый взгляд на гостя.

— Ну?

— Одного гуся там выудили.

— Как? Что? — почти пугается Илья Федотыч.

— А так, просто... вредительствовал.

— Ишь ты, какое дело! Развелись они теперь... — Илья Федотыч вспоминает о втором своем сыне, погибшем при строительстве дома. Был бы он жив, обо всем написал бы ему. Жалко парня — погиб в самом цветении.

Гость, нахмутив брови, о чем-то думает, барабаня пальцами по столу. Потом придвигает к приятелю голову.

— Вот что... Только ты не болтай об этом. Я и про наших на Механическом знал. Инженеру Дородному когда-то посылал записку, что, мол, у вас

на строительстве есть подозрительные люди. Следите. И указывал — кто, а он не поверил. Даже встречаться со мной перестал. После сказал, что записку эту спалил, чтобы случайно кому не попала. Показалось — хорошие люди... Вот тебе и хорошие!.. — Он презрительно хмыкнул, машинально сунул мундштук с сигареткой в угол рта и, тут же вытащив, добавил: — К Зворыкину тоже ходил, но того не застал. Махнул на все рукой. А ну их... Еще сам влопаешься. Пускай сами расхлебывают.

— А как ты об этом узнал? — в упор, жестко посмотрел на него Кузьминых.

Гость отвел взгляд в сторону и недовольно проговорил:

— Вот и узнал.. У кого есть глаза да уши и он умеет ими хорошо пользоваться, то многое можно узнать... Ну, поправляйся. Мне некогда. Я по пути зашел. — Он потянулся за шляпой.

Илья Федотыч все смотрел на него изумленно, непонимающе, с каким-то неясным испугом.

— Слушай! Семеныч! От кого же ты узнал? — крикнул он в спину уходящему гостю. Но тот вместо ответа молча махнул рукой и скрылся за дверью.

Илья Кузьминых отвернулся и уставил задумчивый взгляд в угол, на оторвавшийся лоскут полинявших обоев. Он чувствовал страшное утомление...

В тот же самый час из своей квартиры на Тургеневской улице вышел Александр Васильевич Зарницын. В кармане его широкого чесучевого пиджака торчала сегодняшняя местная газета, «Уральский рабочий», с заметкой о событии на «Пятилетке». Полчаса назад ученый плановик, прочитав ее, кисло поморщился, неопределенно гмыкнул и произнес вслух: «Дурак!». После этого сидел немного в раздумьи, надел пиджак и вышел на улицу, чтобы пройтись — дел сегодня больших не предвиделось.

Служебная карьера, а вместе с нею и сама жизнь ученого экономиста-плановика Зарницына за последние два года вступила в ущербную фазу. Еще недав-

но в Облплане он занимал одно из первых мест. Его проекты всегда отличались глубокой продуманностью и тщательным подбором цифрового материала; в области он был у всех на виду.

Но произошли некоторые обстоятельства, и научный авторитет Зарницына начал тускнеть, популярность быстро падать. Правда, этому способствовало еще то, что в жизни он был трудно терпимый человек: насмешник, сварлив, длинноязычен; с ним никто не мог ужиться.

Обстоятельства же заключались в приезде из центра двух молодых плановиков, сразу вытеснивших из наезженной колеи своего старого коллегу.

Зарницын попрежнему продолжал получать обычный свой оклад со всем тем, что к нему полагалось: соответствующим продовольственным пайком, учрежденческой квартирой из двух комнат и во время служебных поездок — пользованием автотранспортом, но ведущая роль теперь перешла к одному из вновь прибывших.

Сегодня Зарницын чувствовал себя отвратительно. События у Казачьей горы вывели его из обычного настроения. А тут еще — неприятный разговор с председателем, окончившийся их размолвкой. Все это закрутило в нем желчный узел, от которого не легко было отделаться.

Судьба арестованного инженера Шенна мало интересовала его, так же, как, пожалуй, и своя собственная судьба. Что могло дать будущее ему, бобылю, скептику, смотрящему на мир и на людей цинично-просто? Ничего.

Зарницын был неопровержимо уверен, что мир в основном плох: дикари друг друга едят, культурные люди занимаются воровством и обманом, прямым или косвенным порабощением себе подобных. Что суть всех войн, с какою бы целью они ни начинались, заключалась обычно в грабеже и насилии. События жизни им расценивались, как кондитерское печенье — какие бы замысловатые формы у него ни встречались, все оно сделано из одного теста. На судьбу смотрел так: она тасует карты, а мы играем. Если я не дурак и обла-

даю ловкостью рук, то могу шестеркой перекрыть туза. И дальше: то, что люди называют судьбою, является, в сущности, лишь совокупностью učinенных ими глупостей... Идеально-практический человек — это тот, кто умеет найтись во всех случаях и никогда чрезмерно не спешит...

Эти парадоксальные утверждения, собственные и чужие, он усвоил отлично и проводил их в жизнь. Но у жизни были какие-то еще и другие законы, им не усвоенные, и она время от времени жестоко била его. Теперь он как-раз находился под самым сокрушительным ее ударом.

«Надо переменить место. Поехать, например, в Баку или Тифлис. Климат великолепный, и другие люди...» — неожиданно посоветовал самому себе Зарницын, шагая вразвалку по многолюдному тротуару широкой Тургеневской улицы.

Город жил шумной жизнью, переключаясь звонками трамваев, автомобильными гудками, деловым человеческим говором. Зелень бульваров, прозрачное эмалевое небо и густые красочные пятна цветов, продаваемых на каждом углу, кричали о весне, о радости, которые были где-то тут, рядом, настойчиво звали к себе.

Какой-то назойливый мальчишка сунул ему в руку пучок фиалок и за это потребовал полтинник. Зарницын некоторое время глядел на него, не понимая, в чем дело, хотя фиалки уже торчали у него в кармане, сверкая невинными головками, и когда понял, что от него требуют, то со злостью кинул ему цветы:

— Убирайся со своими фиалками! На чорта они мне нужны? Щенок!..

Он долго хмуро шагал, со злобой косясь на каждого встречного, точно ожидая от него такой же назойливости, как и от мальчишки-продавца.

«Пожалуй, лучше на Восток. Хоть в Ташкент, что ли, — еще раз высказал совет самому себе Зарницын, заноса ногу на ступеньку автобуса, идущего за город. — В Ташкенте летом только жарко... Что ж, хоть дынь поем досыта. Чего мне бояться солнца..

Но прогулка за городом не успокоила нервов. Чем больше он находился среди природы наедине с собой, тем сильнее чувствовался непривычный душевный разлад. Тихий шелест берез на опушке нагонял тоску. В нем слышался иногда чей-то зловеющий шопот, настойчиво повторявший одно и то же:

«Жизнь пуста! Жизнь пуста!..»

Опять вспомнилась газетная заметка и тот, незнакомый, носящий фамилию Шеина. Губы скривились в усмешке:

— Хм!.. Попала собака блохе на зуб!..

«А если все вскрыется, то и другим не сдобровать...»

— Ну, что ж. Ничего не напишешь! Майся, товарищ Зарницын, до первой смерти! За такую погудку смычком по рылу бьют!..

Солнце стояло еще высоко. С востока плыла грозная туча. Над лесным озерком тянули тонкие, паутинные звонки стаи комаров.

«Хорошо бы сейчас искупаться, — подумал мельком Зарницын, направляя шаги к озерку. — Вода, вероятно, теплая. Приятно...»

Прежде чем раздеться, он выкурил папиросу, плюнул в воду, наблюдая, как она вздрогнула, оживая мелкой рябью расширявшихся кругов, и поднялся, сутулый, костистый, с отвисшим, мешкообразным животом.

Над опушкой глухо прокатился гром, тяжело рассыпавшись по лесу. Зарницын все еще стоял, раздумывая, ярко выделяясь голый фигурой на зелени травы. Его худые руки так были коротки, что едва касались бедер.

Новый резкий удар над самой головой заставил его вздрогнуть. По привычке скривив насмешливо губы, ученый плановик сделал решительный шаг вперед и сильным толчком бросил свое тело в озеро, головой вниз. Последней его мыслью было:

«Обидно, на всех перекрестках будут трепать имя!..»

Хлынувший дождь тотчас же сравнял смятенную воду лесного озерка, точно в нее и не падало грузное человеческое тело.

На берегу одиноко лежало намокшее платье и старые, заплатанные полуботинки...

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

За последние полтора года мелкие семейные недоразумения у Кирсановых стали почти обычным явлением. Возникли они чаще всего по вопросам узкобытовым. Супруги к ним настолько привыкли, что перестали обращать на это внимание. Оба выпылят, бросят по адресу друг друга несколько колких реплик и разойдутся с тем, чтобы через полчаса вновь сойтись, как ни в чем не бывало. Но теперь вопрос поднялся очень серьезный: стоит ли иметь детей или не стоит?

Федор Евсеич никогда не скрывал, что желает иметь сына, и был почему-то уверен, что мальчик непременно будет в него: умный, сметливый, энергичный и веселый. Главное — веселый. Хмурых людей он не выносил.

Кирсанов с завистью смотрел на товарищей, которые имели сыновей, и в частности не один раз указывал на Шухаевых, ставя их примером. Ольга Павловна обычно отделивалась шутками или тем, что она не виновата в отсутствии детей. Они еще не старики: может быть, и появятся...

На этот раз размолвка произошла также из-за пустяков и перешла на большую тему. Разгорячившийся Кирсанов резко заявил:

— Пока наука не открыла способа создавать человека в реторте, до той поры женщина-мать будет являться самым почетным членом общества.

— Вот как! — иронически засмеялась жена. — А если, например, какая-либо из женщин не честолюбива и не особенно ценит это почетное членство, то как в этом случае быть?

— А так... Этим, добровольно и по убеждению хлыстовствующим женщинам, извини, грош цена! Если женщина не может это компенсировать созданием каких-нибудь особенных ценностей, то она не оправдывает своего существова-

ния. Я такую женщину не могу уважать.

— Спасибо!.. Значит, мне нельзя рассчитывать на твое уважение? — Ольга Павловна посмотрела на него вызывающе. — Я ведь тоже принадлежу к таким добровольно и по убеждению... как ты изволил выразиться.

Кирсанов поднял брови.

— Добровольно?

— Хм!.. А ты и не подозревал?.. Да, я не хочу этого почетного и уважаемого тобой материнства. Желая быть полезным членом общества по другой, не материнской профессии.

Федор Евсеич непонимающе смотрел на жену: серьезно она или же делает вызов?

— Очень, очень хорошо, что, наконец, ты сказала вполне искренно и то, что думала, — заговорил он быстро. — Совсем великолепно! Я и раньше так думал, но было все-таки некоторое сомнение. Теперь же — никакого сомнения нет.. Очень хорошо! — Он круто повернул и вышел из комнаты.

Настоящей, большой любви к жене Кирсанов никогда не чувствовал. Женился он на Ольге Павловне потому, что она нравилась больше других и казалась более подходящей для семейной жизни. А о семье он мечтал. Дегей страстно любил. Годы шли. Он надеялся, ждал — вот-вот появится, и тогда личная жизнь примет другой облик. Тогда и жена будет совершенно иной. Но этот момент все не приходил, домашняя обстановка не доставляла покоя и радости...

На следующий день Федор Евсеич снова поднял этот вопрос. За ночь он многое передумал и вывел соответствующее заключение.

Он только удивлялся: как раньше не догадывался об этом?

Жена снова подтвердила вчерашнюю мысль:

— Да, не желаю иметь. Вместо того, чтобы заниматься пленками, я предпочитаю вести общественную работу и считаю это вполне законным. Кто хочет создавать потомство, тот пусть его создает, а меня такая перспектива не увлекает.

Федор Евсеич неожиданно для себя выкрикнул:

— Тогда при чем же здесь я?

Ольга Павловна пожалала плечами:

— Если ты ждешь много, то напрасно. Можешь сделать необходимый для себя вывод.

— Отлично! — точно обрадовался Кирсанов. — Я завтра же уезжаю отсюда! Довольно, прожили вместе. Больше не хочу!

— Куда же ты уедешь? — недовольно поморщилась жена, которую кольнула эта поспешность. Она ожидала другого.

— Где-нибудь устроюсь. Одну комнату всегда найду, а больше мне не нужно...

Выходя из дому, Кирсанов почувствовал облегчение: конец всяким недоразумениям, неприятным разговорам и глупым сценам. Как он раньше не додумался до этого? Ведь его уже несколько лет ничто не связывает с женой. Они друг другу чужие, говорят на разных языках, чувствуют по-разному... Как хорошо, что все так легко обошлось!

Побывав в управлении и в обкоме, он около четырех часов вместе с Василием Славичевым поехал домой — взять кое-какие бумаги. Потом намеревался съездить на Механический.

По пути он весело говорил приятелю:

— Сейчас мы с тобой отпразднуем мою свободу... Чорт возьми, как замечательно звучит: сво-бо-да!.. Там у меня в шкафу припрятана на всякий пожарный случай бутылка превосходного вина — старого, сухого муската. В прошлом году привез из Крыма. Знакомый татарин подарил. Говорит — с семнадцатого года лежало в подвале. Чудесное вино! Одну бутылку я выпил, другая осталась. Так вот мы ей и спрыснем драгоценную свободу.

— Ну, помиритеесь еще. Напоасно вы эту историю затеяли. Ольга Павловна не плохой человек, — отвечал равнодушно Славичев, вполне уверенный, что никакого примирения не произойдет, люди друг к другу не подходящи.

— Не-ет, батенька мой! Теперь меня на кривой не об'едешь! Я страшно рад, что все так счастливо разрешилось, — смеялся довольный Кирсанов. —

«Новый мир», № 10

Я теперь на комбинат на целую неделю закачусь. Насчет квартиры — мне все устроит мой секретарь. В крайнем случае — в гостинице номер возьму.. Мне немного надо...

Поднимаясь молча по лестнице, он мечтал:

«Разопьем вино, заберу палочки с бумагами, последний раз огляжу кабинет и произнесу шуточную прощальную речь своему шкафу, как чеховский герой... Письменный стол придется взять — привик к нему... Прощай, квартира!.. Хорошо, что жены — бывшей жены — нет!.. Не потребуются никаких объяснений...»

Но, к великому огорчению, жена оказалась дома. Она встретила его расстроенная и хотела тут же начать какой-то разговор, но муж, прячась за спину Славичева, ловко шмыгнул в кабинет и дверь запер на ключ.

— Вот чорт, баба! Опять хочет устроить какую-то сцену!.. Отравила наше удовольствие.

Федор Евсеич нехотя достал вино, торопливо залпом выпил полный стакан и, придвинув приятелю бутылку, начал молчаливо рыгаться в столе. Потом, вспомнив, взял телефонную трубку и стал отдавать приказание личному секретарю. Говорил нарочно громко, чтобы слышала жена:

— ...Так вот, Павел Петровиич! Комнату ты мне устрой и привези из моего кабинета, из бывшей моей квартиры... Слышишь? Из бывшего моего кабинета перевези личные вещи и письменный стол. Больше ничего не надо... Я приеду через пять или шесть дней... Понял?

Выходя из комнаты, он боязливо думал: «А вдруг жена остановит и станет об'ясняться или, хуже того — закатит истерику?»

Но Ольга Павловна стояла у окна и не повернула к ним головы.

— Ух! — выдохнул Кирсанов, садясь в машину. — Все кончено. Ваня! Дай полный газ! Воздуха хочется! — весело крикнул он шоферу и по-мальчишески рассмеялся.

Знакомые улицы казались другими. Деревья на бульваре слились в широкую зеленую полосу. Вскоре навстречу

побежало шоссе с зеленеющими по бокам коврами полей и суглинистых огородов. В душе Федора Евсеича все смеялось, радовалось и рвалось наружу. Ему хотелось запеть, но мешал, бьющий в лицо, поток воздуха. Тогда он сорвал кепку и подставил широкий лоб беснующемуся ветру.

— Знаешь, что? — спохватился Славичев. — Я ведь забыл захватить с собой контрольную ведомость.

Кирсанов сидел с полузакрытыми глазами, весь отдавшись безмятежному настроению.

— Как же теперь быть? Без нее обойдемся?

— Что ты сказал? — точно очнувшись, спросил Федор Евсеич.

— Говорю, забыл контро...

Но Кирсанов, не дослушав, ткнул шофера в спину:

— Катай назад, на Тверитинскую! Забыли!.. — Он повернулся к Славичеву. — Теперь мы вольные птицы! Чего нам?.. Назад, так назад! Куда угодно!

Машина повернула к городу...

— Ну, вот мы и приехали! — Славичев торопливо прыгнул против своего дома. — Я живым манером! Не держусь, — сказал он, скрываясь в калитке.

Почти тотчас же со двора показалась Зоя:

— Здравствуйте! А я думаю: кто к нам под'ехал? Вы на другой машине. Не узнала вас. Да и шофер не тот... Далеко едете?

— Далеко! На комбинат!.. Катаемся с вашим братцем. Погода хорошая. Воздух — дыши, не надьшишься! А нам чего — птицы вольные! — Кирсанов улыбался, ласково смотря на девушку. Сейчас она ему нравилась больше, чем всегда.

Зоя с завистливой шуткой ответила: — Счастливые! А я вот кручусь тут, нет времени как следует отдохнуть.

— Зоя Федоровна! Поедемте с нами! — воскликнул неожиданно для себя Федор Евсеич. — Честное слово, будете довольны! Часа через два доставим вас на самое это место. Ну, как? согласны?

— Нет! Не могу. Спасибо. У меня сегодня целая куча дел.

— Вот вы какая! Не хотите с нами покататься, — искренно пожалел он, и тут же, опять неожиданно, у него мелькнуло:

«А что, если жениться на ней? Жена была бы хорошая... Наверно, с удовольствием пошла бы за него... Вот только, как дети, — вдруг будут в нее, такие же карапузики?..»

Но додумать эту мысль до конца не пришлось: в калитке показался Василий Славичев. Шагнул на подножку, Славичев молча кивнул шоферу, и не успела захлопнуться дверца, как машина фыркнула и сорвалась с места. Кирсанов, весело улабаясь, помахал девушке рукой...

II

Зоя глядела вслед уезжающим до тех пор, пока они не скрылись в конце длинной малолюдной улицы, — зеленый автомобиль будто втиснулся в узкую щель сблизившихся домов и пропал.

О семейной истории Кирсанова Зоя знала и искренно сочувствовала ему. Желание иметь детей было ей понятно. У ней самой иногда мелькала мысль, всегда приводившая ее в смущение: «Если бы полюбить кого по-настоящему, крепко, уйти из родительского дома и создать собственную семью... Как это было бы хорошо». Но сделать решительный шаг в эту сторону ей казалось страшным, и случайную мысль она спешила отогнать.

Бывали минуты, когда девушка особенно остро чувствовала жизненные неудачи, — а они били ее часто. Против воли вспыхивало чувство зависти: «Почему у ее подруг жизнь складывается лучше, чем у нее? Ведь она не глупее их и внешностью не хуже многих других, а вот личная жизнь идет глупо... — Она сейчас же подавляла это чувство: — Сознательный человек не может так ставить вопрос. Это мешанство, непонимание обстановки и времени, в которых мы живем. Сейчас все личное должно быть принесено в жертву общественному. Иначе не может быть...» После этого оставалась длительная тоска, которую вытеснить можно было только упорной, горячей работой. Зоя так и делала, с

утра до глубокой ночи заполняя все свое время...

На другом тротуаре показался старший брат, Иван.

Сестра с сердцем отвернулась, направляясь во двор.

— Подожди! Подожди! Поговорить надо, — ухмыляясь, прогнусавил Иван, кобыляя следом за ней. — С Васильем хотел было, да разве его поймашь?.. Ответственный. Работает без нормы.

— Чего тебе от меня надо? — кинула девушка через плечо, не останавливаясь.

— Чего? По-серьезному хотел поговорить, вот чего, — вопросы разные накопились. А так как ты человек высоко-сознательный и сестра мне, то можешь лучше обсудить.

— С тобой разговаривать серьезно нельзя.

— Почему?

— Потому, что ты брызжешь слюной! Из тебя желчь льется, вот почему!

— Хм! Желчь! А из вас с Васильем радость выпирает: как все, дескать, во-круг замечательно. Как мы умны, лозки. Догоним и перегоним...

Зоя сделала негодующий жест, но приготовленная фраза осталась невысказанной: на крыльце выросла сутулая фигура старика Славичева.

— Опять сцепились братчик с сестричкой! Мир, что ли, поделить собираетесь — споры-то у вас кажинный день идут? По-моему, только тишину нарушаете да голоса надсаживаете.

Старик, охорашивая бороду, спустился с крыльца и сел возле него на узенькую скамеечку.

— Я в молодости знал одного техника. Мозговитый был, разные новые приспособления к машинам придумывал, — заговорил Федор Петрович неторопливо. — Так вот он хотел изобрести такую машинку. Можно в кармане ее носить. И от ней какую-то электрическую пластинку под язык. Видишь ли, когда человек говорит, особенно, когда спорит и кричит, то много зря энергии пропадает. Вот он и хотел ее собирать в карман в машинку. А там, куда хочешь употреблять: хошь лампу жги, хошь чай на ней кипяти. Польза от этого будет

не малая. — Федор Петрович вытащил табакерку и начал неторопливо свергывать цыгарку.

— Она — из молодых, да ранняя. Выше себя хочет прыгнуть, — проворчал недовольно Иван, проходя мимо отца.

— А ты, выходит, из пожилых, да скудоват умишком. Вот вы и сравнялись. Сердиться друг на друга нечего... Василий-то уехал, что ли?

— Уехал, — ответила дочь и стала подвизываться к шесту вьющийся горошек, который местами сорвало ветром.

Брат, стуча деревянной култышкой, пришел к дому. Старик проводил его до самой двери взглядом и потом обратился к дочери.

— Я третеводни в кинe был. Показывали новые заводы. Ох, и махины есть! Прямо чудеса! И все построили большевики. Машин теперь всяких наделаем чортову уйму!.. — Он затынулся, потушил цыгарку о подметку сапога и добавил в раздумьи: — Вот только бы с колхозами дело наладилось, а то жизнь будет люли-малина! Умирать не надо!..

— Зоя! А ты не забыла! Тебе куда-то надо идти! — послышался из окна старческий женский голос.

— Нет, мама! Не забыла. Сейчас иду! Собрание у нас ровно в четыре.

Зоя пошла в дом — надеть вязаную шапочку и взять папку с бумагами...

Федор Петрович продолжал мечтательно смотреть в ясное небо, умиляясь нарисованным самому себе картинам.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Стояли осенние переменчивые дни. Зима издалека прозила упорными ледяными ветрами, ночными заморозками и слякотью дожде-снега. То учреждение, которое возглавлял Павел Кондратьич Зверев, получало с «Пятилетки» ряд волнующих телеграмм. Они были пространные и короткие, иногда всего в одну-две строчки. Но за этими строками Зверев видел грандиозную картину строительства, делающего свои

гигантские шаги к конечной цели молодого и уверенно.

Первая телеграмма из этой серии гласила:

«... Сегодня ударники коксохима приступили к подготовке загрузки печей. Последнюю декаду десятилетний коллектив, преодолевая все трудности, полностью овладел сложной техникой пуска. В ночь на 26-е, после установки лапоров, печи будут загружены углем».

Через два дня областная газета поместила большую телефонограмму с подробностями первого получения кокса.

«... Специалисты-коксовики время выпуска кокса определяют обычно по цвету газа. Когда утром 29-го сменный инженер коксового блока открыл клапан, то из стояка повалил черный газ; после полудня газ стал прозрачным. Только это и требовалось».

120-тонный коксовыталькиватель, грохоча, двинулся вдоль батареи. На другой стороне печи работала дверная лебедка. Машинист, уверенно управляя рычагами, снял тяжелую металлическую дверь. Рабочие выгребли мусор, паровоз подвел к печи тушильный вагон, и приемщик кокса, в знак готовности, дал два пожарных сигнала.

Обер-мастер по выдаче кокса резко скомандовал:

— Давай!

Дверозэкстрактор легко подхватил дверь, плавно отведя ее в сторону. Машинист коксовыталькивателя включил контакт, и пресс своей шестнадцатитонной тяжестью толкнул кокс на другую сторону.

Раскаленная добела опромная масса кокса упала в покатый тушильный вагон, когорый двинулся под холодный душ в тушильную башню, а оттуда — на коксовый склад, где заведующий складом записал на приход несколько тонн первого кокса «Пятилетки».

Это, после плотины, была вторая, исключительная победа. Коксохимкомбинат являлся крупнейшим не только в Советском Союзе, но во всей Европе. Он состоял из восьми батарей с шестью-девятью печами в каждой, из четырех тушильных станций, двух угольных башен вместимостью по шесть тысяч тонн,

десяти силосов высотой в тридцать шесть метров, железобетонной эстакады в полтора километра длиной, сложнейших по конструкции угольных ям и смолоперегонного завода.

Целый ряд строительных неудач внушал серьезные опасения. И вот — благоприятный результат...

Утром Кирсанов прибежал на квартиру Зверева. Павел Кондратьич сидел с женой и маленьким сыном за чаем.

— Я думал, тебя в постели захвачу, — возбужденно от самой двери закричал Кирсанов, держа в руке газету. — Как ты находишь? Здорово. А? Ну, и молодцы ребята. Разуважили.

— Я телеграмму от них получил вчера около шести вечера, — ответил спокойно Зверев. — Ты чай-то пил? Садись, выпей стаканчик.

Кирсанов вдруг повернулся к хозяйке.

— Татьяна Павловна! Я с вами, кажется, и не поздоровался. Вот, скотина!.. Вы меня ради всех святых угодников уж извините. На меня это событие очень подействовало.

— Ничего, ничего! Я и не заметила, — засмеялась хозяйка. — Садитесь. Я вам уже налила.

Кирсанов грузно опустился на стул, отыскал в газете подчеркнутое красным карандашом место и выразительно прочитал:

— «... заведующий складом записал на приход несколько тонн первого кокса «Пятилетки». Как это тебе нравится? Сказано просто и вместе с тем торжественно. Слова, достойные дел.

— Это верно: хорошо, скромно, — подтвердил Павел Кондратьич. — Кричать, если тебя не душат, вообще не следует, тем более — при первых, сравнительно небольших успехах. Перестараться, сорвешь голос, и, когда победа будет полная, — у тебя только хрип, как с перепоею. Надо быть экономным во всем, даже в выражении восторга. — Он положил руку на плечо Кирсанова. — Вот мы пустили две батареи из восьми. Значит, осталось шесть еще негоговых. Да и что значит — пустили? Может быть, мы полгода будем сидеть на десятках тонн. Полностью освоить эту американскую штуку — не фунт

изюма. Не жук на палочке... Ну, давай, пей, а потом поедем на Медный.

— Федор Евсеич! Я слышала... будто вас надо поздравить?.. — Хозяйка с лукавой усмешкой посмотрела на гостя.

— Меня, лично? С чем же меня поздравить? Кажется, ничего такого у меня нет.

— Да-да! Верно-верно! — весело протянул Зверев. — Я тоже слышал. Нам, брат, все известно. Ты у себя там, в квартире, чихнул, а до нас уже дошло. Ничего не скрошешь.

Кирсанов, догадавшись, о чем идет речь, расплылся в широкой улыбке. — Фу, чорт возьми! Откуда же это все стало известно? Как будто, кроме нас с женой, пока никто не должен об этом знать.

— Дружище! Ты сам хвастался! Попомни-ка!

— Никому я не говорил.

— А все-таки слух этот, значит, верен?

— Да, как сказать... — Кирсанов развел руками. — Будто бы дыма без огня не бывает.

— Ага! Не отказываешься! Следовательно, по этому поводу при случае должен магарыч поставить.

— Само собой разумеется. Только вы, дорогой начальник, — Кирсанов ехидно посмотрел на хозяйку, — только вы советуете быть в восторгах экономным. Как же это увязать?

— Убил, каналья! Все-таки подсидел.. Ну, ладно! Магарыч откладываем до того момента, когда будешь справлять октябрины. Идет?

— Идет!..

Федор Евсеич начал рассказывать о том, как он примирился с женой:

— Две недели на холостяцком положении находился. Под конец надоело, но не сдавался. А тут она меня этим и огоршила. Говорит, сама не знала... Ну, разве устоишь против этого? Теперь мы самые нежные супруги. — В порыве Кирсанов притянул к себе сидевшего рядом мальчика. — Расти скорее, Гриша! Героем будешь!..

... Спустя два дня была получена и та долгожданная телеграмма, о которой больше всего думали:

«Домна принимает первые тонны шихты. Лундин».

Эти шесть слов в первую минуту привели выдержанного Зверева в смятение. То, что он говорил Кирсанову по поводу пуска коксовых печей, было не совсем точно. Он тогда не кричал об этом во всеуслышание. Но внутри у него все ликовало и рвалось наружу, подавляемое привычным усилием воли. Теперь же был один — можно и не сдерживаться, да он и не мог бы себя сдержать.

Павел Кондратич быстро поднялся и тут же опять сел, не отдавая себе отчета, автоматически поправил на столе разложенные бумаги и откинулся на спинку кресла. В глазах горел огонь возбуждения. Руки нервно барабанили по кромке стола. «Домна принимает первые тонны шихты...» Он снова вскочил и сделал два конца по комнате. Остановившись у кресла, вслух произнес:

— Вот и домна выходит в строй. Металлургический начинает свою жизнь. Это чудесно!

Павел Кондратич постарался привести себя в порядок. Нельзя же, в самом деле, вести себя мальчишески или, как... Кирсанов, у того нервная система взвинчена другим...

Успокоив себя, он с холодной выдержкой протянул руку к телефону, чтобы вызвать «Пятилетку». Через несколько минут оттуда смелый инженер обстоятельно докладывал ему:

— Загрузочные работы в полном разгаре. Сейчас начинают включаться рукава кольцевого еодопровода... Загрузка идет пока вручную, чтобы предохранить свежую огнеупорную кладку...

— Так, так... — подтверждал Зверев спокойно и по-деловому, хотя свободная левая рука его взволнованно крутила жилетную пуговицу.

— Вручную должно быть загружено, примерно, сто тридцать кубометров, — продолжал сообщать инженер. — После этого люди уступят место механизмам. К аппарату «Мак-ки» побегут склиповые вагоны с шихтой. Начнется первая плавка...

— Ага! Да. Хорошо. Благодарю вас. Очень хорошо!

Павел Кондратьич положил трубку на место и некогоровое время сидел недвижно, в раздумьи покусывая пухлую губу.

— Да, очень хорошо! Превосходно! — проговорил он вслух и поднялся, стал набивать портфель деловыми бумагами. Нужно было ехать в обком...

II

Помощник главинженера, Антип Зворыкин, в прорезиненном плаще и сапогах с длинными голенищами ходил по дальним участкам заводской площадки, где шла достройка второстепенных сооружений. Упорно моросил холодный дождь, под ногами чавкала грязь и сверкали мутные лужи.

Людей работало здесь недостаточно — все были брошены в основные цеха, и дело двигалось медленно.

Разговаривая с прорабами и десятниками, Антип Игнатьич думал:

«Вот вам повод для новых обвинений нас центром... Эти сооружения считали неважными, совсем не обращали на них внимания. А теперь — дождь, слякоть, люди и материалы мокнут. Когда теперь мы все это окончим? А тут — на носу зима... Как все нескладно идет...»

Настроение у него сегодня соответствовало погоде. Складывалось почему-то так, что неприятности сыпались одна за другой с самого утра. По дороге из города он разорвал свое кожаное пальто, — поэтому и пришлось надеть чужой плащ. Потом — раздраженный тон начальника по поводу работ в теплоцентрали и, наконец, удручающая картина вот здесь. Но, главное, конечно, все-таки — письмо, полученное сегодня от Шухаевой из Москвы.

После внезапного и непонятного отъезда мужа Вера Александровна тогда на второй же день пришла к нему на квартиру, — на заводе о странном бегстве инженера еще не знали. Сама она была уверена, что муж уехал в Москву, где, по ее мнению, у него имелась старая любовная связь. Вера Александровна пришла за советом. «Как ей поступить: немедленно же ехать туда или некоторое время выждать?»

Что мог Антип Игнатьич ответить на это? Для него отъезд Шухаева казался

просто диким. Человек свихнулся или же решительно захотел порвать с женой. Тогда зачем же такая поспешность и таинственность? Глупо... Он предложил Вере Александровне немного переждать, — может быть, вернется или напишет. Но Шухаева ждать не захотела: через два дня заперла квартиру и с обоими детьми уехала на поиски мужа. Теперь она писала, что Анатолий Викторович, повидимому, где-нибудь погиб, так как о нем нет никаких сведений, общала, что предполагает опять приехать в Свердловск, где у нее, помимо квартиры, есть также и друзья, которые помогут ей устроиться...

Антипа Игнатьича пугало: вдруг она рассчитывает на него? Приедет сюда и поставит его в глупейшее положение. В какую же гнусную историю он влопался. Не чувствовать никакой симпатии — и сделать такой поступок.

«Мерзость. Недостойно порядочного человека!» — мысленно ругал себя Зворыкин, представляя картину этой тяжелой и ненужной встречи.

Недовольство собой по этому поводу у него было и раньше и порой проявлялось довольно остро, вплоть до того, что он хотел просить перевода на какую-либо другую стройку. Но обстоятельства складывались так, что долго раздумывать об этом не приходилось — все личное и бытовое отступало на задний план и в сравнении с вопросами строительства казалось мелочным, не стоящим серьезного внимания. А с внешней стороны все шло нормально, ни в чьей жизни не вызывая никаких потрясений...

«Как же теперь быть?.. Не ответить — нельзя. А отвечать нечего. Разве можно найти доводы для женщины, потерявшей голову?» — в сотый раз задавал он себе вопрос.

К упоавлению подехала машина с Павлом Кондратьичем и Кирсановым. Узнав, что начальник с главным инженером находятся в кузнечно-прессовом цехе, где теперь шла установка механизмов, приехавшие, не заходя в управление, направились туда. Сейчас шел монтаж самого большого пресса, имевшего колоссальный вес — шесть тысяч тонн. Доставка его из Германии потре-

бовала около десятка поездов со специальными платформами.

Поздоровавшись, Павел Кондратьич стал внимательно наблюдать за работой. Его интересовала каждая деталь. Он любовно погладил полированную раму с зеркальной поверхностью, потрогал ногой гигантскую станину, взял попавшийся под руку болт с шестигранной головкой, — все вызывало в нем восхищение.

— Как аккуратно делают, черт возьми, эти немцы! Какое внимание обращают на отделку. Просто и вместе с тем изящно. Ну, честное слово — стальная поема! Вот так же нужно и нам. Нет. Нам надо лучше. Непременно лучше!.. Грибанов! Как ты думаешь — какова будет у тебя продукция? — повернулся он к директору будущего завода.

— Надо догнать и перегнать, — поллушутливо, полусерьезно ответил тот.

— Ладно. Будем ждать.

Начальник механо-монтажа — маленький человек в синей блузе-спецовке — вылез из нугра механизма и, вытирая паклей маслянистые руки, уверенно сказал:

— Через год, товарищ Зверев, мы с этого завода будем выпускать такие машины, что иностранцы станут завидовать.

Павел Кондратьич вскинул на него взгляд.

— Говорите, через год?.. Что ж, если через год, то это не так уж много. Потерпим... А у вас как с этой механикой — скоро?

— У нас на курьёрском летит. Не задержим! — Молодой инженер снова полез в клетку машины.

Назначение этого маленького человечка начальником по монтажу произошло полтора месяца назад совершенно неожиданно. Монтировавший кузнечно-прессовые механизмы немецкий инженер внезапно заболел тяжелой формой малярии. Заменить его было нечем, а время не ждало. Тогда работавший вместе с немцем этот невзрачный молодой инженер и заявил в заводууправлении:

— Машины мы можем смонтировать и пустить сами. Незачем ждать немецких специалистов.

— Ручаетесь, что сделаете?

— Попробую.

Начальник строительства повысил тон:

— Не пробовать надо, а сделать.

— Сделаем сами. Ручаюсь, — ответил тот уверенно.

Часть молотов и прессов меньшего размера была уже готова и ждала своего опробования, — на это опробование Зверев с Кирсановым сейчас и приехали.

Заработал турбогенератор. Механики начали включать один за другим механизмы. Многоотонные молоты и прессы, маслянисто чавкая, мягко опускались на пустые колодки и наковальни, на которых нормально должны были лежать раскаленные железные или стальные болванки.

Лицо Зверева ежесекундно меняло свое выражение: то делалось напряженным, почти суровым, губы по-детски вытягивались, то расплывалось в широчайшую улыбку, которая незаметно переходила в удивление. Взгляд юношески живых глаз, в зависимости от этого, или изумленно останавливался, или начинала пытливо щупать, бегать по мелким деталям работающих станков.

— Ловко, якорь их возьми, действуют! — восхищенно высказывал он языком настоящего уральца, будто только что приехал из деревни и машины увидел впервые.

Спустя минуту, Зверев говорил уже так, как следует говорить человеку, знающему не только машины, завод, но и кто лично он сам:

— Все это покамест отлично. Но вот, как они покажут себя на деле? А главное, как мы... вы, — он обвел пальцем по кругу людей, — как покажете себя вы, товарищи инженеры, техники и рабочие. Построить завод, в особенности такой гигант, как наш Механический, — это очень много значит, даже для нас, большевиков, а пустить по-настоящему механизмы и освоить полностью новые приемы производства — это неизмеримо труднее. Я думаю, мы в полной мере учтем как достижения, так и промахи других советских гигантов... Ну, счастливо вам!.. Всякого успеха!

Зверев протянул руку молодому инженеру, подал руки также технику и бригадиру, стоявшим поодаль; в сторону рабочих дружески кивнул и пошел вместе с Кирсановым и начальником строительства из помещения.

По пути они заглянули в соседний мартеновский цех, где уже больше месяца работала одна из стационарных печей. Тут вместе с производственниками находились и строители. Сталевары чувствовали себя окончательно хозяевами. Они перекачивали вагонетки, стучали внутри огромного, многотонного ковша, приготавливая его для принятия стали, хлопотали над изложницами, гремели цепями мостовых кранов.

Готовая печь возвышалась чуть не до стропил. На втором ярусе, где производилась загрузка шихты, kloкотало двадцать пять тонн огненной лавы, заключенной в огнеупорном котле. От кирпичных огнестойких стен дышало зноем. Гудел газогенератор.

Время от времени открывалось жерло, и в бушующую, солнечно-белую расплавленную массу автоматически подавалась новая порция шихты.

— Минут через двадцать будет выпуск стали. Может быть, подождете? — наклонившись к уху Зверева, крикнул начальник.

Павел Кандратьич взглянул на часы.

— Нет. Мы и так уже опоздали. Нам надо заехать еще в одно место. Ты как думаешь? — обернулся он к Кирсанову.

— Надо ехать. Нас там ждут, — ответил тот, решительно направляясь к выходу.

В проходе они столкнулись с помощником главного инженера. У Павла Кандратьича дрогнула мягкая, добрая губа, растягиваясь в приветливую улыбку.

— Ага! Попался, наконец-таки! А я думаю, где наш Антип Зворыкин? Хоть посмотреть бы на него... Ну, что, как орудуете?.. Только вот что — так как мы торопимся, то вы проводите нас, а по пути мы и потолкуем.

Настроение у Антипа Игнатьича несколько не изменилось от встречи с начальством. Он обстоятельно отвечал на задаваемые вопросы, улыбался на шут-

ки, оборачиваясь то к одному, то к другому, но в каком-то одном пункте его сознания продолжала копошиться все та же назойливая мысль о Шухаевой. Она даже ухитрилась подыскивать соответствующие фразы для ответного письма.

И вдруг лицо Антипа Зворыкина посветлело. Мысль сделала все, что от нее требовалось: сегодня же он напишет в Москву, что приезжать Вере Александровне сюда нельзя, пока не выяснится окончательно отношение властей — именно властей — к ее мужу...

В это время подошли к машине. Зверев, обращаясь уже ко всем, спросил:

— Кстати, товарищи! Как обстоит дело с Шухаевым? Куда и почему он удрал?

Начальник строительства развел руками:

— Неизвестно! Мы сначала предполагали — не связан ли его отъезд в какой-либо мере с заводом... Ничего не нашли.

— Может быть, причина семейного порядка. Что-либо с женой... — высказал Кирсанов, припоминая свое недавнее прошлое.

Антип Игнатьич сейчас же подхватил:

— Да, вероятно, причина семейного порядка. Так думают все, кто его близко знает. — Говоря это, он несколько не чувствовал себя виноватым.

Когда машина уже тронулась и начала делать поворот к шоссе, из-за дома вынырнула Зоя Славичева. Девушка была в ватной намочшей спецовке, не по росту длинной и спускавшейся с плеч; на голове блином сидела мокрая кепка.

Кирсанов сделал произвольное движение к шоферу, чтобы придержать машину, но тут же махнул рукой:

— Ничего! Поезжай!

Вспомнилась когда-то мелькнувшая мысль, что Зоя могла бы быть для него хорошей женой. Он сейчас поморщился и ответил себе: «Разве можно сравнивать с Ольгой? Моя жена — орел, а эта... такая... сиротливая...»

И Федору Евсичу стало жалко ее...

В кабинете у Зверева на столе лежала новая телеграмма с «Пятилетки».

«Все агрегаты готовы к эксплуатации. Домна подготавливается к задувке...»

Павел Кондратьич перечитывает ее не один раз, вникая в каждое слово, пытаясь представить себе готовые к плавке механизмы и волнующихся людей.

Через несколько часов рождается на свет величайшая в стране доменная печь. Значит — рождается завод.

Он нажимает кнопку звонка и говорит появившемуся личному секретарю: — В пять у нас назначено собрание. Вы не забыли позвонить в Крайметалл и Облплан?

— Все сделано, Павел Кондратьич.

Зверев нажимает другую кнопку.

— Пожалуйста, дайте мне стакан чая, я сегодня с утра не пил, — говорит он уборщице.

Но поданный стакан так и остается стоять на столе: нужно просмотреть пачку спешных бумаг, требующих личного рассмотрения, потом продиктовать секретарю несколько приказов, потом проработать несколько вопросов, которые должны быть сегодня поставлены на заседании. А тут начали появляться посетители с неотложными делами.

Павел Кондратьич Зверев не мечется от одного дела к другому, не хватает в руки сразу по несколько приказов или уведомлений, не разговаривает одновременно с тремя или с пятью лицами. Многолетний опыт, рабочая сноровка, быстро соображающий ум дают ему возможность работать споро и четко.

В четыре часа — вторая телеграмма, оттуда же:

«С водопроводом авария. Аварийная бригада при жестоком ветре борется за восстановление. Полагаем, задувка домны не будет отложена...» — Товарищ Симонова! Смените, пожалуйста, чай, дайте горячего!

Еще телеграмма:

«Обнаружена в новом месте авария водопровода... Своевременный пуск находится под угрозой...»

Зверев отодвигает начатый стакан и берет телефонную трубку.

— Дайте «Пятилетку»! Да, да!.. Алло!.. Заводуправление?..

В шестом часу в кабинете началось заседание...

III

Со степи дуют ледяные ветры, крутятся снег и песок. Домна номер первый переживает родовые муки.

Директор будущего завода, Лундин, так же остро чувствует рождение своего технического детища. Последнюю неделю он спит по два, по три часа в сутки. Вскрикивает с постели и в одном белье подходит к окну — все кажется, будто случилось что-то непоправимое. Получив по телефону успокоительный ответ, ложится, а потом опять:

— Варя! Ты спишь? — окликает он жену. — Будто — тревожный гудок! Ты не слышала?

— Нет.

— А телефон не звонил?

— Телефонного звонка не было. Ты все думаешь об этом, вот тебе и чудится. Спи! Ничего не случилось!

— Как получим первую плавку, так на целых три дня засну. А теперь не могу. Нервы окончательно развинтились. Никогда этого не бывало... Он погружается в подушку, чтобы через некоторое время снова тревожно открыть глаза.

Иногда домна казалась ему живым великаном, отчаянно борющимся с сотнями окруживших ее чудовищ. Осияют они ее — и конец всему человеческому существованию. Весь мир будет погружен в небытие. Домна-великан покамест победоносно отражала темные, злобствующие силы, но их не убавлялось. Будто рождала их сама земля. Вместо уничтоженных возникали, точно в сказке, новые и новые, остервенело кидаясь в бой...

Последние дни не ладилось с водой. Для охлаждения раскаленного доменного кожуха была устроена сложная система из сотен трубок, непрерывно и обильно льющих на него воду. Но она то и дело портилась. Починят в одном месте — неисправность окажется в другом. Аварийные бригады бросались то в ту, то в другую сторону, забывая об отдыхе и сне.

Утро только еще поднимается. На востоке, с боку Казачьей, начинается чуть-чуть светлеть небо, — Лундин уже в машине. По бокам кузова свирепо свистят

ветер, в переднее стекло с ожесточением хлещет снег и песок. Но машина упорно мчится вперед.

«Неужели и сегодня не наладим? — думает Лундин, — всматриваясь в мутно поблескивающие огни построек. — Не может быть. Обязательно сделаем! Во что бы то ни стало все должны исправить и пустить!..»

День приходит серый, беснующийся, — степь не знает себе покоя. Не думают о покое и люди, облепившие мертвое тело гигантской шестидесятиметровой печи и неотрывно ведущие борьбу за ее жизнь...

К вечеру — победа одержана.

Мастер открыл задвижку у северного стояка, и вода хлынула в сложный кольцевой водопровод. Металлические артерии ожили. Все исправно. Никаких дефектов. Теперь можно приступать и к главному...

Ночь. В три часа вызывает Москва. Лундин сам подходит к телефону, — разве можно теперь спать? Он передает последнюю сводку о подготовке к пуску.

Москва вызывает три раза, через каждые полчаса.

Бесконечно звонит Свердловск.

Со степи все дуют злобные ледяные ветры. Торопливо бегут облака. Увенчанная колошниковой площадкой, верхушка домны воткнулась в предрассветную муть неба и беспokoйно бороздит его. Внизу — тревожно, поглощенные одним, сосредоточенные на одном, спуют люди. В борьбе двух источников света: электрического и предутреннего, лица их кажутся неживыми.

У горна — Лундин, главный инженер Зулима, начальник цеха и ряд других лиц руководящего и технического персонала. Ночи для них в эти сутки не было. Разговор их отрывист и немногословен. Взгляд остро напряжен, тело и воля свернуты в тугую пружину...

Десять часов утра. Внешне спокойно и буднично, только в глазах лихорадочный блеск и легкая дрожь в руке, — начальник цеха берет телефонную трубку к будке мастеров скиповой лебедки:

— Воздуходувка? Товарищ Тихомиров?.. Добрый день! Как у вас — все готово?.. Идите световых сигналов и

дайте дутье, но не полным давлением... Всего лучшего!

Ветер неожиданно переменяет направление, подув с горы. Сразу потеплело. Трепетавшие в разных местах красные флаги повернули свои полотнища в другую сторону — к востоку.

Дважды вспыхнула сигнальная лампочка. Ей ответила воздуходувная станция, и сейчас же в клапан холодного дутья с оглушительным шумом ворвался сжатый воздух.

Еще некоторое время томительного, напряженного ожидания, и по инстанциям сурово и сухо зазвучал нагнетенный доказа небывалым содержанием приказ:

— Клапана откры-ыть!

— Клапана откры-ыть!..

Из кауперов, дышащих восьмисотградусным жаром, воздух стремительно ринулся в могучую грудь домны. Домна загудела, ненасытно глотая в свои шестнадцать фурм по две тысячи кубометров в минуту горячего воздуха. В пруди ее забушевало пламя..

На литейном дворе на рельсах стояли семидесятипятитонные ковши, готовые принять первый чугун.

Начальник строительства, он же и директор, Андрей Федорович Лундин, наскоро набрасывал в блокноте телеграмму в Москву и Свердловск за подписью треугольника:

«В 11 часов 15 минут по местному времени домна номер первый завода имени «Пятилетки» задута. Все готово к приемке первого чугуна...»

IV

В Свердловске, на улице Володарского, в большом сером доме ярко освещено широкое «итальянское» окно с простенькой занавеской. Зверев и на квартире часто засиживается за делами чуть не до утра.

Сейчас еще только девять. Он недавно приехал с заседания горсовета, наскоро поел, выпил стакан чая, а другой взял к себе в комнату. Сейчас он готовит доклад к предстоящей областной конференции.

Двое детей-дошкольников постучались, и один за другим тихо вошли, чтобы пожелать папе спокойной ночи.

Будет ли у него спокойная ночь? Если будет, то нескоро. Может быть, под утро.

Павел Кондратьич, не отгоняя деловой мысли, ласково гладит того и другого по голове и подставляет свою сухую, бледнокровную щеку.

— Ну, спокойной ночи, детки! Ложитесь!

— Папа! А ты хотел нам рассказать... — начинает робко один.

Но отец перебивает:

— Мне некогда, ребятки. В следующий раз, да и вам пора спать. Идите.

Из соседней комнаты слышится голос матери:

— Гриша! Сережа! Вы мешаете папе работать!..

«Эх! Некогда с малышами заниматься!..» — думает Павел Кондратьич и снова углубляется в свои деловые, неотложные вопросы.

В девять пятьдесят пять подают телеграмму-молнию:

«Сегодня в 21 час 30 минут сделан первый выпуск хороших шлаков и чугуна, показавший полный успех задувки. Печь работает нормально, обслуживающие механизмы исправны».

Зверев быстро поднимается и, держа победно в руке телеграмму, начинает взволнованно ходить по комнате.

— Таяя! Чугун есть! Печь работает исправно! А? Как? Великолепно? — Он полуобнимает в дверях жену. — Замечательно! Я был уверен, что все будет хорошо.

— Я очень рада!.. Может быть, тебе налить горячего чая? У тебя уже остыл.

— Да, да! Можно!

Он рывком берет телефонную трубку, чтобы сообщить в пять, в десять мест об этом долгожданном событии. Разве можно медлить? Все должны знать сейчас же, оию же минуту.

— Кирсанов! Ты слушаешь? Холера тебя возьми! Оглох, что ли? Ну, да-да! С «Пятилетки!» Все, как нельзя лучше! Все великолепно!..

Выдержка Павлу Кондратьичу изменяет: в первые минуты он говорит совсем не тем языком и тоном, которые ему присущи...

Через час приходит новая депеша:

«Разливочная машина приняла чугун. Ни одна мульда не лопнула. Полученный чугун высшего качества № 0...»

Зверев взволнованно придвигает листок бумаги, чтобы послать в ответ поздравление с достигнутым успехом на фронте социалистического строительства...

Телеграмма отправлена. Что-то еще нужно сделать. Он долго неуспокоившимся шагом ходит по комнате.

«Все это хорошо. Очень, очень великолепно!.. Что же я еще хотел сделать? — спрашивает он себя, в раздумьи хватаясь за лоб. — Вот не во-время захлестнуло! Ведь что-то мелькало... Чугун высшего качества. Это превосходно!..»

И вдруг Павел Кондратьич вспоминает. С теплой, ласковой улыбкой кому-то вдале, он садится к столу и берет за ручку.

«Дорогой Степан! — пишет он. — Я слышал, что после ликвидации всяких недоразумений тебе поручили большое дело по строительству в соц-городе. Чрезмерно радуюсь за тебя и за то дело, которое ты будешь вести. Старый инженер Дородный справится со всякими трудностями... А также поздравляю тебя, и себя, и всех строителей социализма со значительнейшей победой на этом фронте — с пуском первой домны. Дружески, братски целую.

Твой П. Зверев».

Ворочаясь в бессоннице на широком диване, Павел Кондратьич раздумывал о прошедшем.

«Шибко обиделся тогда Степан. Подвели они меня, язви их холера!.. Ну, ничего. Все уладилось...»

Мысль перескочила на настоящее:

«Завтра, не забыть бы, утром надо съездить на Механический на плавку стали в качающейся мартеновской печи... Замечательная печь. Первая в Союзе. Через месяц войдет в строй вторая, такая же, потом третья... Целые потоки стали! Машин и ста-али... О-че-нь хо-ро-шо!..»

С этими словами Зверев и заснул.

Гремит барабан

Роман

Ш. ГЕРГЕЛЬ

(Продолжение ¹⁾)

17

Утром солнце озарило несметное количество «петушиных хвостов». Жандармы заняли село и ведущие в него дороги. Входить мог каждый, выходить было запрещено. Жандармы носились взад и вперед на гарцующих лошадях, а патрулирующие отряды все туже стягивали цепь вокруг села.

На рассвете были заняты все важнейшие пункты, а когда солнце взошло, жандармы уже сторожили заранее намеченные здания. С листом бумаги в руках они одних вытаскивали из кроватей, других отрывали от работы и читали им приказ немедленно сдать припрятанное, зарытое оружие. Один из них провожал домашних к месту обыска. Остальные же, не снимая «петушиных хвостов», бережно положив оружие рядом с собою на землю, брались за лопаты.

Парная телега Имре Пензеша-Варги уже с утра ездил от дома к дому. Штирийскими тяжеловозами правил Пустай, а рядом с ним на козлах сидел жандарм с примкнутым штыком. Телега останавливалась перед намеченными домами. «Петушинный хвост» свистком давал сигнал, и со двора выносили завернутые в холст винтовки, и целыми ящиками таскали патроны. Все это нагружали на телегу, жандармы возвращались в обшаренный дом. Обитателям его запре-

шалось выходить на улицу. Оттеснив их в комнаты, жандармы со спущенными набородниками и винтовками в руках становились в дверях на стражу.

В полдень обыски уже всюду закончились. В садах и погребах зияли глубокие ямы.

Кто бы поверил? Какая подлость! Оружие раздавали для национальной обороны, а теперь вырывают последнюю винтовку. Теперь враг, значит, уже может сидеть спокойно в Трансильвании, в Словакии, в Банате и в Западной Венгрии? А разве против красных теперь уж не нужно оружия? Или теперь уж на деревню нельзя положиться? Или господа нашли себе другого, лучшего защитника? А в венгерских землях пусть, значит, навеки останутся чехи, румыны, сербы и австрийцы?

Теперь уже не они — главные враги. О нет! Теперь истинный враг — сам мадьяр. Ведь против кого же велась эта великая подготовка? Кому надо было дать почувствовать сильную руку? Мадьярам, венгерским крестьянам, беднейшим слоям крестьянства. Ну, да! Вон висит об'явление, наклеенное общинным служителем на стены, на трактир, на двери еврейских лавочек, на каждый дом главной улицы, — об'явление о том, что в субботу состоится торги. Состоится! Каждый, желающий купить что-нибудь, может совершенно безопасно принять в них участие, ибо верховная власть всеми средствами будет охранять

¹⁾ См. «Новый мир», кн.кн. 8 и 9 с. г.

свободу торговли. Продаваться будут тридцать коров, сорок поросят, шестнадцать лошадей, шкафы, кровати, множество перин, а также плуги, бороны, молотилки. Кто в субботу утром, до начала распродажи, внесет наибольший залог, тот имеет право приобрести подлежащее продаже имущество как целиком, так и поштучно. Так вот почему была вся эта суматоха, вот из-за чего необходимо было отобрать оружие!

Телега Антала Пустая первая выехала из села. Оружие было закрыто большим непромокаемым брезентом. Вокруг телеги трусили конные жандармы. Часть жандармов еще оставалась в селе. Вокруг их коней волновался высыпающийся на улицу народ. Спешил по улицам Бенце. Люди уступали ему дорогу. На краю села стоял жандарм из местного участка. По дороге в замок — жандармские посты. Вокруг села, по всем дорогам, всюду сверкали штыки. У входа в замок стоял управляющий, как будто бы ожидал этого гостя.

— Пойдем, — сказал он, — я хочу сделать маленький обход.

Они смотрели, как происходит погрузка. Крупные, тяжелые волы тащили по размякшей земле на станцию возы с зерном. Заглянули и в помещение для батраков. В конюшне порядок и чистота, могучие штирийские тяжеловозы, только-что вычищенные, дремали стоя. Швейцарские коровы сонно пережевывали жвачку. Ласкающим взглядом окидывал управляющий свое добро. Потом они подошли к другому зданию. Управляющий выбирал ключ из связки. Тяжелая железная дверь со скрипом открылась.

— Входи, пожалуйста, — вежливо пригласил управляющий, уступая Бенце дорогу.

Огромное помещение было пусто, чисто выметено, гулко отдавались шаги. Бенце ныло оглядывался по сторонам. Потом он поднял налитые кровью глаза на упавляющего.

— Коасивый зал, а? Пригодился бы и для танцев, — со странной усмешкой заметил управляющий.

— Почему же он пустой? — спросил Бенце. — А где же... Здесь ведь не хо-

дили с обыском... Сюда никто не сунет своего носа. — Они поглядели друг на друга. Печальные глаза крестьянина с неммым вопросом впились в лицо упавляющего. Тот, усмехаясь, выдержал взгляд.

Было время, когда небольшая комиссия, состоявшая из переодетых в штатское платье офицеров, каждый месяц приезжала в замок. Эти офицеры охотно подавали руку и Бенце... А когда получалась предназначенная для сокрытия партия оружия, Бенце с несколькими крестьянами тайком переносил винтовки с подводы в склад. Теперь склад был пуст. Управляющий посмеивался. Сейчас Бенце хорошо понимал: весь этот обход был предпринят для того, чтобы показать ему склад пустым, — оружие исчезло, перенесено в неизвестное Шандору Бенце место.

Дэнэш Бицо изредка похлопывал хлыстом по голенищу. Бенце шел с ним рядом. Левую руку засунул в карман плотно прилегающих брюк, правой поглаживал хорошо сидящую черную куртку. Так вошли они в контору. Управляющий пригласил сесть гостя, на лице его все еще играла ироническая улыбка. Бенце продолжал стоять и ждал.

— У тебя что-нибудь есть? — спросил Дэнэш Бицо. — Я хочу сказать — оружие или что-нибудь в этом роде?

— Нынче его у меня отобрали, — хрипло ответил Бенце.

— Это я знаю, а у тебя с собою, в кармане? — Он усмехнулся. — Тот револьвео, что ты вчера захватил?

— Нет, — крестьянин улыбался, выжидая.

— А в голенище? И там ничего нет?

— Нет, там тоже ничего.

Дэнэш Бицо сунул руку в свой задний карман. Он вытащил револьвер, бросил его на письменный стол и подошел к крестьянину. Он был выше его на целую голову.

— Ну, теперь мы можем разговаривать. Ни у кого из нас нет оружия. Значит, мы не можем повредить друг другу. Ну, выкладывай!

— Почему... почему у нас отобрали? — простонал Бенце.

— Почему у вас отобрали оружие? Тебе это хочется знать? — Бицо сел на письменный стол, руки он сложил на груди, ноги его болтались. — Так послушай, разве твоя рука еще достойна оружия? Скажи-ка, разве ты тот, кем был прежде? Когда-то, в те времена, мы могли бы доверить тебе всю страну. Тогда ты защищал бы вверенное тебе добро от бога и чорта. Но разве ты теперь прежний?

— Я? Конечно, я прежний, — Бенце посмотрел в упор на своего собеседника.

— Не хочешь ли этим сказать, что это я теперь не прежний?

— Нет.

— А что же?

Бенце сделал шаг вперед. Он подошел вплотную к управляющему.

— Я остался тем, каким и был. И господин управляющий все тот же. Только, — он вздохнул, — тогда, в двадцатом году, я не знал так, как знаю это теперь, чего я хочу, и чего вы... вы хотели тогда, хотите и теперь... — Он отступил назад и смотрел, выпятив грудь, на лицо управляющего, на его дрожащие губы. Рука Дэнэша Бицо резко деснулась, она шарила сзади, по столу. Бенце бросился вперед. Железной рукой он схватил ищущую револьвер руку управляющего. — Бросьте это...

— Ты, — хрипло произнес Бицо, — ты...

Железная ладонь Бенце пригвоздила на стол обе руки управляющего, тяжелое тело его налегло на колени Бицо, удерживая его на месте.

— Отпусти. Я тебя не трону, — сказал тихо Бицо. Когда рука Бенце освободила его, он встал, отодвинул дальше от себя револьвер и стал шагать взад и вперед по комнате. Он не сердился. Улыбался и говорил: — Ты стал сильнее, чем раньше. Значит, неправда, что ты размяк. Я ошибся. Ты мужественный, открытый, прямой мадьяр. Но поднимать руку на своего начальника! Хотя ты и сильнее, но ведь начальник я тебе! А ты поднял на меня руку! Ах, ты осел! Ты не знаешь, куда идешь?

— Знаю. К гибели я иду, — с горечью сказал Бенце.

— Мог бы мне сказать об этом. Я бы тебе помог.

— А все остальные?

— Я уже говорил тебе, нечего беспокоиться о других.

— Но они беспокоят меня.

— Вот эти заботы и довели тебя до этого. Они тебя и в могилу сведут.

— В могилу? Возможно. Но я и других с собой в могилу стащу.

— Ты... — Бицо схватил хлыст.

Сапог крестьянина угрожающе топнул по полу. Управляющий стоял неподвижно. Длинный красный шрам на его лице вздрагивал.

— Чего же ты, собственно, хочешь? — отрывисто, грубо спросил он.

Бенце долго, испытующе смотрел на управляющего, повернулся и, шатаясь, спустился во двор. Быстро прошел через ворота замка. От полей, разогретых солнцем, шел пар. На краю горизонта лиловые облака обложили небо. В селе дым столбом тянулся вверх. Мужчины, засучив рукава, работали молотками, поправляя садовые изгороди. Женщины и грязные ребята плелись по дороге из леса, ташили хворост. Жандарм все еще стоял на своем посту. Группы крестьян толпились перед расклеянными объявлениями. Когда Бенце поровнялся с ними, они подняли головы и окликнули его, но он пошел своей дорогой, не останавливаясь.

Одна мысль занимала его: «Как достать денег для покрытия расходов Петраша? Рац даст, крестьянин из Хэдкэ тоже, все дадут. Чорт побори!..» Он с грохотом распахнул калитку своего дома. И вздрогнул. На крыльце стоял Имре Пензеш-Варга.

Кулак заговорил об обыске. Конечно, правительство не может об этом заявить во всеуслышание, но одно верно: оружие понадобилось потому, что война на носу. Рано или поздно разразится война, затем-то и нужно оружие. Или еще вернее, что господа размотали полученные от итальянцев деньги, а теперь итальянские генералы приехали на смотр. Потому-то и свозят в арсеналы старые винтовки. Там столько оружия, что итальянцы не разберутся. Уж, наверное, что-нибудь в этом

роде затеяли. Вот что говорил Пензеш.

— Нужно что-нибудь предпринять.

— Что именно? — Бенце поднял глаза на Пензеша.

— Нельзя дать вещам утечь отсюда во время торгов, — но, взглянув на бледного, как мертвец, выпучившего глаза Бенце, он прикусил язык.

— Ну, говори, — торопил тот кулака.

— Дело в том... не надо допускать, чтоб чужие покупатели сунули сюда свой нос. А если они все-таки появятся, нужно у них отбить охоту.

Он начал развивать свой план.

Неподвижное лицо Бенце дрогнуло, рот его открылся. Он разразился грубым, отрывистым, задыхающимся хохотом. Имре Пензеш-Варга с удивлением смотрел на него.

18

Жандармы приказали доставить оружие на хутор Имре Пензеша-Варги. Пустая они ссадили с телеги и приказали ему убираться домой.

— Я только найду к своей новости, — показал он на дсм.

— Марш отсюда! — прикрикнул на него «петушиный хвост», хватаясь за винтовку.

Пустай ушел. Не доходя до села, он встретил вторую телегу. Он коснулся рукой шапки и пошел дальше.

Слева, на краю помещицкого выгона, появился всадник. Лошадь его пятилась задом. Развернутым фронтом двигались на нее марширующие колонны... Одна, две, пять колонн. Всадник повернул своего коня. Поднял руку. Очевидно, он командовал, но на таком большом расстоянии слова пропадали. От каждой колонны отделился человек. Один из них был Янош Мештер. Окружив всадника, они махали руками, показывали на Пустая.

Кочь вскачь понесся по дороге. Всадник пригнулся к лошадиной шее. Поровнявшись с Пустаем, он круто осадил лошадь.

— Иди сюда, — крикнул всадник папню. Это был практикант из замка.

Пустай, подойдя ближе, спросил:

— Что вам от меня угодно?

— Заткни глотку! Отвечай, когда спрашивают!... Почему ты не ходишь на левентские занятия?

— Меня не звали. Да я нынче целый день работал возчиком у жандармов.

— Сегодня всем с барабанным боем объявляли, что после обеда состоятся левентские занятия.

— Я не слышал.

— Не пререкаться! — Белокурый, гладко выбритый молодой человек поднял хлыст. — Марш к отряду!

Пустай пошел впереди, сзади него тяжело дышащий конь. На оттаявшем болотистом выгоне, под жужжащим свистом прохладного ветра стояли прямые, как частокол, пять маленьких взводов. Ветер рвал поношенную одежду стоявших в строю. На одежде темнели большие заплаты, виднелась стоптанная обувь. Впрочем, не у всех. В первой колонне солнце играло на черных костюмах и начищенных до блеска сапогах молодых людей.

— Смирно! — загремел Янош Мештер.

Сто пар ног глухо шаркнули. Всадник заговорил, что на войне дезертиры наказываются смертью, а в мирное время тюремным заключением. А вот поглядите на этого парня! Ему двадцать лет, и он мадьяр по рождению, но несколько не лучше чеха, раца или олага¹⁾. Его, видите ли, никто не позвал на левентские занятия! Он, должно быть, ожидает специального приглашения! Двадцать лет он этого ждал. И раз никто не пришел за ним, за его высокоблагородием, так он сам и не вспомнил о Левенте. Его высокоблагородие, батрак Антал Пустай, не в восторге от Левенте. Якоб Блау тоже от нее не в восторге, но он уже к ней поивых.

— Так, что ли, Якоб Блау? — спросил, выпрямляясь в седле, практикант.

— Так точно! Имею честь доложить, что я уже привык к ней, — прозвучал ответ из еврейского взвода.

Мягкий голос практиканта внезапно стал резким, он наморщил лоб и заорал:

¹⁾ Рац — унижительное прозвище сербов и хорватов; олаг — румын.

— Левенте Якоб Блау, сюда!

От еврейского взвода отделился Блау и торопливо подбежал к началу взвода. Это был приземистый, маленького роста юноша. Пышные кудри его едва умещались под бочкайской шапочкой¹⁾. Черные глаза взволнованно впились в левентского инструктора. Обуреваемый страхом, он стал перед лошадей.

— Жду приказа, господин инструктор!

Инструктор наклонился. Хлыст его нервно барабанил по сапогу.

— Левенте Якоб Блау, — произнес он, растягивая слова, — дай по морде левенте Анталу Пустаю.

Юноша стоял неподвижно. Лицо его стало белым, как мел. Он не шелохнулся. Тихий говор пробежал по рядам. Задние вытязивали вперед шеи. Взводные подбежали ближе и стали шпалерами перед всадником. Только-что смиренно стоявшие ряды внезапно расстроились. В воздухе нарастал тихий гул.

— Тише! Кто там болтает? — Инструктор встал на стремянах, лицо его стало красным, он хрипло крикнул:

— Ну, вперед, Блау! Раз — два!

Юноша стоял, как вкопанный. Глаза его в отчаянии перебежали от отряда к взводным, от них к инструктору. На парня, которого он должен был ударить, юноша не смотрел. Пустай вытянул голову вперед, словно отвязавшийся бык, готовый поднять на рога своих врагов.

— Марш! — заревел инструктор и наотмашь ударил еврея. — Ты — трус паршивый.

Блау убежал на свое место.

Инструктор сделал скачок вперед. Фыркающая морда лошади почти касалась лица Пустая. Инструктор поднял хлыст. Взвод, на фланге которого стоял Фило, сбился в кучу. В рядах его провалился гул голосов.

— Не троньте меня! — Пустай схватил лошадь под уздцы и угрожающе, хрипло повторил: — Не троньте!

Инструктор видел желтое пламя в глазах Пустая. Уши уловили гул на-

растающего недовольства отряда. Он опустил руку, державшую хлыст. Как испуганный ребенок, он в смущении отвел глаза от левентского отряда... Это зверь... Тигр! Он способен броситься на лошадь и перекусить ей горло. Весь авторитет полетел к чорту из-за этой сволочи...

Он вонзил шпоры в бок коню. Животное стало на дыбы. Пустай отскочил в сторону. Лошадь дикими скачками неслась к лугу.

Члены Левенте зябли. Взводные командиров, сгрудившись маленькой кучкой, разговаривали между собой.

— Господин инструктор струсил, прикажи он это не Блау, а мне...

— Пустай и тебя бы за глотку схватил, — dokonчил Фило.

Спорящих окружил сбившийся в кучу отряд. Во внутреннем кругу стояли взводные: сын старосты Трочани — длинный тощий парень, рослый отпрыск витязя Лани, потом Михаль Фило, Давид Рошташ и Ференц Йойарт-младший. Янош Мештер был в хорошем настроении. Это школа, уроки, на которых молодежь многому может учиться. Наглядные уроки... Он повернулся, сунул перевязанную руку за пазуху меховой куртки и перевел улыбающиеся глаза на членов Левенте.

— Понимаете? — громко спросил он. — Государство обязано позаботиться о твоем долге — защищать его в случае нужды. Иначе говоря, — об армии. Об армии, которая с оружием в руках идет на войну. Но такой тип, как этот Пустай, который рад увильнуть от занятий, такой тип не достоин называться левенте. Выгнать его из Левенте, — вот чего он заслужил!

Неизвестно, где начался шум, во взводе ли безземельных, или в еврейском, но кто-то что-то сказал, и все разразилось громким хохотом.

Окрик Яноша Мештера прекратил общий смех.

— Евреи говорят, — заметил Трочани, — они не против того, чтобы отсюда их выгнали.

— Вот как? — лицо Яноша Мештера окаменело, — а твой взвод, — он

¹⁾ Бочкай — национальный герой венгерского дворянства XVII века. Венгерские войска и члены Левенте в настоящее время одеваются по образцу войск Бочкай.

обернулся к Фило, — твой взвод тоже так полагает?

— Нет. Научиться владеть оружием никому не вредно... Не худо, что мы будем уметь обращаться с винтовкой, — сказал Фило.

Потом была дана команда отряду построиться в каре. В середине стояли взводные. Янош Мештер стал объяснять структуру полка, перечислять различные виды отдавания чести. Глаза его растерянно следили за скрывавшейся вдали лошадей инструктора. Изволь тут заниматься отряд! Чем хочешь! Не могут же люди так долго стоять без дела. Но как, чем их занять? Надо было заранее условиться, что делать в таком непредвиденном случае. Придется поговорить об этом с господином управляющим.

— Господин инструктор уже объяснял вам, — начал он вслух, — что у нас имеется два рода врагов. Сколько врагов у нас есть, говори? — Глаза его выудили одного парня из взвода безземельных. — Ну?

— У нас имеется два рода врагов. Внутренний враг и внешний. Внешний — это тот, что нападает на нас с оружием в руках... это... благородный враг. Второй — внутренний враг, что подкрадывается исподтишка. Это революционеры...

— Достойны ли они прощения? Блау, достойны ли они прощения, или нет?

— Нет, — кудрявый втянул голову в плечи. — Взводный Трочани, что хотят коммунисты?

Стройный парень щелкнул каблучками и покраснел.

— Чтобы все было ихнее, — сказал он, хихикая, — и девочки тоже.

— А еще чего? Говори ты... — Это был оборванный, щуплый паренек маленького роста, с помятым лицом. Он молчал, как будто не его спрашивали, и только глядел в глаза военному. — Ты... Я тебя спросил. — Янош Мештер ткнул пальцем в сторону парня. — Так ты не знаешь? Не хочешь отвечать? В секрете держишь? Запретили тебе отвечать красные? Сюда!

Ряды расступились. Обреченный вышел вперед.

— Как тебя зовут?

Молчание.

— Язык отсох, что ли? — Здоровой левой рукой он схватил перепуганного парня за грудь, стал его трясти, пнул коленом.

Парень в грязных рваных лохмотьях, прихрамывая, пошел на свое место, обочивая покрасневшее лицо к военному. Дикие, пылающие гневом лица левентовцев угрожающе посмотрели в мутные глаза Яноша Мештера.

Янош Мештер, спокойно озираясь, принялся объяснять дальше.

— Для врага внешнего мы враги. Но у этого врага дома есть свои внутренние враги. Кто они? Взводный Фило, отвечай.

— Коммунисты, — выпалил тот.

— Правильно. С кем эти коммунисты в союзе?

— Они в союзе с нашими, здешними коммунистами, с нашим, здешним внутренним врагом.

Отряд рассыпался. Озябшие парни принялись бегать и прыгать, старались размяться. Особенно рьяно скакал взвод зажиточных крестьян. Сапоги их звонко шлепали по лужам. Оборванные парни отыскивали себе место посуше.

Неожиданно послышался громкий топот. К отряду на взмыленной, забрызганной грязью лошади мчался всадник.

— Смирно! — раздалась команда.

Отряд снова построился повзводно. Позади, самым последним во взводе, стоял Антал Пустай.

По команде все тронулись в путь, к замку. Взводы рассыпались цепью и, то прыгая вперед, то ползая на животе по грязным лужам, пробирались в замок, где — по заданию — собирались бунтующие крестьяне вместе с красными.

19

Выбирая поудобнее дорогу между лужами, шел, спотыкаясь, к аптеке мальчик.

Несколько впереди шли два жандарма, а между ними господин в желтых сапогах. Мальчик замедлил шаг. Изум-

ленные, полные страха глаза его впились в ненавистные петушиные перья жандармов. Перед аптекой люди немного помедлили, потом господин первый поднялся по лестнице, за ним жандармы.

Сердце у мальчика сильно билось. Ему очень хотелось разреветься, но что-то сдавило ему горло, веки его дрожали, он сопел, глубоко вздыхая. Вон там, в окнах, шевелятся человеческие головы, выглядывают наружу... По улице бродит народ. На базарной площади появились люди в овчинных тулупах. Они сбивались в кучу и показывали на аптеку, двигали руками, будто веслами, и пробирались все ближе. Мальчик, наконец, решился. Он взбежал по лестнице. Дорогу ему загородил жандарм.

— Убирайся к черту!

Мальчик увернулся, прыгнул за конторку, распахнул дверь комнаты. В комнате, бледный, как мел, стоял провизор между двумя жандармами. На полу валялось дорогое белье. Господин в желтых сапогах рылся в шкафу. Черноволосая девушка следила за братом, помертвевшим от страха, она не видела никого, кроме брата. Мальчик заревел, как раненный зверек, кинулся на спину господину, стоявшему на коленях, и в необузданном гневе стал колотить по голове ошарашенного человека.

Его стащили и поставили на ноги. Денеш Бицо, сдерживая себя, смеялся. Поднимая малыша вверх, управляющий любовался его перепуганным лицом.

— Вот волченоч, — со смехом проговорил управляющий и бросил мальчика на диван. Потом уселся за стол и позвал к себе паренька.

Сапоги мальчика оставили на ковре ручейки грязи. В ужасе он взглянул на господина провизора, своего хозяина.

— Скажи-ка, — спросил Бицо мальчика, — может, ты знаешь: много ходило сюда народу?

— О да, много. За лекарствами.

— А другие люди не приходили?

— Ходили, деньги одалживали у моего хозяина.

— Кто твой хозяин?

— Он... — глухо произнес мальчик, подняв на провизора мигающие глаза.

— Кто брал у него деньги в долг?

— Господин практикант из замка, господин доктор и господин учитель.

— А другие люди не приходили? По ночам?

— Нет. Ночью никто не приходил. Ночью все спали.

— Ты почему знаешь?

— Я... Я здесь спал... — Он показал на свесившееся с дивана одеяло. — Я каждую ночь тут спал.

Провизор сильно затыкнулся папиросой.

— А не говорил твой хозяин, что он коммунист?

— Это господин учитель — коммунист, и господин доктор тоже, потому что они забрали деньги у моего хозяина, — спокойно отвечал мальчик.

Бицо не мог сдержать смеха. Жандармский унтер-офицер тоже смеялся. Переглянувшись, они направились к выходу. Провизор поцеловал свою сестру.

— Оставайся здесь, — кивнул он мальчику и двинулся из аптеки в сопровождении жандармов.

Девушка пробежала за ними несколько шагов. Глаза ее оставались сухими. Вернувшись в комнату, она вытащила из печки маленький сложенный листик бумаги. Шагая взад и вперед по комнате, она глухим голосом бормотала какие-то слова, будто выучивала урок наизусть. Швырнув бумажку в горящую печку, бросилась ничком на диван... Она плакала.

Мальчик стал на колени перед диваном, у изголовья, смотрел на девушку. И вдруг испуганно стал гладить черные волосы плачущей девушки.

В тот же вечер он увидел своего хозяина в жандармской казарме. Над одним глазом у провизора вздулась шишка. Мальчик смотрел на него, дрожа от страха. За письменным столом сидел обутый в желтые сапоги управляющий. Темное лицо его сияло.

— Пойдешь со мною? — спросил он мальчика.

Жандарм крепко держал ребенка. Ему с большим трудом удалось притащить

сюда отбивавшегося руками и ногами малыша.

— Ну, хочешь ко мне?

— Нет, — простонал мальчик, — я хочу к своему хозяину.

— Хозяин твой сгниет в тюрьме.

Мальчик выпрямился. Правый здоровый глаз хозяина светло глядел на него. Тут господин в желтых сапогах встал, схватил малыша за волосы и приподнял его.

— Как тебя зовут?

— Ференц Торма.

— А я? Кто я такой? — Он опустил свою жертву на пол. — Ты знаешь меня?

Мальчик молчал. Стиснув зубы, он гладил свою голову и испытующе поглядывал на высокого господина.

Высокий господин сел в экипаж, а Фери очутился на козлах рядом с кучером. Лошади понеслись в помещичье имение. Там на мальчика надели красную шапку, белую куртку и зеленые штаны¹⁾. Вечером мальчик рано лег спать, как вдруг к постели подошла горничная в белом переднике.

— Одевайся, тебя барин зовет.

В большой столовой сидели господа офицеры. Это были командиры расположенных в окрестностях жандармских стряпов. Кутеж был в самом разгаре. Ференц Торма стоял в дверях, держа в руке красную шапку, и ждал. У конца стола встал один из господ офицеров. Лицо его припухло, глаза блестящие. Мальчик стоял смущенный. Все сидящие за столом обернулись в его сторону, разглядывали его. Некоторые перешептывались, подмигивали ему.

— Поди сюда! — раздался голос офицера с припухшим лицом.

Фери больше не боялся. Этот сидящий в конце стола офицер — это ведь господин управляющий. Только мундир делал его неузнаваемым. Мальчик смотрел на опухшее красное лицо. Он подошел ближе.

— Прямо волчонок. Бешеный волчонок, — хохотал управляющий, — молодой волк.

Собугыльники рассмеялись. Они ели и пили. О Ференце Торма никто не думал. Он попробовал ускользнуть на цыпочках. Но хозяин окриком вернул его назад.

Всю ночь он дежурил. От времени до времени кто-нибудь вставал из-за стола и, шатаясь, шел к дверям. Фери Торма быстро усвоил свои обязанности. Он следовал за ушедшим. Приносил губку, мыло, полотенце и умывал залитого рвотой пьяного, работая совершенно бесстрастно. Потом он звал приехавших с гостями денщиков. Они тащили сонного хозяина в кровать и, случалось, незаметно подталкивали его. Один из денщиков плюнул прямо в рожу своему мертвецки пьяному начальнику.

Фери Торма с серьезным лицом последовал примеру денщика.

20

В столовой оставались только двое: управляющий и руководитель окружного «Союза витезей». Оба они несколько осоловели от выпитого вина. Головы клонились вниз, но они еще крепились. В дверях показалась жена управляющего. Она была в старомодном костюме — в кожаной шляпе с опущенными полями, в сапогах, в длинном до щиколоток кожаном пальто, туго стянутом поясом. Она стояла молча, улыбаясь. Мужчины впились в нее разгоревшимися глазами.

— Я велела оседлать лошадей, — проговорила она.

— Разве мы выезжаем? — удивился глава витезей, не трогаясь с места.

— Так, на небольшую прогулку. Нитю¹⁾, — ответила женщина и, вбежав в комнату, остановилась за спиной гостя и приподняла его лицо за подбородок. — В жандармерию привезли коммуниста. Какого-то фармацевта.

— Отлично, — заржал глава витезей, с трудом поднимаясь.

— Мы возьмем его на поруки! — засмеялся управляющий, и жена ответила ему жесткой, понимающей усмешкой.

¹⁾ Красно-бело-зеленый — национальный флаг Венгрии.

¹⁾ Ласкательная форма имени Иштван.

Господа оделись. С нижней ступеньки крыльца они вскочили на лошадей. Лошадь женщины все время слегка опережала других. Ночь была темна и тиха. Конские копыта негромко шлепали по мягкой земле.

Женщина засмеялась странным, резким смехом. Этот неожиданный взрыв веселья вскружил тяжелые, хмельные головы мужчин. Всадники торопили коней, неслись вскачь по улицам.

— Откройте! — управляющий ударил ногой в дверь жандармского участка.

Сперва все было тихо. Потом раздался стук шагов по каменному полу.

— Кто там?

— Открывай, свинья, не спрашивай!

Люди за воротами растерялись. Потом раздалась команда жандармского унтер-офицера:

— Смирно! К ноге! — И снова тишина. Жандармский унтер-офицер крикнул, подойдя к воротам: — Уезжайте домой, господин управляющий!

— Ах ты, сволочь, свинья, пададь! — шумел глава «Союза витязей». — Это я, подполковник, витязь Иштван Сачвай.

— Господин подполковник, — перебил его жандармский унтер-офицер, — имею честь доложить...

— Отворяй, стервец, или я выломаю ворота!.. — гаркнул витязь. Управляющий колотил по створкам ворот. Лошади били копытами землю.

Раздался выстрел. Потом ночную тишину потряс целый залп.

Резкий звук труб врезался в перестрелку. Во дворе горнист трубил тревогу.

Подполковник выпустил последний патрон из своего револьвера и поскакал прочь, остальные следовали за ним. Навстречу им с примкнутыми штыками мчались жандармы с окрестных постов. «Петушиные хвосты» остановились на минутку и отдали честь. Но непрерывный зов металлических трубных звуков погнал их вперед.

Перед отпертыми воротами жандармского участка выстроились десять вооруженных жандармов. Унтер-офицер ходил перед ними взад и вперед. Он прислушивался к отдаленным звукам. Где-то, за селом, скакали на своих ко-

нях господа и стреляли. Но шум и шелканье выстрелов становились тише. Унтер-офицер сменил часовых и удвоил их число во дворе, потом вернулся в дом. В задней комнате горела керосиновая лампа. Провизор был один. Распухшие глаза устало мигали.

— Уже уехали? — спросил он тихо.

Жандарм взглянул на него. Большое, твердое мужицкое лицо дрожало.

— Я думал, что участок подвергся нападению, я думал, что крестьяне...

Унтер-офицер рассмеялся.

— До этого вам еще далеко. Господа пришли за вами.

Провизор долго с интересом смотрел на него. В передней комнате не было никого. В сенях взад и вперед шагал часовой. Жандарм взглянул на провизора, потом вытащил из письменного стола какие-то бумаги и погрузился в чтение.

— Вы... вы коммунист? — спросил унтер-офицер.

— У уже сказал, что нет.

— А пакет, который вы нынче получили по почте. Номера «Уй Марциуша»¹⁾, брошюры.

— Я не знаю, кто их прислал. Очевидно, кто-то распорядился послать их на мой адрес.

— На нем стояло ваше имя.

— Возможно. Мне это неизвестно.

— Вы уже много раз получали такие пакеты.

— Неправда.

— Коротко говоря, в этом нет ни слова правды... — Унтер-офицер немного помолчал. — Значит, вы не коммунист. Слушайте, я вам ничего не сделаю. Завтра утром я буду говорить с управлением будапештской политической полиции, и я доложу, что я вас допросил и избил до полусмерти, но вы ни в чем не признались. Но имейте в виду, что если только вы там будете отвечать иначе, если только вы там сознаетесь, то, — да смилуется над вами бог! — попадитесь вы еще раз в мои руки...

Он захлопнул крышку большого американского бюро, встал и вышел с винтовкой в руках вон.

¹⁾ «Уй Марциуш» — «Новый март», центральный орган КП Венгрии.

Ночной ветер играл перьями на его шляпе. Где-то скрипел флюгер. Село, разбуженное выстрелами, опять уснуло. Издали приглушенное, сглаженное расстояние, доносилось гуденье мотора. Увозили на грузовике отобранное оружие. Куда, — это тайна. Но не только жандарм, а и всякий, кого это интересует и кто держит глаза открытыми, знает, что все оружие свозится в замок. Об этом имеют право знать такие болваны-мужики, как витязь Лани, витязь Часар, общинный служитель. Только жандармскому унтер-офицеру ничего об этом знать не полагается. Бенце тоже знал. Бенце — светлая голова, а светлым головам не место там, где нужно глазами хлопать да держать язык за зубами. Ну что ж, Бенце очень много знал — значит, его надо выгнать. Но он, он... жандармский унтер-офицер Адам Шаркань, который доставил солноокских пленных коммунистов на народный суд, он, он... «Мой сын Шаркань»... Любимец господ офицеров, любимец атаманов графского происхождения. Шиофон, Толнатамаши, Дежк, Сексард... Двадцатые годы... Женщины, кровь, вино... Сегодня тоже крови жаждали господа, жаждали коммунистической крови. И пусть себе пьют ее сколько хотят. Но только не так. Ведь рано или поздно это выплывет на свет божий. Начнется расследование, а господа, конечно, ото всего будут отрекаться. Эти подлецы присягнут чему угодно. А кто очутится на мели? Кто? Ведь наличие мертвца доказывает смертный случай. Кто тогда увязнет в болоте? Кто, как не начальник участка. Следствие, конечно, уж выручит господ из беды, а ты отдувайся.

Унтер-офицер услышал топот копыт.

— Стой, кто там? — схватился он за винтовку.

Всадник под'ехал вплотную.

— Почему это тебя интересует, сын мой? — услышал он тихий ответ.

Жандарм остолбенел, винтовка глухо стукнула о землю.

— Ваше высокоблагородие, благородный витязь Матэ Дулан-Дула, имею честь доложить...

— Брось это, сын мой, — перебил его с седла Матэ. — Скажи, как зовут?

— Имею честь представиться, Адам Шаркань, жандармский унтер-офицер.

— Я помню тебя, — сказал Матэ Дула. — А разрешается ли тебе меня помнить?

Лошадь пошла шагом. Жандарм шел рядом с ней. Плечо его иногда касалось сапога всадника. Волнуясь, он хриплым голосом рассказывал о ночных событиях. Матэ Дула смеялся, коротко, отрывисто.

— А я вот ъпустил к себе, у меня делали обыск. Ничего не нашли.

— Они не посмели... — с решительной усмешкой сказал жандарм.

— Да что ты! Они бы душу свою отдали, чтобы найти хоть один-единственный револьвер.

— Не думаю. Неужели они дерзнули бы?

— А почему бы и нет? Ведь я уже мертвец.

— Но, ваше высокоблагородие... — ужаснулся унтер-офицер.

— Вот именно, мертвец...

— Но... все-таки есть кое-что припрятанное.

Острый, отрывистый смех Матэ Дулы прозвучал, как свист хлыста.

Они добрались до базарной площади. Там всадник остановился. Неподвижный, безмолвный, он сливался с темной.

— Ваше высокоблагородие, сейчас ночь. Начинает светать. Лягте-ка вы спать. Ко мне в казарму вам нельзя. Я сторожу арестованного. Но я мог бы провести вас к Бенце.

— Ты сторожишь арестованного?

— Коммуниста одного. Еврея. Его хотели забрать себе господа из замка.

— Ты, должно быть, сам собираешься его укокошить, — засмеялся Матэ Дула, — выдай-ка его лучше мне.

Унтер-офицер с испугу схватил лошадь под уздцы.

Крикнув: «Убирайся к дьяволу», Матэ Дула рванул и помчался из села назад. Очутившись на большой дороге, он осадил коня и огляделся. Вокруг царил глубокий мрак и тишина. Трехчасовая поездка верхом утомила его. В окружном «Союзе витязей» ему сказали, что

в деревнях делают обыски, оружие ищут. Матэ Дула взял у кого-то коня.

Зачем он сделал это? Он и сам не мог ответить. От скуки, из-за игры. А может, это вовсе и не было игрой. То, что здесь происходит, не шутка. Там, наверху, в Будапеште, идут напролом. Эти поиски показывают, что ликвидируется последний остаток прошлого Матэ Дулы. Бенце предлагал ему стать вождем. Все эти Бицо, все главари местных союзов витязей, все они хорошо знают, что последние нити прошлого еще связывают Матэ Дулу с крестьянством... Ну, ладно, хватит. Матэ Дула прислушался. Он узнал визгливый голос главы «Союза витязей», Бицо, и поехал к ним навстречу.

21

Дядя Матэ Кираль слепой старик, утром ошупью выбрался на улицу и побрел, держась за стены. Он был погружен в свои думы. Казалось, что он идет в церковь. Однако, в церкви он не был ни разу с тех пор, как ослеп. Он прошел через нижнюю улицу, пересек базарную площадь, потом направился в лавку потребительского общества.

— Есть тут кто-нибудь?

— Да, — ответил стоявший вблизи Игнац Рошташ.

— Слушай, братец, позови-ка ко мне Пали. Который на складе служит. Мне с ним потолковать надо.

Рошташ вошел в лавку. Матэ Кираль стоял наружи в ожидании. Подошло несколько человек, и старик попросил их не уходить, потому что ему, мол, нужны свидетели. Пусть они маленько подождут.

— Вы меня звали? — Пали вышел в белом халате, глаза его нервно блуждали.

Матэ Кираль вскинул голову вверх и повернулся на голос. Протянутая вперед левая рука его нащупала складки халата и вцепилась в него. Правая рука изо всей силы ударила Пали по лицу. При первом же ударе ошеломленный парень пошатнулся и завопил, но слепой схватил его и приподнял.

— Что вам от меня нужно? — орал Пали. — Караул!..

Толпа зрителей глядела молча, никто не шевельнулся. Дерущихся разнимать не полагается. Пусть себе лупят друг друга.

Рослый старик уперся ногами в землю. Он вскинул барахтавшегося в его руках парня. Испуганный ропот пробежал по отступившей толпе зрителей. Но нет, слепой не швырнул о землю свою перепуганную жертву; он мягко опустил ее в грязь и тогда уж навалился на нее всей тяжестью своего тела. Он колотил парня по животу, бил по щекам.

— Ах ты, стервец, грязный пес, палач! Ты честных борцов до тюрьмы доводишь! Ах ты, сыщик проклятый!..

У Пали уже шла кровь изо рта и носа. Лицо слепого побагровело, зрители, наконец, вступились. Одни подымали окровавленного парня, другие оттаскивали прочь старика. Матэ Кираль успокоился и ошупью направился к двери. К ней вели две ступеньки. Взойдя на них, он столкнул окружавших его людей и громким голосом произнес:

— Через этого Пали в тюрьму попадают люди, которые борются за бедноту. Он выдавал себя за порядочного человека, а сам доносил на тех, кто ему верил. Стукните его, пса паршивого, чем попало.

Откуда-то прибежал заведующий.

— Убирайся отсюда! — он еле переводил дух. — Пошел вон! А не то...

— Иду, иду. Я свое дело кончил. — Он сделал барину насмешливую гримасу и пошел прочь. Молодежки сдвинув шапку набекрень, он остановился и запел. Расходившиеся люди тоже остановились, прислушиваясь.

Часы на башне бьют,

Имре Богара на казнь ведут.

Двенадцать, двенадцать колокол звонит.

Храбрый Имре Богар в петле висит.

— Это добром не кончится. Ни для старика, ни для тех, кто его науськивал... — сказал Игнац Рошташ. — Его другие подговорили. Напустили на парня старика, а сами спрятались. Теперь Пали еще подумает, что я был заодно со слепым.

— Ну, и что же? — возразил Лиханий. Они уже были на базарной площади, куда стекался весь народ. — Раз так, это значит, что и ты порядочный человек.

— Ну, ну... — проворчал Рошташ, оглядываясь по сторонам. Он стоял, роясь в своей пустой суме. Он боялся — сам не знал хорошенько, чего именно. В нем уже рождалось предчувствие, что именно ему придется поплатиться за эту драку. Слепого-то ведь не тронут. Пожалуй, скажут, что это он, Рошташ, старика натравил. Он, который всю жизнь был таким смирным. Все только работал. Неужели за это выкинут его из рядов, не дадут ему работы? Кто посидел в тюрьме, тот уже работы не получает, а тут с этой дракой очень просто в тюрьму попасть. Он задрожал всем телом и, подойдя к кучке, сказал Лиханию:

— Мы ни в коем случае не должны упускать работу. Два года ждали ее.

— Это верно, — одобрил стоявший тут же Габор Салмаш.

Рошташ взглянул на него с благодарностью. Он заметил много сочувственных взглядов. Все, кто хочет работать, не пойдут с ними, с теми, на такую опасную игру. Афиши расклеивать, с жандармами цапаться, с шпионами возиться... нет. Спокойствие и работа нужны людям.

Кто-то в толпе спрашивал, почему Пали называют шпионом, что он такое сделал. Начался галдеж. Откуда слепому знать об этом? Нет, слепой такие дела как-раз еще лучше разглядеть может. А ему, может быть, и нашептали... А тут еще Петраш. Да и провизор тоже. Провизор и сейчас еще в жандармерии сидит.

Разве он тоже коммунист? Он еврей. Такой барин только ворует да надувает, да чужие деньги в карты проигрывает. А где же все-таки Петраш? Нет, этот провизор порядочный человек. Я с ним разговаривал. Я тоже... так может говорить только порядочный человек. Он — хороший еврей. Коммунист? Возможно. Именно потому, что он порядочный человек, потому он и коммунист. А этот Пали... Да-да-а.

Теперь опять заговорил Игнац Рошташ. Он держал Габора Салмаша за полу овчинной куртки. Он помнит, что в тот момент, когда Матэ Кираль на улице попросил его вызвать Пали, Габор Салмаш стоял как-раз сзади него. Правильно? Глаза его с мольбой впелись в смуглое, с выдающимися скулами, лицо Салмаша.

— Ведь, правда, ты там стоял позади меня? — И рука его махнула назад. — Я как-раз собирался тебе сказать: «Иди-ка туда лучше ты, браток, у тебя ноги полегче». Ты ведь был там, когда он просил меня?

Но нет, Габор Салмаш ничего не помнил. Его там даже совсем и не было. Да и как он мог быть там, когда он дома сидел?

Одинокий, ушедший в себя, Рошташ стоял в отдалении, погруженный в печальные думы, и был готов на все... Смотрел на народ. Длинные овчинные тулупы опять сгрудились теснее. Лиханий снова что-то говорил. Подошел ближе. И тут ему показалось, что сердце его сжимает ледяная рука... Ведь если это так, ему придется послезавтра помереть, потому что больше не вытерпеть. Он уже два дня ничего не ел и перед этим почти ничего. Он сунул руку назад и пощупал свою суму. Она была пуста. Но вот он облегченно вздохнул. Ведь все, что этот Лиханий тут говорил, все это только догадки. Насчет того, что будто бы работы нет. И даже, что ее совсем не будет. Они, мол, людей за дураков считают. Какая же может быть работа? А где щепень? Где железные балки, которые должны служить мостами на канавах? Где инженер, который должен дать все размеры? Где земля, которая необходима, потому что выкопанной нехватит? Ничего не приготовлено. Господа держат за пазухой камень. Принудительная распродажа состоится в субботу... если только она состоится, хоть господа и устраивают ее. Начало работ назначено было на понедельник. Дай только пройти этим торгам, и тогда объявят открыто, что работы никакой нет...

Рошташ жевал губами, не отрываясь от своих мыслей. Во всем этом есть до-

ля правды. Но чего нет, то еще может быть. Могут подать грузовик, и он привезет все, что нужно. Но Лиханий продолжал твердить свое.

— Идемте, люди, к Йойарту, пусть даст нам задаток, — вскричал Лиханий весело.

— Задаток! — откликнулось людское эхо с изумлением.

— Если в действительности есть работа, то он даст нам задаток, — повторил Лиханий.

— Мы имеем на это право, — громко сказал Кираль. — Каждому, кто заключает договор, полагается задаток. Мы заключили договор.

— Должны же мы жрать что-нибудь! — заорал Рошташ. — Слышишь ты, жрать! Уж два дня, как я ничего... Брюху тоже задаток полагается.

Толпа пришла в движение. Лиханий шел впереди. Рядом с ним Андраш Кираль, Игнаца Рошташа тоже протолкнули вперед. Партийная касса помещалась в низеньком, двухоконном домике, крытом соломой. Здесь жил Йойарт. Здесь же было и бюро местной партийной организации, но вот уже два года, как тут больше не созывались собрания. Членских взносов тоже почти никто не платил. Таким образом, бюро опять превратилось в жилую комнату, и только маленькая жестяная дощечка, прибитая в сенях, около кухонной двери, возвещала, что партия социал-демократов еще жива.

Люди теснились на узком дворе. С задворков уже бежал Йойарт.

— Что тут такое? Собрание? Сейчас же уходите все! Собрания запрещены.

Но люди не трогались с места. Они напирали друг на друга и галдели. Йойарт, еле переводя дух, старался вслушиваться в гул голосов. Наконец, он уловил, в чем дело. Ведь они же знают о том, что самовольные собрания запрещены. Одно собрание, впрочем, уже разрешено. Может быть, оно состоится на будущей неделе. Тогда можно будет поговорит о работе.

— Как, да ведь работа должна начаться уже в понедельник? — взвизгнул Рошташ. — Ты же сам говорил.

— Я никому не буду отвечать. А то это превратится в собрание, — смущенно ответил Йойарт.

— Что ж, будет работа или нет? Получим мы задаток или нет?.. — Ревуший хаос голосов разносился по двору.

Йойарт прислонился к стене. Дергая себя за усы, он проговорил, запинаясь:

— Выберете кого-нибудь, назначьте своих представителей. Мы все обсудим в бюро. Но только не здесь. Это может плохо кончиться.

— Лихания предлагаю, — вскричал Андраш Кираль. Толпа повторила это имя. Потом кто-то назвал Андраша Кирала. Общее одобрение. Йойарт ждал в волнении, взглянул вперед на закрытые ворота, потом назад на перепуганное лицо своей жены. Он услышал, как прокричали «Игнац Рошташ!» — и очень обрадовался. Он крикнул вниз толпе: — Еще Габора Салмаша...

Толпа с шумом расходилась. Четверо представителей поднялись по ступенькам. Йойарт шел впереди. Молча прошли через кухню. В горнице стояли две больших деревянных скамьи. В углу просторная кровать с балдахином. Кроме нее, в комнате стоял еще маленький столик. На нем были чернильница и небольшая черная железная шкатулка с надписью «Социал-демократическая партия Венгрии». На стене висел большой плакат насчет алкоголя, а над ним лозунг, гласивший, что каждый сознательный рабочий должен вкладывать свои деньги в сберегательную кассу «Тэрэквеш»¹⁾.

Люди уселись на деревянной скамье. Рошташ растерялся. Габор Салмаш, весь красный, не отрывал от Йойарта глаз, но огромный мужчина оставял без ответа эти льстивые взгляды. Йойарт подошел к окну. Народу на базарной площади становилось все больше и больше. Подходили женщины, взад и вперед бегали ребятишки.

— Твоему старику-деду, — сказал Йойарт, обращаясь к Кирало, — пора бы перестать драться.

¹⁾ «Тэрэквеш» — «Старание», название социал-демократической сберкассы.

— Он не дрался, — усмехнулся Кираль, — в драке не меньше двух участвуют, а тут только он один колотил, а другой позволял себя бить.

— Из-за того, что слепой, ему не простят всякие гадости.

Кираль положил ногу на ногу, свернул папиросу и закурил.

— Он уж дождетсЯ, что его опять посадят.

— Это и с другими случается, — заметил парень и пустил дым в воздух.

— Но ведь он слепой. Да и старый.

— Зато не новичок. Тюрьма не позор.

— Конечно, нет, если в нее попасть без вины.

— А вы без вины попали?

— Я? Да? — Йойарт вызывающе уставился. — Я не тюрьмы заслуживал, а благодарности. Не будь я здесь во главе сельской дирекции, господа дошли бы до ручки. Я защищал их добро. За это сидеть не полагается.

— Именно за это полагается, — спокойно сказал Кираль.

Йойарт вдруг покраснел и подошел к парню. — Ты мне угрожаешь? Мне! Я — не Пали... Не хочешь ли своего дедушку на меня натравить? Да пусть он тысячу раз будет слепой, я... — Он махал кулаками под носом у Киралья и кричал, напрягая голос, а сам между тем наблюдал за лицом парня. Но тот и глазом не моргнул. Наконец, Йойарт, понизив голос и сунув руки в карманы, спросил, обращаясь главным образом к Рошташу и Салмашу, по какому, собственно, делу они явились.

— Насчет задатка... — ответили Рошташ и Салмаш в одно слово.

— Какого это задатка?

— Когда нанимаешься на работу, то полагается получить задаток, — вмешался Лиханий.

— Задаток следует не вам, а мне, то-есть следовало бы, но я тоже его не получил.

— Так что ж это за договор? — спросил Рошташ. — Ни задатка, ни аванса, ничего.

— Договор был устный. Никакого другого не было.

— Устный? — удивился Рошташ.

— Ну, да. Ударили по рукам, тем и дело кончилось.

— С управляющим вы по рукам ударили? — спросил Лиханий. Йойарт не знал, насмехается ли он, или спрашивает из простого любопытства.

— Нет, с сельским начальником. При этом был и Имре Пэнзеш. Он видел всю церемонию.

— Это не большего стоит, чем если бы мой дед видел, — сказал Кираль и принужденно рассмеялся.

— А почему же? Ведь это люди официальные.

— Они господа, — отмахнулся Кираль.

— Но они держат свое слово, — сказал Йойарт.

— Держат свое слово, — вспыхнул Лиханий. — Во время войны они обещали женщинам военное пособие, но удержали его себе. Они обещали общественные работы — и это тоже удержали.

— Ну, а как наши дела? Получим мы работу или нет? — поднялся Кираль.

— Конечно. В понедельник получим.

— В какой понедельник? — глаза парня впились в Йойарта, Кираль слизнул языком прилипшую к губам папиросу и, выплюнув, старательно раздавил ее каблуком.

Он говорил так решительно, так твердо, что остальные были потрясены. И он сам, высказывающий только догадки, рожденные ночными совещаниями с Петрашем, вдруг ясно теперь увидел, что вся эта история с работой была сплошным обманом, служащим какой-то тайной цели.

Все с бледными лицами глядели друг на друга. Лиханий поглаживал свои поседевшие, прядями свисающие, волосы, Салмаш смотрел перед собой, открыв рот.

— Ну, скажите же что-нибудь, — просительно молил Рошташ, трогая руку Йойарта.

Верзила стоял перед ними неподвижно. Он уж и так достаточно поломал свою голову с этим подрядом на прокладку дороги. Работу эту только предложили, но подробностей не обсуждали. Предполагалось, что начаться она

должна через неделю, но до сих пор нет и следа каких-либо приготовлений. Он к тому же ни разу не говорил с управляющим. Только с сельским начальником. Возможно, что договор заключать будет в качестве посредника сельский начальник. Возможно, что дело вообще будет отложено. На месяц... Ведь спешить не к чему. А тут еще так неспокойно в деревне. Распродажа за недоимки. Конфискация оружия.

— Так, значит, работы не будет? — Рошташ сорвал с головы шапку, подхватил ее левой рукой. Перепуганные глаза его не встретили утешающего взгляда. В отчаянии он швырнул шапку наземь. Отделившись от остальных, он отошел в угол.

Значит, работы нет. Так к чему же вся эта затея? Разве социал-демократы для того существуют, чтобы издеваться над беднотой? Теперь каждый убедится, что они не что иное, как барские лакеи, егеря, господские сторожа. Их задача помешать стаду вырваться из хлева.

Кираль, выпрямившись, стоял перед Йойартом.

— Одним словом, из работы ничего не выйдет?

— Кто тебе сказал, что ничего из нее не выйдет? — покраснел великан. — В понедельник начнется.

Лиханий встал.

— Ну, мы можем идти... Видали? — обернулся он к Салмашу. — Слышали? — Он направился с Киралем к выходу. Салмаш остался в нерешимости. — Задаток... Только два пэнге, — молящие глаза его униженно впились в неподвижного, как истукан, человека. Не добившись ответа, Салмаш выбежал из комнаты.

Йойарт остался один-на-один с Рошташем.

— Вы старый осел, — укорил он старика, — вы знаете, кто они такие? Коммунисты они.

— И Салмаш тоже? — ужаснулся Рошташ.

— Да нет же! Только Кираль и Лиханий. И вы с такими людьми заодно?

— Они ведь меня выбрали, — оправдывался старик

Йойарт подошел к столу. Порылся в железной шкатулке, взял две серебряных монеты по одному пэнге, бросил обратно в шкатулку одну и вынул из-под бумаг пять никелевых по десяти хеллеров.

— Пэнге с половиной, — сказал он.

— Задаток? — обрадовался старик.

— Но только для вас.

— Значит, работа начнется?

— Да.

— В понедельник?

— В понедельник.

— В этот?

Но на последний вопрос Йойарт не ответил. Он открыл дверь. Рошташ вышел, держа деньги в правой руке. В сенях он остановился и слова пересчитал их. Вынул грязный носовой платок, завязал в него монеты и сунул в карман штанов... Запах свежеспеченного хлеба несся ему навстречу. Мечтательные глаза его широко открывались перед волшебным зрелищем поджаренного сала, истекающего жирным соком. Вот уже много месяцев, как он не ел ничего, кроме тыквы.

Площадь все еще была набита людьми. Особенно густо было у весов. Лиханий давал здесь отчет о переговорах с Йойартом. Он уже подходил к концу своего доклада.

— Это бесстыдство так облапошивать землекопов. Они бросают нам кость, словно собаке. Но и ту отбирают обратно. Ну, уж мы им отплатим. Этот глуп, господский приспешник, еще почует на себе наши зубы. Пойдем к сельскому начальнику требовать задатка и работы.

Люди стали строиться в процессию. Вожака не было. Да и к чему он? Каждый знает дорогу. Только Кэрако вышел из рядов. Молча и незаметно ускользнул он и стал за будкой у весов. Он уже не смел больше располагать собой. Завтра утром ему предстоит тяжелая задача. Он не имеет права путаться в опасные дела. И он твердо исполнял полученное приказание.

Он стоял за будкой. Прислушивался к гулу людских разговоров.

— А вы там разве не нужны? — раздался сзади него голос Йойарта. — Куда это народ идет?

Кэрако уставился на него непонимающими глазами.

— Где ваши уши? — насмешливо спросил Йойарт. — Я у вас спрашиваю, куда это народ идет, а вы не отвечаете.

— Уши мои остались дома. Там они слушают плач моих голодных детей.

Люди шли правильными рядами, в затылок друг другу и почти в ногу. Маленький беспорядок наблюдался только там, где шел Лиханий. Старик говорил, давал объяснения, и люди передавали дальше его речь.

Вокруг Андраша Кирала тоже теснились люди, и правильная линия походного порядка нарушалась... Здесь тоже говорились ободряющие речи и так же передавались дальше.

Вдруг толпа остановилась. Все словно онемело. С главной улицы медленно выехала телега. На козлах, рядом с кучером, сидел жандарм с прижатым к винтовке штыком. Сзади еще жандарм, рядом с ним провизор. Воротник его пальто был поднят. Он держал у глаза белый платок. Провизор отнял платок и махнул рукой. Он приветствовал толпу.

Правильные ряды расстроились. Все лица были обращены к телеге. Кучер хлестнул лошадей. Люди оборачивались вслед.

— За нас идет в тюрьму... — прозвучал расстроженный голос Лихания.

Эти слова бежали от одного человека к другому. Глаза смотрели вслед исчезающему видению. Белый платок, машущая рука... Многие вспоминали отдельные слова утешения и одобрения, вспоминали воодушевляющие речи, которые совсем еще недавно произносил этот по-господски одетый человек, этот еврей, настоящий защитник бедноты. Коммунист ли он?

— Глаз-то весь распух. Жандармы хватают человека, который никого не обманывал и не обижал, который любил народ, рисковал не чужой, а своей жизнью... — Так говорили в процессии, стараясь снова тесно сомкнуть ряды.. Женщины и дети присоединились к ним.

— Работы, хлеба! — Каждому индивидуально выкрику следовало многоголосое эхо...

С главной улицы навстречу толпе бежали три жандарма с винтовками наперевес. Шум разрастался. Жандармы, вскинув ружья, начали целиться. Толпа овчинных шуб и меховых шапок смутилась и вросла в землю.

Ворча, повесив голову, оборачиваясь назад, начинали расходиться люди.

Вдруг резкая трескотня разбила тишину. Жандармы дали залп в воздух. Потом они, с ружьями наперевес, пошли на базарную площадь вслед за толпой.

22

Над столом горела керосиновая лампа. Молочно-белый, с узорами, абажур умерял ее свет. Тяжелый воздух, наполненный табачным дымом и запахом пищи, окутал в туман всю комнату. Вокруг стола сидели: витязь Лани, витязь Часар, общинный староста Пали Трочани и Пензеш-Варга. Пензеш сидел на переднем месте, протянув ноги, угощал гостей и вмешивался в их разговор.

Гости без стеснения глотали хорошую сливянку. Еще бы. Такие случаи ведь редко бывают, но на этот раз они сумели нажать на этого скаредного подлеца. Пятилитровая бутылка подходила к концу, окорок гости обглодали до самой кости.

Витязь Лани внезапно подобрался. Трочани, сонно урча, приподнял бычью голову и снова уронил ее на кулаки.

— Напишите нам бумагу, — сказал Лани.

Пензеш сел за письменный стол и написал обязательство, по которому обоим витязям предоставлялось право бесплатно получать по два литра молока со дня открытия молочной фермы.

Трочани начал храпеть. Пензеш сказал, что этого пьяного борова нужно поставить на ноги. Когда он заснет, его парой лошадей не дотащишь. Голова у витязей кружилась. Они подошли к храпевшему, взяли его подмышки и потащили вон из комнаты. Пензеш расходился им вслед.

— Чорт бы побрал этих буйволов! «Со дня открытия молочной фермы по

два литра молока в день на человека...» Но кто поручится, что молочная ферма, действительно, откроется?

Приятно потянувшись, он распахнул кухонную дверь и прокричал служанке, чтобы она убрала со стола обеды и принесла водки. А на закуску — колбасы, хлеба и сала. Ветчины не надо.

Тут вошел Пустай, доложивший, что Фило и Мештер скоро придут.

— Слушай. В пятницу на рассвете мы поедем на хутор, — сказал Пензеш.

— Ладно, можно поехать, — откликнулся шарень, уходя.

Потом пришли Фило и Мештер. Они подали хозяину руки. Заговорили о неспокойных временах, о деревенских нуждах, о плохих ценах на хлеб. Не забыли и коммунистов. И где это видано: теперь уж и господа в коммунисты идут. Взять хоть этого провизора. Из него, конечно, эту дурь выбьют. Господа с жиру бесятся. Одного на баб кидает, другой шампанским нализуется, а этот вот с гольтьбой возжается. Фило смеялся, Мештер что-то ворчал про себя.

Речь зашла о Матэ Кирале. Этот слепой негодяй ведет себя так, как будто все село у него в ногах валяется. Но пусть он лучше не очень надеется на свою слепоту, потому что в один прекрасный день ему все-таки влетит. И что он только себе позволяет. Бесстыдство форменное. Броситься на человека среди белого дня. Пали донес на коммунистов. Если это верно, так он только похвалы заслуживает... Пали продолжает то, что все порядочные венгры начали в двадцатом году. Но с той поры храбрые вояки превратились в старых баб...

Пензеш говорил внушительно.

— Правильно, брат?

Фило поднял задорный орлиный нос и стал смотреть в сторону. Он не ответил. Мештер на настояния Пензеша-Варги ответил только:

— Вот этими своими обеими руками задушу всякого, кто тронет мою корову. Вот этими, — он протянул могучие, почерневшие от работы руки.

— Вот о корове-то как-раз и речь. О коровах ваших.

Пензеш-Варга пододвинул к ним свой стул.

— Барышникам нужно помешать участвовать в торгах. Чтоб ни один чужак не посмел приехать в село. А если какой появится, так его надо так проучить, чтоб он всю жизнь помнил. Ведь прямо срам так разбазаривать скотину. Евреев тоже надо припугнуть, чтоб они не посмели и заглянуть на торги. Чтобы в день аукциона ни один чужак и близко не подошел к базарным весам. гликго. А когда судебный исполнитель начнет торги, нельзя набивать цену, наоборот, ее сбивать нужно. Все цены нужно сбить так, чтобы кило живого веса стоило не выше двадцати хеллеров. Только тогда можно будет начать покупать. И каждый купит свою собственную корову. Где достать денег? Он достанет. Потому-то и нужно сбить цену до двадцати хеллеров, что кило мяса и без того обойдется в двадцать два хеллера. А если цена дойдет до тридцати, так ростовщику полагается три хеллера. Значит — цены вниз, и к шуту государство. Довольно ему наживаться за счет бедняков... Молотилка десять пэнге. К дьяволу, ни гроша больше! Одним словом, деньги найдутся, надо только все дело правильно обделать. Он с Шандором Беице говорил, тот ничего не сказал, только ржал.

— Пейте! — пыхтел Пензеш. Рыжие, потные усы его топорщились над губами. — Значит, дело будет сделано. Стервятников отгонять прочь, ростовщиков застрашать... Так, что ли?

Фило растерянно смотрел на большое квадратное лицо хозяина.

— А жандармы, — простонал он, — ведь в объявлении ясно написано, что они будут охранять свободу торгов.

— Это написано только так, по привычке.

— А если...

— Это уж предоставьте мне, — Пензеш встал, — если я говорю, значит, это так, а не иначе. Я уже сказал этому жирному писаке: «Послушайте, господин сельский начальник, что это у нас делается, ведь это прямо безбожно. Мы, крестьяне, которые в двадцатом году кровь проливали»...

— Мы... проливали? — изумился Фило.

— Ну да. А как же? Ведь мы же выпустили всю кровь из красных. Одним словом, мы желаем того-то и того-то. Господин управляющий тоже сказал, что ему, мол, все едино. Делайте, что хотите.

— Вот этими своими руками задую... — проворчал Мештер. Они молча пожали друг другу руки.

Когда шаги гостей затихли, Пензеш-Варга тоже вышел из дома. Прохладный вечерний воздух освежил его. Трезвый и осторожный, он еще раз передумал все свои планы, все встречи и переговоры сегодняшнего дня.

Пензеш очутился перед двухэтажным домом господина Глюклиха.

Быстро пересек вымощенный щебнем двор. У конюшни и винного погреба еще не утихла суета.

— Господин Глюклих дома? — спросил Пензеш в передней.

— А где ему больше быть? — ответила кухарка и пошла доложить.

Пензеш вытер ноги о лежащий на пороге коврик.

— С добрым вечером.

В светлой, просторной комнате кончали ужинать. Господин Глюклих бросил взгляд на вошедшего.

Имре Пензеш-Варга стоял в дверях. Глаза его искали свободного стула, но его не оказалось. Он рассердился. Повернулся к выходу.

— Эй! — окликнул его хозяин дома и, подмигнув, жестом пригласил его остаться. Он даже вскочил с места и подошел к кулаку. Но во время молитвы говорить не полагается, и торговец стоял против богатея и смотрел ему в лицо. Кончив молитву, торговец насмешливым, пренебрежительным тоном велел одному из своих ребят:

— Татель, встань, дай сесть господину.

Ребенок встал и с послушной ужимкой уступил место гостю.

В подстриженной бороде Глюклиха уже прглядывала седина. Черные глаза торговца насмешливо и внимательно смотрели на сумрачного Пензеша.

— Вот что, господин Глюклих, у меня есть около четырех сот центнеров пшеницы. Четыре лошади. Волон и коров моих вы знаете. Земли у меня семьдесят йохов.

— Это я знаю, — кивнул еврей. — Вы мне лучше расскажите что-нибудь, чего я не знаю.

— Слушайте, — Пензеш засопел носом, — слушайте, господин Глюклих, мне нужно на месяц пять тысяч пэнге.

Господин Глюклих прищурил глаза. Он вынул трубку из рта, положил ладонь на свой округлившийся живот и захохотал. Потом опять сунул в рот трубку, и глаза его снова впились в кулака. Он ждал, попыхивая дымком.

— Так что же вы на это скажете? — спросил красный, как рак, Пензеш-Варга.

— Что я на это скажу? Где мне взять пять тысяч пэнге?

— Там, где вы наши деньги держите, — в банке.

Кулак встал. Надвинув шапку глубоко на уши, он вынул сигару, откусил кончик, плюнул его на пол и пошел к дверям. Глюклих вернул его. Пензеш-Варга опять сел, нарочно положив ноги на подножку стола.

— По нынешним временам пять тысяч пэнге — большие деньги, но если очень сильно понатужиться, так, может быть, их и выжмешь как-нибудь. О, да. Но это зависит от того, стоит ли овчинка выделки. Если дело стоящее, то об этом можно подумать, если нет, так нечего зря бензин тратить. Но зачем тратить так много слов. У Имре Пензеша-Варги каждый еврей мог бы поучиться... Ну, выкладывайте. В чем дело?

Имре Пензеш-Варга рассказал ему все, что касалось тридцати коров. Вот зачем нужны ему пять тысяч пэнге. Но пусть господин Глюклих не думает, что кило обойдется ему, Варге, только в тридцать хеллеров. Ничего подобного. Сельский начальник получит корову, судебный исполнитель — пять хеллеров с каждого кило. До чего эти люди жадны. Дело идет о том, чтобы господин

Глюклих никому другому в селе не дал взаймы денег. Чтобы они ничего не смогли купить, ни сами, ни через подставных лиц. Из крестьян к нему, конечно, никто не придет просить денег. А кроме того, лавочникам можно сказать, что не хорошо пользоваться обнищанием крестьян.

Они смеялись, подмигивали друг другу.

— Дело наладится, — произнес Глюклих.

— А как именно?

— Я поговорю с людьми. Тридцать коров весят около ста пятидесяти центнеров, то-есть пятнадцать тысяч кило. Помножить на пять, получится семьдесят пять тысяч хеллеров — семьсот пятьдесят пэнге. Вексель на пять тысяч семьсот пятьдесят пэнге сроком на месяц, и вы завтра можете получить пять тысяч пэнге. Хорошо?

Губы Пензеша-Варги побледнели. Глаза его вылезали из орбит. Но он проглотил свою злобу и взвизгнул покорно, по-собачьи. Итти на такие условия ему — не расчет, вся сделка в убыток. За коров он заплатит по тридцати хеллеров кило, судебному исполнителю — по пять хеллеров, господину Глюклиху — то же. А потом скотину надо кормить, выхлопотать на нее пропуска, свести на городской рынок. Таким образом, кило ему обойдется в сорок три хеллера. Но в город пойдут не тридцать, а только двадцать девять коров. Тридцатая — сельскому начальнику. Он, пожалуй, на этом деле сам прогорит. Не может же Глюклих с него столько требовать.

— А вы судебному исполнителю не давайте больше двух. Этому жулику и два хеллера за глаза. — Торговец рассмеялся. — И вы хотите меня убедить, что вы даете ему по пяти.

— Послушайте, господин Глюклих...

— Пять хеллеров.

Они отлично знали друг друга. Их связывали воспоминания о прежних общих сделках. Потом Пензеш-Варга протянул руку еврею.

— Пять, — сказал Глюклих и стал ждать ответа.

— Ладно, — уступил, наконец, кулак.

Кулак ушел. Господин Глюклих пошел на кухню, нажал дверную ручку локтем. В кухне тщательно вымыл руки. Вернувшись в комнату, он погрузился в толстые фолианты, чтобы изучать по ним непостижимую премудрость божию.

23

Время приближалось к десяти часам вечера, когда Михаль Фило вошел в горницу Шандора Бенце. Он пришел по поручению своего отца. Бенце долго пришлось уговаривать, прежде чем он решился пойти с ним. Он устал, ему все надоело, но парень очень уж горячо его упрашивал. Кроме Яноша Фило, его дожидались Мештер и Йойарт. Они, должно быть, поспорили. Йойарт сердито глядел перед собой.

— Так вот что, — произнес Фило, косясь на дверь, — так, значит, ты пришел, потому что я позвал тебя. Теперь уж не ты зовешь, а я... вот как!

Бенце сделал несколько шагов вперед. Он взглянул в упор на Фило.

Пьяный маленький человек говорил, уцепившись за край стола, глядя в сторону. Теперь другое время настало. Кто был вождем, тот уж перестал им быть. Кто во время своего величия был белым, тот... ну, что было — то сплыло. А теперь, его, Фило, сам Пензеш велел позвать. Баста. А Пензеш отлично знает, что делает. Теперь Фило в переднем ряду. Вон барышников! Чтoб ни один не смел ногой ступить в село. Нужно все дороги оцепить. Почему? Потому. Вот.

Слушая Фило, Бенце смотрел на обросшее лицо и мигающие глаза Мештера.

Фило бормотал что-то нечленораздельное и вдруг выпалил ясно и вразумительно:

— Ну да, он послушался своего сердца.

— Кто? — не понял Бенце.

— Пензеш. Он не может позволить, чтобы все продали с торгов.

— Да это и в его интересах, — вставил Йойарт.

— Что в его интересах? — недоумевал Бенце.

— Чтобы здесь было спокойно, — запинаясь, произнес великан. — Нужно действовать сообща.

— Одному только Пензешу выгодно, чтобы сюда ни один барышник не сунул носа. Ведь тогда ему никто конкуренции не составит, — тихо промолвил Бенце.

— Но сам он не будет покупать. За чем ему? У него и так всего много, — сказал Йойарт.

— У него и хлеб есть, — начал Бенце и умолк на мгновение, потому что Фило, с'ежившись на своем стуле, внезапно захрапел. — И дом у него есть, однако, покупает же он и дома, и пшеницу.

— На торгах покупать будем мы и больше никто.

— Вот этими своими обеими руками... — захрипел Мештер.

— А все остальные? — Губы у Бенце вздрагивали. С большим трудом удавалось ему сдерживать свой гнев. — Что с ними будет? Что будет с безработными, с землекопами? — Едва сдерживая злость и омерзение, бросил в лицо Йойарту: — Их вы уже обманули!

Йойарт беспокойно озирался:

— Они получат работу.

— Пензеш вас околпачил... А ты радуешься этому. Обманув землекопов, вы теперь обманываете крестьян. По очереди надуваете. Вы это делаете, во-первых, по чужой указке, во-вторых, за брошенный вам кусок, а также... по недомыслию.

— Мы? — Йойарт остолбенел от дерзости.

— Господи. Мы? — Фило внезапно проснулся и качнулся вперед. — Это ты мне говоришь?

— Ну да, вам! — вскричал его сын. — У вас вино весь разум замутило.

— У меня?.. Ах, ты сволочь проклятая! — заревел Фило, грохоча ногами. Старик пошел на сына.

— Вы за корову согласны душу продать. Вы пьяны. Скряга вы этакий! Мне стыдно за вас.

— Стой, негодяй. — Фило рванулся к сыну.

Парень выпрямился, щеки его вспыхнули, голубые глаза горели сухим огнем.

— Это мы еще посмотрим...

Кулаки Фило обрушились на плечи сына. Парень не шелохнулся. Он смотрел отцу в глаза. Рука старика потянулась к сапогу. Из-за голенища блеснул нож. Бенце схватил обеими руками маленького злого человека, и нож, звякнув, упал на пол.

— Лучше завтра поговорим... — хлопнув за собой дверь, тихо проговорил Йойарт.

— Вот этими обеими руками... — прокряхтел Мештер и ушел вслед за Йойартом.

В комнате стало тихо. Фило мало-помалу начал протрезвляться. Он смотрел то на Бенце, то на своего сына.

Тут в комнату вошел Петраш. Он уже целый день просидел на сеновале и ждал только, чтобы разошлись гости.

Бенце поднял на вошедшего изумленные глаза. Бенце пожал его руку и спросил, мучительно борясь с собой:

— А ко мне ты не можешь притти, а? Я только был кем-то, а теперь ничем стал, так.

Фило вскинул голову.

— К этому приходится привыкать. Теперь уж другие времена.

— Вождь может ходить только к вождю. Я все знаю, — промолвил Бенце. — Ну, ладно. Поделом мне. Да сейчас уж и так все равно. Хотим мы этого или не хотим, но надвигается такая буря, что у нас глаза полопаются. И мы не можем отворотить ее от себя. Бродим без цели, без вожака. Ты, — он взглянул на Петраша, — не тот, кого нам нужно. Ты очень уж долго обдумываешь. Вожак с первого взгляда знает, что ему нужно делать. Может, ты с землекопами лучше умеешь. А мы катимся к гибели. Только мы, крестьяне, знаем, какие кривые сучья вырастивает наше крестьянское дерево. Пойдем ли мы с Пензешем-Варгой, с Трочани, с кулаками вместе? Никогда. Разрази меня господь, никогда больше.

— Мирно все это надо, в единении друг с другом... — лопотал Фило.

— Вы пьяны, — нетерпеливо прервал его Петраш. Он повернулся к выходу, поманив за собой Бенце.

В саду их догнал Михаль Фило. Они пересекли луг и очутились на большой дороге.

Петраш заговорил о том, что собственность, частное владение портят человека. Ведь вот что получается: простого обещания достаточно уже для того, чтобы отнять у людей последнюю искру разума. Крестьянин сам виноват. Нет! Что он может поделать, раз вся система делает его таким глупым, жадным. Когда-то предки теперешних крестьян были крепостными. Тогда Венгрию потрясли бои за свободу. Дердь Дожа, Перо Сегодня и Матэ Губец, слепой Ботгьян, Тамаш Эса, Михаль Танчич были тогда вождями. И это только самые крупные. А мелкие битвы шли непрерывно. Крестьянские революции против господ. Это показывает, что земледельцы были революционерами, не стояли на господской стороне. Но вот в их массе образовался слой земельных собственников. Эти сейчас же стали смотреть на мир другими глазами. Они стали держать руку помещиков, они отвернулись от безземельных. Мелкие земельные собственники приобрели те же свойства, что кулаки и помещики. Почему? Только потому, что они владеют кое-чем. Единственное их желание — приумножать свое состояние. Разве не правда, что каждому мелкому собственнику хочется нанять себе батрака, слугу. И не только одного, а больше. Он и не думает о том, что батрак тоже хотел бы иметь землю, что батраку тоже приятней хозяйничать на своем собственном участке.

Михаль Фило молча шел рядом с ними. Бенце тяжело дышал. Пользуясь темнотой, он схватил руку парня и крепко держал ее, не выпуская в течение всего разговора. Когда Петраш умолк, он спросил: правда ли, что в России отобрали теперь у крестьян землю, полученную ими во время революции.

— Это неправда. Землю отобрали только у помещиков и кулаков. Мелкому крестьянину государство помогает

деньгами, скотом, семенами, машинами.

Дорога была темна и безлюдна. Они изредка останавливались, прислушиваясь. Нигде ни звука, никого, кроме их самих. Петраш высвободил свою руку из дружеского пожатия Бенце и, остановившись, тихо спросил:

— Поехали бы вы завтра в Хэдькэ?

— Да.

— Так поезжайте. Под вечер. Вас ждут.

— Кто?

— Вас ждут, — повторил с легким нетерпением Петраш, но сейчас же шуточно добавил: — Почему я знаю, кто именно.

— А ты тоже там будешь? Или ты этого также не знаешь?

— Нет, меня там не будет. Покойной ночи.

Бенце отстал.

Михаль Фило хотел заговорить с Петрашем о своем отце, но воздержался. Да и зачем? Ведь товарищ сам видел, что он был пьян.

— Значит, в пятницу утром ты возьмешь от Кэрако листовки.

— Ладно, — сказал Фило. — Будет сделано.

Петраш один направился к хутору. Он был в плохом настроении. Многочасовые разговоры его утомили. Неопределенность измучила. Что принесет завтрашний день? Можно ли ему оставаться еще в деревне? В тот день, когда искали оружие, они захватили провизора. Это дело рук Пали. Жандармы, витязи, почтальон, общинный служитель, — все они, сменяя друг друга, словно ищейки, рыщут вокруг дома Петраша. Вчера ночью он уже сбежал от них к Фило.

Ему очень не доставало кого-то, кто все видит ясно, кто знает путь, нащупывает будущее и соответственно этому поступает. Ему следовало учиться. Сейчас ему вспомнился тот товарищ в Вене... Когда Петраш после двухдневного пребывания в Вене возвращался в Венгрию, он сказал этому товарищу:

— Я думал, меня за чем-нибудь другим вызвали... — И когда товарищ с удивлением на него посмотрел, он сму-

щенно продолжал: — Я думал, что мне дадут полгода на учебу.

— Для этого еще не наступило время.

— Товарищ, мне это очень нужно. Хоть на три месяца.

— Сейчас не удастся: тебя нечем заменить.

Это было два года назад. Может, этой осенью, когда его сюда выслали, лучше было бежать куда-нибудь в партийную школу. А так только блуждаешь во мраке. Марксизм-ленинизм. Что это такое? Говоришь об этом, а сам хорошо не знаешь...

А ведь теперешнее положение деревни — это не пустяки. Сельская безработица, пролетаризирующееся мелкое и среднее крестьянство. Собралась тут горсточка людей, товарищи. Некоторые из них — да. Но что отличает их от остальных? Почти ничего. Что меня отличает от них? Что я сам-то знаю? Если буржуй, барин или социал-демократ начнут со мной спорить, я не сумею им ответить.

Он вспомнил о товарище, бывшем на хуторе третьего дня. Он — индустриальный рабочий, он более развит, более начитан. Но все же о том, что нужно будет делать, когда наступит неизбежное, о том он не говорил. Он тоже не больно силен. Возможно, и он был в Вене, и он также просил учиться, но получил тот же ответ.

24

В дверь вошла, не стучась, горничная, высокая, хорошо сложенная блондинка. Она вошла, делая вид, что не обращает никакого внимания на спящего. Быстро шлепая ступнями, она подошла к окну, открыла одну из створок и направилась к двери.

Матэ Дула окликнул ее. Девушка остановилась и, улыбаясь, сказала, что она думала, что барин спит. Она вошла, чтобы проветрить комнату.

— Значит, я сплю со вчерашнего обеда? — соображал вслух Матэ Дула, поглядывая на девушку.

— Ну да, — засмеялась она.

— Или у вас очень крепкая водка, или я слишком стар стал.

— Слишком стар! Барин-то? — девушка кокетливо скользнула глазами по контурам его закрытого одеялом тела.

— Не веришь? — произнес Матэ Дула.

— Нет, — ответила девушка.

— Поди сюда, — хрипло произнес мужчина.

Девушка выскользнула вон. Матэ Дула рассердился. Кто-то постучал в дверь. Вошла жена управляющего.

— Целую ручку, Манци.

— Доброе утро. Ты в постели будешь обедать?

— Обедать? Который же час?

— Два часа дня.

— Нет, встану.

Женщина присела на кровать. Она говорила, как ей приятно, что Матэ Дула здесь. Ведь он — старый друг. И он на первом месте среди всех закадычных друзей. Рука ее ласково гладила лицо Матэ Дулы.

— Жаль, что мы живем не в средневековье, — сказал Матэ Дула.

— Почему же?

— В те времена был обычай, когда гостить приезжал лучший друг, то владелец замка предоставлял ему на все время пребывания свою жену.

— Ты осел, — рассмеялась женщина. Она встала и потянулась. — Так ты встанешь?

Матэ Дула провел много времени в ванной за туалетом. Потом прошел в столовую. Вскоре появился и Дэнэш Бицо. Они сели за стол обедать.

Горничная доложила, что пришел Янош Мештер.

— Пошли его сюда.

Янош Мештер стоял навзгяжку. Он докладывал о Шандоре Бенце. Несмотря на приглашение, Бенце отказался притти. Здесь ему, мол, искать нечего. Выслушав, управляющий выслали вон молодого военного.

— Этот Бенце — упрямый негодяй, — сказал он. — Я думал, ты ему обрадуешься здесь. Ко мне он уже не ходит. Он окончательно взбесился.

Матэ Дула усмехнулся. Перед ним на мгновение мелькнули пугающие, огненные черные глаза и печальное лицо Бенце. Он обрадовался этому воспоминанию, но капуста «по-колложварски» на минуту отвлекла его. О да, здешние лучше сумели обделать дело. Они крепко вцепились зубами в добычу и не выпустили ее. Этот болван Сачвай стал теперь главой окружного «Союза витязей». Остальные — волы; будь у них рога, они бы стали ими бодать; остальные стали теперь «столами отчества». Они ловко уцепились за канат воздушного шара, который теперь тянет их вверх.

— Я сам к нему пойду, — оказал он и тотчас раскаялся в своих словах.

— К Бенце? — переспросил Бицо. — А ты помнишь, где его дом?

Бицо позвонил и приказал горничной, чтобы оседлала лошадь барина.

Солнце сверкало. Небо сияло светлой лазурью. Поля курились. Перед въездом в село оборванные цыганята кинулись к его лошади. Матэ Дула вытянул их хлыстом. По базарной площади ходили дозором два жандарма.

Перед одним из домов сидели три старых крестьянина. Один из них взглянул из-под густых белых бровей на всадника и подтолкнул соседа. Лошадь поровнялась с ними. Матэ Дула смерил взглядом трех стариков. Средний поднял на него свое слегка одутловатое лицо. Открытые незрячие глаза слепого Кираля уставились вверх.

— Чтoб его чорт побрал! — сказал слепой и сплюнул.

В конце улицы, со стороны большой дороги, приближались усталые, забрызганные грязью жандармы. Они не знали, кто этот барин, но отдали ему честь. Ворота Бенце были открыты настежь. Во дворе стояла готовая к отъезду телега.

Вышла Юльча. Взглянула на всадника, покраснела. Она узнала его.

— Ты — дочь Бенце? — спросил Матэ Дула, соскакивая с лошади.

— Да. Отца нет дома.

— Где же он?

Девушка помолчала. Отвернувшись, она, наконец, выговорила:

— Я пойду за ним.

Показавшаяся на дворе хозяйка в смущении пригласила барина войти. Дула отказался. Рядом с колодцем стояло ореховое дерево. Привязав к нему лошадь, он стал прогуливаться взад и вперед.

Матэ Дула увидел в телеге два мешка с пшеницей. Он пощупал их. Понимался шорох пересыпающегося зерна. Только пшеница, больше ничего нет. То же и в другом мешке. И вдруг он резко отдернул руку. Что, если Бенце это заметит... В воротах рядом с дочерью стоял Бенце.

— Здравствуй, сын мой, — Дула подал ему руку. — Я вызывал тебя в замок, но ты не пришел.

— Я не знал, что вы там.

— А если бы знал?

— Там моей ноги больше не будет.

— Ты уезжаешь?

— Да, в Боз.

— Сейчас?

— Да, хочу продать там эту пшеницу. Тут полтора центнера. Чистая пшеница, — он поглядел на Дулу, — чистая. Ничего другого нет в мешке, только одна пшеница. Да и откуда там быть чему-нибудь другому. Обыск был.

— Я знаю.

— Они все уже отобрали, — сказал Бенце. — Все свезли в замок.

На это Матэ Дула не ответил. Он старался взглядом дать понять девушке, что она тут лишняя, но она не уходила и, опершись на телегу, смотрела на высокого господина.

— Я бы с тобой охотно поговорил, но я вижу, ты занят.

— У меня есть еще время.

Матэ Дула взглянул на Юльчу.

— Ее вам нечего стесняться. Она — мой сын: случайно родилась девушкой. Можете при ней говорить, все равно как со мной.

— Она поедет с тобой?

— Нет.

— Так едем вместе. Я тебя немножко провожу.

На дороге разговор завязался не сразу. Бенце сказал, что он не собирается скрывать своего мнения. В ночь после поисков оружия Матэ Дула при-

ехал в село, но остановился не у него, а в замке. Ну, что ж, выходит, что он заблудился, когда, приехав на прошлой неделе в город искать вождя, пошел к его высокоблагородию.

Матэ Дула встал на стременах и огляделся.

— Ты заблудился, сын мой.

— Всю жизнь свою плутал.

— Сейчас заблудился, сын мой. Эта дорога не на Боз...

Усы Бенце дрогнули. Он громко расхохотался. Ответ его прозвучал высокомерно, пренебрежительно и грубо.

— Нет, ваше высокоблагородие. Теперь я не заблудился.

— Но ведь это же дорога на Хэдькэ.

— Туда я и еду.

— Значит, не в Боз?

— Нет. — Бенце резко передернул вожжами. — Я еду в Хэдькэ. О Бозе я сказал, не зная, что вы со мной поедете.

— Вот ка-а-к. — Кривая усмешка исказила лицо Дулы до неузнаваемости.

— Что с тобой случилось, сын мой? — спросил Дула.

— Со мной? Скажите лучше, что с вами случилось? Вы тот же, кем были прежде, да и я тоже, только в ту пору я этого не замечал. А вы позаботились о том, чтобы я не разглядел ни вас, ни того, что вы хотите, ни нас, ни того, что мы хотим. Вот и все!

— Ты меня плохо понял на прошлой неделе, сын мой, — произнес Матэ Дула. — Но ты еще разберешься постепенно. Я в тот раз был очень озлоблен. Разные личные неприятности. Но могу ли я поднять руку против моего прошлого, против нашей славной борьбы за свободу. Ведь мы боролись за землю. Нас отстранили. Но только на время. Наступит день, когда победит та идея, за которую мы боролись против евреев и коммунистов.

Бенце поднял глаза на говорившего. Матэ Дула беспокойно задвигался в седле.

— Что с тобой, сын мой? Я люблю тебя. Я только вас и люблю. Ради вас я пожертвовал своим состоянием, своей карьерой. Ради вас, в бытность мою военнопленным в Сибири, вступил в ар-

мию Колчака, чтобы бороться с красными. Родина, сын мой, родина — превыше всего. И родина каждому должна давать хлеб. Рабочему — работу, крестьянину — землю. Красные. Да знаешь ли ты, что делается в России?

— Там нет господ, — хмуро ответил Бенце.

Они смотрели друг на друга долго, испытующе.

— Что ты будешь делать в Хэдькэ?

Бенце, не отвечая, оглянулся назад, на мешки.

— Ведь там нет спекулянтов, которые могли бы купить у тебя пшеницу.

— Среди крестьян тоже есть торгаши.

— А дома, в Керестуре, разве нет таких?

— Есть. Пензеш-Варга и Трочани. Но им я своей пшеницы не отдам.

Держа поводья левой рукой, Дула правую протянул крестьянину, повернул и понесся вскачь.

Бенце, слегка приподняв шапку, хлестнул лошадей по брюху. Через некоторое время Бенце обернулся. Матэ Дула глядел ему вслед.

25

Уже стемнело. Крестьяне расходились поодиночке. Когда, наконец-то, ушел и Иожеф Рац, хозяин, один из хэдьковских крестьян, наклонился к Бенце и шопотом спросил, не может ли тот подвести его немножко на своей телеге. Бенце взглянул не на него, а на блондина, молодого человека с вьющимися волосами, который не уставал говорить и объяснять весь вечер и которому нужды и дела всей округи были так хорошо известны, как будто он всю свою жизнь провел здесь. Бенце хотелось пригласить его с собой. Но молодой человек опередил его и быстро вышел.

Бенце пошел на постоялый двор. Телега его стояла под навесом. Расплатившись с хозяином двора, он выехал на улицу. Хэдьковский крестьянин сел с ним рядом на козлы. Молча стали они подниматься на гору. Пройдя минут десять по дороге, лошади неожиданно остановились. Кто-то стоял в темноте

перед телегой, Бенце схватил было бич, но хэдьковский крестьянин пригласил встречного подсесть к ним.

Это был тот молодой блондин. Вскочив на телегу, он сказал, что ему не хотелось проезжать по всей деревне на повозке Бенце.

— Действительно, телега у меня не на рессорах, — промолвил Бенце.

Молодой человек рассмеялся. Он ответил, что по чину ему и воловья упряжка хороша, но ради самого же Бенце он не хотел, чтобы их видели вместе. А если их теперешняя поездка выплывет на свет божий, то Бенце может просто сказать, что парень, попавшись ему на дороге, попросил подвезти его, — и все.

Бенце такое объяснение не понравилось именно потому, что молодой человек был прав. Как, впрочем, был он прав и в течение всего вечера.

— А как тебя звать, братец?

— Как меня звать? Ну, скажем, Кэрэкэш. Паль Кэрэкэш...

«Скажем» — почему так? Или эти люди меняют свои имена, как господа меняют рубашки? Возможно. В каждой деревне их зовут по-разному.

— А скажи мне, братец Паль Кэрэкэш, кто ты, собственно, такой? Не из господ ли? Иль из ученых будешь?

— Я? Нет, я — заводский рабочий, токарь по металлу. — Ответ прозвучал несколько неуверенно.

— Такой же «токарь», как «Кэрэкэш»...

Все развеселились, даже голос крестьянина из Хэдькэ звучал непривычно весело.

Телега уже взобралась на вершину холма. Вниз лошадь пошла рысью. Телега скрипела, колеса тарахтели, трясло так, что всех троих ездовых кидало друг на друга. Потом уроженец Хэдькэ попросил остановиться в том месте, где проселок соединяется с ведущей в город большой дорогой.

Городской парень постепенно сползал вперед, в конце концов очутился верхом на козлах рядом с Бенце.

— Я не подхожу к вам, — сказал Бенце и стал ждать ответа. Не дождавшись, он продолжал: — Дело не в Фило.

Бывает, конечно, что спьяну-то правду говорят, но я сам знаю, что не подхожу к вам. Никогда я не выучусь в прятки играть, скрыгтничать.

— Но ведь это необходимо, — промолвил хэдьковский крестьянин.

— Конечно, необходимо. Только я-то этому никогда не научусь. Я говорю с открытой душой. И потому скажу напрямки: ничего не выйдет. Толку мало от всех этих маневров. Пензеш собирается нас надуть. Сельский начальник — тоже, управляющий — тоже, а мы сами между собой во многом еще не согласны. Во многом. Люди за корову готовы душу продать. Дай им только спасти своих коров, они нас на бабах оставят.

— Но ведь не каждому можно будет вернуть корову, — сказал белокурый парень.

— На случайной удаче строить нельзя, — проворчал Бенце.

— Мы этого не делаем, — резко выкрикнул хэдьковец.

— Очень уж интересы у всех разные, — сказал Бенце. — Это надо выяснять.

— Уже сделано. План наш ясен, как солнце.

Хэдьковский крестьянин ничего не ответил на ворчание Бенце. Они доехали до условленного места. Бенце вспоминалась вечерняя беседа. Он тогда чувствовал себя утомленным. Там говорили о нем так, как будто его среди них не было. Он на это не обижался. Эти люди стали совсем другими. Они здорово переменились, его близкие друзья... Он сидел, не говоря ни слова, соглашался со всем, что одобряли остальные, а под конец сходки произнес:

— Мне все равно. Я во время войны увидел раз лодку на бурном Днестре. Жизнь моя — словно эта лодка.. Против вас я не пойду, но ничему не верю, не верю и вам. — Городской парень на это ухмыльнулся как-то странно. Большие голубые глаза его искали встречи с глазами Бенце. Но люди продолжали беседовать, обсуждать подробности действий. На рассвете пикеты выйдут караулить на дорогах. Ни одного барышника не допустят в село. Телегам со-

браться в переулках. Часть их может уже заранее наметить себе место в полукруге позади базарных весов. Все господа, сельский начальник, судебный исполнитель и жандармы с коровами очутятся внутри круга, в кольце. Вот тогда мы и начнем разговаривать... Можно ли назвать это планом? А где деньги? Где нужные на это деньги? Варга, конечно, не даст денег на участие в торгах, это ясно. Неужели они рассчитывают на Варгу, на Фило, на Йойарта? Ведь последний обманул землекоп. И об этом плане человек, который сейчас назвал себя токарем, говорит, что он — ясен, как солнце!

— Дело в том, — услышал Бенце тихие, но словно отточенные слова городского парня, — что мы должны помешать торгам. Никто не должен участвовать в них. Ни они, ни мы. Никто.

Бенце глубоко вздохнул.

— Так вот оно что, — сказал он, встал, опять сел. — Да, это так.

— Хороший вождь, — произнес хэдковец, — не станет раззванивать о своих планах.

Городской слез с телеги. В руке у него был какой-то пакет. Он зажал его подмышку и ушел вперед.

Во мраке почти ничего не было видно. Еще сидя в телеге, молодой человек напрягал слух. Ведь они четверть часа простояли на перекрестке, а его все еще нет. Может быть, Кэрако опаздывает. Не могло же с ним что-нибудь случиться. В восемь часов вечера вышел он из города с часами в руках. О времени встречи уговорились точно. Он ускорил шаги. Так бежал он минут пять, потом остановился и стал прислушиваться. Кто-то приближался к нему: он подождал, пока встречный не поровнялся с ним.

— Добрый вечер, — сказал горожанин.

Человек остановился. Карманный фонарик вспыхнул. Иштван Кэрако отпрянул от желтого конуса света. Молодой человек подошел к нему. Осторожно, заботливо коснулся рукой его огромной сумы.

— Мои часы у вас, отец? — прошептал он.

— Сейчас отдам, сейчас отдам, сынок, — ответила Кэрако условленной фразой.

Он в волнении сунул руку в карман штанов. Часы были заботливо завернуты в носовой платок. Он подал их. Рука его дрожала. Он вынул из сумы верхний пакет. Так ему и было сказано: верхний пакет примут там-то и там-то, а нижний...

— А это суньте в суму, — незнакомец протянул какой-то сверток. Запах свежеспеченного хлеба защекотал ноздри Кэрако. — Засуньте поглубже.

Кэрако молча запихнул сверток в суму. Он вслушивался в торопливый шепот. Ему придется подождать тут минут пять, в тиши, и только тогда идти домой.

Сжимая на прощанье протянутую руку, Кэрако сказал:

— Ладно.

И снова, как уже не раз в течение всего пути, он мысленно окинул взглядом эту ночь.

Вот он сошел с поезда. Скользнул рукой по суме, несколько мгновений постоял, словно обдумывая что-то. Пересекши привокзальную площадь, он вошел в трактир, заказал четверть литра вина и соленый крендель на закуску. Так он сидел в ожидании и смотрел по сторонам. Трактир постепенно наполнялся. Солдаты, прислуга, извозчики, пассажиры ждали отхода ночных поездов. К девяти часам появились уличные девицы.

Кэрако сидел и ждал. Окружающие не интересовали его. Возможно, что тот человек уже здесь, а может быть, еще не пришел. Ведь в хлеву тогда было темно, и Кэрако один сидел в кругу света, а наблюдатель оставался в темноте. Да уж он придет, без сомнения. Потом Кэрако стал думать о своем обратном пути. Ну, с этим он справится... Кто может знать, какое дело погнало его в город? Никто. Никто, кроме Петраша и этого незнакомца. А уж они, конечно, не разболтают кому не надо. Жена, разумеется, никому бы его не выдала, но такой уж порядок: никто не должен об этом знать. Кэрако стал ду-

мать о маленьких хитростях, которыми он подготовил свою поездку.

— Я говорил тут с одним горожанином. Он сказал мне, что в городе скоро начнется какая-то стройка. Думаю сам съездить в город, поглядеть, что там такое.

А вернувшись, он скажет так:

— Вот мошенник! Дал мне такой адрес, по которому и нет ничего. Чтоб этих бездельников... — и при этом он покачает головой, поохает, так что жена, пожалуй, даже пожалеет его.

Конечно, все это вранье. Но на этот раз и ложь во спасенье. Как скор человек на всякие уловки. Вот он уже совсем приновился. Он сидел в трактире против двери, облокотившись на стол.

Дверь открылась, и вошел Петраш. Осмотревшись, он подошел к столу Кэрако. Заказал себе поесть, спросил, как поживает и как доехал Кэрако. Он говорил совершенно равнодушным тоном, как будто случайно встретившись с мало знакомым человеком. Расплатившись, он попросил Кэрако следовать за ним, но обязательно на расстоянии шагов в десять, и, если он зайдет в ворота, пусть Кэрако следует за ним.

Они шли по переулкам. Кэрако то отставал, то слишком близко нагонял Петраша. Иначе и нельзя: ведь возможно, что кто-нибудь и следил за ними. Но нет, среди немногих прохожих не было никого подозрительного. Когда Петраш сворачивал за угол, Кэрако принимался рассматривать дощечку с названием улицы. А ведь чтение и письмо для него, как книга за семью печатями. Да если бы он и умел читать, ему все равно не пришло в голову следить, по каким улицам они проходят. Ведь это было бы шпионством. Петраш ходит тайными путями. Той ночью, когда жандармы обыскивали село, он не ночевал дома. Следующую ночь провел на хуторе. Он тогда сказал Кэрако, что они, возможно, довольно долго не будут всгочаться. Так пусть в пятницу утром Кэрако отдаст часть этих бумаг сыну Фило. Остальные у него возьмет на большой дороге тот человек, который потребует обратно часы. А теперь

вышло так, что Петраш сам шагает впереди него, а он идет за ним по пятам.

Петраш вошел в какие-то ворота.

— Подождите...

Он почти сейчас же вышел обратно. В руках у него было два пакета. Кэрако развязал свою суму и положил в нее пакеты.

— Спокойной ночи, отец, — протянул ему руку Петраш.

Кэрако много раз думал том, что произойдет, если он случайно попадетс я жандарму. Ведь от листовок не отопрешься. Кто-то дал ему их и, пообещав пэнге, попросил раздать в деревне. В случае чего надо сказать, что в этих листовках говорится о дешевых рубашках. А хорошо, когда не умеешь читать. Да разве такой сказке поверят?

Стоя на дороге, Кэрако пощупал суму. По левой стороне протянулась глубокая канава. Вдоль ее рядами стояли толстые акации. За одним из стволов негромко хрустнул щепень.

Да это же Михаль Фило! Он тоже произнес условленную фразу. Кэрако вытащил сначала хлеб, потом пакет. Не говоря ни слова, он стоял, сдвинув ноги, с ковригой в левой руке. Он чуть не отдал честь, как при смене караула.

Ну, все сошло отлично. Штука была нелегкая. Кто из деревенских сумел бы справиться с этим так же, как он? Никто. Или немногие. Кому можно спокойно поручить такую ответственную работу? Никому, кроме Иштвана Кэрако. В блаженном настроении он шел быстрыми шагами и напевал песенку.

Расставив ноги, Кэрако под защитой полы своего овчинного тулупа зажег трубку. С каким-то благоговейным наслаждением вдохнул он дым табака. Мягкое оцепенение овладело им. Опять затрусил. Хлеб болтался в глубокой суме и хлопал его по ляжкам. Замедлив шаги, отер пот с лица подолом тулупа. И неудержимо по-детски рассмеялся.

Но вдруг, обернувшись, стал прислушиваться. Вдали, пожалуй, где-то около насыпи, тарахтела телега. Она, должно быть, тяжело нагружена, но тем не менее приближалась быстро. Кэрако отступил на край дороги и стал ждать.

Перекинул наперед суму, так что она легла ему на живот. На дышле висел фонарик. Да ведь это кони Имре Пензеша.

— Это ты, а? — окликнул он седока.

— Я, — крикнул в ответ Пустай, — а это вы?

Они обрадовались друг другу.

— Если б я знал, так я бы с тобой поехал, — сказал Кэрако. — А то пешком пошел и пешком назад вернулся.

Пустай дорогой рассказывал, что потребительское общество решило на день раньше подвезти муку из-за субботней распродажи. Завтра набежит уйма народу, и лавку откроют на расвете.

— А Маргит тебя ждет?

— Да, я сказал ей, что нынче утром заеду. Раньше, чем обычно. Я подгонял лошадей.

— Глянь-ка, что я из города привез, — промолвил Кэрако, кладя Пустаю на колени свою суму. — Хлеб. Слышишь ты, хлеб.

— Я тоже везу хлеб.

— А еще что? Больше ничего не везешь?

Они рассмеялись, отлично понимая друг друга. И когда Пустай заметил, что сегодня он не нашел для Маргит ничего, кроме хлеба, Кэрако дерзко, высокомерно сказал ему:

— Что было раньше, то сплыло... так!

Пустай промолчал. Он повернул коней на ведущий в хутор проселок. Очтившись перед домом, он спрыгнул с телеги и потянулся. Постучал в окно первой комнаты. Вышла Маргит. На ней была длинная, почти до полу рубашка. На плечи она накинула платок.

— И вы приехали? — почти недовольно спросила она отца.

— А как же, — сказал Кэрако и стараясь не шуметь, прошел в свою комнату.

— Простудишься, — шепнул Пустай, прижимая девушку к себе.

Парень и девушка ошутью пробрались в хозяйскую комнату и отыскали свою разостланную на полу постель.

(Окончание следует)

Люди и факты

ПЕРВАЯ ЛЕНСКАЯ

Б. Лавров

IV. КОНЕЦ ПОЛЯРНОЙ НОЧИ¹⁾

Семнадцатого февраля показалось солнце. Облачная погода на четыре дня задержала его появление. Зато теперь на краю горизонта виднелись сразу три солнца. В смысле тепла ни одно из них не принесло никакой пользы. Сильный мороз обжигал лицо. Но все с восторгом смотрели на этот чудесный свет, мгновенно изменивший картину льдов пролива Вилькицкого и Таймырской тундры.

По снегу легли розоватые полосы. Горосы вспыхивали разноцветными искрами. В районе островов Гейберга в прозрачном холодном воздухе виднелись приподнятые рефракцией льды. На севере иногда мелькала темная тень Северной Земли.

Появление солнца заставляло поторопиться с окончанием подготовительных работ к санным экспедициям.

Год в промысловом отношении выдался тяжелый. Собаки остались без мяса. Несмотря на покрывавшую их толстым покровом шерсть, они выглядели унылыми и худыми. Между тем для них наступила пора наиболее тяжелой работы.

По вечерам кают-компания превращалась в швейную и починочную мастерскую. Из привезенных шкур нерпы шили походные сапоги и рукавицы, чинили собачью упряжь.

Впереди зимовщикам мыса Челюскина предстояли два похода: один — через пролив Вилькицкого для его гидрологического разреза, другой — к островам Хансена с той же целью.

В ожидании похода для разреза пролива гидролог т. Данилов прорубил несколько отверстий в двухметровом льду, поставил около одного из них снежный домик и вел там все нужные наблюдения.

Участились охотничьи экскурсии на пролив в поисках снежных хижин нерпы. Особенно ретиво искали их тт. Скворцов и Тюлин. Однажды им посчастливилось найти сразу две хижины. Но этим и ограничился их успех. В первой хижине уже до них побывал медведь и, повидимому, не безрезультатно. Об этом свидетельствовали кровавые пятна на снегу. Из второй же хижины нерпа успела уйти, пока охотники пробивали снежные стены.

Радисты тт. Григорьев и Корягин по-прежнему сидели над своими аппаратами. Зимовка парохода «Челюскин» дала им чрезвычайно большую нагрузку. Связь с ним была здесь гораздо лучше, чем на нашей зимовке у островов Самуила. На карте почти ежедневно отмечался дрейф судна.

Быстро пролетел вечер. Сравнили программы научных работ обеих зимовок и условились о взаимной помощи. Особенно важно было присутствие на островах Самуила т. Данилова. Он нужен был

¹⁾ См. «Новый мир», кн. кн. 6, 7 и 8 с. г.

там для проведения гидрологических наблюдений по общему плану. Поэтому договорились о переброске его туда на самолете на одну декаду.

13 февраля мы вылетели с мыса Челюскина на запад к о. Фирилея. Мороз стоял не сильный — 21,2°. Погода обещала быть устойчивой.

Снова под нами пролив Вилькицкого. Но как он изменился со времени нашего осеннего полета! Видимо, до 29 ноября 1933 г. — времени окончательного ледостава пролива — тут были большие подвижки льда с сильным сжатием. Параллельные берегу гряды торосов имели только незначительные промежутки, которые нередко были почти сплошь заставлены отдельными льдинами, выжатыми на поверхность.

Здесь, от мыса Челюскина до мыса Мессер, самое узкое место пролива. Находим льдов был поэтому сильнее, чем в других местах.

Дальше, на запад, замерзание прошло более спокойно. Но на всем пространстве нет и намека на взломанный лед. Вдали не видно даже водяного неба.

В стороне остался остров Гейберга. Мы подошли к островам Фирилея. Покрытые плотным покровом желтоватого снега, они выглядят еще угрюмее и величавее, чем осенью. На неподвижный припай около островов взгромоздились льдины. Но дальше — ровные ледяные поля с небольшими заторошенными краями. На запад от них, ближе к архипелагу Норденшельда, как грозные бастионы, высоко вздымались торосы.

Там Карское море пыталось протолкнуть в море Лаптевых массу своих льдов. Сжатые здесь узким пространством, они осенью загородили дорогу нашим судам и замерзли до нового ледохода.

— Посмотрим медведя!..

Самолет, снизившись, делает круг над островами. Напрасно — здесь нечем жить даже такому выносливому животному, как медведь.

В воздухе мы уже более часа. Нам предстоит более медленное возвращение. Навстречу дует восточный ветер. Он задержит наш ход. Дальше лететь нельзя.

Мы поворачиваем ближе к матерiku, чтобы проверить береговую линию Таймырского полуострова по сравнению с картой.

Проверка оказывается невозможной. Низкие берега настолько плотно закрыты снегом, что нет возможности проследить с воздуха их настоящую линию.

Через 2 часа 15 минут мы снова над зимовкой мыса Челюскина.

На мысе нас ждало печальное известие. Пароход «Челюскин» затонул, раздавленный льдами. Люди сошли на льдину, потеряв одного из своих товарищей.

Последующие радиogramмы сообщали, что, благодаря должной предусмотрительности, с «Челюскина» снято продовольствие на два месяца, палатки, приборы и даже запасные аккумуляторы.

— Долго ли продержится льдина, на которой теперь сидят челюскинцы?

Никто из нас не сомневался в том, что весь Союз окажет челюскинцам самую активную помощь.

— Но успеет ли притти эта помощь? Будут ли они пытаться самостоятельно пробираться к берегу?

Поход по движущимся льдам к спасительной земле очень часто применялся в подобных случаях в Арктике, но для многих он кончался трагически.

В эти дни перестал петь граммофон на зимовке. Круглосуточная вахта на радиостанции едва успевала справиться с потоком радиogramм, идущих в ту и другую стороны. С нетерпением ждали мы каждое известие о судьбе людей в «лагере Шмидта».

— Нам бы туда улететь!.. — мечтали тт. Линдель и Игнатъев.

Но как бы мы ни измеряли путь, отделяющий нас от места аварии, какие бы, даже наиболее благоприятные, условия полета ни предполагали, все-таки оказывалось, что для нашего маленького самолета «У-2» непосильно покрыть расстояние между базами горючего.

— Был бы цел наш «Р-5», мы были бы там!

Но «Р-5» стоял под брезентом, засыпанный почти доверху снегом. Его мотор еще осенью окончательно вышел из строя. Мы вынуждены оставаться в роли пассивных зрителей!..

19 февраля аэроплан унес гидролога Данилова вместе с его приборами на острова Самуила.

20 февраля мы вылетели с них на ледовую разведку к острову Малый Таймыр. Надо было найти продолжение кромки пловучих льдов, которую мы видели у о. Самуила при первых полетах.

Погода прекрасная. Температура воздуха — 32° . Слабый юго-восточный ветер.

Снова под нами пролив Вилькицкого. Знакомый пейзаж замёрзшего пустынного берега уже не привлекает прежнего внимания. Сейчас важно, во-первых, правильно держать курс, и, во-вторых, правильно отобразить в записной книжке картину льдов.

Вдали уже начинало мелькать какое-то темное пятно, возможно, остров Малый Таймыр или остров Старокадомского. В это время прибор показал падение оборотов винта. Под нами расстились неровные торосистые льды. Посадка на них невозможна. Постепенно теряя высоту, самолет повернул к материку. 500 метров... 400... 300... 200... — продолжает свой механический счет высотометр.

Торосы кажутся теперь выше и запутаннее. Нагнув головы книзу, мы стараемся найти что-нибудь похожее на посадочную площадку. Но тщетно... Только впереди, около самого материка, в одной из бухт видно ровное пространство.

— Дотянем или нет? Это вопрос жизни или смерти...

100 метров... 50... 25... Под нами торосы, но заветная площадка уже близка. Мы сели на самом краю ее, неровном и ухабистом из-за жестких снежных застругов...

Лопнул один из тросов. Самолет, наклонившись на одно крыло, остановился. — Цел самолет! — радостно сообщил т. Линдель после его осмотра.

Аэроплан, действительно, остался цел, но лететь на нем дальше нельзя. Бакинский бензин, вследствие низкой температуры воздуха, начал кристаллизоваться. Естественно, что мотор, не получая нужного притока горючего, перестал да-

вать необходимое число оборотов, и самолет стал спускаться, едва не посадив нас на торос.

— Будем выходить пешком, потом приедем на собаках!

Путь нам предстоял недалекий. Поэтому, сунув в карман бутылку бензина, две банки консервов и забрав винтовку, мы двинулись к мысу Челюскина, обогащенные первым опытом вынужденной посадки.

К заходу солнца радиомачта зимовки уже была видна.

— Люди с востока... — с недоумением и некоторым испугом констатировали зимовщики, завидев две закутанные меховые фигуры.

Немедленно навстречу нам выступила большая группа.

На другой день к месту аварии самолета выехала запряжка собак, нагруженная грозненским бензином, неподдающимся кристаллизации...

Самолет снова прилетел на свой аэродром.

Сделали еще раз попытку добраться до острова Малый Таймыр. Но опять неудача. Поднявшийся густой туман заставил поспешно вернуться обратно, чтобы не потерять из видимости посадочную площадку.

— Не дается нам проклятый остров... Но все-таки мы его достанем!..

Измерения температуры на высоте, сделанные синоптиком т. Рихтером, дали любопытные результаты. Температура повышалась через каждые 100 метров. На высоте 1.500 метров она была -14° , тогда как на земле мороз достигал -18° .

26 февраля вновь вылетели к Малому Таймыру. Он снова начал показываться, как темное пятно, и снова пришлось вернуться из-за тумана. Теперь мы были ближе к островам Самуила. Пора было еще раз посмотреть, в каком состоянии находятся там льды при новой температуре и новых ветрах.

Опять нас встретили узкий канал чистой воды, идущий около приняя островов, и большое скопление льдов на горизонте.

— Курс на север! В район пловучих льдов!

Самолет послушно идет туда, подгоняемый попутным ветром. Между плавающими льдами почти нет проблесков чистой воды. Льды вплотную прижаты друг к другу. Они серого оттенка и лишены снежного покрова.

Возвращаться обратно было затруднительно. Встречный ветер замедлял ход самолета. При пересечении полосы открытой воды он как бы остановился в воздухе. Четко работал мотор, но мы продолжали висеть над водой, нисколько не подвигаясь к припаю. Сила встречного ветра нейтрализовала усилия самолета.

Уже приходила мысль, не повернуть ли назад и при боковом ветре попытаться вылететь из района пловучих льдов хотя бы на Северную Землю.

Аэроплан начал забирать высоту, отходя от припая на север. На высоте 1.000 метров он снова повернул к припаю. Здесь напряжение ветра стало слабее. Под нами показалось ровное поле припая. Но теперь возникло новое затруднение. Пока самолет делал круги и боролся с ветром, его отнесло на неопределенное расстояние в сторону, неопределимую нашими приборами.

Тщетно ищут глаза острова Самуила и замеззшие во льдах пароходы. Их нет... Везде ровное белое пространство.

Тов. Линдель дал мотору самые малые обороты. Наступила тишина.

— Куда полетим?

Сравниваем силу и направление ветра с силой мотора и затем решаем:

— Нас отнесло к востоку. Надо вернуться к кромке льда.

Послушный мотор опять заработал. Мы снова около открытой воды.

— Ошиблись или не ошиблись, определяв направление?

Нет, не ошиблись. Через некоторое время мы увидели восточный остров Самуила. Близко от него была кромка льда.

Темной точкой ясно виднелись наши замерзшие пароходы.

Гидрологические работы и охота

С рассветом жизнь на нашей зимовке стала гораздо оживленнее. Даже из-

любленный «козел» начал терять своих приверженцев. Теперь все увлеклись футболом. Розный плотный снег представлял из себя отличную площадку для игры. Мороз от -17° до -20° никого не смущал. Футбольные команды жестоко сражались между собой. Всех побила команда «сталинцев».

Однажды к вечеру около пароходов появились, как показалось сначала, четыре собаки. Двух из них распознали сразу. Это были полуволки — «Найми» и «Ремянка». Позади них собачьей трусцой, не торопясь, бежала пара крупных полярных волков. Собаки и волки, подойдя близко к пароходам, спокойно улеглись на снегу. Очевидно, в их группе царил полный мир.

Войну начали люди. Двумя выстрелами один из волков был убит, второй же, оставляя большой кровавый след, скрылся в торосах.

Убитого зверя втащили на палубу. Это была сильная молодая волчица, покрытая густым бледносерым мехом с более темной полосой по хребту.

— Зачем их сюда занесло, когда кругом нет никакой жизни! — недоумевали зимовщики.

Дальнейшие охотничьи экскурсии показали, что волки пришли не одни. Они пригнали на север материка стадо диких оленей. Но возможно, что олени сами начали уже свою обычную откочевку к северу при наступлении весны. На берегу всюду виднелись свежие следы пребывания оленьего стада. В одном месте были найдены и кости недавно загрызенного оленя.

Волки стали часто кружить около пароходов, большей частью в одиночку. Собаки не раз бросались по их следам, встречались с ними, но к людям больше не приводили их. Мир был нарушен...

Первый гидрологический отряд вышел на восток от островов Самуила еще до нашего возвращения из последней авиаразведки. Капитан Смагин, штурман Тимофеев, машинисты Липатов и Керци, уйдя вместе с гидрологом Даниловым, уже неделю сидели на льду, не давая о себе никаких вестей. Это показалось нам несколько странным, так как одному из них надо было обязательно вернуться на

суда за некоторыми оставшимися вещами. Оторваться на льдине они не могли, так как по плану не должны были выходить за конец припая. Однако, сильная пурга, пронесшаяся в первых числах марта, все-таки заставляла беспокоиться об их судьбе.

Небольшой партией мы вышли на розыски отряда. Пурга начинала ослабевать. Поставленные вехи были едва видны. До острова, где находилась охотничья избушка, прошли быстро. Людей там не оказалось. Повидимому, отряд туда и не заходил.

Наше беспокойство усилилось: не потерял ли отряд направление, делая переходы во время пурги.

Решили выйти двумя группами по два человека в охват острова. Пока грели чайник в избушке и составляли планы, из-за мыса показалась фигура человека. Это был капитан Смагин.

— Где же остальные?

— Идут сзади... Заканчивают последнюю станцию.

Их работа задержалась из-за пурги. Кроме того, взяв одну станцию, им захотелось взять и другую, несколько севернее первой.

— Постоянных течений в этом районе нет. Имеются только приливно-отливные, и то очень небольшие, — констатировал гидрологический отряд.

Для науки станция дала положительные результаты, осветив один из пунктов моря Лаптевых. Но для зимовщиков это известие было не совсем приятным.

— Не скоро нас отсюда выломает, если не появится весной новое течение или не придет на помощь шторм.

Гидрологи решили оставить этот район в покое и вынести станцию как можно дальше, на север от островов Самуила, одновременно ведя футшточные наблюдения около пароходов и на западном острове.

На следующий день лыжная партия ушла к северу для выбора места новой станции.

В 12 — 15 километрах от пароходов в этом направлении в начале марта начинался район пловучего льда. Теперь положение здесь изменилось. Несколько дней под ряд дули нордовые ветры раз-

личной силы. Они вплотную подогнали пловучий лед к припаю и нагромодили высокие горы. Одна из них, высотой в 14 метров, стала служить нам маяком. С ее вершины в ясную погоду хорошо были видны пароходы.

Под влиянием сорокаградусных морозов прижатый лед спаялся в одно целое. Лед был морской, горько-соленый.

Теперь был наиболее удобный момент для постановки гидрологической станции. Но все же оставался некоторый риск, так как было совершенно ясно, что, если начнутся сильные штормы, снова восстановится прежнее ледовое положение.

— Беретесь поставить здесь пятнадцатисуточную станцию? Район интересный...

— Беремся... Если оторвет, вытащите нас аэропланом, — последовал ответ гидрологов.

Морозы во второй половине марта были сильнее, чем за весь предыдущий период зимовки. Была надежда, что морозы настолько укрепят спайку льдов, что она в состоянии будет сопротивляться некоторое время ударам штормовой волны. Тогда лыжная партия успеет выйти на припай.

Наблюдения этой партии решили еще раз проверить летной разведкой.

На другой день мы с т. Линделем уже летели на север от пароходов, пересекая ледяную торосистую равнину, где должна была в недалеком будущем стоять палатка гидрологов.

Наш бортмеханик т. Игнатъев прекрасно справлялся со своими обязанностями. Мотор у него всегда работал, как часы. Но т. Игнатьеву почти постоянно приходилось оставаться на парсходах, не принимая участия в полетах. Тесные помещения самолета и слабость мотора позволяли летать только двоим — пилоту и летнабу.

— Оставаясь на земле, я больше боюсь за вас, чем вы сами, — говорил т. Игнатъев.

— А мы совсем не боимся. После 45 лет человек не должен бояться никакой аварии...

Часовой полет на этот раз не обнаружил даже признаков свободных плаваю-

щих льдов. Все было сковано морозом в одно целое. Многочисленные торосы на стыке льдин говорили о сильном сжатии, произведенном последними nordowymi ветрами.

Аэроплан благополучно вернулся «домой».

— Трите скорее щеки... Совсем отмерзнут, — восклицали встречавшие нас зимовщики.

Солнечный свет оживил мертвые пространства. Разноцветными искрами сверкал снег... Далекие торосы приподнялись и, казалось, перемещались, движимые какой-то непонятной силой. Бодро и весело шла работа около пароходов «Ринка» в диком восторге от такой картины затеяла игру с другими собаками. Игра быстро перешла в драку.

«Харди» сцепился со своим постоянным врагом — «Чуркиным». Дерущихся окружила осталая стая, с нетерпением ожидая, когда упадет один из противников, чтобы немедленно его прикончить.

К великому сожалению собак, люди, как и всегда, вмешались в их развлечения. Лопаты и палки загуляли по спинам правых и виноватых. Это успокоило страсти. Собаки разбежались во все стороны. «Чуркин» опять успел снять с «Харди» часть кожи. Зато и сам он ковылял на трех лапах...

Вездеходы увезли гидрологов со всем их багажом в намеченное место. Продолговатые они взяли на тридцать дней — на случай вынужденного плавания на льдине.

В двухметровом льду была пробита прорубь около метра длиной. Над ней поставили палатку. По бокам проруби разместили ящики с продуктами. На ящики бросили постели — собачьи мешки. Небольшая железная печка, каменный уголь и две винтовки, поставленные около входа в ожидании медведей, придали нормальный вид полярному дому гидрологов.

Гидрологическая станция приступила к работе. На ней остались три человека — штурман Тимофеев, машинисты

Керци и Липатов. Двое из них должны были «стоять на вахте», третий же в это время отдыхать. Затем отдохнувший сменял одного из работавших. Другой же должен был продолжать работу еще одну вахту, выстаивая, таким образом, на ней 16 часов. Работа была круглосуточная. Надо было проследить направление течения и его изменения на всех глубинах, определить соленость воды и ее температуру.

— Приходите в гости почаще. Угостим медвежатиной, — соблазнили гидрологи.

— Почаще смотрите на лед, а не на медведей, чтобы не уплыть от самуильского центра, — посоветовали им на прощанье вездеходчики.

Маленькая палатка скоро скрылась за торосами. Только дым затопленной печи указывал ее присутствие.

— Теперь только бы подольше не было шторма... Тогда станция даст интересный материал.

Вездеходы легко шли по плотному снегу, оставляя глубокий след своими гусеницами. В торосистых местах пшени и топоры расчищали им дорогу. Механизированный транспорт приходил на смену обычной в Арктике собачьей упряжке.

Дни попрежнему были светлые и морозные. Гидрологов часто навещали охотники. Однажды рядом с палаткой были обнаружены следы небольшого медведя.

— А где же сам зверь?

— Убежал... Мы стреляли... Выскочили из темной палатки на свет и промахнулись, — оправдывались гидрологи.

— Проспали. Так и скажите.

— Не проспали, а производили «биологические» наблюдения. У нас есть новый «гидролог».

К палатке начала приходиться нерпа. Сперва она быстро проплывала около проруби, привлеченная светом фонаря. Но затем привыкла к нему и стала даже выставлять голову из воды. В палатке ей определенно нравилось. Неподвижные фигуры людей перестали казаться ей подозрительными.

— Ну, нелпочка, вылезай совсем, — ласково уговаривали ее гидрологи.

Она скоро привыкла и к звуку голоса и только презрительно фыркала, поворачивая голову к говорившему.

— Мы ее скоро приручим, — уверял т. Керци. — Ко мне она определенно чувствует симпатию.

— Ну, конечно, она же видит, что ты у нас самый молодой!..

«Приручить» нерпу не удалось. Ночевавший в палатке охотник застрелил ее в упор, когда она пришла с очередным визитом.

— Утопить бы тебя надо за это, — печалились гидрологи.

Однако, их скорбь не была безутешной. Жир нерпы, брошенный в печку, горел ярким пламенем, разнося далеко по ветру острый неприятный запах. Для медведей этот запах был чрезвычайно привлекателен. За один день палатку атаковали три медведя. На сей раз стрельба оказалась безрезультатной. Три великолепные шкуры и около полутонны мяса лежали возле палатки.

— Хорошо помогает нам нерпа, — ликовали теперь в палатке.

Собачья упряжка на другой день оставила часть мяса на пароходы и на островную зимовку.

Все с удовольствием ели его, заменив надоевшие консервы.

— Ешьте больше. Цынги не будет, — уговаривали врачи.

— Да разве бы мы в Архангельске стали есть медведя? — жеманились женщины.

Но и они не без аппетита ели медвежатину.

Морозные светлые дни снова сменились пургой. Полет в направлении палатки установил, что льды находились уже не более чем в пяти километрах от нее.

— Не пора ли вам сниматься!

— Не стоит бросать работу.. Мы каждый день осматриваем лед.. — отвечали увлекшиеся гидрологи.

Закопченные, черные лица, обросшие бородами, только отдаленно напоминали всегда чистых и опрятных ранее моряков.

— Вымоемся потом на пароходах.

На другой день засвистела пурга давно невиданной силы. Она длилась не-

прерывно двое суток. С пароходов не-возможно было выйти. Беспокорство овладело всеми за судьбу гидрологов.

— Оторвет их... Что будем делать? — сетовал Жора Подобедов.

— Не оторвет! Ветер с южной стороны. Если бы это был норд, ну, тогда другой разговор, — успокаивал капитан Смагин.

На третий день пурга несколько утихла. Вдвоем с плотником т. Леоновым мы ушли на лыжах проверить, что делается в палатке.

Это было тяжелое путешествие. Суда почти немедленно исчезли из вида. Торосы выступали из снежной мути лишь при самом приближении к ним. Ориентировались исключительно по ветру и по выступающим кое-где из-под снега следам вездехода... Наконец, наткнулись на четырнадцатиметровый торос, стоящий около границы пловучего льда.

— Направление выдержано правильно.

За торосом виднелись льды, еще не оторванные штормом. Сомнения исчезли. Гидрологи оставались еще на месте. Но на самой границе припая уже шла неширокая трещина. Она не была непрерывной. Часть льдов сохранила еще свою связь с припаем.

Труднее всего было найти палатку. Она была совсем незаметна среди торосов, при этом ничтожном горизонте видимости.

Мы прошли немало лишних километров, делая зигзаги, прежде чем увидели сквозь летящий снег темные очертания палатки.

Гидрологи невозмутимо продолжали свою работу.

— Мы уже проверили трещину... Она еще не широка. А с моря осталось до нас около километра. Нам нужно еще три дня работать.

Шторм утихал. Работа подходила к концу. Жаль было прерывать ее.

— Пусть будет по-вашему. Если шторм опять разыграется, уходите немедленно к большому торосу.

— Есть! — согласились гидрологи.

Мы двинулись с т. Леоновым обратно. При наступившей тьме, в пурге, против ветра, идти стало еще труднее.

Часто приходилось останавливаться за торосами, чтобы отогреть замерзшее лицо и перевести дыхание.

— Пароходы на курсе.

Приветливо выглянули огоньки иллюминаторов. Скоро нас ждали свет и тепло.

— Я же говорил, что там все благополучно, — торжествовал капитан Смагин. — Там сидит народ, привыкший ко льдам по зверобойным промыслам. Знают, когда надо уходить.

Пурга заметно шла на убыль. Наутро выглянуло солнце, еще полускрытое облаками. Скоро можно будет продолжать ледоразведку.



Радиус полета аэроплана «У-2» перестал удовлетворять нас. Летя на короткое расстояние, мы не могли проследить всю кромку льда Таймырского полуострова.

Товарищи Линдель и Игнатъев решили поставить на самолете дополнительный бензиновый бак. На пароходах всегда находятся люди самых разнообразных профессий. На «Володарском» нашелся хороший жестянщик. По чертежам, из пустых бензиновых баков он сделал нужный бак в виде торпеды. Через несколько дней «торпеда» была установлена на самолете. Теперь мы могли уже покрыть расстояние до 600 км.

Район островов Самуила был достаточно изучен. На очереди — наблюдение за льдами около о. Малый Таймыр и восточных берегов Северной Земли.

4 апреля вылетели в этом направлении. Мороз доходил до -35° . Привычными курсами пошли к полосе пловучего льда. Кромка припая на траверсе о. М. Таймыр шла прямо на север. Здесь пловучие льды тесно прижаты к замерзшему проливу Вилькицкого. Лишь узкая линия показывает их границу.

С середины пролива самолет попал в туман. Наблюдения стали невозможны. «Бреющий» полет над самой поверхностью не помог делу.

— Чортво место! Никак не можем добраться до Таймыра.

Пришлось вернуться к материку и вылететь на мыс Челюскина.

Дорога эта стала для нас настолько привычной, что здесь нас не смущал никакой туман.

Малейшие проблески света уже давали возможность определить, где мы находимся. Острова Локвуда, мыс Прончищева, бухта Мод... Дальше гора Аструпа. Даже характер торосов стал нам знаком до мелочей.

Скоро достигли зимовки мыса Челюскина. Когда наш самолет делал круги для посадки, с противоположной стороны показались вездеходы экспедиции тов. Урванцева.

Растерянные собаки не знали, к кому из этих гостей броситься с извещением своих дружеских чувств.

При виде «Харди», судящего на вездеходе, их дружеские чувства сменились сильнейшим гневом. В свою очередь, «Харди», долгое время лишенный своего обычного удовольствия — драки, загорелся желанием вознаградить себя за долгие лишения.

Люди радостно пожимали друг другу руки. Собаки переругивались между собой самым невероятным образом.

Палка, прошедшая по спинам наиболее горячих сторонников драки, несколько успокоила страсти.

— «Альфа» не прибежала на зимовку?

— Нет...

— Значит, разорвал волк или заблудилась и замерзла в тундре...

Это было надгробным словом над погибшей собакой. Она на второй день отбилась от экспедиции т. Урванцева и больше не возвращалась ни на острова Самуила, ни к экспедиции.

Зимовщики мыса Челюскина готовились в ближайшие дни выйти в маршрут для гидрологического разреза пролива Вилькицкого. Две собаки упряжки должны были перевезти людей и весь их груз через торосистые льды...

— Нам бы ваши вездеходы, — с завистью говорили некоторые из зимовщиков.

Однако, их зависть была необоснованна. Через торосистые льды пролива

Вилькицкого путь вездеходу был закрыт.

Транспорту на собаках еще долгое время суждено играть большую роль в Арктике. Для легких разведочных работ, для прохода по затороженным пространствам, для подвозки продукции охотничьего промысла собаки незаменимы.

Себестоимость эксплуатации вездеходов в период зимних работ, при невозможности полной загрузки их, составляет 31 рубль за тонно-километр. Вездеходы рентабельны только там, где им обеспечена бесперебойная планомерная работа, т.е. на местах крупного строительства, или же там, где приходится иметь дело с большими неделимыми тяжестями. В таких случаях себестоимость эксплуатации снижается до 5 руб. 13 коп. за тонно-километр.

Техника не должна бить экономику, ради которой она применяется. Себестоимость доставки моржа на вездеходах на расстояние 20 километров превышает стоимость самого моржа, и, таким образом, пропадает самый смысл промысла.

Наш самолет вскоре оставил мыс Челюскина и перелетел на острова Самуила. Туда же двинулись и вездеходы, после того, как были исправлены некоторые повреждения.

Гидрологические и метеорологические работы на нашей зимовке шли обычным порядком. В мортехникуме состоялись очередные испытания учащих, давшие вполне удовлетворительные результаты. Регулярно происходили занятия в политекружках. Интенсивно ремонтировались машины и корпуса пароходов.

Стенгазета наполнилась многочисленными корреспонденциями «с мест», где сообщалось о ходе соревнования между пароходами, об ударниках и лодырях зимовки. Вместе с тем она призывала к борьбе с растущим огрубением нравов. Пример грубости подавали и некоторые лица из комсостава парохода «Правда». Плохой тон задавался сверху.

Стенгазета, а вместе с нею и вся общественность зимовки дали резкий отпор этому явлению, заставив этих лю-

дей знать границы в своих выражениях и поведении.

Зимовка в целом, за исключением отдельных единиц, сохранила бодрость и энергию.

Вечером был поставлен отчетный доклад о ходе научных работ. Он ясно показал, что к концу зимовки они будут выполнены. Но можно ли будет выполнить всю программу летных наблюдений за положением ледяного покрова? Мы рассчитывали, что будем производить эти наблюдения с аэроплана «Р-5». Между тем приходилось летать на «У-2», мотор которого был в 5 раз слабее, чем мотор на «Р-5». Дальние же полеты были еще впереди!

Многочисленные вопросы зимовщиков о работе самолетов в лагере Шмидта заставили нас сделать подробную информацию о жизни челюскинцев на льдине и о героических полетах летчиков.

Радио наших пароходов перехватывало только отдельные случайные сведения, не давая полной картины того, что происходило в районе гибели «Челюскина». Это волновало и будоражило зимовщиков.

— Почему они не выходят сами на материк? — тревожились некоторые.

— Не выходят, значит, нельзя. Товарищи Шмидт и Воронин лучше знают, можно идти или нет, — возражали более опытные поморы.

Полученное нами сообщение о том, что в лагере Шмидта осталось уже немного людей, значительно успокоило настроение «самуильцев».

— Несколько дней — и все будут на материке.

— Я так и знал, что они скорее будут в Ленинграде, чем мы, — взгрустнул после этого один из слушателей.

Еще 6 апреля на зимовку островов Самуила из бухты Прончищевой приехали на собаках промышленники, тт. Журавлев и Синельников. Расстояние около 400 километров было покрыто ими в четыре-пять дней.

Они настаивали на скорейшем прилете в бухту врача для осмотра людей, подозрительных по цынге. Кроме того, они нуждались в прибытии к ним свежего человека со стороны для разбора не-

которых несогласий между промышленниками, покуда эти несогласия не разрослись в «полярную склоку».

Наш самолет некоторое время должен был еще продолжать полеты между о. Самуила и мысом Челюскина. Надо было доставить на мыс для обработки и анализа материалы гидрологических и метеорологических работ.

Кромка шловучих льдов к этому времени восстановила положение, в котором она находилась до мартовских замерзаний. Снова она была не более, чем в 12 — 15 километрах от нашей стоянки. Медведи и медведицы со своими детенышами оставляли на льду припая довольно частые широкие следы. Недостаток в свежем мясе и в корме для собак заставил нас подумать о более энергичной охоте.

Недалеко от восточного острова находился еще один маленький островок. Он был обложен крупными торосами, но в километре от него припай уже кончался... Там шла широкая полынья воды, иногда закрывавшаяся подвижным льдом. Это было самое подходящее место для охоты. К нему перекинули фанеру и устроили небольшую избушку, в которой охотники могли ночевать и получить дополнительный запас продовольствия.

Палатка гидрологов была перенесена в более безопасный пункт, на край припая. Таким образом создались две опорные базы.

Товарищи Журавлев и Синельников прибыли к нам на двух упряжках собак. Как только собаки отдохнули от далекого путешествия, мы выехали на охоту.

Упряжки были великолепны, особенно у т. Журавлева. Его передовик — черный «Беркут» — в совершенстве знал правила езды и прекрасно вел свою стаю.

Собаки Синельникова состояли из девятимесячных щенков. Передовиком у него был «Макар», кавказская овчарка. «Макар» ехал на «Русанове» в 1933 году, еще сидя в корзине около своей матери. Теперь мы встретились с ним в другой обстановке.

Несмотря на свою молодость, «Макар» обладал большой силой и обещал

превратиться в хорошего ездового пса. Только лапы у него были гораздо нежнее, чем у полярных собак. Жесткий снег стирал до крови его подошвы.

Тем не менее, молодой темперамент брал свое. Щенячья упряжка шла, не отставая, за упряжкой т. Журавлева.

Подъехали к краю припая. Темная вода, наполненная серыми ледяными иглами, лениво плескалась о двухметровый лед. Плавали отдельные льдины с заторошенными краями. Над полосами открытой воды нависли клочья тумана.

Упряжка бежала неторопливой собачьей рысью на восток, вдоль припая. Из-за тороса показался медведь... Он удивленно посмотрел в нашу сторону и затем стал медленно приближаться.

Собаки превратились в чертей. Они неслись на медведя, не разбирая дороги.

— «Пират», «Беркут»!.. — ля... ля!.. (окрик остановки), — орал Журавлев.

Воткнутый в снег хорей наконец затормозил нарты. Медведь был в нескольких шагах. Три почти одновременных выстрела, — и зверь распластался на льду всем своим огромным, великолепным туловищем.

Собаки успокоились. Только изредка они нервно повизгивали, прекрасно понимая, что дело уже кончено и они получают хорошую кормежку по прибытии на место.

— Мы снимем шкуру, а вы пока посмотрите дальше, — распорядился вошедший в азарт т. Журавлев.

С собакой «Белкой» я пошел в торосы. «Белка», принохиваясь к ним, бежала, бросаясь в разные стороны. Чутье у полярных собак очень плохое. Их вырывают только зрение и сметка.

«Белка» озадаченно смотрела в открытую полынью, откуда выставились головы двух крупных моржей. Их чудовищные морды и белые клыки были не далее 100 метров. Выстрел почти верный. Но убитый морж почти моментально тонет. Стрелять его на воде было совершенно бесцельно.

«Белка» сошла с припая на тонкую пленку молодого льда, подошла поближе к моржам и подняла лай. Моржи от-

вечали ей своим голосом, похожим на мычанье.

Собака нетерпеливо смотрела на меня, как бы говоря:

— Пора же стрелять...

Поругавшись с собакой, моржи уплыли под лед и затем показались уже далеко, в другой полынье.

Недовольная «Белка» вернулась на припай. Мы пошли дальше. На самом краю припая оказалась темная бесформенная масса. Биноколь показал: лежат два больших моржа... «Белка» могла теперь только помешать.

В это время т. Журавлев уже под'езжал на своей упряжке.

— Василий там управится один.

Привязав «Белку» к нартам, мы медленно поползли, прячась за торосами.

Осталось 20 метров. Моржи лежали спокойно, но стрелять было нельзя. Нам были видны только их массивные туши. Убить моржа можно только пулей в голову, около уха.

Мы лежали тихо. Наконец что-то беспокоило моржей. Оба они подняли свои безобразные головы. В тот же момент раздались два выстрела. Головы бессильно упали вниз. Кровь била фонтаном и скоро образовала целую лужу.

Долго мы провозились над снятием шкур и разделкой туш. Вдруг из воды показалась голова третьего моржа. Он был не более, чем в 10 метрах, мычал, как бык, и недоумевающе глядел на нашу работу. Мы устали от долгого пути, с'емки шкур и особенно от перетаскивания их на более надежное место припая.

Руки замерзли на холодном воздухе. Оленьи сапоги пропитались кровью и тоже замерзли.

— Лишь бы он не вылезал на льдину. Придется тогда его убить. Это даст новую работу...

Морж внял нашему желанию и, поплавав около нас, ушел под лед.

Добычу перетащили поближе к охотничьей палатке и, забрав с собой головы и половину шкуры моржа, поехали к пароходам.

Через торосистые льды собаки с трудом тянули нарты, тяжело нагруженные мясом и шкурами медведя и моржа. Но все-таки они преодолели трудный уча-

сток и потом уже легко пробежали 20 километров ровной дороги.

Не выпрягая собак, мы поднялись на пароход, чтобы несколько отогреть руки. Прошло не более пяти минут, как вахтенный вбежал в кают-компанию с криком:

— Бежите скорее! Медведь!

Схватив винтовки, выбежали на снег.

Большой красивый медведь подошел к собакам и, не обращая на них внимания, направился к нартам, где лежали моржовые головы и шкуры.

Он был убит на расстоянии не более 10 шагов. По следам было видно, что зверь давно уже шел за нартами, но успел догнать их только на остановке.

Оставленные на припаяе часть шкур и мясо моржей в дальнейшей послужили великолепной приманкой для медведей.

Охотничьи экскурсии проходили теперь гораздо успешнее, чем раньше. Бывали, конечно, случаи, когда приходилось возвращаться с пустыми руками, потратив на охоту несколько дней. Но бывали и дни, когда охотники убивали сразу по четыре медведя. Много зависело от ветра и погоды.

Мяса и шкур моржей и медведей накопилось на припаяе немало. Не успевали вывозить на собаках. Пришлось отправить два вездехода. Они забрали почти весь запас. На месте оставили только приманку.

Люди и собаки теперь были обеспечены свежим мясом надолго.

По росту и характеру белые медведи далеко не одинаковы. Случалось убивать очень крупных и красивых самцов. Они очень часто шли за охотником, и, приблизившись к нему, переходили в наступление. Трудно сказать, насколько враждебно были они при этом настроены. Возможно, что и здесь играло большую роль любопытство.

Другие медведи, более молодые, но также крупные и упитанные, становились жертвой излишней доверчивости и любопытства. Они приближались неторопливо, не пытаясь подкрадываться. Иногда, не будучи замечены охотником, они останавливались в нескольких шагах от него и внимательно рассматривали

человека, не проявляя никакой враждебности.

Попадались также и медведи, которые при виде человека и собак немедленно обращались в бегство. Убивать такого зверя удавалось только в том случае, если его окружали и задерживали несколько собак... Таких было большинство.

Результаты охоты в 1933/34 г. на островах Самуила, на мысе Челюскина и Северной Земле показали, что количество медведей убывает в Арктике очень быстро.

На о. Диксон медведи уже являются некоторой редкостью. В наших широтах — на мысе Челюскина и островах Самуила — они встречаются еще довольно часто. Но после большой добычи 1932 года на мысе Челюскина мы находили их уже в гораздо меньшем количестве, несмотря на более систематическую и расширенную охоту. На Северной Земле зимовщики убили только несколько экземпляров.

Медведица не каждый год дает медвежонка. Полного роста он достигает, вероятно, на четвертый год.

Охота на медведя не регламентирована. Экспедиционные суда, никогда не нуждающиеся в мясе, обычно открывают настоящую баталию при виде каждого зверя, не считаясь с его возрастом, ростом и т. д. Многие медведи уходят и пропадают подраненными.

Об этих «подвигах» потом корреспонденты сообщают по радио, как о чем-то выдающемся. На самом же деле это бессмысленное убийство — не что иное, как особая разновидность хулиганства.

Морж истреблен во многих местах Ледовитого океана. В море Лаптевых и в восточной части Карского моря он еще держится большими массами. В настоящее время моржа бьют все, как попало и когда угодно. В 1934 году с «Малыгина» с гордостью сообщалось в Москву по радио:

— Увидели на льдине пять моржей и всех перебили... Достать удалось только одного... Остальные утонули...

В бухте Прончищевой было перебито несколько залежек моржей, причем погибло много молодняка.

Хотя Ледовитый океан и имеет некоторые запасы зверя, но при таких методах охоты уничтожить его очень трудно.

Давно пора выработать правила охоты и для этих мест, совершенно воспретив ее экспедиционным судам. На зимовках охота, конечно, должна производиться, так как здесь зверь убивается по необходимости, и его бьют в те периоды, когда он наиболее ценен.

Почти все зимовки 1934 года испытывали острую нужду в мясе для собак и вынуждены были подкармливать их мукой, привозной рыбой и даже консервами.

Острова Самуила не были изучены в промысловом отношении. Нашими разведками установлено, что они являются районом довольно больших залежек моржа. Дополнительными промысловыми животными могут служить здесь медведь, песец, нерпа и иногда волк.



16 апреля промышленник т. Журавлев вместе с врачом Е. И. Урванцевой двинулись на одной упряжке собак в бухту Прончищевой. Тов. Синельников остался на нашей зимовке, чтобы продолжать промысел до весны.

О путешествии в бухту прекрасно рассказано в отчетном докладе т. Урванцевой.

«16 апреля я с Журавлевым покинула базу, направившись в бухту Прончищевой. Дорога предстояла дальняя, нужно было пересечь пространство в 350 километров по восточной части Таймырского полуострова. В нашей упряжке было 14 собак (по выражению Журавлева, «четырнадцатипятииндюровый мотор»). Нарта у нас набралась тяжелая, так как наша база снабдила артель промышленников слесарным инструментом, библиотекой, канцелярскими принадлежностями и многими другими вещами, необходимыми для зимовки, вплоть до стальных часов. Да нас двое. Да еще палатка. И нарта оказалась перегруженной.

Корма собакам пришлось взять только на одну кормежку. Мы рассчитывали

на следующий день добраться до места, где Журавлевым была оставлена туша убитой им медведицы.

Первый день нашего пути был удачным: ясная погода, хорошая дорога. Собаки шли со свежими силами очень легко. Все это дало возможность сделать за день 35 километров по одометру.

На другой день погода изменилась. С утра навалил туман. Видимости никакой — кругом все, как в молоке. Ориентироваться стало очень трудно. Температура упала до -32° Ц. Найти место, где была оставлена туша убитой медведицы, нам не удалось.

Стали станом, разбили палатку.

На третий день температура хотя и поднялась, но пурга усилилась настолько, что крайнюю собаку (передового) временами нельзя было видеть. Потерять направление было очень легко, а ехать надо: корма собакам нет.

Ориентировались мы по компасу, выпущенному для ширпотреба. Компас был неточен и нас подводил. В заключение всех невзгод, преследовавших нас в этот день, выпало стекло у компаса, и пропала стрелка. Июкали, искали мы стрелку, но так и не смогли найти. Напрасно лишь морозили себе руки.

Солнца не было. Ориентироваться по застругам было невозможно: они шли в разных направлениях благодаря частой смене ветров в этой местности.

Июного выхода не было, как отогреть руки и сделать снова попытку найти стрелку.

После тщательных поисков стекло и стрелку нашли. Исправив компас, с трудом поднимали уставших собак и двинулись дальше. Ехать долго не пришлось. Пурга усилилась, да и собаки после двухсуточной голодовки шли плохо. Пришлось остановиться и разбить палатку. Принялись готовить ужин. Целые галеты и печенья отдали собакам, мелкие крошки поджарили для себя в масле. Использовали вместе с собаками банку консервов. Поужинали и, забравшись в меховые спальные мешки, пошли ко сну. Всю ночь продолжалась отчаянная пурга. Выйдя из палатки, невозмож-

но было устоять на ногах. Наутро пурга утихла, но туман скрыл окрестности. Собаки дрожат.

— К вечеру, — говорит Журавлев, — придется два «цилиндра» выключить.

Это значило ликвидировать двух собак на корм остальным.

Несмотря на трудности, все же в этот день мы сделали 43 километра. Вечером отдали собакам последние галеты. Ночью кое-кто из псов подвывал — тянул голодную песню. Наутро следующего дня мы имели налицо только две банки мясных консервов. Одну отдали двум собакам — «Обалдую» и «Квику», которые чаще других переносили хорей и выглядели хуже других.

Напившись чаю, двинулись дальше. Собаки были сильно истощены, но все же шли вперед, отдавая последние силы. Помогало, что дорога шла под гору. Часа через четыре мы выехали на море. Туманы и пурга не покидали нас до конца поездки. Только благодаря богатой интуиции Журавлева и умению ориентироваться в пургу 21 апреля, в 4 часа дня, мы подехали к знакомому месту, где лежала привада (моржевое мясо) для приманки песцов.

Здесь, в 25 километрах от становища, мы смогли накормить этим моржевым мясом наших верных спутников и друзей — собак, преданно разделявших с нами все горести и невзгоды нашего далекого путешествия.

Раньше, в пути, я подкармливала собак, чем могла, несмотря на то, что Журавлев протестовал: скормила им мясные консервы и сухари, шоколад и пирожные, которые везла в виде гостинца зимовщикам и детям в становище бухты Прончищевой.

Оставив у привады палатку и весь груз, забранный нами с базы, мы двинулись в путь, преодолевая последние 25 километров.

В 10 часов вечера мы, уже налегке, приехали в становище, где нас радостно встретил весь коллектив промышленников.

Длинный и тяжелый путь остался позади.

В бухте Прончищевой мне пришлось прожить до 3 мая.

Всего в становище бухты зимовал 21 человек: десять промышленников, из которых четверо приехали сюда с женами и семеро детей.

Зимовщики в становище помещались в хорошем просторном доме. Каждая семья имела отдельную комнату.

В глухую темную пору члены артели между собой перессорились, разбились на группы. Одна группа досаждала другой. Взаимно друг против друга выставляли необоснованные оскорбительные обвинения.

Склока создала нездоровую бытовую атмосферу.

Некоторых зимовщиков под предлогом, что они якобы больны заразными болезнями, лишали права входить в кухню, не допускали исполнять хозяйственные обязанности.

Произвела тщательный врачебный осмотр всех членов артели, как взрослых, так и детей.

Устроила общее собрание членов зимующего коллектива. На собрании разъяснила, что заразных болезней не обнаружено. Прочитала лекцию на тему о венерических болезнях.

Ежедневно вела беседы с зимовщиками на медицинские и санитарные темы.

Указала на нерадиональное, одностороннее питание, на нерациональное расходование продуктов, в частности на большое употребление в пищу мясных консервов.

Настоятельно предложила изменить питание, пополнить его пищевыми продуктами, содержащими все рекомендуемые современной медициной витамины.

... При медицинском обследовании здоровье зимовщиков в основном оказалось удовлетворительным. Но были и больные.

У одной женщины имелись яркие признаки цынги... Организм этой зимовщицы был надорван предыдущими зимовками на Новой Земле. У одного зимовщика оказались ленточные глисты.

«Очервление» глистами на крайнем Севере — явление бытовое: зимовщики употребляют полусырую мясную и рыбную пищу. Излюбленная «строганина», приготовляемая из сырой замороженной рыбы, тесное общение на зимовке с со-

баками являются причинами заражения глистами.

... У двух промышленников были обнаружены сердечные заболевания: порок сердца в стадии компенсации.

Дети были в хорошем состоянии, за исключением двух ребят Журавлева Ивана — девочки Гали, 5 лет, и мальчика Клавдия, 3 лет, которые родились и росли на Новой Земле. У обоих были признаки рахита. Они были бледны, вялы, в умственном отношении отставали от других детей того же возраста.

... В обратный путь мы двинулись на двух собачьих упряжках. К нам присоединился брат Журавлева, поехавший на острова Самуила для промысла на нерпу.

Корма было взято теперь более чем достаточно, так как знали, что с наступлением светлой поры пурги усиливаются.

На другой же день ударила сильная пурга, и нам пришлось остановиться в палатке.

Выйдя из нее, я не нашла ни одной собаки.

— Где же они? — спросила я Журавлева.

Оказалось, собаки были занесены снегом. На мой голос из-за сугроба показалась красивая морда «Филатки», самого прожорливого пса из упряжки брата Журавлева.

... Перед отъездом с базы я не забыла захватить книги, и они помогли мне скоротать время отсиживания в палатке.

К утру пурга начала утихать, и мы двинулись дальше. Дорога была ужасная. Местами намело столько снега, что собаки погружались в него с головой. За 8 часов нашего передвижения одометр показал всего 29 километров. Бедным собакам доставалось туго. Не менее уставали и мы, так как все время приходилось соскакивать и помогать собакам. В этот день хорей дважды был обломан Журавлевым для вразумления «Обалдуя» и «Милки».

Скоро снова разыгралась пурга. Пришлось опять выпрягать собак и отсиживаться. Пурга ударила настолько сильная, что палатка гудела, как бубен, а

временами порывами ветра полотнища ее шелкали, как из ружья.

Развели примус и напились чаю.

Стоять можно — корм собакам есть. Пурга все усиливалась. К вечеру Журавлев не выдержал и разворчался.

Утром 8 мая прояснело, даже выглянуло солнце, и мы за 5 часов сделали 44 километра. До базы оставалось 50 километров.

Вдруг Журавлев кричит мне:

— Самолет!..

Оказалось, на «У-2» летели Б. В. Лавров и Линдель. Они держали курс на бухту Прончищевой... Сделали посадку вблизи нашей палатки, побеседовали с нами, выпили чаю и вернулись на острова Самуила. Часа через три и мы двинулись в путь. Не успели отъехать двух километров, как на мысе Фаддея появилась большая медведица с медвежонком, которые, завидев нас, начали удирать. Собаки, несмотря на то, что проделали большой путь и устали, пустились за медведицей.

... Через несколько минут братья Журавлевы умело расправились с тушей медведицы. На мою долю выпало следить за медвежонком «Машей», как мы его называли, так как «Маша» вела себя беспокойно, когда ее разлучили с матерью. Первым делом «Маша» привела в действие одометр и, если бы я вовремя не подоспела, вряд ли от него что-либо осталось. «Машу» мы привезли с собою на базу.

Проехали мы несколько часов, и опять ударила пурга. Собаки отказались итти, от хоря почти ничего не осталось. «Обалдуй» получил должное за свое упрямство. Пришлось разбить палатку. Через час Журавлев вышел из палатки и увидел вешку. Оказалось, мы стоим всего в трех километрах от базы.

Пурга начала стихать, и мы двинулись в путь. Время приближалось к полудню, но было светло.

На базе нас поджидали и сильно беспокоились. Здесь все благополучно. Люди здоровы.

После дороги мы спали, как убитые. Только Журавлев кричал во сне:

— «Обалдуй», чортова голова!.. «Милка», вражья сила!..»

Полеты продолжаются

Погода стояла неустойчивая. Несмотря на это, самолет сделал несколько полетов на мыс Челюскина, перебросив туда наши материалы по гидрологии и метеорологии.

Мы решили продолжать ледовую разведку. Нам предстояло лететь либо опять к о. Малый Таймыр, либо в залив Фаддея и дальше в бухту Прончищевой. Туман на севере заставил избрать второе направление.

На этом пути нас ждало много работы. Давно наше внимание было приковано к почти постоянно наблюдаемому на востоке водяному небу. Кроме того, далеко не лишне было проследить и нанести на карту глубь Таймырского полуострова, хотя бы в его наиболее доступной части. Даже береговая линия этого полуострова на карте не везде проведена непрерывной чертой. В районе о. Петра и о. Бегичева она обозначена пунктиром, как условная, подлежащая засемке.

Геологическая экспедиция 1929 г. под руководством т. Урванцева обследовала район Таймырского озера и его рек — Верхней и Нижней Таймыры. Экспедиция предполагала тогда, что Таймырское озеро должно иметь еще другой сток воды, в северо-восточном направлении, так как река Нижняя Таймыра, значительно меньшая, чем Верхняя Таймыра, не может по своему руслу перебросить всю воду, полученную сверху.

В залив Фаддея впадает небольшая речка. Но в глубине его никто никогда не был. У нас явилось предположение, что эта речка может быть вторым стоком воды Таймырского озера. В таком случае залив Фаддея может иметь большее промысловое значение, чем это казалось до сих пор.

8 мая мы вылетели в этот район, чтобы произвести ледоразведку и осмотреть место впадения в залив указанной на карте речки.

Выполнив вполне благополучно ледоразведку, самолет повернул к заливу Фаддея, пересекая большое пространство неподвижного припая. Стали налетать клубы тумана. Это не остановило полета. Но потом туман настолько сгу-

стился, что из поля зрения выпало все — небо, снег, острова... Мы упустили время для посадки, и это заставило нас лететь дальше, в надежде вырваться где-нибудь из непроницаемой для глаз завесы. Компас вел себя беспокойно из-за частых зигзагов самолета, выскивавшего место для посадки.

Туман немного поредел. Под нами мелькала бугристая тундра, покрытая желтоватым снегом. Ясно, в тумане мы потеряли направление.

Мотор замолк...

— Что же теперь будем делать?..

— Возвращаться к морю, а там посмотрим...

Мотор заработал. Заряды тумана снова начали окружать самолет. Он быстро снизился на замеченную ровную площадку.

— В тундре мы или на море?..

Ответ на этот вопрос мы получили только после окончательного прояснения. Невдалеке от нас виднелся мертвый берег Таймырского полуострова. Вдали сверкали белые шапки отдельных гор. Мы сели почти на границе суши и моря.

Линия, проложенная на карте по записям в летной книжке меняющихся курсов, определила наше местонахождение. Мы в заливе Фаддея...

Самолет снова поднялся в поисках речки. Ее устье было засыпано глубоким снегом. Трудно отличить теперь узкое русло реки от случайной долины.

Речки не видно...

Возможно, что ветер, сила которого не учитывалась нами из-за отсутствия на «У-2» нужных приборов, отнес нас несколько в сторону.

Новым курсом мы идем в направлении к пловучим льдам, чтобы оттуда лететь в бухту Прончищевой. На снегу выделяются какие-то два черные пятна непривычной формы. В полете не отличить, двигаются они или нет.

Аэроплан переменял направление. Черные пятна превратились в две нарты, запряженные собаками. Человеческие фигуры сигнальным огнем в руках приглашают сделать посадку.

Мы опустились невдалеке от собачьих нарт. Навстречу шли три закутанные в оленьи меха фигуры. Это были про-

мысленники — два брата Журавлевы и врач нашей зимовки Е. И. Урванцева. Они возвращались из бухты Прончищевой.

Поворачивать утомленных собак в обратную сторону — к бухте Прончищевой — было невозможно. Проще было вернуться самолету к островам Самуила.

Через полчаса замерзшие пароходы были уже под нами.

10 мая весь день бушевала пурга. На этот раз она была сильнее, чем когда-либо. Мороз совсем незначительный. Всего — 8°. Но при сильном ветре он кажется холоднее, чем при — 40° в спокойную погоду.

Самолет, заботливо укрытый товарищами Линделем и Игнатьевым, стоял в безопасности между пароходами. Тем не менее он весь покрылся снегом, и около него вырос высокий снежный вал.

Только к утру ветер окончательно стих. Опять выглянуло солнце. Все осветилось и засверкало.

Все выбежали на снег навестить упущенное из-за непогоды время. Быстро взлетают на палубы пароходов кадки со свежим белым снегом. Дружно идет раскопка грузов, сгруженных осенью с «Правды».

Собачья упряжка т. Синельникова лежит готовая к отъезду на охоту. «Макар» и «Муха» с наслаждением растянулись на снегу, подставив негреющему солнцу свои бока.

Ветер норд-ост не более трех баллов. Температура — 8°. Условия, вполне подходящие для полета. Быстро освобожденный из своей снежной ямы самолет понес нас к кромке пловучего льда, обычной исходной точке наших полетов, и оттуда на северо-запад — к острову Большевик Северной Земли.

Вчерашний норд-остовый шторм произвел здесь большую перегруппировку льдов. На западе канал чистой воды значительно сузился, но на востоке он был попрежнему широк. Северное течение, обнаруженное нашими гидрологами, уже начинало восстанавливать прежнее положение льдов.

Совсем другая картина представилась нам от западного острова Самуила по направлению к о. Малый Таймыр. Там лишь узкая линия, прерываемая иногда грядой свежих торосов, отмечала границы неподвижного льда.

Наконец, показался и заветный остров Малый Таймыр. Он лежал в полосе невзломанного льда, несколько в стороне от курса нашего полета вдоль припая. Величественный, высокий берег Северной Земли быстро приближался к нам. Мы миновали его, оставив с западной стороны. Линия невзломанного льда продолжала вести нас прямо на север.

— Дойдем до пролива Шокальского и обратно.

Но т. Линдель в ответ заботливо хлопал по верхнему бензиновому баку. Это означало, что запасы бензина не так уж велики. Надо возвращаться.

Самолет делает крутой разворот. Теперь можно осмотреть и М. Таймыр, полетным временем определив его расстояние от района пловучего льда.

Через 20 минут мы уже летели над поверхностью острова. Следовательно, это расстояние равно 35—40 км.

Остров очень низкий. Он прерывается ложбинами, которые сверху выглядят, как трещины обнаженного темного покрова. Около берегов видны незначительные торосы. С южной стороны острова, в глубине пролива Вилькицкого, торосы гораздо крупнее.

22 апреля 1919 года спутник Амундсена, Тессен, поставил свой знак в этом районе. Он ошибочно принял тогда соседний остров Старокадомского за остров М. Таймыр.

Ветер заметно окреп. При каждом развороте он так уносил наш самолет, что требовалось продолжительное время, чтобы опять восстановить прежнее направление.

От посадки около знака Тессена на этот раз пришлось отказаться.

Берем курс на норд, по направлению к нашей полынье. Мотор усиленно работает... Полынье давно пора показаться. Но вместо нее под нами замерзшие торосистые поля...

Вдруг по правому борту появляется ясная береговая линия.

— Откуда она?.. Новый остров? Этого быть не может. Здесь было достаточно экспедиций...

Наше смущение длилось недолго. Мы узнали знакомое очертание материковой линии. Вдали виднелась гора Аструпа. Сильный норд-остовый ветер унес нашего легкого «Воробья» на юго-запад, вместо взятого направления на восток — юго-восток.

Новым курсом, по старой привычной дороге, начинаем итти к островам Самуила. Безнадежное предприятие. Мы почти стоим на одном месте. Тов. Линдель набирает высоту до 1.000 метров. Пока самолет шел вверх, его опять отнесло к юго-западу. Но на высоте напор ветра слабее. Мы более быстро пошли к цели. Материк остался в стороне. Видна группа небольших островов Локвуда. Западный остров Самуила был уже почти под нами. Но на море, совсем близко от нас, показалась серая стена пурги. Пурга окружила самолет, закрыв сразу весь горизонт.

Самолет быстро скользнул вниз. Тов. Линдель искал посадочную площадку.

— Здесь торосы... садиться невозможно.

Почти стелясь у самой земли, самолет идет на юг вдоль береговой линии и затем, перелетев через остров, садится на ровную снежную поверхность. В ту же минуту все окончательно скрылось из виду.

Только опытность и хладнокровие т. Линделя позволили совершить удачную посадку в такой трудный момент.

Пароходы от нас не более чем в 12—15 километрах. Еще несколько минут, и мы были бы на месте. Но как-раз этих нескольких минут нам и нехватало.

Палатки с нами нет. Мы зарылись в снег около хвоста самолета. Мотор умолк.

Пурга свирепела с каждой минутой. Но через час вдруг все прояснело. Пароходы стали видны совершенно отчетливо.

Попытки завести мотор не увенчались успехом. Он совершенно застыл.

— Бензина почти не осталось, — задумчиво констатирует т. Линдель.

Мы уже порядочно промерзли во время полета и сиденья в снегу.

— Идем к зимовке. Потом на собаках привезем бензин...

Мы оставили аэроплан, максимально укрепив его. Однако, пурга сделала только небольшую передышку. Скоро снова все исчезло на горизонте.

Компас остался на самолете. Направление показывает ветер. Идем с большими усилиями, держась выбранного курса.

Вдруг т. Линдель останавливается:

— Надо отдохнуть.

Отдыхаем пять минут и снова идем. Через километр опять голос:

— Надо отдохнуть основательно, часа на три. Правая нога совсем не идет.

Во время полета т. Линделю пришлось работать больше, чем мне. Его усталость естественна, но от этого не легче. Вырыли глубокую яму, обложив ее края снежными плитами. Против ветра на двух палках растянули покрывало от шубы и легли в яму, крепко прижавшись друг к другу.

Снег быстро похоронил нас. Неприятно лежать в таком положении. Кругом тает от дыхания. Капли воды пропитывают одежду. Потом она замерзает. Холод начинает охватывать сначала руки и ноги, а затем и все тело.

— Линдель... Холодно?..

— Холодно...

— Тогда идем...

Снова охватывает нас метель, но мы преодолеваем еще несколько километров.

— По-моему, мы уже кружим! — говорит т. Линдель.

Иллюзия кружения вполне понятна и объяснима. Мы не кружим, но мы видим только кружащийся около нас снег.

— Проверим по следам.

— Линия следов прямая. Мы идем правильно.

— Все равно, мне надо отдыхать...

Снова лежим в снежной яме, засыпанные снегом. Местность прекрасно знакома. Мысленно перебираем все варианты направлений, если, действительно, не увидим пароходов.

— Направо встретим торосы, налево — южный остров, прямо упрямся в

восточный остров Самуила. Сбиться с дороги мы не можем.

Суда должны быть близко. Но снег начал засыпать нас уже с другой стороны. Ветер незаметно для нас переменялся. Это очень печально в нашем положении. Потерян последний ориентир. Теперь, несомненно, придется пережить пургу в снежной яме. Но кто скажет, когда она прекратится?

Надо идти. Сквозь густую мглу показали неясные проблески солнца. Часы и солнце дают возможность восстановить нужное направление. Мы поднимаемся из своей «берлоги».

— Смотрите, собака...

Мы оба видим ее вдали. Она совершенно похожа на «Ринку» и бежит немного в стороне от нас.

— Я сейчас ее приведу.

Несколько шагов вперед — и вместо «Ринки» у ног лежит сухая головка полярного мака. Ветер катил ее по снежной поверхности. Рефракция увеличила ее размеры и расстояние от нас.

— Я удивился, как скоро вы подошли к собаке! — смеется т. Линдель.

Необходимо двигаться, хотя бы для того, чтобы согреться.

Солнечный свет едва пробивался сквозь густые серые облака. Ветер попрежнему силен, и попрежнему ничего не видно. Итти трудно. Через несколько километров вновь залезаем в снежную яму, отметив палкой взятое направление.

Солнце стало светить несколько ярче.

— Надо итти!

Вдруг не более чем в километре несколько раз сквозь пургу мелькнули верхушки пароходных мачт. Мы были у цели, выдержав правильное направление.

Покрытые снегом с ног до головы, мы подошли к нашему «дому».

В пути от самолета до парохода мы пробыли около 12 часов. Вполне понятно поэтому волнение, которое охватило нашу зимовку и зимовку мыса Челюскина. Тов. Рузов послал радиogramму в Москву о нашей пропаже.

Ответ пришел немедленный:

— Организуйте поиски местными средствами.

Мы чувствовали себя вполне удовлетворенными. «Местные средства» оказались действительными.

— Сегодня вы заглянули прямо в пасть полярной смерти, — сказал Журавлев, выслушав наш рассказ.

— Ну, и заглянули. Ничего особенного, — невозмутимо ответил т. Линдель.



Ледоразведка до Северной Земли была сделана. Мы начали готовиться к полету в бухту Прончищевой.

Дни бежали теперь торопливо. Зимовка подходила к концу. Надо было кончать намеченные осенью работы. Тов. Теологов ушел производить с'емку островов Самуила. С ним ушел капитан Смагин для постановки там морского знака. Упряжка собак потащила туда бревна и доски. Ученики мортехникума готовились к экзаменам. Полным ходом шел ремонт пароходов. По их бокам висели люльки. С них раздавался музыкальный стук молотков, отбивающих ржавчину. Кое-где по бортам гуляли кисти, после чего часть судна принимала свежий, красивый вид. Гидрологи закончили свои наблюдения на кромке льда. Остались только футшточные наблюдения около самих пароходов. Погода стала совсем весенней. Мороз не превышал -8° .

17 мая над пароходами показались первые чайки. Они летели целыми стаями. Тут были и черные разбойники, и совсем белые полярные чайки, и крупные серые буревестники. Собаки, как сумасшедшие, носились за ними. Их также охватила весенняя радость.

Одновременно с чайками появились и пуночки. Утром мы были разбужены их веселым пением. В первый момент это показалось сном. Слишком несоместимо было милое пение птиц с окружающий мертвой пустыней. Яркое солнце на голубом небе говорило о наступлении весны. Четыре пуночки порхали по бортам и хлопотали около куска подвешенного медвежьего мяса. Ничто не напоминает о тяжелой полярной зиме, о седых туманах и свирепых пургах. Неужели солнце окончательно справилось с зим-

ними холодами?.. Слишком рано! В 1933 году только в июле здесь начались положительные температуры...

Вездеходы повторили свой маршрут на мыс Челюскина, перевезя туда часть грузов. Это был «скоростной» пробег. Расстояние около 100 километров было покрыто в 13 часов 38 мин. Отдохнув на мысе один день, вездеходы рано утром вернулись на острова Самуила.

Ушедшая с ними кавказская овчарка «Чуркин» на обратном пути отстала и с воем вернулась на мыс Челюскина. Зимовщики с удовольствием зачислили ее в свой инвентарь.

23 мая был день рождения т. Урванцева. Воспользовались предлогом и устроили на острове праздник. Там имелся настоящий квалифицированный повар. Поэтому обед был приготовлен необычайно искусно. Мы уже отвыкли от таких тонкостей. Тов. Болотников решил преподнести нам сюрприз и поставил на стол настоящий трубочный табак вместо обычной махорки. Табак по этикетке должен был быть не плохой. Но странно — привычная махорка кажется вкуснее. Трудно сказать, изменился ли табак за время лежания зимою, или изменились наши вкусы...

Медвежонок «Маша» рос злым и драчливым. При каждом удобном случае он нападал на собак. К людям его отношение более спокойное. Но гладить себя он не позволяет. Немедленно пускает в ход зубы и когти.

Зато пойманый леминг стал совершенно ручным. Он живет в небольшом ящике и с удовольствием грызет сухие овощи.

Около дома возилась груда черных и серых щенков. Это уже новая порода полярной собаки, укрупненная кавказской овчаркой. Следующая зима покажет, оправдают ли эти щенки возлагаемые на них надежды. Но уже теперь видно, что они станут крупными, сильными собаками. Будут ли их лапы так же приспособлены к жесткому снегу, как лапы их матери, это покажет только практика походов.

Весело прошел день. Нет оснований считать, что наша зимовка не принесла пользы. Результаты наших работ уже

налицо. На острове основан целый поселок. Туда совершенно спокойно могут приехать новые люди. Метеослужба работает исправно. Почти закончены гидрологические наблюдения. Советский флот, несомненно, получит из нашего мортехникума новых штурманов и механиков. Сделана топографическая съёмка. Испытаны вездеходы.

Не выполнена только часть ледовых наблюдений с аэроплана. Но эта работа перманентная. К тому же у нас еще достаточно времени для ее продолжения.

Возвратились на пароходы поздно вечером. На другой день погода испортилась, но тт. Журавлев и Синельников все-таки уехали обратно в бухту Прончищевой.

В бухте Прончищевой

26 мая мы вылетели в бухту Прончищевой. День был ясный, но неустойчивый. То-и-дело налетали небольшие туманы. Однако, не было надежды, что погода здесь будет когда-нибудь лучше. Надо довести ледоразведку до конца или вообще отказаться от дальних полетов.

В бухте Прончищевой нет радио. Следовательно, там не могут знать о нашем вылете. Пароходы вообще не будут знать, долетели мы или нет. В случае аварии мы не можем рассчитывать ни на какую помощь.

Поэтому на сей раз мы подготовились более тщательно. С нами палатка, винтовка и пятидневный запас продовольствия. Большого взять мы не можем.

— Через сколько времени вас искать? — спросил на прощанье капитан Смагин.

— Через десять дней. Раньше не надо...

Пройдя остров Самуила, самолет прорезал первый заряд тумана. Кромка припая довольно круто шла на юго-восток. За припаем виднелась широкая полоса открытой темной воды.

Вид воды доставляет большое удовольствие, но в то же время возбуждает вопрос:

— Чем объясняется это явление? Неизвестным отжимным течением, большой

силой приливов и отливов, рельефом дна?..

Линия припая привела нас к островам Фаддея. Они еще в невзломанном льду, но крайний из них уже совсем близок к полосе открытой воды. Здесь происходит более интенсивное разламывание льда, чем около островов Самуила.

После островов Фаддея самолет снова вошел в туман. Возникает мысль:

— Не вернуться ли?

Но ледоразведка обещает дать очень интересную картину. Продолжаем полет и снова попадаем в места ясного дня. Курс попрежнему на юго-восток, куда ведет нас припай.

Показались низкие, постепенно повышающиеся к югу берега. Вдали виднеется высокий темный хребет, пока еще никем не исследованный. Ближе к берегу стоят отдельные плоские горы.

По мере приближения к матерiku припай становится меньше и меньше. Около знака «лиственница»¹⁾ вода подходит почти вплотную к берегу. Припай — не более 5 километров. Таким образом, его граница проходит по линии — острова Самуила, острова Фаддея и знака «лиственницы».

От знака «лиственницы» наш курс меняется на восток. Здесь уже совсем широко раскинулась полоса темной воды. Припай тянется около берега узкой грядой. Около небольших прибрежных островов он отдалается в море, но затем снова прижимается к берегу.

В летную книжку поспешно заносятся детали картины льдов и направление горного хребта.

Снова туман. Он настолько густой, что лететь далее становится невозможным. Обратный путь к пароходам отрезан. Тов. Линдель использует еще не потерянную видимость, и самолет садится на ровный лед небольшой бухты.

— Будем ставить палатку и пить чай? — спрашивает т. Линдель. И затем сам отвечает:

— Посидим, покурим. Может быть, и пронесет.

¹⁾ Сухое дерево, поставленное вверх корнями на берегу, на восток от залива Фаддея.

Вышли на берег. Он покрыт небольшим покровом снега. Сквозь него проступают черные камни. Пустынно и молчаливо. Вернулись к самолету и ушли по припаяю к морю.

Время идет крайне медленно. Часа через три стало немного светлее. Мотор спять заработал. Продолжаем полет в том же направлении — на восток. Припай сохраняет прежний порядок. Горный хребет заметно приближается к берегу. Его передовые части — отдельные плоские горы — местами совсем близки от нас. Груша неизвестных островов, обложенных льдом, привлекает наше внимание.

Тов. Линдель пускает мотор на малые обороты. Становится тихо.

— Это острова Андрея?

— По времени не может быть. Наверное, что-то другое.

— Не пойти ли к горному хребту?

— Тогда потеряем линию ледоразведки.

Мотор снова заработал своим обычным темпом. Теперь требуется максимальная внимательность. Если это острова Андрея, нужно быстро переменить курс на юг. Иначе мы уйдем в район пловучих льдов.

Через короткое время мы снова в тумане. Мотор опять почти замолкает...

— Теперь куда?..

— На юг...

У нашего самолета большой недостаток: в кабине пилота нет компаса, он имеется только в кабине летнаба.

— Куда лететь?

— Направо, а затем прямо...

Чем дальше, тем туман становится гуще. Нужно идти на посадку. Сели в глубокой снежной ложбине. Следы лыж показывают, что мы на материке. Место посадки нам в точности неизвестно. Оно должно быть где-то между островами Андрея и островом Петра, на мысе Восточного Таймыра.

Ничто не предвещает скорого просветления. В воздухе полный штиль. Туман висит, как занавес. Сыро и холодно. Разбиваем палатку и заезжаем в нее. От горящего примуса становится тепло и уютно. Выпитый чай и раскуренные

трубки приводят нас совсем в хорошее настроение.

— Десять дней просидим. Продовольствия хватит. Уйдет же за это время туман! Тогда и улетим.

Оставив примус горящим, мы засыпаем.

На другой день туман продолжался. Мы разошлись в разные стороны «на разведки».

Этот район более богат жизнью. Маленькие точки на снегу — это следы лемминга. В другом месте прямая линия следов псада. Раздвоенные копыта дикого оленя оставили глубокие впадины в снегу. По ним проложили дорогу широкие лапы полярного волка. Но удивительно, что тут же проложил свою дорогу и белый медведь.

Воображение рисует арктическую драму. Несутся вперед испуганные дикие олени, их преследуют волки. Сзади топает изо всех сил неуклюжий медведь. Он спешит, вероятно, к уже готовой добыче. Разогнав волков, он присвоит себе остатки оленя.

Следы белого медведя говорят о том, что море здесь недалеко. Вопрос: «Где мы?» — теряет значительную долю своей остроты.

Через четырнадцать часов туман поднялся. Горы выступили темными конусами. Теперь совершенно ясно, куда лететь. Еще немного на восток, и мы будем у островов Петра.

Мотор заработал. Но тут новая, непредвиденная неприятность... Взлететь невозможно. Туман почти уничтожил снег. Наша посадочная площадка со всех сторон окружена выступившими островками земли, покрытой мохом.

Тщетно т. Линдель старается заставить самолет оторваться от площадки. Самолет бежит только до тех пор, пока я толкаю его. Но лишь только вскакиваю в кабину, он опять останавливается.

После долгих поисков нашли другую снежную площадку. С большим трудом притащили к ней самолет и, наконец, взлетели.

Курс оказался правильным. Мы пошли к островам Петра. Далеко на восток от поворотного мыса виднелись невзломанные поля припая. Среди них

зияли большие черные полыньи. Но плавающих льдов нет и в помине. От островов Андрея они уходили на восток. Придай как бы продолжал в этом направлении линию берега. Только от 65-й параллели опять начался узкий канал чистой воды. Он постепенно расширялся. Около бухты Прончищевой его ширина была не менее 15—20 километров. Придай здесь был довольно широкий и торосистый. В самой бухте не было никаких признаков взломанного льда.

Солнце сияло ярко, как на юге. Вода приняла настоящий голубой цвет, против которого я так протестовал, видя его на картинах художника Рыбникова. Белые полуразрушенные льдины медленно плыли по воде. Чайки разных пород носились над ней большими стаями. Невдалеке протянулся треугольник гусей.

Со стороны материка бухта Прончищевой окаймлена цепью высоких сопок. В лучах солнца они потеряли свою обычную угрюмость.

Мы прилетели совсем в другую обстановку.

Снизившись до 100 метров, мы скоро находим и зимовку. Наш прилет вносит радостную сумятицу в жизнь зимовщиков. Особенно сердечно встречает нас детвора.

Дом — один из лучших на полярных зимовках Таймырского полуострова. Высокие большие комнаты, теплые и сухие, позволяют жить и работать, как в обычных условиях. Комнат больше, чем надо. Для радиостанции и метеослужбы имеются готовые помещения.

Около дома много разномастных собак и щенков. На длинных ремнях тут же гуляют пять маленьких белых медвежат.

Ребята здоровые и краснощекие. Только двое, уроженцы Новой Земли, несколько слабее.

Т. Журавлева и Синельникова еще нет. Вероятно, их тоже задержали туманы.

После чая мы ушли опять и спали на этот раз, действительно, крепко и спокойно. Полет был удачен и интересен.

Утро наступило яркое и радостное. Весело прыгали и пели около дома пу-

ночки, играли щенки и ребята, рылись в снегу забавно-угрюмые медвежата.

Пара собачьих упряжек поджидала промышленников, отправлявшихся на разделку убитых моржей. Песцовые шкурки, развешанные на веревках для просушки, колыхались от небольшого ветра. Часть шкурок была совсем невысокого качества.

— Это все?

— Все... — последовал неутешительный ответ.

Надо использовать сегодняшний день для дальнейших полетов на юг к острову Бегичева и в бухту Нордвик.

Самолет снова в воздухе. Перед нами прекрасная картина. Чем дальше на юг, тем на большем просторе играют морские волны. Сопки и горы придвинулись ближе к берегу. Около острова Преображения и острова Бегичева открытая вода круто поворачивает на восток и вдаль замыкается глухой стеной неподвижного льда... Среди льдов большие пятна воды. Острова Преображения и Бегичева стоят в невзломанном льду. Мы поворачиваем на восток, по направлению к ним. От материка остров Бегичева отделен небольшим пространством, забитым сплошным торосистым льдом. Видимо, основная часть льда направлялась сюда сильным течением. Здесь и нужно искать канал в бухту Нордвик, которого не нашли осенью «Правда».

Остров Бегичева неправильно нанесен на карту. Его береговая линия совершенно не похожа на линии карты. Острым низменным мысом остров координирует с таким же мысом материка. Возможно, что здесь проходит коса. На юго-восток остров более высок. Местами глубокие ложбины, занесенные снегом, пересекают его темную поверхность.

Спокойно замерзла бухта Нордвик. Только кое-где видны груды торосов. Низменные берега бухты не входят в план нашей разведки. Мы летим к горному хребту, чтобы взглянуть вглубь неисследованной части полуострова. Оттуда навстречу нам дует сильный ветер. Слабый мотор не может справиться с ним. Самолет качает и бросает в раз-

ные стороны. Приходится отступить до более удобного случая.

Горная цель дает, повидимому, начало многим речкам, не показанным на карте. Они сейчас засыпаны снегом и поэтому неудобны для нанесения на карту. Одна из них, севернее р. Новой, вероятно, довольно больших размеров.

На полуострове имеется ряд крупных озер. Три из них — недалеко от бухты Прончищевой.

Разведка льдов на восток — от о. Большевик Северной Земли до бухты Нордвик — теперь окончена.

Зимовка вынырнула из-за небольшого мыса. Мы снизились, довольные тем, что полет прошел без всяких приключений. Нас встретили гг. Журавлев и Синельников. В пути им удалось убить медведицу и взять живыми двух медвежат.

Теперь можно было приступить к обсуждению больных вопросов зимовки.

В промысловом отношении год оказался неудачным. Песец почти исчез с наступлением полярной зимы. Было добыто всего 120 штук. Главную добычу составляли моржи. Их били целыми залежками, не щадя и моржат.

— Все равно подохнут без матери.

Одного из моржат использовали, как приманку. На его плач моржи подплывали большими группами и лезли на берег. Здесь их ожидали охотники. Однако, в конце концов моржам удалось освободить морженка и увести с собой.

— Мы занялись обдѣлыванием убитых моржей, — не ждали их с этой стороны, — оправдывается т. Журавлев.

Зимовка разделилась на два лагеря — холостых и женатых. Холостые злоупотребляли спиртными напитками. Но в то же время они были настоящими промышленниками. Женатые спиртом не увлекались, но и не работали, как следует, на промысле.

— Ваша специальность?

— Столяр... Чернорабочий... Носильщик...

— Как же вы поехали в качестве промышленника?

— Думали, что научимся.

Их жены предъявили т. Журавлеву требование платить им за носку воды, дров, подметание помещений и т. д.

— Даром никто работать не будет...

— Кому эта вода?.. Кому дрова? Для себя же носите, — не выдержали холостые. — Мы все время на промысле.

Женщины замолкают в озлобленном упрямстве.

— Не пойму я их, — говорит жена Журавлева. — Весь свой век живу на Севере, а никогда не слышала, чтобы за это деньги платили. Сама себе и мужу принесу воду, с кого же за это деньги получать?

Женатые на стороне своих жен. Промышленники, прошедшие суровую школу Севера, гневно выступают против них.

— Оленей мы убили. Кто их ел? Вы! Деньги с вас получали?

Во-время сказанное нужное слово могло бы предупредить разлад. Но Журавлев, прекрасный, опытный промышленник, не сумел сказать его...

— А вы весь спирт выпили, — переходят в атаку женатые.

На этот раз удар направлен правильно. Холостые, чувствуя свою вину, неуверенно оправдываются:

— Придешь с холоду... можно и выпить...

— Это не два-три дня под ряд!

Долго продолжалось это сумбурное собрание. Ясно было, что зимовка организована крайне неудачно. Одни приехали, не зная дела, в расчете на жалованье и даровой паек; другие, умея промышлять, не могли или не хотели удерживать себя от лишней рюмки, особенно когда на складе лежит годовой запас.

Мотивировка у них специальная:

— Выпили бы все, а потом перестали бы...

Такая психология присуща очень многим старым промышленникам. Они могут прекрасно перевоспитаться под руководством более политически развитых работников. Но на зимовке не было не только таких людей, но даже небольшой библиотеки. Свободное время между охотничьими поездками заполнялось склокой и выпивкой.

В других условиях враждующих следовало бы немедленно раз'единить. Но здесь это сделать невозможно.

— Возьмите нас на острова Самуила, — просятя двое.

— Вывезите нас обратно, — заявляет тройка женатых.

Порядок на собрании, наконец, восстанавливается. Все вопросы решены.

— Жалованье за самообслуживание никто платить не будет. Весь остаток спирта будет уничтожен...

— Его уже немного и осталось, — радостно отвечают промышленники, довольные тем, что этот продукт еще ранее нашел себе «полезное» применение.

— Остальные расчеты будем производить в городе.

Как показали дальнейшие события, жизнь в бухте приняла после этого собрания более здоровое направление. Весенняя охота заняла все время — перспектива выселения с зимовки не всем улыбалась.

На другой день мы улетели к своим пароходам, обещав ежемесячно навещать бухту Прончищевой. Полет прошел вполне удачно. Полоса воды стала гораздо шире. Острова Фаддея были уже захвачены ею.

В Москву пошла радиограмма об окончании разведок в восточной части Таймырского полуострова и о переносе летной базы на мыс Челюскина.

Зима не хочет сдаваться. Очень часто дуют холодные норды и норд-осты. Дожди сменяются снегом. Температура — 4°, — 5°, редко — 3°. Трудно представить, что уже июнь. Но все же в этом году процессы потепления идут гораздо интенсивнее, чем в прошлом году. В солнечные или туманные дни снег быстро тает. На льду пролива Вилькицкого виднеются большие озера пресной воды. Берега на значительном протяжении уже почернели. Только ложбины и ямы попрежнему сверкают белым блеском. Убогая полярная растительность ожила и спешит быстро закончить процессы роста, расцвета и созревания.

Изменился за это время и внешний вид невзрачного жилища зимовки мыса Челюскина. Снег около домика растаял, и домик кажется намного выше и еще более похож на сарай. Исчезло «украшение» около крыши — длинная связка сушеной рыбы. Она съедена собаками. От сарая до бани повисли широкие белые шкуры убитых медведей. Но шкур немного — всего 13 штук.

В мае на двух нартах уехала гидрологическая партия к островам Нансена и Гейберга. По этой причине население мыса Челюскина уменьшилось на 35 проц., точнее говоря, на 4 человека.

Я с Линделем наполовину восполняем эту «убыль».

Начальник зимовки т. Рузов не изменился. Он то озабочен судьбой своего немногочисленного населения и их ближайших соседей, то весел в силу своего природного темперамента.

— Хотите почитать свежую газету?..

В руках у него очередной выпуск «Северного форпоста». Новостей много. «Биолог т. Тюлин убил пуночку... и поймал в полынье несколько ракообразных»... «Пропали без вести «Лыско» и «Степка». Новости известны и без газеты.

Летной погоды нет. Идет снег при сильном западном ветре. Видимости никакой. Полет от пароходов до мыса Челюскина мы не считаем уже полетом. По новым же маршрутам в таких условиях летать довольно рискованно. Поэтому т. Линдель упрощивает синоптика т. Рихтера «сделать поскорее летную погоду».

— План невыполним... Как будем давать отчет в Москве?

Закончив наблюдения на востоке, мы должны были выявить картину льдов на западной и на северной стороне Северной Земли. Надо было дать материал для составления первой гипотезы о возможности плавания в позднее время года вокруг Северной Земли и в море Лаптевых.

Тов. Рихтер, посидев над своими картами, исчерченными разнообразными кривыми, обещал к ночи «дать хорошую погоду».

Наступил час, назначенный для «хорошей погоды». Однако, кругом стоит

туман. Моросит мелкий, наводящий тоску, дождь. Ненцы, эвенки и другие народы Севера иногда жестоко наказывают своих богов за невыполнение обещаний. Решили и мы всем коллективом испробовать это средство на т. Рихтере.

Тов. Рузов немедленно пустил в обращение тут же сочиненные стихи:

Приняв Наполеона позу,
Борис (Владимира сынок)
Лаврову явственно изрек:
— Даю вам точные прогнозы —
Часов, примерно, через пять,
К одиннадцати, вам в угоду,
Устрою дивную погоду.
Вы смело можете летать.
Лавров и Линдель вновь свой путь
На вест ретиво обсуждают.
Часы бегут... Погода — жуть.
Лишь малость ветер затихает.
Синоптик, видя, что прогноз
Сегодня снова не удался,
На койку вмиг свою забрался,
Под одеяло скрыв свой нос...

Полет сегодня немислим.

8 июня явилась возможность летать. Вылетели к мысу Могильному. Шли все время вдоль берега. После дождя снега по берегам совсем мало. На льду всюду синие озера. На них появились уже трещины.

Полет был непродолжительный. Черный большой ящик и высокий морской знак показали, что мы достигли места назначения. Сделали посадку на берегу, так как лед уже был покрыт мелкими пятнами воды.

Вокруг тихо и пустынно. Мелькнула и быстро исчезла вспорхнувшая из-за камней белая куропатка. На снегу отпечатались лапы медведицы и медвежонка.

Два посеревших креста, окруженные цепями, стоят молчаливыми свидетелями давнишней арктической трагедии. Это были могилы штурмана и матроса, зимовавших здесь в 1915 году на пароходах «Таймыр» и «Вайгач». Безжизненное белое пространство местами прерывалось острыми выступами черных камней. Вдали виднелся характерный загиб залива Толля, за которым начинался лабиринт островов архипелага Норденшельда.

На всем горизонте ни клочка открытой воды, если не считать синих озер

на льду, образовавшихся в результате таяния снега. Кромка подвижных льдов была где-то далеко. Казалось, что архипелаг Норденшельда крепко запер ворота к сквозному Северному морскому пути.

Бензин для самолета выгрузили в будку с припасами. Здесь будет наша подсобная база во время дальних полетов.

Летя в тумане и дожде, мы вернулись на мыс Челюскина. Все уже спали, когда мы вошли в помещение зимовки. Только обеспокоенные нашим продолжительным отсутствием тт. Рузов и Игнатьев бродили по комнатам, не зная, как убить время.

— У нас душа не на месте, когда вы летаете при такой погоде.

На следующий день погода опять испортилась. Тов. Рихтер не поддается нашим увещаниям и угрожает затянуть ее по крайней мере на два дня.

Все разошлись на охоту. Тов. Тюлин вернулся с первой нерпой. По следам нерпы подошел к дому медведь. Мясо его было весьма кстати. Шкура же почти никуда не годилась. Линька была в полном разгаре.

Долго тянется время в такую погоду. Мысль о предстоящем вскоре полете не дает возможности заняться чем-либо серьезным. Мы с Линделем теперь кочевники, не имеющие определенного местожительства.

Разработали детальный план облета Северной Земли, проложив курсы по всем возможным вариантам.

12 июня наступило прояснение. Мы вылетели по проложенному маршруту. Но этот полет окончился аварией. Через 15 дней мы пришли пешком к зимовке Северной Земли, оставив своего «Воробья» на краю припая.

На Северной Земле

Маленький домик, чуть побольше деревенской бани, стоит на песчаной низкой отмели острова Домашнего. С одной стороны домика виден широкий пролив, покрытый льдом, за которым протянулась узкая полоса оголенной земли. С другой — только возвышенный берег

самого острова и поставленные там радиомачта и ветряк.

Остальные постройки состоят из невзрачного фанерного склада и магнитной будки. Вся она залита водой. Дощатый собачник занесен слежавшимся грязным снегом. Поэтому собаки там не живут.

Около дома разбросаны груды заржавленных банок из-под разных консервов, зола из печи, щепки от разбитых ящиков и остатки вышедшей в тираж одежды и упаковки.

Нет ни бани, ни уборной.

Собаки считают для себя обязательным соблюдение санитарных правил, и, вследствие этого, ручьи растаявшего снега зловонны и мутны.

В домике только одна комната и небольшой уголок для радиостанции. Четыре деревянные койки, по две около стен, одна над другой. Полки, заставленные книгами. Обеденный, он же и рабочий, стол и четыре стула.

Этот дом построен экспедицией Ушакова, Урванцева, Журавлева и Ходова в 1930 году. Два года под ряд вели они здесь напряженную работу по описи и составлению карты Северной Земли, по определению ее астрономических пунктов и т. д.

Работа эта дала свои результаты. Немного мест в высоких широтах советской Арктики, которые бы имели такую точную карту, как Северная Земля.

В 1932 году экспедицию сменила другая четверка зимовщиков — одна женщина и трое мужчин. Вероятно, впервые в истории Арктики с ними приехали на зимовку три кошки.

Первый год зимовки прошел нормально. Ездили в маршруты к проливу Красной армии, к мысу Кржижановского. Вели метеороботу. Радио аккуратно сообщало ее показатели «большой земле». Охота была неудачной. За зиму поймали несколько тощих песцов и еще меньше убили медведей.

Наступило лето. У зимовщиков пробудилось желание покинуть небольшой домик и вернуться к культурной жизни. Их желание было учтено. На смену им должна была приехать новая группа зимовщиков.

Навигация 1933 года, по ледовым условиям, была очень тяжелой. Пароход «Седов» пытался подойти к зимовке хотя бы с какой-нибудь стороны, но в конце концов вынужден был отступить. Он ушел обратно на о. Диксон, увозя с собой приехавшую смену.

Четверо людей остались на вторую уже вынужденную зимовку. Они храбро боролись и преодолели упадок настроения. Была составлена новая программа работ на время второй зимовки.

Но обстоятельства продолжали складываться неблагоприятно. Леды прочно обложили остров. Морской зверь, а за ним и медведь откочевали в далекие, неизвестные пространства. Собаки остались без корма. Необходимо было выпольвить самую тяжелую для полярников обязанность — перебить часть собак, чтобы на голодном пайке сохранить остальных.

Часть собак была перебита. Из приговоренных к смерти уцелела только одна. Это был «Козел», самый мощный пес из всей стаи, с прекрасной шерстью и умными глазами. Он был идеальной полярной собакой. Его хотели убить лишь потому, что на чрезвычайно тяжелой работе он перетер сухожилия на лапах и мог ходить в упряжке только на короткие расстояния.

Когда к нему подошли с винтовками, он глядел на людей такими умными и понимающими глазами, что ни у кого не поднялась рука застрелить его.

— Пусть живет, если не подойдет к голоду...

Весь остаток времени до наступления полярной ночи был посвящен сборке и подвозке плавника для отопления, учету остатка продовольствия, поискам зверя и т. д.

Пришла полярная ночь, и вместе с нею вступила в маленький домик страшная гостья Севера — цыганка. Сначала она была не очень заметна. Немного припухли десны, чувствовалась усталость от работы — и только.

Исправно продолжали работать каюр т. Мирович и метеоролог т. Зенков, который до прибытия на остров Дэмашиний провел семь лет на Новой Земле.

Регулярно слал нужные сведения радист т. Ивлев.

Длинную полярную ночь скоротали за работой. По вечерам пересказывали друг другу содержание ранее прочитанных книг. Особенно талантливо рассказывал т. Мирович.

С наступлением весны положение на зимовке ухудшилось. Начальник этого маленького мирка т. Демме сообщила на мыс Челюскина, что т. Мирович уже не может ходить, что у т. Зенкова прогрессирует олухание десен. Радист т. Ивлев заболел острым приступом аппендицита. Осталась здорова только т. Демме.

Решено было сменить их. На островах Самуила и на мысе Челюскина нашлись добровольцы, которые готовы были проделать тяжелую дорогу и остаться на острове Домашнем.

Но оттуда пришел отказ:

— Зимовка еще может держаться!..

Доктор Ринейский с мыса Челюскина по радио консультировал больных.

Голодные собаки непрерывно дрались между собой. Одна из них с'ела ремни упряжек вместе с металлическими кольцами и подохла. Другая взбесилась, но ее успели во-время пристрелить.

С появлением солнца начали показываться медведи. Три зверя подошли к самой зимовке и были убиты. Люди получили свежее мясо — одно из действительных средств против цынга. Больные встали на ноги.

«Козел» ушел на соседние острова промыслять леминга. За ним потянулось еще несколько собак.

Они немного откормились на леминге.

Остальных собак подкармливали через день мучной болтушкой и порчеными консервами.

Весна шла дружная и сильная. Дожди и туманы распустили снег на льду и оголили от него острова. Приливно-отливное течение вызвало многочисленные трещины. Где-то далеко от Северной Земли пронеслся сильный шторм. До Северной Земли он не дошел. Однако, инерция приведенных в движение льдов сказалась и здесь.

Припай был взломан на большом пространстве. Подувший северный ветер

отжал его далеко в море. За пятикилометровой полосой припая зачернела на всем горизонте давно невиданная темная вода.

Около трещин в больших количествах появились нерпы. В воде виднелись черные блестящие туловища морских зайцев. В воздухе закружились большие стаи разнообразных чаек.

С морским зверем пришел и медведь. Собаки перестали охотиться за лемингом и, взобравшись на высокое место острова, терпеливо и зорко осматривали ледяное пространство.

Мелькнет между торосами громадное желтоватое туловище, и вся стая с лаем и воем бросается туда. Редкому медведю удавалось уходить от стаи. Подоспевший охотник прекращал борьбу зверя с собаками, укладывая его с одного-двух выстрелов. Лучшим стрелком был метеоролог т. Зенков.

С весной окрепли люди и собаки. Только т. Мировичу не принесла весна пользы. Состояние его ухудшалось. Цынга пустила глубокие корни.

12 июня вылетел с мыса Челюскина самолет. Он вез с собой немного антицынготных продуктов. Но уже через день на мысе поняли, что самолет потерпел аварию.

— Надо искать летчиков, — говорили радиogramмы т. Рузова.

Но как могли североземельцы организовать спасательную экспедицию, когда из четырех человек трое были неспособны на более или менее длительное физическое напряжение?

Через 15 дней летчики пришли сами. Теперь в маленькой комнате зимовки на острове Домашнем поселилось уже шесть человек, три кошки и котенок.

Четверо «старожилов» имели свою, хотя и небольшую, но плановую нагрузку. Я же и Линдель, невольные «пришельцы», нагрузки не имели. Надо было избобрести ее, так как Арктика не терпит бездельников.

Самолет наш пропал безвозвратно. Гидрологических приборов на зимовке не оказалось. Оставалось одно — охота. Но для постоянной охоты не было самого существенного — сапог. Наши же сапоги во время похода к Северной Земле

превратились в лохмотья кожи. Пришлось деквалифицироваться и превратиться в черноработчих, тем более, что физически мы оба нисколько не были ослаблены.

Чистили территорию зимовки, чистили и собачник, готовя его к сдаче в хорошем виде новым зимовщикам. Иногда выходил на помощь, еле двигая ногами, т. Мирович.

— Скорее бы приходил пароход... Не доживу...

— Доживешь, батько. Работай.

Но для всех было ясно, что конец приближается к нему с большой быстротой. Однажды, поднявшись на остров к радиомачте, он долго осматривал голую мокрую землю и, наконец, найдя удобное место, остановился около него.

— Здесь меня похороните... Веселее около моря...

В комнате стало неприятно душно. Больной разлагался при жизни.

— Встань, Мирович, походи... Скоро «Садко» придет...

— Не могу... Скорее бы приходил «Садко».

1 августа «Садко» был уже на острове Диксон. Но быстро пройдя чистую воду, этот прекрасный ледокольный пароход вскоре ударился о тяжелые льды в районе острова Визе. Надежды на приход «Садко» ослабевали с каждым днем.

— Надо батьке дать больше воздуха, — решила т. Демме и одного из нас отправила в магнитную будку, а другого на чердак. Туда же переместились и кошки с котенком.

Скоро к коренным обитателям дома присоединились три голубоватых пушистых птенца белой полярной чайки. Мы принесли их после набега на «птичий базар», найденный на Голомянном — самом крайнем острове Северной Земли.

Там стояла охотничья избушка из фанеры. Она была расположена на очень удобном месте. Медведи нередко посещали ее. Мы обнаружили, что один из них не так давно выломал одну стенку избушки для входа, а другую для выхода. Широкие следы лап этого визитера вводили в пловучий лед.

Идя вдоль острова, мы скоро подверглись нападению чаек. Они круто падали с высоты, стараясь носом ударить нежеланных посетителей прямо по голове.

— Как великолепно пикируют, — залюбовался т. Линдель, когда одна из чаек заставила его пригнуться к земле.

Мы оказались в центре многочисленных гнезд, спрятанных между камнями. Оттуда торопливо бежали голубоватые шарики, стараясь как можно глубже укрыться в камнях и мху. Но обычно птенцы прятали только головы. Более маленькие и несмышленные продолжали сидеть на месте.

Тов. Демме, поймав чайчат разного возраста, свернула одному за другим голы и положила их в свою походную сумку.

— Какая польза науке от этих чайчат? Они давно всем известны. Для зоопарка мы, с своей стороны, подобрали трех, как нам показалось, «беспризорных» чайчат.

Молодые чайки жили на крыше домика. Они охотно ели из рук медвежье мясо и очень быстро выростали.

Один из оперившихся птенцов слетел с крыши и, покружившись над домом, сел на землю. Его немедленно разорвали собаки. Судьба другого была более счастливой. Скоро он улетел и сел на льдину. К нему прилетели взрослые чайки и увели с собой.

— Они его усыновили, — решила зимовка, довольная удачным вылетом птенца.

«Садко» продолжал пробиваться через льды, держась принятого курса.

— Как «Садко»? — спрашивал умирающий Мирович.

— Ветер сменится, тогда придет...

Сменившийся ветер расчистил от льда огромное пространство около островов и оставил припай не более 100 — 150 метров. Но в то же время он крепко зажал «Садко» во льдах, заставив его дрейфовать вместе с ними.

Над обитателями острова Домашнего нависла реальная угроза третьей зимовки. Нельзя сказать, чтобы такая перспектива была принята хладнокровно.

Каждый реагировал сообразно своему темпераменту.

Подсчитали запас продовольствия. Оказалось, что его хватит только до февраля. Одежды и сапог не было. Угля оставалось на несколько топков. Керосин вышел весь еще раньше.

Нам пришлось еще раз переквалифицироваться. На этот раз мы сделались плотниками. Строили себе комнату в тамбуре и собачьи будки.

— На чердаке и в магнитной будке зимой не проживешь...

Чтобы растянуть запас продовольствия на целый год, я и Линдель решили перебраться после смерзания льдов в избушку на проливе Шокальского, где в 1930 г. был оставлен порядочный запас продуктов.

«Садко» продолжал дрейфовать на север. «Ермак» слешил ему на выручку, но надеяться на приход «Садко» к Северной Земле уже нельзя было. В борьбе со льдами он сжег почти весь свой уголь.

— К вам вылетит самолет, — сообщили на зимовку с мыса Челюскина. — Подготовьте посадочную площадку.

— Если не придет нордовый ветер, самолет сюда не полетит, — было единодушное мнение всей зимовки после долгих поисков посадочной площадки.

Положение было ясно и для т. Мировича. Он сделал устное завещание.

— Да не ерунди, батько, — смущенно утешали его товарищи.

Но им уже трудно было скрывать истину. На них смотрели глаза умирающего.

Подул нордовый ветер, и далеко отошли от припая льды. Заголубела под солнцем вода, и заискрились торосы на остатках припая. Черные туловища морских зайцев, плавающих на этом просторе, стали заметнее.

Прекрасная посадочная площадка теперь была налицо.

Пришла новая радиограмма:

— К вам вылетел пилот Алексеев на «Дорнье-Валь».

Через три часа после вылета мы с удовольствием рассматривали китообраз-

ное туловище аэроплана, пришвартовавшегося к большому торосу на ледяном припая бухты.

После годовой разлуки перед нами стояли давно знакомые полярные летчики тт. Алексеев, Побежимов, Жуков...

Мы предполагали, что самолет сделает сюда два рейса, чтобы забрать все живое. И в соответствии с этим составили план эвакуации. Но нас постигло разочарование. Летчики решили ограничиться одним рейсом и лететь прямо на Диксон.

— Сколько же груза вы можете взять?

— Шесть человек и пятнадцать собак.

Двенадцать собак надо было бросить.

— Что же делать с собаками?.. Убить?..

Но в душе оставалась надежда. Не может быть, чтобы самая северная станция в этом районе была законсервирована на целый год. Новые самолеты на мысе Челюскина имеют полную возможность перебросить сюда одного радиста и метеоролога. Тогда оставшиеся собаки будут необходимы для новых хозяйств.

— Так, кажется, и будет, — поддерживали летчики.

В это время красавица «Тайга», похожая на волчицу, с несколькими собаками охотилась за медведем, тщательно зовя на помощь охотников. «Козел», спущенный с цепи, радостно побежал на зов «Тайги». Передовик «Торос» лежал на песке, положив на лапу свою седую голову. Ему все равно пора умирать. Оценившиеся «Скромная» и «Серая» решительно отказались выходить из тесной конуры, согревая своих щенков.

Отбор был закончен. 12 собак останутся на острове в ожидании новых людей. Если они не придут, собак ждет длительная тяжелая смерть.

На нартах привезли т. Мировича, закутанного в теплое оленьё одеяло. Его с трудом протолкнули в узкое горло кабины. Затем погрузили туда пятнадцать наиболее сильных собак. К самолету подошли нарты с небольшой связкой чемоданов.

— Вероятно, отчеты зимовки?

Брошенным собакам оставили мясо двух медведей, убитых накануне. Последнего чайченка вынули из клетки и посадили в безопасное место на крыше.

— Можно лететь?..

Самолет после долгого разбега поднялся вверх. С ледяного припая смотрели вслед ему брошенные собаки. В кабине тяжело дышал Мирович, задыхаясь от запаха бензина. Смирно лежали перетрусившие собаки.

Мы расстались с маленьким домиком, куда авария забросила нас на два месяца, оторвав от привычной работы.

Под нами виднелась узкая лента воды. Она шла по направлению к мысу Молотова, куда мы хотели лететь с т. Линделем еще в июне. Такая же узкая полоса шла на юг, вдоль береговой линии Северной Земли.

Радиограмма с «Ермака», принятая на самолете, говорила об изменении направления льдов. Безопаснее было садиться около мыса Челюскина, чем на мысе Стерлигова, — промежуточной станции между Северной Землей и о. Диксон.

Самолет изменил курс и пошел к мысу Челюскина. Подошли к хорошо знакомому мысу Гамарника. Там нет и в помине припая. Везде темная вода, прерываемая кое-где небольшим скоплением ледяных полей.

Дальше пролив Шокальского. Вся его западная половина свободна от льда. Пролив Вилькицкого покрыт только редкими ледяными полями.

Через три часа перед нами вырос знакомый берег мыса Челюскина. Он стал неузнаваем. Выросло много новых хороших зданий. Старый дом выглядел еще неуютнее и ниже.

К снизившемуся самолету подошла шлюпка с стоявшего на рейде «Сибирякова». В шлюпке — капитан Хлебников, с которым шли мы в походе Первой Ленской экспедиции. Это один из лучших ледовых капитанов.

Команда «Сибирякова» бережно вынесла тов. Мировича. Удивительно, как перенес он это тяжелое для него путешествие. Потом за шиворот вытащили собак, совсем растерявшихся от неожиданной перемены местности и положения.

— Остались на зимовке и ваши кошки, — соболезнует кто-то из команды «Сибирякова».

— Нет... Кошки здесь...

Из приоткрытого чемодана несетя заглушенное мяуканье.

— Лучше бы вместо чемодана с кошками взяли еще одну собаку!

Мирович лежал в чистой, светлой каюте «Сибирякова». Перемена обстановки подействовала на него ободряюще.

— Теперь, наверное, увижу свою Украину и свою семью.

Но надежде его не суждено было сбыться. На другой день он умер.

Снова шли мы небольшой группой, как когда-то перед наступлением полярной ночи, готовить могилу близкому товарищу.

Оттаявшая сверху земля позволила приготовить ровную каменную площадку. Бережно поставили на нее открытый гроб. Печально и искренно звучат прощальные речи. Остроухие собаки Северной Земли молчаливым кругом сидят около трупа своего каюра. Казалось, что они тоже прощаются с ним.

Залп из винтовок, заунывный похоронный гудок «Сибирякова», — похороны полярника окончены. На ровном пустынном месте поднялся холм, сложенный из черных плоских камней.

— Прощай, Мирович... Постараемся сделать так, чтобы это была первая и последняя могила на мысе Челюскина...

К борту «Сибирякова» подошел «Володарский», успевший за это время еще раз сходить в устье Лены за углем для пароходов Второй Ленской экспедиции. Он прекрасно выглядит, как будто вышел из ремонта в настоящем порту.

Попрежнему бодро и жизнерадостно выглядят капитан Смагин и вся его команда. Полярная ночь, вторая зимовка словно прошли мимо них.

— Наша программа работ вся выполнена. Остров Самуила заснят, морские знаки на месте. Мортехникум своевременно закончил выпускные экзамены. Советский флот получил семь хорошо подготовленных штурманов и 14 механиков. Комсомольцы собрали гербарий и передали его доктору Диденко.

— А где Урванцев и его группа?

— На «Правде». Только вряд ли он там останется.

Действительно, весь состав зимовки острова Самуила скоро перешел с «Правды» на «Сибирякова».

— Атмосфера там совсем не товарищеская. Не хочется ссориться напоследок.

Пароход «Сталин» давно ушел вместе с «Литке».

С запада подходил «Ермак». Он стал для бункеровки около «Володарского».

Весело смеется синоптик В. Н. Самойлова:

— Погоду в этом году сделали такую, что можно еще ходить и ходить!

Кругом широко раскинулось водное пространство. Только плавающие, разреженные льдины как бы предупреждают:

— Уходите, пока целы...

Начальник Второй Ленской экспедиции т. Орловский — давнишний полярный работник. Вместе с ним мы прокладывали дорогу через Карское море в устья Оби и Енисея. Теперь судьба свела нас на новом этапе работы в Северном Ледовитом океане.

Двумя ленскими экспедициями проторен путь на восток к устью Лены. Якутская республика имеет теперь наиболее дешевый путь для своих грузов. Безлюдная тайга и тундра скоро оживут и отдадут свои богатства на службу стране Советов.

«Ермак» дает призывный гудок. На него откликаются стоящие в разных местах пароходы. Они выстраиваются в стройную кильватерную линию, идя на запад к о. Диксон.

Мыс Челюскина постепенно скрывает-

ся вдали. Исчез знак Амундсена, могила Мировича. Только высокая мачта радиостанции и новый ветряк еще долго видны в бинокль на горизонте.

— А все-таки как-то жаль расставаться с этими местами, — задумчиво говорит стоящий рядом т. Рузов.

— Жаль, — подтверждают и другие зимовщики.

Но чего же тут жалеть?!

Да, жаль... Нет мест суровее, чем эти. Немного на земном шаре мест, где бы человек чувствовал себя более беззащитным перед грозными силами природы, чем в Арктике. Разве забылась долгая полярная ночь с ее монотонностью, пургами и морозами? Нет, не забылась... Но все это не страшно. Здесь, в Арктике, широкий простор для творчества, здесь люди встречаются с достойным и сильным противником. Проложить новые дороги там, где еще нет и следа человека, создать новые фабрики и заводы в этих пустынных краях, дать науке новое оружие для победы над слепой стихией — эти великие задачи надолго будут привлекать сюда людей.

За один год здесь ничего сделать нельзя. Почти вся энергия уходит на ознакомление с условиями. Второй год может быть уже творческим годом.

Пароходы быстро идут почти по чистой воде. Три дня пролетели незаметно. Показался остров Диксон, оставленный пятнадцать месяцев тому назад. На нем также идет усиленное строительство. Радостными гудками приветствуют его пароходы.

Поход и зимовка Первой Ленской экспедиции окончились.

За рубежом

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА

5 сентября.

Торгпред СССР во Франции т. Дволайцкий и главный директор департамента внешней торговли Бельгии де-Кастер подписали временное торговое соглашение между СССР и бельгийско-люксембургской экономической унией. Соглашение заключено на трехлетний срок. Оно предусматривает статут советского торгового представительства в Бельгии, который будет составлять нераздельную часть советского полпредства в Брюсселе.

7 сентября.

В Швейцарии по предложению правых реакционных и фашистских группировок происходило всенародное голосование по вопросу о пересмотре конституции в фашистско-корпоративном духе. За пересмотр конституции было подано 193.000 голосов против 510.000 голосов.

8 сентября.

В Польше состоялись выборы в сейм и в сенат на основе новой конституции. Население бойкотировало выборы. Всего за правительство было подано 36 проц. голосов. 64 проц. избирателей воздержались от голосования. В промышленных центрах за правительство было подано лишь 23 проц. голосов.

9 сентября.

Итальянское правительство отозвало из Абиссинии 6 консулов со всем составом консульств.

* Между Сицилией и североафриканским побережьем состоялись маневры семидесяти итальянских подводных лодок, а также самолетов и легких крейсеров. Цель маневров — установить, возможно ли перерезать морские коммуникационные пути в Средиземном море.

* Состоялось заседание «комитета пяти», которому Совет Лиги наций поручил выработку итало-абиссинского компромисса.

10 сентября.

Итальянский делегат в Лиге наций Алоизи сообщил председателю «комитета пяти» Мадарьяге, что итальянское правительство не признает комитета и сохраняет за собой полную свободу действий.

* Муссолини издал приказ о подготовке грандиозной пробной мобилизации (во всей Италии и во всех итальянских колониях) участников организаций, зачисленных в «силы режима».

11 сентября.

Английский министр иностранных дел Хор, выступая на пленуме Лиги наций, заявил: 1) Англия считает, что система Лиги наций и, в частности, система коллективной безопасности должна быть и может быть наиболее действительным средством сохранения и укрепления мира. 2) Правительство Великобритании намерено строго придерживаться устава Лиги наций и выполнять все без ограничения обязательства, вытекающие из него. 3) Английское прави-

тельство допускает возможность перераспределения экономических ресурсов, особенно колониальных, равно как и других изменений нынешней системы, однако, этот вопрос может быть обсужден только в атмосфере спокойствия и без всяких угроз.

* Под председательством Болдуина состоялось совещание представителей английской армии, военно-морского и военно-воздушного флотов. Одновременно было сообщено о начале концентрации английского флота в Средиземном море.

* В Италии объявлена мобилизация находящихся в запасе, родившихся в 1912 году и состоящих на учете в военно-технических войсках, а также солдат и офицеров запаса 3-й категории, родившихся в 1913 году. Одновременно призываются на службу все унтер-офицеры, родившиеся в 1900—1910 гг. Мобилизация охватывала 100.000 человек.

12 с е н т я б р я.

В Каир прибыло 300 английских военных самолетов. Самолеты были доставлены в разобранном виде, их сборка проводится в спешном порядке.

14 с е н т я б р я.

Тов. Литвинов в речи, произнесенной на пленуме Лиги наций, касаясь итало-абиссинского конфликта, сказал: «Советское правительство относится принципиально отрицательно к системе колоний, политике сфер влияния, мандатам и ко всему, что имеет отношение к империалистическим целям. Перед советской делегацией стоит исключительно вопрос о защите устава Лиги, как орудия мира. Это орудие уже немножко подбито предыдущими покушениями, и мы не можем допустить новых покушений, которые вывели бы его окончательно из строя. Оно может понадобиться еще не один раз и еще более, чем в настоящем случае. Если мы уйдем с настоящей ассамблеи (пленума), получив уверенность, что государства, представители которых, выступая формально, горжественно обязались от имени своих правительств никогда больше не допу-

скать новых покушений на устав Лиги, как на орудие мира, а пускать его в ход во всех случаях агрессии, откуда бы она ни исходила и против кого бы она ни была направлена, то данная ассамблея явится началом новой истории Лиги наций. Я хочу вас заверить, что представляемое мною государство не уступит никому в лояльном выполнении принятых на себя международных обязательств, особенно когда речь идет об обеспечении за всеми народами блага мира, которым никогда еще человечество так не дорожило, как в настоящее время, после сравнительно недавно пережитых испытаний. Мы должны избавить его на будущее от подобных испытаний».

* Официоз итальянского правительства «Реджиме фашиста», комментируя заявление, сделанное Муссолини на совете министров, пишет: «Если у англичан волосы становятся дыбом при мысли, что Италия может обосноваться в Абиссинии, то это означает, что мы как следует избрали этот пункт. Если Англия дрожит при мысли, что Италия может выйти за пределы средиземноморской тюрьмы, обогатиться, располагать морскими путями, иметь свою собственную независимую мощь в Африке, что она может стать державой, с которой следует разговаривать, как с равной, — то и отлично. Это есть то, чего мы хотим... Путь, избранный нами для этой экспансии, хорош, надо по нему следовать, чего бы это ни стоило. Удобные случаи бывают редко. Либо сейчас, либо никогда».

* Советская делегация во главе с тов. Пятаковым, направляющаяся на пуск Кайсерийского комбината, прибыла в Анкару. Делегация была с воинскими почестями встречена на вокзале представителями турецкого правительства.

16 с е н т я б р я.

Италия заложила цепь мин у портов Неаполя и Сиракуз. Две итальянских подводных лодки прошли через Суэцкий канал в Красное море.

17 с е н т я б р я.

Муссолини в беседе с корреспондентом парижской «Матэн» заявил: «Речь

идет не о партии в поккер. Но Италия тем не менее решила сыграть на карте, на которую она поставила очень много».

* На ливийской границе в Африке сконцентрированы две дивизии итальянских войск.

18 сентября.

Итальянское правительство отклонило предложения «комитета пяти». Эти предложения в основном сводились к 1) передаче Италии абиссинских провинций Данакиль и Огаден, 2) предоставлению Абиссинии выхода к морю через английский порт Зейла и к созданию абиссинского коридора через французскую и английскую колонии Сомали, 3) к назначению при абиссинском негусе советников Лиги наций для управления делами государства. Муссолини в беседе с корреспондентом «Дейли мейль» заявил: «Производит впечатление, что, по мнению комитета Лиги наций, я коллекционирую пустыни». «Реджиме фашиста» по поводу решений «комитета пяти» писала: «Теперь довольно — положение таково, что из него могут быть только два выхода: или итальянский протекторат над Абиссинией, или война».

20 сентября.

Абиссиния приняла предложения «комитета пяти».

* Отряды египетской кавалерии вышли на ливийскую границу.

22 сентября.

Испанский кабинет Леруса вышел в отставку.

24 сентября.

Английский совет министров утвердил проект ответа на французскую ноту, в которой Англия запрашивалась о готовности проявить такую же верность уставу Лиги наций в европейских делах, как и в Абиссинии.

* В Париже открылись одновременно съезд унитарных профсоюзов и реформистских профсоюзов. Съезд принял предложение унитарных профсоюзов о созыве объединительного съезда на конец января 1936 года.

25 сентября.

Чапаприэта — бывший министр финансов в кабинете Леруса — сформировал испанский кабинет. Попытка образовать «национальное правительство» без монархистов и крайних левых не удалась. Задача нового кабинета — провести реформу послереволюционной конституции в полуфашистском духе.

* В Берлин прибыл венгерский премьер-министр Гембеш. Его приезд в политических кругах всех стран ставят в связь с германо-польско-венгерскими переговорами о заключении воздушного пакта, направленного как против Франции и Чехословакии, так и против СССР.

26 сентября.

В советской печати опубликовано сообщение ТАСС, в котором разоблачается, как бесстыдная и провокационная ложь, лишенная каких бы то ни было оснований, сообщение японского официального агентства Симбун Ренго о предстоящем провозглашении советской республики в Синьцзяне. Эта провокационная выдумка является показателем усиления в японской армии ее наиболее экстремистских и авантюристских элементов.

* Совет Лиги, обсуждая доклад «комитета пяти», постановил, что ввиду отказа Италии принять эти предложения, в силу вступает пункт 4-й статьи 15-й устава Лиги. Согласно этому пункту Совет Лиги поручает специальному «комитету тринадцати» выработать рекомендации для сторон, находящихся в конфликте. Если одна из сторон эти рекомендации примет, а другая нападет на нее, то страна напавшая считается нарушителем мира. В «комитет тринадцати» вошли представители всех стран, заседающих в Совете Лиги, за исключением Италии и Абиссинии.

* Японский генерал Тада заявил, что пять провинций Северного Китая «могут оказаться в таком положении, при котором они должны будут порвать всякие политические и экономические связи с нанкинским правительством». Это заявление Тада китайской печатью расценивается как подготовка к отторжению от Китая пяти северных провинций и к

превращению их в японскую колонию, наподобие Манчжурии.

27 сентября.

У входа в английскую гавань Александрия в Египте англичанами установлена сеть заграждений против подводных лодок.

28 сентября.

Опубликовано официальное итальянское коммюнике, в котором говорится, что Италия не покинет Лигу наций до того, как Лига сама не примет мер, затрагивающих Италию.

* На выборах в клайпедский сеймик «немецкий единый список» — список фашистов — получил двадцать четыре мандата. Литовцы получили пять мандатов.

29 сентября.

В Абиссинии объявлена всеобщая мобилизация.

В опубликованном в печати ответе английского правительства на запрос Франции, в какой степени она может в будущем быть уверенной в немедленном и действенном применении Англией всех санкций, предусмотренных статьей 16-й устава Лиги наций, в случае его нарушения и применения силы в Европе и в особенности в случае применения силы в Европе каким-нибудь европейским государством, независимо от того, примыкает оно или нет к Лиге наций, английское правительство заявляет, что Англия стоит за коллективную защиту устава Лиги в его целом и в особенности за непреклонное коллективное сопротивление неспровоцированной агрессии.

Одновременно английское правительство запросило французское, что примет Франция в случае возникновения «инцидентов» на Средиземном море, имея в виду нападение на английский флот со стороны Италии.

1 октября.

В ночь с 1 на 2 октября итальянские войска перешли абиссинскую границу. Муссолини в речи, произнесенной на Венецианской площади в Риме, сказал: «Наше терпение в отношении Абиссинии исчерпано. Пусть никто не думает, что

мы отступим... На экономические санкции мы ответим экономическими санкциями, на мероприятия военного характера мы ответим мероприятиями военного характера».

2 октября.

Конгресс лебористской партии подавляющим большинством голосов принял резолюцию, в которой он высказывается за поддержку политики санкций по отношению к Италии.

* В Болгарии объявлено осадное положение. Правительство раскрыло заговор офицерской фашистской организации «Звено». Цель заговора — устранение короля. Арестованы бывший министр финансов Тодоров и вернувшийся из эмиграции руководитель «Звена» полковник Вельчев.

3 октября.

Итальянские самолеты подвергли бомбардировке абиссинские города Адуа и Адиграт. По абиссинским сведениям, число жертв превышает 1.700, в том числе детей и женщин.

* На конференции английской консервативной партии принята резолюция, предлагающая правительству любой ценой поднять морские, сухопутные и воздушные силы Англии до уровня, «позволяющего обеспечить английскую территорию и морские пути от агрессии со стороны любой державы и делающего возможным для Англии выполнение ее международных обязательств». Поправка Черчилля, в которой предлагается принять немедленно меры для приспособления промышленности к оборонным целям, была принята.

4 октября.

Итальянские войска заняли почти все важные стратегические пункты в районе Адуа, включая город Адиграт.

* Английское правительство запросило правительство Испании, может ли Англия рассчитывать на использование испанских портов и морских баз в случае конфликта в Средиземном море.

* Муссолини подписал торговый договор с Испанией.

5 октября.

Совет Лиги постановил создать «комитет шести» для «изучения новых фактов и заключения по ним».

«Комитет тринадцати» принял резолюцию, в которой фактически признается, что Италия нарушила устав Лиги наций.

7 октября.

В Совете Лиги наций 14 членов Совета высказались за резолюцию «комитета тринадцати».

* Итальянские войска заняли Адуа. Абиссинские партизанские отряды провалились через границу в Эритрею.

* «Комитет шести» в своем докладе Совету Лиги заявляет, что «итальянское правительство прибегло к войне в нарушение своих обязательств по статье 12-й устава Лиги наций». Совет Лиги утвердил это решение, об'явив тем самым Италию агрессором.

* Рузвельт издал декрет, в котором заявляется, что между Италией и Абиссинией происходит война, независимо от того, об'явлена ли она официально или нет. Поэтому, на основе закона о нейтралитете, запрещается вывоз в воюющие страны оружия, боеприпасов и военных материалов как прямо, так и косвенно, через другие страны. Торговля с воюющими странами не будет пользоваться защитой государства.

Литература и искусство

1. А. СТАРЧАКОВ — Два романа. 2. Б. БРАЙНИНА — Торжество человека

1. ДВА РОМАНА

А. Старчаков

I

Подобно многим писателям современности, Лион Фейхтвангер охотно обращается к истории. Из пяти его романов три — «Безобразная герцогиня», «Еврей Эюсс» и «Иудейская война» — написаны на историческом материале. Обращаясь к действительности, минувшей или современной, Лион Фейхтвангер отражает в своем творчестве не случайно пленившие его воображение события и черты, но узловые, ведущие явления жизни.

В своем последнем романе, «Иудейская война», писатель рассказывает о полугендарных временах борьбы Иудеи и Рима, об эпохе, отстоящей от нас на десятки веков. Но как мало походит «Иудейская война» на традиционный роман из жизни античного Рима! Лион Фейхтвангер обнажает сложнейшие мотивы борьбы двух государств. Экономика, политика, быт отдаленной исторической эпохи волнуют его с той же живостью, что и личные переживания героев. Веспасиан, Тит, Вероника, Иосиф Флавий, финансист Клодий Регин даны не только в свете их личных взаимоотношений. Каждый образ — исторический или вымышленный — является в то же время глубоко типическим характером, сложным и многообразным.

Лиону Фейхтвангеру за пятьдесят лет. Он родился в Мюнхене, учился в берлинском университете. Сегодня Лион

Фейхтвангер в изгнании. Его дом под Берлином разрушен, библиотека сожжена, его романы запрещены. Всякий истинный немец, который убьет Лиона Фейхтвангера, будет оправдан по суду: писатель объявлен вне закона. Лион Фейхтвангер не марксист. В своей краткой автобиографии писатель рассказывает, что в годы учения он много читал, но среди книг, рекомендованных учителями, не было ни «Капитала», ни «Коммунистического манифеста». Лион Фейхтвангер в последнем счете индивидуалист, скептик. Скептицизм его не похож на изящное неверие александрийца, согретое любованием красоты. Скептицизм Лиона Фейхтвангера горек, угрюм. Он вырос на развалинах европейского гуманизма, он впоен ядом великого разочарования.

Гуманизм, как представление о надклассовой культуре, объединяющей европейские народы, восходящей своими корнями к далекому Возрождению, когда впервые права личности, права разума, свободного научного и творческого искания были противопоставлены насилию феодального общества и церкви, — это представление разлетелось вдребезги уже во время мировой войны. Оказалось, что великие ценности гуманизма, о незыблемой святости которых Лион Фейхтвангер узнал еще на школьной скамье, вовсе не определяют поведения европейских народов. Они живут, заключают союзы, ведут кровопролитные войны, подчи-

няясь иным законам, совсем не похожим на те якобы вечные и общие для всех законы разума и красоты, которые получили свое отражение в творчестве великих гуманистов, — в философии, поэзии, музыке.

Но тогда что есть истина? Даниэль Поттер, американский финансист-миллиардер, герой романа «Успех», одного из самых замечательных произведений Лиона Фейхтвангера, делит все человечество на три класса: на людей ненасытных, сытых и голодных. Даниэль Поттер — подлинный хозяин капиталистического мира. Он решает вопросы мировой политики, пометка в его записной книжке не безразлична для судеб той или иной страны. Даниэль Поттер, финансовый диктатор, полон веры в свое назначение, в свое высокое призвание. Он не понимает, почему во имя блага человечества нужно перестраивать мир сообразно с интересами одних голодных.

Инженер Каспар Прекль — марксист. Правда, его марксизм выражается не столько в действии, направленном к тому, чтобы переделать этот не лучший из миров, сколько в туманных мечтах о будущем. Быть может, на новой своей родине, в Советском Союзе (Каспар Прекль эмигрирует из Германии), он освободится от своего мелкобуржуазного анархического индивидуализма. Каспар Прекль по своему типу принадлежит к тем временам, когда «каждый поэт был социалистом, и каждый социалист был поэтом». Все же Каспар Прекль ни минуты не сомневается, что истина — в революционной практике пролетариата, в победу которого он верит. Каспар Прекль защищает свою точку зрения в споре с финансовым диктатором.

Но, пожалуй, охотнее всего прислушивается Лион Фейхтвангер к голосу другого своего героя, писателя Жака Тюверлена, который однажды послал сам себе письмо следующего содержания:

«Дорогой Жак Тюверлен, никогда не забывайте, что вы существуете только для того, чтобы выразить самого себя».

Жака Тюверлена волнует распад такого слова, как «справедливость». Вчера это слово было полно глубокого смысла, оно заключало в себе одну из ценно-

стей, завещанных гуманизмом. Сегодня слово «справедливость» умерло. Ему на смену пришло другое слово — «сила». Прав тот, кто силен, кто преуспевает. Личный успех — вот единственная цель, воодушевляющая деятелей буржуазного общества.

Еще недавно Жак Тюверлен воспринимал этот факт с безразличием созерцателя. Но перед лицом растущего одиночества капиталистической Европы он начинает ощущать в себе рождение гнева. Однако, и гнев этот лишен смысла, ничему нельзя помочь: в шуме жизни Жак Тюверлен слышит скрип телег первобытного человечества, кочующего по пажитям Европы. Над будущим нависла черная ночь средневековья.

Но, как бы ни был важен вопрос, кому принадлежат личные симпатии Лиона Фейхтвангера — финансовому диктатору Даниэлю Поттеру, гуманисту Жаку Тюверлену или революционеру Каспару Преклю, — для нас не менее важна та объективная истина, та художественная правда, которая заключена в творчестве замечательного писателя. Лион Фейхтвангер — умный и глубокий наблюдатель. Особенный интерес для нас представляют его произведения, написанные на современном материале. Такие, например, произведения, как «Успех» и «Семья Оппенгейм», различные и по замыслу, и по своим художественным достоинствам, позволяют сделать ряд выводов, весьма характерных для творчества Лиона Фейхтвангера.

II

В своих романах «Успех» и «Семья Оппенгейм» Лион Фейхтвангер изучает германский фашизм с различных точек зрения. Культура и фашизм — это узловая проблема «Успеха». В романе «Семья Оппенгейм» художника занимает та же проблема. Но в «Семье Оппенгейм» крушение гуманизма рассматривается в свете крушения буржуазной еврейской семьи. Распад семьи Оппенгейм в обстановке фашистской Германии в какой-то мере отождествляется с распадом гуманистической культуры. Естественно, однако, возник-

кает вопрос, в какой мере законно подобное обобщение? В какой мере мебельный фабрикант Мартин Оппенгейм, его брат Густав, праздный рантье, на досуге занимающийся литературным трудом, шурин Оппенгеймов — Жак Лавендель, хозяин нескольких банков, скупающих недвижимое имущество, представляют европейскую культуру? И в самом деле, прав ли Лион Фейхтвангер, когда он ставит знак равенства между жизненным крушением своих героев и крушением гуманизма? Соразмерны ли эти явления? В конце концов из всей многочисленной семьи Оппенгейм подлинным деятелем культуры является один Эрих Оппенгейм, выдающийся берлинский хирург. Но ему художник уделяет не больше внимания, чем другим своим героям, ни в какой мере не причастным к созиданию культурных ценностей.

Если бы мы хотели ответить на вопрос, в какой мере замысел произведения, его идейная оснащенность, направленность определяют его художественные достоинства, достаточно было бы сравнить два романа — «Семья Оппенгейм» и «Успех».

Сложный мир социальной борьбы в романе «Семья Оппенгейм» сужен до чрезвычайности. Одна из самых трагических страниц современности прочитана глазами добропорядочного еврейского буржуа. Невзгоды, которые претерпевает семья Оппенгейм в дни захвата власти национал-социалистами, только отдаленное эхо тех бед, того варварства, которыми грозит миру фашизм. В конце концов между германским фашизмом и еврейской буржуазией непримиримых противоречий нет. Оппенгеймы уже в первые дни переворота пытаются приспособиться к новому порядку. Пусть шумит волна погромов, рассыпаются в осколки стекла еврейских кафе, витрины магазинов, — социальная структура общества остается неизменной. Громилы, сами того не подозревая, воюют с миражами. Капитал лишен расовых признаков. Антисемитизм, испытанное орудие социальной демагогии, подобно дымовой завесе, должен скрыть от масс бессилie вождей

фашистской Германии, их пресмыкательство перед магнатами капитала. Нельзя ли «мирно вращаться в фашизм», — вот единственная мысль, которая заботит Оппенгеймов в дни великой классово-битвы. И Оппенгеймы по-своему правы. Когда провинциальные «фюреры» стали рассылать заводчикам и руководителям хозяйственных предприятий что-то вроде анкет, с тем, чтобы выяснить расовую природу капитала, из Берлина последовал грозный окрик. Имперский комиссар народного хозяйства в специальном циркуляре разъяснил простейшую истину: капитал интернационален. Всякое предприятие в Германии, совершенно независимо от того, откуда оно взяло капитал и кто им руководит, является основной частью немецкого хозяйства, — посылал циркуляр.

Руки фашистских банд обогреты кровью пролетариев, сопротивляющихся фашистскому насилию. Они истребляют революционную интеллигенцию, идущую в одном строю с пролетариатом. Но член правления «Дейче банк» Оскар Вассерман не так давно опубликовал в печати заявление, что, будучи не арийцем, он все же не испытал ни малейшего оскорбления, что в отношении его ход событий ни в чем не сказался. В органе ортодоксальных евреев «Идише прессе» раввин-профессор Вейнберг, приветствуя Гитлера, писал, что религиозные евреи знают, в какой мере они должны быть благодарны «вождю» за его энергичную борьбу с коммунизмом.

Национал-социалисты могут изгонять за пределы родины лучших представителей германской культуры. Но это не мешает им сохранять добрососедские отношения с авантюристами и преступниками, не принадлежащими к «великой северной расе», при условии, если они оказывают известные услуги. Квартира ясновидца Гершмана Штейншнейдера (Ганусена) была местом сбора берлинских штурмовиков. За день до поджога рейхстага на квартире ясновидца был раут. Присутствовали руководители штурмовых отрядов, писатели, актеры. Во время сеанса ясновидения Штейншнейдер сообщил гостям, что он видит «большой горящий дом». Через некото-

рое время слишком осведомленного и недостаточно осторожного ясновидца пришлось убрать. Он был убит в лесу под Берлином.

III

Еврейский национализм, как и всякий иной, начинается с утверждения особых путей развития родного народа. Решительное отрицание классово-борьбы, утверждение единства интересов нации в такой же мере обязательно для еврейского национализма, как для национализма германского или великорусского.

Умом России не понять,
Аршином общим не измерить, —
У ней особенная статья...

Народ рассматривается как некая субстанция, неделимая в существе своем, извечно противостоящая всему остальному миру.

Лион Фейхтвангер прежде всего скептик-индивидуалист. Скептицизм его исключает возможность какого-либо положительного утверждения. Попытка воссоздать еврейскую государственность на старой исторической основе — только утопия. С точки зрения Лиона Фейхтвангера, одинаково смешны и те, кто эту утопию берут всерьез, и те, кто, подобно Оппенгеймам, пытаются «мирно вратиться в национал-социализм». Но все же было бы глубоким заблуждением полностью отрицать наличие националистических тенденций, пусть очень утонченно выраженных, в творчестве Лиона Фейхтвангера.

Сколько он ни доказывал бы, что история лишена логики, читатель все же внимательно слушает его националистически настроенных героев. В конце концов именно они являются выразителями целостного мировоззрения, именно они в обстановке распада, всеобщей растерянности точно знают, чего хотят, и уверенно идут к конечной цели.

Уже в романе «Безобразная герцогиня» мы слышим едва звучащую приглушенную мелодию. Как поэтически изображен ростовщик-негоциант Мендель Гирш! Как привлекательно показан его

быт и в особенности религиозная, обрядовая сторона быта! Изображая глубоко правдивую картину средневекового антисемитизма, разгул звериного насилия, Лион Фейхтвангер будит в читателе горячую ненависть к фанатическим убийцам. Но самый образ Менделя Гирша Лион Фейхтвангер дает не столько в шекспировской манере, сколько в согласии с традициями романтиков — образ негоцианта и ростовщика окутан дымкой загадочной привлекательности, волнующей таинственности.

Та же мелодия, но более отчетливо, звучит в романе «Еврей Зюсс». Беспринципный, не разбирающийся в средствах Зюсс, талантливый финансист, хочет войти полноправным членом в придворное общество небольшого немецкого герцогства. И за это ему приходится расплачиваться жизнью. Прав не Зюсс, соблазненный блеском европейской культуры, но те скромные обитатели еврейского гетто, которые не снимают нарукавный знак позора даже и тогда, когда, собственно, никакой нужды в ношении этого знака больше нет. Правы они, принципиально противопоставляющие себя христианскому миру.

Они обладают таинственным магическим знанием, для них нет тайн ни в прошлом, ни в грядущем, и в свете их оккультных прозрений смешны и тщетны все усилия, все страсти мира.

Но, как и следовало ожидать, наш читатель выбрасывает за борт националистическую философию «Еврея Зюсса». Он по-инному воспринимает роман, в плане, быть может, неожиданном для автора. Он берет те же явления и метит их иным социальным знаком. Он знает, что Зюсс гибнет потому, что в борьбе Рима и протестантизма, замка и города, рыцаря и бюргера наш финансист сознательно оказался на стороне католической реакции. Он с феодалами против города. И самый патетический момент — казнь Зюсса — воспринимается не так, как того хотел, быть может, художник. Симпатии читателя во всяком случае не с героем.

Тема «Еврея Зюсса» целиком перенесена в роман «Семья Оппенгейм». Но если историческая даль в романе «Еврей

Зюсс» в какой-то мере вуалировала сущность конфликта, то «Семья Оппенгейм» уже не оставляет в читателе никаких сомнений. Роман воспринимается с обратной реакцией, он прежде всего утрачивает свой трагический смысл.

Род Оппенгеймов поселился в Германии с незапамятных времен. То были мелкие банкиры, купцы, мастера золотых и серебряных дел. Последним, «подлинным» Оппенгеймом был дед Эммануил, крупный поставщик во время франко-прусской войны, основатель мебельной фабрики, перешедшей по наследству к сыновьям и внукам. Сам фельдмаршал Мольтке почтил его грамотой, свидетельствующей о заслугах Эммануила Оппенгейма перед германской армией. Но Эммануил не считал себя, подобно правнукам, подлинным германцем и показывался покупателям в традиционной ермолке. История сделала один шаг вперед, и наступил час расплаты. История сметает с лица земли семью Оппенгейм. Приход к власти национал-социалистов воочию убеждает их, что вера в прочность европейской цивилизации была мнимой. Германия Гёте и Канта ушла в далекое прошлое. Вместе с крушением гуманизма рухнула призрачная связь еврейского народа с христианским миром. Национал-социалист Фогельзан, учитель гимназии, обрывает семнадцатилетнего Бертольда Оппенгейма в ту минуту, когда он читает свой реферат об Армици Германце, национальном герое немцев. Бертольд пытается доказать, что он, Оппенгейм, если не по крови, то по духу чистокровный германец. Штурмовики избивают в казармах его отца, Мартина, бежит из Германии Густав Оппенгейм, из клиники на улице выбрасывают Эриха Оппенгейма, известного берлинского хирурга.

Роман зажигает в читателе презрение к фашистским убийцам. Омерзительны штурмовики, преследующие Оппенгеймов только потому, что они не христиане. Но отчего же личная трагедия Мартина Оппенгейма, мебельного фабриканта, не будит горячей встречной волны сочувствия, скорби?

Дело, конечно, не в том, что Оппенгеймы являются представителями иного

общественного класса. Подобное объяснение не соответствовало бы действительности, оно было бы чересчур упрощенным. Сущность явления несравненно сложнее, — в нашем понимании прекрасное неотделимо от социального. Прекрасно то, что исторически прогрессивно, прекрасно у нас в то же время является синонимом по праву утверждающего свою волю к жизни. Оппенгеймы безвольные, охваченные единственным инстинктом самосохранения, едва разбегаясь в смысле происходящих событий, их образы не укладываются в наше понимание прекрасного.

Кончат самоубийством Бертольд Оппенгейм. Но, с точки зрения нашего читателя, он только трус, у него нехватило мужества защититься перед лицом врага истину, которую он считал незабываемой. Наш читатель знает иную, полную непримиримого мужества, молодежь.

Штурмовики избивают в казармах фабриканта Мартина Оппенгейма. Насилие, чинимое штурмовиками, отвратительно. Но ведь и жертва немногим лучше своих палачей: только вчера Мартин ходил к фашисту, командиру штурмового отряда, мебельному фабриканту Вельсу, чтобы договориться с ним о дальнейшей эксплуатации своей фабрики. Они договорились. Оппенгейм и Вельс при всей глубокой ненависти друг к другу нашли общий язык. Огненная фабрика Оппенгеймов вливается в акционерное общество «Немецкая мебель», во главе которого становится рядом с Оппенгеймом и Вельс, — капитал лишен расовых признаков.

Жак Лавендель, шурин Оппенгеймов, нашел отличный выход — он принял американское подданство, изъял до лучших времен свои капиталы из немецких банков, и к его указаниям прислушивается сам Пфанц, министр народного хозяйства фашистской Германии.

Правда, в конце романа показаны силы, противоборствующие фашизму. Но сделано это робко и туманно, словно автор и сам точно не знает, кто эти люди.

Противопоставления не получилось. Оппенгеймы никак не противопоставляются разнузданному миру фашизма. При первой

же возможности Оппенгеймы протянут руку примирения новым хозяевам Германии.

Антисемитизм гитлеровских молодых является только завесой, прикрывающей борьбу с рабочим классом, — не самоцелью, а средством обмана мелкой буржуазии, вовлекая ее в борьбу против пролетариата. Оппенгеймы никак не являются героями исторического поединка двух миров. И, несмотря на все усилия автора, их образы лишены трагической красоты.

Попытка взглянуть на германский фашизм из окон семьи Оппенгеймов необычайно сузила кругозор писателя. Мир за стенами дома Оппенгеймов словно не существует, мир подлинной трагической борьбы остался за пределами романа.

Уверен ли твердо художник в правомерности подобного подхода? Наверяд ли. В романе чувствуется некоторая растерянность, словно автор и сам не знает, находится ли он на правильном пути к разрешению поставленной задачи. В романе нет той крепости, того непоколебимого сознания правоты, которыми проникнут «Успех».

«Семья Оппенгейм» во многих подробностях является повторением замечательного романа.

Густав Оппенгейм по своему типу очень близок к Мартину Крюгеру, подруга Густава Анна является повторением Иоганны Крейн, есть совпадения в портретах второстепенных персонажей.

Значит ли это, что Лион Фейхтвангер в своем романе «Семья Оппенгейм» погрешил против истины? Конечно нет. Он дал в романе объективно верную картину, он правильно запечатлел безволие Оппенгеймов, их рабскую покорность, их единственное стремление во что бы то ни стало сберечь найденное добро. Но скептицизм художника, его раз'едающая ирония не позволили ему противопоставить миру ничтожных собственников мир подлинных борцов с наступающим капитализмом. И потому, независимо от намерений Лиона Фейхтвангера, единственными носителями положительного мировоззрения в романе являются на-

борщик Мориц Эренрайх и приказчик Маркус Вольфсон, сионисты, выразители идеологии еврейской националистической буржуазии, объективно являющейся послушным орудием английского империализма в Палестине.

Подлинными героями романа являются не Мартин Оппенгейм и не брат его Густав, но скромный приказчик Маркус Вольфсон. Побывав в фашистском застенке, Маркус Вольфсон выходит оттуда просветленным. Подобно наборщику Морицу Эренрайху, он становится убежденным сионистом и эмигрирует в Палестину.

Так скептическая якобы надклассовая философия художника в применении к действительности неожиданно обернулась проповедью буржуазных националистических взглядов.

Поневоле напрашивается сравнение с огромным полотном «Успеха». Там перед читателем проходят представители самых различных общественных групп. Лион Фейхтвангер в своем мировоззрении, далеком марксизму, сумел в «Успехе» с необыкновенной пронизательностью вскрыть и художественно запечатлеть движущие силы действительности. Правда, и в «Успехе» приглушенно, чуть слышно звучит мотив, знакомый читателю по «Еврею Зюссу». И здесь адвокат Гойер, бесплодно воюющий с судьями во имя абстрактной справедливости, член рейхстага, потеряв сына (кстати, фашиста, причисляющего себя к числу «полноценных»), неожиданно ощущает в своей душе пробуждение ветхозаветного еврея, ищет утехи в древних молитвах, поминальных обрядах. Но это только деталь. В «Успехе» Лион Фейхтвангер выступает как искусный анатом, обнажая один социальный пласт за другим. И герои «Успеха» несравненно богаче духовно, глубже, чем Оппенгеймы, слепо и безволие идущие навстречу своему крушению.

Умеренный успех «Семьи Оппенгейм» и триумф «Успеха» — явления, полные глубокого смысла. Философия мстит тем, кто ею пренебрегает. В своем романе «Успех» Лион Фейхтвангер стихийно подошел к философии пролетариата. Большой талант художника позволил

ему поэтически запечатлеть правильно понятое явление. Но в «Семье Оппенгейм» художник пренебрег философией. Он историков взглянуть на мир глазами исторически обреченного класса. И философия, которой пренебрегли, отомстила за себя.

IV.

«Успех» может быть по праву назван романом-памфлетом. Ни в какой мере не изменяя реалистическому отображению действительности, не искажая ее, художник в то же самое время дает полную свободу своему сарказму, он разит врага со всей силой ненависти.

Май 1919 года. Советский Мюнхен пал. Солдаты рейхсвера охотятся за красными на улицах и площадях города. Какой-то полковник фон-Зуттергейм, по доносу неизвестного шутника, расстрелял двадцать скромных ремесленников, репетировавших под аккомпанемент уличного боя религиозно-нравственную пьесу. Полковник принял мирный кружок любителей драматического искусства за сборище большевиков.

Когда порядок в городе был восстановлен, власть перешла к почтеным людям, знающим толк в умеренных удовольствиях жизни. В своем «Успехе» Лион Фейхтвангер с огромной силой изображает болото провинциального политиканства. Буржуазные демократы, почкорные слуги монополистического капитала, обезоружив рабочее движение, превратили крестьянскую Баварию в плацдарм для общегерманского наступления фашизма. Бавария в годы 1921 — 1923 встает в «Успехе» во весь свой рост перед читателем.

Угрожая Берлину, баварское правительство ведет сложную и нечистую игру. Оно молчаливо покровительствует движению, возглавляемому Гитлером и Людендорфом, подготовляющими общегосударственный фашистский переворот, и в то же время находится в связи с сепаратистами, друзьями старого королевского дома Виттельсбахов, — при поддержке некоторых французских кругов сепаратисты готовят отделение Баварии и слияние ее с католической Австрией. Оккупация французами Рура создает

благоприятную обстановку для выступления. Но баварские фашисты действуют недостаточно решительно. Магнаты германской и французской промышленности находят общий язык для сделки. Инцидент в Руре получает свое разрешение. Дальнейшая активизация фашистского движения несвоевременна. В то же время рухнули надежды на отделение Баварии, расчет сепаратистов на помощь Франции не оправдался. Баварское правительство вынуждено занять определенную позицию; оно рвет с агентами Виттельсбахов и стреляет по фашистским военным дружинам, которым только вчера оказывало широкую поддержку. Запоздалое выступление «истинных германцев» терпит неудачу.

Лион Фейхтвангер не агитирует, не упрощает действительности. Ни один из его портретов не является простой фотографией. Но совокупность типических черт создает ту неотразимую художественную правду, которая делает роман Лиона Фейхтвангера одним из самых замечательных произведений современности.

Фабула романа проста. Огромное произведение построено на старом, как сама поэзия, приеме. Влюбленных разлучает тюрьма, девушка пытается спасти своего друга, ей это не удается, она становится женой другого. Не слишком талантливый и не слишком умный искусствовед Мартин Крюгер, директор государственного музея, популярный, однако, и за пределами своей родины, держит себя с подчеркнутой независимостью. Это не нравится правящей клике. Министр юстиции Отто Кленк с помощью лже-свидетеля создает судебный процесс. Мартин Крюгер попадает в тюрьму. Иоганна Крейн, его подруга, ищет помощи в самых различных слоях общества. Достаточно было бы одного слова крупнейшего баварского промышленника фон-Рейндля, и Мартин Крюгер вышел бы из тюрьмы. Фон-Рейндль — подлинный хозяин Баварии. Кабинет министров послушно ловит каждый его намек. Но до фон-Рейндля когда-то долетела мимолетная острота Мартина Крюгера, пущенная по его адресу, и он

не видит оснований хлопотать за него. Тюремщик Фертч с чуткостью хамелеона ловит малейшие колебания политической погоды и то бросает искусствоведа с европейским именем в одной рубашке в холодную и зловонную камеру, то милостиво смягчает его режим. В конце концов в дело Мартина Крюгера вмешивается всемогущий Даниэль Поттер. Но поздно. Накануне своего освобождения Мартин Крюгер умирает в тюрьме от припадков грудной жабы.

Лион Фейхтвангер уделяет тщательное внимание внутреннему миру своих героев. Положения приобретают большую значительность благодаря утонченному психологическому анализу. Вместе с тем внутренний мир героев дается не изолированно. Художник с совершенной непринужденностью изображает личную трагедию своих героев на фоне широких общественных процессов. В романе читатель находит мастерски написанную картину становления германского фашизма. Лион Фейхтвангер искусно обнажает связь, существующую между движением истинных германцев и практическими нуждами германской торговой промышленности.

Один из героев «Успеха» — Отто Кленк — после своего вынужденного ухода из правительства связывает свою судьбу с фашистским движением. Отто Кленк обивает пороги крупных промышленников, выпрашивая деньги для партийной кассы. Почтенные господа много говорят о родине, о германском начале, о моральном возрождении, но Отто Кленк прекрасно понимает, что промышленники дают деньги истинным германцам для того, чтобы противопоставить эту силу растущему революционному движению. Фон-Рейндль не жалеет денег. Но в беседе он указывает Отто Кленку, что руководство истинными германцами не стоит на высоте, что в Италии на деньги промышленности удалось сделать несравненно больше. Когда Отто Кленк раздраженно указывает фон-Рейндлю, что тот одновременно поддерживает и берлинских социал-демократов, и мюнхенских «истинных германцев», промышленник не без остроумия отвечает:

— Кто умен, тот ведет себя соответственно климату. Нужно хорошенько привыкаться, прежде чем решить, следует ли в данном месте организовать завод удушливых газов, или строить легочный курорт.

Лион Фейхтвангер показывает не только тесную зависимость «истинных германцев» от тяжелой промышленности, но и ту социальную группу, в которой фашизм вербует своих сторонников. Инфляция, обесценив труд, сметает с лица земли мелкую буржуазию. Уже кружка пива стоит тысячу марок, и три с половиной тысячи марок стоит фунт мяса. Откуда ждать спасения? Каждый понедельник в Капудинербрей или в каком-либо другом большом ресторане при пивных заводах «вождь истинных германцев» Рупперт Кутцнер говорит со своим народом.

Перед читателем проходит целая толпа разоряющихся в обстановке инфляции мелких буржуа. Всячески стараясь продлить наслаждение, владелец антикварного магазина Каэтан Лехнер потягивает из кружки пиво в ожидании понедельничной речи вождя. Антиквар продал в Голландию последнюю ценную вещь, надеясь купить небольшой домик на окраине города. Но какой-то галицийский еврей опередил Каэтана Лехнера. Он не знает теперь, что делать ему с деньгами, ежечасно падающими в цене. Он ждет ответа на мучающий его вопрос от вождя, от вдохновенного Рупперта Кутцнера. Фрау Тереза Гаутсенедер уже на собственном печальном опыте убедилась в несостоятельности общесоюзного правительства. Какой-то коммивояжер продал ей на выплату пылесос «Аполло». Другой коммивояжер предложил ей пылесос «Триумф», немного дешевле, пообещав уладить дело с первым коммивояжером. Но он так ничего и не уладил. И теперь фрау Гаутсенедер приходится платить сразу за два пылесоса. Она с нетерпением ждет речи Рупперта Кутцнера, полной угроз по адресу общесоюзного правительства. Отставной правительственный инспектор Эрзингер, человек миролюбивый, согласен сносить лишения. Он не из числа тех, которые критикуют прави-

тельство. Но когда его жена вместо привычного ролика гигиенической бумаги повесила в уборной нарезанную листочками газету, его принципиальность дала трещину. Он похоронил навсегда свою веру в демократию и перешел под знамена Рупперта Кутцнера. В зале Капуцинербрей за кружкой пива сидит строительный десятник Брукнер, у которого три сына были убиты на Сене, на Эне и на Изонцо, а четвертый пропал в Карпатах. Но разве не Рупперт Кутцнер обещает истинным германцам смьть позор проигранной войны, отомстить врагу? Надворная советница Верадт всю жизнь терпела неприятности от своих жильцов. Социал-демократы ограничили права домохозяев. Надворная советница Берадт, не задумываясь, встала в строй с инспектором Эрзингером и десятником Брукнером.

Мюнхен дичал, опускался, и по понедельникам толпы нищающих мелких буржуа, людей без определенных занятий, люмпенов, переполняли залы Капуцинербрей, принося с собой острый запах пота и грязи. Наконец, окруженный знаменами, встреченный бурным ликованием, в зал вступает под гром оркестра вождь «истинных германцев» Рупперт Кутцнер, человек без затылка, с безукоризненным пробором и крошечными усами. Вождь берет уроки ораторского искусства у Конрада Штольцинга, старого опустившегося актера. Это Конрад Штольцинг научил Рупперта Кутцнера проходить с неподвижным лицом к трибуне через переполненный людьми зал, ступая на пальцы ног, а не на пятку, научил его владеть дыханием, раскатывать букву р-р-р. Старый актер присутствует на всех выступлениях своего ученика Рупперта Кутцнера. Он в нужную минуту бросает ему реплику из глубины зала и, глядя на вождя, вспоминает: вот так когда-то и он, Конрад Штольцинг, улыбался в драмах Шекспира и трагедиях Шиллера.

Рупперт Кутцнер говорит о Версале и франкмасонах, о Пуанкаре и Талмуде. Во время паузы, вызванной аплодисментами, Рупперт Кутцнер картинным жестом поднимает пивную кружку и выпивает ее до дна. Он обещает повесить

врагов истинных германцев, и фрау Гаутсенедер уже видит на дереве обоих коммивояжеров по распространению пылесосов, а Каэтан Лехнер уже потирает руки, предвкушая расправу с галицийским евреем.

Десятник Брукнер, правительственный инспектор Эрзингер, учитель гимназии Фейхтингер — это рядовые, статисты истинно-германского движения. Они принимают участие в демонстрациях и плевбисцитах, они представляют «истинно германский народ».

Но в аппарате партии, в ее организациях работают бывшие офицеры, ландскнехты, навсегда отравленные трупным ядом войны, люди с очень гибкой совестью и сомнительными наклонностями. Их образы мастерски нарисованы в портретах фон-Дельмайера и его ближайшего друга, юноши Эриха Борнгаака. Начав с небольших операций по отравлению предварительно застрахованных породистых собак, они переходят к политическим убийствам и в конце концов становятся соратниками Рупперта Кутцнера. Картина неудавшегося путча Рупперта Кутцнера, написанная с блеском и сарказмом, — одна из лучших картин романа.

Много внимания Лион Фейхтвангер уделяет изображению мюнхенской интеллигенции. Беспомощно воюет с правосудием адвокат Гайер, член рейхстага, слово «справедливость» утратило всякий смысл. Писатель Жак Тюверлен хочет воскресить принципы античной драматургии Аристофана, применить их к большой современной комедии. Но хозяин театра Пфаундлер превращает сатиру Тюверлена в бездарный фарс с обнаженными герльс. В сумасшедшем доме находит абсолютную свободу инженер и художник Франц Ландгольцер, у которого, благодаря попустительству бюрократов, были украдены чертежи всех изобретений. Бежит из Германии в Советский Союз инженер Каспар Прекль. Искусствовед Мартин Крюгер гибнет в тюрьме, не перенеся издевательств.

Сарказм, острая ненависть к врагу сочетались в Лионе Фейхтвангере с холодной наблюдательностью ученого.

«Успех» — роман документальный, каждый факт проверен, и в этом отношении роман напоминает лучшие произведения Золя. Трудно назвать еще одно произведение, которое с такой силой, как «Успех», обнажало бы провинциализм национал-социалистской идеологии, ее классовую ограниченность. Национал-социализм провинциален не в смысле локальном, местном. Провинциальна его философия, обращенная не к человечеству, но к определенным, достаточно узким общественным группам, вскормленная не прозрением в грядущее, а обращением в мрачное прошлое германского народа, в средневековье. Вожаки национал-социалистского движения упорно пытаются придать идеологии национал-социализма характер всеобщности. Но расовая теория, составляющая сущность философии фашизма, не поддается научному обоснованию. Она повисает в воздухе и на деле получает варварское выражение, лишая права на жизнь всех, кто, с точки зрения идеологов расизма, не является полноценной личностью.

Последние страницы «Успеха» оставляют в читателе ощущение, которое бывает после прогулки по зоологическому саду. Не случайно во многих из своих героев Лион Фейхтвангер сумел разглядеть звериные черты. На сумасшедшего буйвола похож потерпевший крушение во время мировой войны генерал Веземан, ближайший соратник Рупперта Кутцнера. Быка на арене напоминает баварский министр-президент Флаухер, с диким горным козлом схож политический авантюрист Отто Кленк. И даже Даниэлю Поттеру художник дал прозвище калифорнийского мамонта.

После длительной прогулки по зоологическому саду фашистской Баварии, вдоволь надышавшись его миазмами, наш читатель еще радостнее и шире вдыхает воздух родной страны. Откладывая в сторону прочитанный роман Лиона Фейхтвангера, наш читатель знает: горе тем, кто попытается вооруженной рукой навязать законы и нравы пахучего обезьянника молодому социалистическому человечеству.

2. ТОРЖЕСТВО ЧЕЛОВЕКА

Б. Брайнина

I

Если он видел развешенное для просушки белье, то углем чертил на нем черные кресты, если видел кипящий самовар, то выдергивал кран, чтобы вода вся вытекла и самовар распаялся. Ему «нравилось злить» людей. Стремление «напакостить» было настолько сильно, что даже во время побега из бursы, ожидая погони и жестокой порки, он находит время, чтобы у совсем незнакомых людей «обрезать несколько удочек у снастей, распластать в нескольких местах невод и сделать дыру на одной лодке».

Это сообщает о своем детстве Федор Михайлович Решетников. Одареннейшего ребенка, будущего знаменитого писателя, окружающая обстановка (и школа, и семья) превращала в человеконенавистника.

Другой разночинец-демократ Помяловский, в столь известных «Очерках бursы», показал, до какого полнейшего отупения доводила ребят «долбня ужасающая и мертвящая», порассказал он и о методах тогдашнего воспитания. Среди педагогов, к примеру, был такой «артист в своем деле», который заставлял учеников «кланяться печке, целовать розги, сек и солил сеченого».

Писатели революционной демократии, великие «шестидесятники», с гневом и болью заговорили о воспитании. В этом гневе была большая любовь к человеку, которого на их же глазах калечили, унижали, оскорбляли. По всей стране разнесся отчаянный их протест.

Но что было делать, как можно было выручить подрастающее поколение, вырвать его из рук палачей, если весь строй жизни держался на жестоком поругании и издевательствах небольшой

кучкой «негодяев-аристократишек» и «бар-кулаков» (слова Помяловского) надо всей многомиллионной массой народа.

Прошли десятилетия. Старая феодальная Россия все более и более молодилась, подурмывивалась, прихорашивалась, шествуя под овации либералов по новому капиталистическому пути. И с воспитанием как будто бы дело наладилось. По крайней мере, все стало внешне опрятно, прилично, благообразно: ребята перестали кланяться пещке и целовать розги, их перестали сечь до бесчувствия, бурса, о которой на весь мир прокричал страдальческий голос Помяловского, казалась, ушла в невозвратное прошлое.

Но сущность дела не изменилась. Школа попрежнему калечила ребят, попрежнему до отупения доводила их «долбня ужасающая и мертвящая», попрежнему худшие становились отвратительными подхалимами или угрюмыми идиотами, а лучшие, в большинстве случаев, озлоблялись, протестовали, бунтовали, старались «напакостить» своим притеснителям.

Без страстного гнева «шестидесятников», но все же с чувством очень глубокой человеческой грусти рассказал Чехов о воспитательных учреждениях своего времени.

Беликовы и Кулыгины, люди в футлярах, для которых «главное во всякой жизни, это — ее форма», старательно вытравляют все живое, прекрасное, человеческое из умов и сердец подрастающего поколения.

Несколько позже в форме жуткого протеста, в котором подлинная правда чередуется с большими кошмарами сладострастника и садиста, показал дореволюционную школу Соллогуб в «Мелком бесе». Образ Сергея Потапыча Богданова, образ полусумасшедшего Передонова и «умеренного либерала» директора Николая Васильевича Хрипача остались в литературе как замечательное художественное изображение старой, дореволюционной школы. Передонов обращается к Богданову: «У вас учительница одна в красной рубашке ходит». Богданов испугался. «Что вы говорите, — силпо

зашептал он, — кто это такая?» Таких запуганных идиотов тысячами выращивала и бросала в школы дореволюционная действительность. Немногим от них отличается и директор Хрипач, живущий по «правилам общепринятого умеренного либерализма», потому что и для него подрастающее поколение было только «аппаратом для растаскивания пером чернил по бумаге и для пересказа суконым языком того, что когда-то было сказано языком человеческого».

Какова же была судьба отдельных талантливых педагогов, тех подлинных гуманистов, которые вопреки всем трудностям пытались воспитать настоящего человека? Положение их было трагично, потому что нельзя проводить новых, подлинно человеческих методов воспитания, хотя бы в относительно широком масштабе, если существуют «отношения, в которых человек является униженным, поработленным, юремененным, презренным существом» (Маркс).

В новелле «Не страшное» Короленко рассказал печальную историю молодого учителя, который попытался с хорошей теплотой, с человеческой лаской подойти к молодежи.

«Книги свои давал, сходились ко мне. Ну, там за самоварчиком, запросто, задушевно, понимаете... Вспоминаю об этом, как о празднике жизни».

«Праздник жизни» продолжался очень недолго. Молодому учителю начальство строго-настрого запрещает проявлять инициативу, общаться с молодежью вне рамок, установленных циркуляром министерства просвещения. Пришлось покориться. И «класс стал именно классом: живые лица стали отдаляться все больше, отошли в туман какой-то... прикосновение умственное утратилось».

Что может быть страшнее этой «нестрашной» истории!

II

Если в дореволюционной России умели излоганить, унижить, искалечить человека до последнего предела, то Октябрьская революция предоставила все возможности раскрыться человеку, высвиться, смыть с себя позор старого

мира. Если в прошлом, порой прекрасные, одаренные люди превращались в преступников и человеконенавистников, то советская действительность создала величайшие возможности даже бандитам, кандидатам на «человеческую свалку», стать прекрасными, настоящими людьми. Об этом очень убедительно рассказал Макаренко в своей «Педагогической поэме».

В центре повествования поставлен вопрос о создании новых людей усилиями нового человека; автор захвачен пафосом перевоспитания бывших беспризорников, воришек, несовершеннолетних, случайных спутников всевозможных банд, управляемых батьками, и пр.

В «Педагогической поэме» каждый почувствует большую любовь автора ко всем этим Задоровым («преlestный, милый Задоров»), Братченкам («в нем всегда преобладала человечески страстная нотка, он никогда не ссорился из-за эгоистических побуждений»), Шнайдерам («Шнайдер был умница и обладал глубокой, чуткой духовной организацией. Из больших черных глаз он умел спокойным светом облить самое трудное отрядное недоразумение, умел сказать нужное слово»), Белухиным, Карабаныным и другим питомцам колонии.

Гордостью за человека, за его достоинство, силу, за скрытые в нем возможности полны меткие, живые характеристики обитателей колонии. Автор показывает, как в бывших беспризорниках, бандитах, воришках начинают расцветать лучшие человеческие чувства, сознание своего достоинства, здоровое самолюбие, законная человеческая гордость... «Высокое поднятое знамя колониальной чести» мощно веет над колонией...

Осадчий был «бандит из бандитов, а уехал в Харьков в Технологический институт стройный красавец, высокий, сильный, сдержанный, полный какого-то особенного мужества и силы». И все они, горьковцы, «стройны и собраны, у них хорошие подвижные талии, мускулистые и здоровые, не знающие, что такое медицина, тела и свежие краснорубые лица. Лица эти делают в коло-

нии, с улицы приходят в колонию совсем не такие лица».

III

В первой части автор показывает «постепенное и чрезвычайно медленное приобщение к приобретениям человеческой культуры» питомцев колонии, зачатки коллектива, «потихоньку зеленеющие» там. Во второй части это уже великолепно организованый, свободный рабочий коллектив, в котором созрели новые формы труда и быта, новые формы отношений между людьми: радостное соревнование в работе, крепкая дисциплина, творческая собранность и организованность, подлинное чувство товарищества, чувство ответственности каждого за всех. Об этом великолепно свидетельствует изображение счастливой работы коллектива во время молотбы, описание свадьбы Оли Вороновой, сцены отъезда первой партии колонистов на рабфак или сцена празднования 1 мая и пр., и пр.

В «Педагогической поэме» показан очень интересный, весьма сложный процесс роста коллектива: человек воспитывается, формирует коллектив, и этот же человек, достигнув благодаря коллективу известной высоты развития, начинает сам руководить, двигать коллектив вперед. Свободный рабочий коллектив может существовать только при условии постоянного роста движения. «Формы бытия свободного человеческого коллектива — движение вперед, форма смерти — остановка» — говорит герой-рассказчик. В дальнейшем он приходит к выводу: «Может быть, главное отличие нашей воспитательной системы от буржуазной в том и лежит, что у нас детский коллектив обязательно должен расти и богатеть, впереди должен видеть лучший завтрашний день и стремиться к нему в радостном общем напряжении, в настойчиво-веселой мечте».

Когда в жизни горьковского коллектива на время произошло торможение, остановка, сразу все, и воспитанники и руководитель, почувствовали кризис и глубочайшую неудовлетворенность. В «Педагогической поэме» Макаренко

впервые в нашей литературе так искренно, свежо и смело поставлены вопросы коллективного воспитания. Замечателен образ самого героя-рассказчика. Даже ненаблюдательный читатель сразу отметит в нем страстного педагога-искателя, противника всяческого педантизма. Искание правильного пути, резкая самокритика, протест против педагогического шаблона, установленных, всемогущих педагогических средств, всякого рода формальных педагогических поступков проходят через всю поэму.

Перед читателем талантливый педагог, который был «искренним до конца, не щадил никаких предрассудков и не боялся показать, что в некоторых местах «теория» казалась ему уже жалкой и чужой». Примеров можно привести сколько угодно. «Во все времена и у всех народов педагоги ненавидели любовь. И мне было ревниво неприятно, как тот или другой колонист, пропуская комсомольское или общее собрание, презрительно выбросив книжку, махнув рукой на все качества активного и сознательного члена коллектива, упрямо начинает признавать авторитет Маруси или Наташи — существ, неизмеримо ниже меня стоящих в педагогическом, политическом и моральном отношении. Но у меня всегда была склонность к размышлению, и своей ревности я не спешил предоставить какие-либо права». И в данном конкретном случае, как и в целом ряде других, руководитель колонии проявляет исключительную находчивость, чуткость, внимательность к человеку, педагогическую талантливость.

У нас в литературе большей частью очень еще схематично изображается положительный герой. Положительный герой «Педагогической поэмы» — совсем живой в каждой мысли своей, в каждом жесте, в каждом поступке. Автор с исключительной искренностью обнажает все его провалы, сомнения, недоумения. И в то же время перед читателем — настоящий герой нашей страны, подлинный гуманист, борец-энтузиаст за нового, прекрасного человека. Именно герой нашей страны.

Попробуем представить себе этого талантливого педагога, этого страстного

искателя, этого энтузиаста, не в условиях советской действительности. Удалось бы ему в дореволюционное время провести свой блистательный опыт, опыт нового «второго» рождения человека? Дело колонии им. Горького — это дело всей страны Советов, только партия большевиков смогла поставить вопросы социального воспитания на такую исключительную высоту; колония им. Горького — одна из маленьких ячеек тех удивительных Беломорстроев, которые умеет создавать только наша страна.

И по всей вероятности судьба героя-рассказчика в дореволюционное время мало бы чем отличалась от судьбы молодого педагога из рассказа Короленко «Не страшно».

IV

Насколько интересен, удачен образ героя-рассказчика, руководителя колонии, настолько, к сожалению, бледны, художественно неощутимы образы всех остальных педагогов.

Почти вся воспитательная работа педагогов проходит где-то за кулисами. К примеру, с самой первой главы говорится о Екатерине Григорьевне и Лидии Петровне (Лидсчке), но буквально ни одного конкретного педагогического поступка ни той, ни другой читатель так и не увидел. Вот почему обе они получили художественно до того бесплотными, что, если бы их автор выбросил из произведения, никто бы этого не заметил. Или когда в конце первой части говорится о некоем Иване Ивановиче и других «малодушных педагогах», как о людях, уже известных читателю, последний просто недоумевает, ибо слышит об этом Иване Ивановиче первый раз. Автор не только не пытается наделять своих педагогов какой-либо художественной плотью, но зачастую совсем забывает об их существовании. Куда, к примеру, исчез Тихон Несторович Коваль, куда исчез художник Зиновий Иванович Буцай? Наконец, почему не включен в действие «поэмы», почему забыт столь интересно задуманный образ Павла Ивановича Журбина, этого пе-

дагога, одержимого «гурманской любовью к человеческой природе».

Живут, запоминаются лишь гротескно-комические фигуры Дерюченко и Родимчика. Однако, и здесь очень выразительно высмеян предельный идиотизм пошлости, шкурничества обывателей вообще, но не обывателей от педагоги.

И еще один упрек «Педагогической поэме». Борьба с «ученостью», с футлярными педагогическими формулировками, конечно, крайне ценна, и хорошо, что автор умеет смело ударить по рутине. Но иногда слишком прямолинейное противопоставление инстинкта знанию, педагога сомневающегося, педагогам, «которые знают», «педагогическим писателям», вообще стремление показать преимущество педагогической интуиции над теоретическими построениями приводит к известной идеализации стихийничества, самотека. «То-и-дело возникавшие в коллективе водовороты и маленькие водопадики обойти живому человеку было трудно, — не успеешь оглянуться, уже завертело тебя и потащило куда-то».

Всякого рода водовороты, «водопадики», неожиданности, иногда просто «гримасы педагогики» вызывают особое внимание, весьма благожелательный интерес автора, все же, что относится к научным теоретическим построениям, вызывает в нем неприязнь, раздражение. Стоит зайти речи об «ученом педагоге», как читатель заранее знает, что это окажется или вредный болтун, или самодовольный дурак. Вспомним хотя бы, с каким уничтожающим презрением изображен знаменитый педагог, профессор Чайкин, с его «галантными ужимочками и псевдопочтительной мимикой», или «ученый педагог», разглагольствующий «о великой советской педагогии».

Это презрительное пренебрежение распространяется и на научно-педагогическую книгу. Между инспектором Наркомпроса и руководителем колонии происходит диалог:

«— Не читаете педагогической литературы? Вы серьезно говорите?

— Не читаю вот уже три года.

— Но как же вам не стыдно. А вообще читаете?

— Вообще читаю. И не стыдно, имейте в виду. И очень сочувствую тем, которые читают педагогическую литературу».

V

В «Педагогической поэме» есть уязвимые места, поэма нуждается в критике, но никто не будет оспаривать здесь подлинного голоса человека, глубоко проникнутого убеждением, никто не будет оспаривать самой настоящей человеческой искренности.

Искренность — это предельная органичность материала, это та чистая, горячая тональность, которую можно назвать кровеносной системой произведения.

Вот почему над проблемой искренности думали и Толстой, и Гете, и Чехов, и целый ряд других великих мастеров. С революционной смелостью и остротой ставит эту проблему Чернышевский. Незабывательно его высказывание о Гартмане:

«У Гартмана вы редко встретите что-нибудь сочиненное насильно, придуманное... Напротив, все у него прочувствовано, всюду слышен голос человека, глубоко проникнутого убеждением. Его произведения явились потому, что он не мог не высказаться, тогда как у многих других немецких поэтов политической школы вы постоянно замечаете, что им хочется сказать то, что не вошло еще в них органически».

«Педагогическая поэма» — одно из самых искренних произведений нашей современной литературы, именно здесь «всюду слышен голос человека, глубоко проникнутого убеждением». Эта искренность оказала самое непосредственное влияние на специфику всего произведения: на трактовку образов, на композицию, на язык. Лирический пафос, юмор и простота языка, убежденная страстность и правдивость в изображении психологии действующих лиц (особенно героя-рассказчика) несомненна для каждого.

«Педагогическая поэма» — интереснейший человеческий документ, взятый из самой жизни. Нельзя не верить тому, о чем рассказывает герой-рассказчик: все, начиная с первой главы и кончая последней, очень просто и очень правдиво. Повествование развивается легко и естественно. Даже самый необычайный, особо драматический эпизод разворачивается с завидной естественностью, с подкупающей простотой: покушение на самоубийство героя-рассказчика, избивание колонистов-евреев, уход и возвращение Карабанова и Осадчего, смерть Чобота и пр.

И самое главное: «Педагогическая поэма» — произведение подлинного пролетарского гуманиста, охваченного любовью и гордостью за человека труда, за человека, сумевшего из «социального небытия» взобраться на самые высоты человеческой радости и красоты.

Все эти «пасынки старого человечества» превращаются в чудесных людей, которыми нельзя не залюбоваться. Колония дает им «самую дорогую квалификацию» — «квалификацию борца и человека». «Правда одна: люди... Люди должны быть хорошие» — говорит колонист Вершневу. Чуткость и бережность к человеку, самая настоящая любовь к человеку, гордость за человека вырастает в умах и сердцах этих когда-то

отверженных человеконенавистников, несовершеннолетних бандитов, загнанных, презренных «правонарушителей». Избитый группой колонистов-антисемитов, загнанный, окровавленный Шнайдер, молча в тупом страхе размазывающий грязными руками кровь по лицу (1-я часть «Педагогической поэмы»), во 2-й части «Поэмы» превращается в командира отряда, в прекрасного, любимого товарища, становится украшением и гордостью колонии.

А Задоров — вдохновитель «своры бандитов» первой партии колонистов, а Карабанов «с наганом в руке, «стопорщик» на большой дороге»... Какова же их судьба?

Вот идут они в числе других колонистов в столицу, учиться на рабфак. «Карабанов на-ходу, не сбиваясь с ноги, обернулся и обнаружил редкий талант: в простой улыбке он показал и свою гордость, и радость, и любовь, и уверенность в себе, в своей прекрасной будущей жизни. Идущий рядом с ним Задоров сразу понял его движение, как всегда, застенчиво поспешил спрятать цию, стрельнул только живыми глазами по горизонту и поднял голову к верхушке знамени».

Это ли не праздник советского гуманизма, это ли не торжество человека!

Книжное обозрение

1. В. Н. ПЕРЕЛЬМАН и А. М. ЛЕСЮК „Евгений Кацман“. — И. Гронский. 2. Ю. ДАНИЛИН. „Поэты Июльской революции.“ — Н. Славягинский. 3. „Американская новелла XX века“. — Ю. Полетика.

В. Н. Перельман и А. М. Лесюк. — «Евгений Кацман». «Всекохудожник». М. 1935 г.

Книга гг. Перельмана и Лесюка состоит из двух совершенно самостоятельных работ. Первая из них принадлежит перу тов. Перельмана и посвящена разбору творчества художника Кацмана. Вторая — работа т. Лесюка — касается главным образом истории применения техники сухих красок.

Так как в данное время нас интересует творчество художника Кацмана, а не история применения сухих красок, то мы и остановимся только на работе тов. Перельмана.



В своей содержательной и интересной работе т. Перельман правильно указывает, что Е. А. Кацман является преимущественно художником-портретистом. Карандашу и кисти Кацмана принадлежат около трехсот портретных работ. Художник за 25 лет своей творческой деятельности создал целую портретную галерею, в которой основную массу составляют портреты участников и руководителей великой социалистической революции. Уже одна эта цифровая справка показывает, какое, поистине, огромное значение имеет творчество Кацмана. Если же к этой справке мы добавим, что подавляющее большинство своих портретных произведений художник написал не по фотографиям, а с натуры, то значение его творчества будет ясно для всякого грамотного человека, не говоря уже о художнике или художественном критике, которые и без наших пояснений понимают, что портреты выдающихся представителей нашей эпохи, написанные с натуры, являются ценнейшим вкладом в наше искусство. Мне могут заметить, что деятели и руководители социалистической революции запечатлены и фотографией. Эту «фотографическую теорию» еще не так давно усиленно проповедывали представители формализма, и надо сказать, что эта проповедь многих наших художников, в том числе и реалистов, сбивала с толку, приводила к копированию и раскраске фотографических снимков и тем самым уводила их от искусства. Сторонникам «фотографической теории» можно ответить словами старика Прудона.

«Фотографическое изображение представляет кристаллизацию, происшедшую между двумя ударами пульса; портрет же, сделанный артистом, после ряда сеансов и продолжительного наблюдения, дает вам недели, месяцы и годы того же самого существования. Поэтому-то человек гораздо

легче узнается по портрету, чем по фотографическому снимку. Но, — продолжает дальше Прудон, — какой бы простор ни представлялся художнику, он не имеет права льстить или клеветать на свою модель. Портрет может быть более или менее выразителем, следовательно, более или менее идеален; но он не должен переставать быть истинным; подобная ложь есть измена относительно искусства»¹⁾.

Отдавая предпочтение портрету, а не фотографическому снимку, Прудон выразил основное требование реализма — требование правды в искусстве. Фотографический снимок дает лишь более или менее правдоподобное изображение модели, ибо он запечатлевает короткое и в большинстве случаев не характерное, а случайное состояние изображаемого объекта, т.-е. человека. Художник, работая над портретом, общаясь с моделью, стремится возможно лучше узнать ее, схватить типичные черты ее характера и, таким образом, может, если он талантлив, дать образ человека, может в своем произведении открыть его существо. Таковы, например, портреты Рембрандта, таковы портреты наших соотечественников: Тропинина, Репина и Серова. Возьмите, например, портрет Пушкина работы Тропинина или портрет Толстого работы Репина или портрет Горького работы Серова. В этих трех портретах даны характеры трех величайших представителей нашего искусства, нашей художественной литературы. Но для того, чтоб раскрыть характер модели, особенно если модель является выдающейся личностью, художник должен войти в мир интересов и устремлений этой модели. Он должен жить ее жизнью, ее заботами, настроениями, устремлениями и мечтами. Другими словами, художник должен быть родственен модели, дышать с ней одним воздухом, бороться за одни с моделью идеалы. Больше того, он должен знать эти идеалы, должен стоять на том же уровне понимания окружающей общественной действительности, что и его модель. В наших условиях художник, если он стремится отобразить эпоху, должен сам бороться за то дело, за которое борются его модели — представители рабочего класса.

Простое копирование фотографического снимка, хотя бы и самое умелое, еще не дает художественного произведения, да и едва ли сможет его дать, поскольку фотографический снимок не отражает всего психологического

¹⁾ П. Ж. Прудон. «Искусство, его основания и общественное назначение». СПб. 1865 г. Стр. 174.

облика изображаемого человека, не раскрывает его характера. Поэтому крупнейшие мастера портретной живописи избегали фотографии и стремились к общению с живой моделью, с живым человеком.

Художник Кацман, как правило, следует этим старым и очень хорошим художественным традициям. Как мы уже сказали, большинство его портретных произведений написано с натуры. Владая в совершенстве рисунком и умая наблюдать, Кацман создал целый ряд совершенно замечательных портретов. Из множества прекрасных его работ я беру только два наиболее удавшиеся ему портрета: портреты академика М. А. Савельева и художника И. И. Бродского. Эти портреты, сделанные художником в разное время, отражают основное свойство Кацмана — стремление раскрыть или, точнее говоря, дать психологический облик человека. И портрет т. Савельева, и портрет т. Бродского смело можно отнести к лучшим произведениям нашей портретной живописи, ибо оба они с величайшей глубиной и силой дают нам образы людей, являются своего рода психологическими трактатами, которые знакомят нас с этими людьми лучше, чем это могут сделать десятки хороших статей. В этих великолепных портретах все замечательно, начиная от позы и шпачая глазами и мышцами лица. Художник отвлекся от случайных, второстепенных черт, взял характерное и типичное в своих моделях и создал произведения, на которых можно учить нашу художественную молодежь портретному мастерству. Жаль только, что у Кацмана наряду с хорошими реалистическими портретами встречаются иногда и слабые работы. Причем слабость этих портретов нельзя объяснить только некоторым налетом слащавости, к чему, например, склоняется т. Перельман. Причина этой слабости лежит глубже, и ее надо искать не в стремлении Кацмана к стилизаторству, а в его творческом методе, который, кстати сказать, свойственен и многим другим художникам ахрвовского направления. Так, например, на некоторых портретах Кацмана поражает чрезмерное выпячивание какой-либо детали, которая у той или иной модели бросается в глаза, но не является для нее типичной или, во всяком случае, такой деталью, которая выражает ее психологический облик. Эта погоня за эффектной подачей детали в ущерб выявлению типичности модели показывает, что в творчестве Кацмана до сих пор еще сохраняются некоторые элементы натурализма, над преодолением которых художнику надо еще основательно и много работать, если он не хочет остановиться в своем творческом развитии.



Кацман — в основном портретист, сказали бы выше, но это вовсе не означает, что все творчество художника сводится исключительно к портрету. У Кацмана довольно много хороших композиций, хотя этого рода произведения у него значительно слабее портретов. В композициях Кацмана недостатки его твор-

ческого метода проявились сильнее, чем в портретах. Причем причины этих недостатков лежат вовсе не там, где их ищет т. Перельман. В своей, повторяю, очень ценной работе, он пишет:

«Характерно, что Кацман почти никогда не прибегает к эскизам в работах над своими композициями, ограничиваясь крайне лаконичными карандашными набросками». И дальше: «Возникновение так называемых фонов в работах Кацмана — это переход от портрета, от человеческого головы к групповому портрету, к попыткам портретных жанровых композиций, и притом композиций, целиком основанных на натуре. Вне натуры Кацман делается беспомощным, как рыба вне воды. Он не может «графически вспомнить», а потому, не обладая так называемой «графической и композиционной памятью», он вынужден непрерывно сверяться с натурой. Вот почему композиция у него в целом возникает не как наблюдаемая жанровая сцена, выхваченная из жизни, а как некий организм, заранее задуманный, осмысленный, смонтированный из отдельных портретных кусков» (стр. 35—36).

Как видим, особенности творческого метода Кацмана т. Перельман объясняет отсутствием у художника «графической и композиционной памяти», что заставляет его «непрерывно сверяться с натурой». Другими словами, Кацман может и изображать только то, что он видит: но он не может виденное, наблюденное в жизни творчески переосоздать, т. е. не может виденное, взятое из жизни, художественно обобщить и подняться до создания художественного образа. Развивая эту мысль т. Перельмана, можно притти к выводу, что Кацман не может создать картины в полном и буквальном смысле слова, а может только создавать вещи, «смонтированные из отдельных портретных кусков». Мне думается, что это объяснение особенностей творческого метода художника Кацмана едва ли может кого-либо удовлетворить. Постоянное обращение к натуре свойственно всем крупным художникам. Крупнейшие мастера реалистической живописи все свои великие полотна писали с натуры, а не выдумывали из головы. Причем в процессе создания картины они «непрерывно сверялись с натурой», и, однако, их никто не обвинит в том, что они страдали «отсутствием графической и композиционной памяти». Да, собственно, и у самого Кацмана есть композиции, которые он никак не мог осуществить только при помощи метода монтажа. Для того, чтоб создать «Ходоков у М. И. Калининна», художник должен обладать и графической, и композиционной памятью. То же самое можно сказать и о целом ряде других его композиций, прежде всего о «Калезинских кружевницах», о «Детях за чтением» и т. д.

Слабость некоторых композиций Кацмана объясняется недостатками его творческого метода, который вырастает из ахрвовского лозунга до к у м е н т а ц и и, выдвинутого в пер-

вой декларации АХРР. Этот лозунг затормозил развитие целого ряда художников и в том числе развитие Кацмана. Документировать — это значит механически изображать конкретных людей в конкретной обстановке, изображать абсолютно точно, чтоб это изображение было документом. Едва ли нужно говорить о том, что этот лозунг документирования закрывал для ахрровцев всякую возможность борьбы против натурализма. И не случайно ахрровцы ни в едином слове не обмолвились о необходимости борьбы с натурализмом. Для них этой опасности не существовало. Но, отказавшись от борьбы против натурализма, художники АХРР, естественно, не могли преодолеть и элементов натурализма в своем собственном творчестве. Вот почему, анализируя творчество художника Кацмана, т. Перельман не видит слабостей его творческого метода и объясняет недостатки его произведений либо стремлением к стилизаторству (портреты), либо отсутствием графической и композиционной памяти (композиции). Возможно, что и то, и другое у Кацмана имеется, но этими моментами едва ли все-таки можно объяснить то на первый взгляд весьма странное обстоятельство, что Кацман, пока он остается на почве конкретного портрета, дает прекрасные произведения, но как только переходит к композициям, сразу же начинает сдавать, как бы теряет свое мастерство. Еще ярче обнаружится эта черта в творчестве Кацмана, если мы обратимся к социальному типу, т. е. к таким портретным работам, в которых Кацман пытается дать лицо класса или большой какой-либо социальной группы. Типы рабочих, крестьян, красноармейцев, учителей у него определены слабы, не характерны, а иногда и прямо фальшивы. Глядя на его картины «После трудового дня» или «Ударницы Коломенского завода», вольно задаешь себе вопрос: неужели эти полотна написаны Кацманом? Эти творческие срывы надо отнести за счет еще не преодоленных художником остатков натурализма в своем творческом методе, что, безусловно, сильно тормозит развитие его чрезвычайно большого и оригинального художественного дарования.



Характеризуя АХРР, т. Перельман рассматривает эту организацию только в плане развития живописи. Он почти не касается огромного политического значения поворота в сторону советской власти довольно большой группы художников-реалистов, без чего, собственно, невозможно было ни возникновение АХРР, ни его успехи. Не вскрыл политического значения ахрровского движения, автор не мог дать и развернутой характеристики этой организации, вследствие чего у него получилось полное отождествление художественной позиции, художественного метода АХРР с художественной позицией, с художественным методом современной организации, призванной руководить советским изобразительным искусством.

АХРР — это организация поворачивающаяся в сторону советской власти художественной интеллигенции. Мы не ошибемся, если скажем, что подавляющая часть художников, вошедших в АХРР, тогда еще не сбросила своих старых идеологических и художественных одежд, приобретенных на предыдущих этапах развития искусства, главным образом у «передвижников» и отчасти у декадентов «Мира искусства». Художественный метод позднего «передвижничества» не был до конца преодолен АХРР, и его отдельные элементы, бесспорно, входили и в художественный метод АХРР. Лозунг «документации», так же, как и лозунг «героического реализма», вырастает из народнической передвижнической художественной концепции. Поэтому переход от АХРР к союзу советских художников, от метода героического реализма к методу социалистического реализма нельзя рассматривать как механический процесс, как простую смену вывески. Этот переход связан с радикальным идеологическим перевооружением художников. Перейдя на позиции советской власти, на позиции пролетариата, художники должны вооружиться мировоззрением пролетариата — теорией научного коммунизма и его, пролетариата, художественным методом — методом социалистического реализма, а это невозможно без критического преодоления и «передвижничества», и «ахрровства».

Указывая в своей работе только на одну опасность, которая угрожает нашему изобразительному искусству, на опасность формализма, т. Перельман ни слова не говорит о натуралистической опасности, а она существует.

Ошибка АХРР состояла в том, что она, правильно сосредоточив огонь на враждебном рабочему классу формалистическом направлении в живописи, не вела борьбы с натурализмом. Повторяя эту ошибку сейчас, т. Перельман может закрыть для себя возможность борьбы за метод социалистического реализма в живописи. Он, как художественный критик, должен помнить, что искусство социалистического реализма развивается и крепнет в борьбе на два фронта: и против формализма, и против натурализма.

Отмечая ошибки, имеющиеся в работе т. Перельмана, я ни в какой мере не собираюсь умалять ее значение. Мне думается, что, устранив ошибки и несколько переработав книгу, т. Перельман даст советскому читателю интересное и нужное исследование о творчестве одного из крупнейших наших художников, одного из выдающихся мастеров нашей портретной живописи.

И. Гронский.

Ю. Данилин. — «Поэты Июльской революции». Гос. издательство «Художественная литература». Москва. 1935 г. 420 стр.

Книга т. Данилина, входящая в серию трудов Института литературы и искусства

Коммунистической академии при ЦИК СССР, является первой частью большой исследовательской трилогии о революционной французской поэзии XIX века. В тематическом отношении эта первая часть представляет собой самостоятельный труд — она посвящена поэзии Июльской революции.

Части вторая и третья, над которыми работает автор, будут исследованиями о поэзии Февральской революции и Парижской Коммуны.

Осуществляя этот обширный план, исследователь в области данной темы выступает в роли пионера, и притом не только по отношению к советскому, но и западноевропейскому литературоведению. Чернить или замалчивать — вот излюбленные приемы буржуазных литературоведов по отношению к революционным поэтам. В отдельных случаях применяется еще и третий прием — выхолащивание революционного содержания в творчестве того или другого из талантливых представителей революционной поэзии, которых невозможно замолчать, обезвреживать, всячески обуржуазивать этого творчества. Ю. Данилину нигде не изменяет здоровое чувство исторической перспективизма, основывающееся на внимательном изучении высказываний классиков марксизма об эпохе Июльской революции. Правильно считая рассматриваемую им в этой книге революционную поэзию поэзией мелкобуржуазной, он уделяет много места участию в ней большого числа поэтов, вышедших из рабочего класса, — исторический факт, знаменательный под углом пролетариата. Незрелое еще сознание пролетариата приводило в ту пору к тому, что «эти поэты-рабочие должны были идти на поводу у мелкой буржуазии, но наличие их свидетельствовало о первом вступлении рабочего класса в литературу». Главное внимание автор уделяет двум, мощно развившимся в период Июльской революции жанрам: сатире и песне. Первая часть книги отведена начальному этапу поэзии Июльской революции и дальнейшему развитию этой поэзии вплоть до середины 30-х гг.

Расхождение мелкой буржуазии, шедшее нога в ногу с ростом революционного движения, привело к тому, что такие представители начального этапа, как Барбье, отошли вправо. Основываясь на самостоятельном изучении этого крупного поэта, прославившегося своими гневными «Ямбами», т. Данилин приходит к следующему хорошо аргументированному им выводу: «Та революционная репутация, которой Барбье пользовался у наших петрашевцев и продолжает пользоваться у некоторых советских литературоведов, является сильно преувеличенной. Считать Барбье революционным поэтом в целом нельзя, хотя грубейшей ошибкой было бы и дарить его реакции. Творчество Барбье полно «клебаней, зигзагов, взлетов и падений, — и оно должно быть понято и изучено во всем единстве своих пестрых противоречий, во всей последовательности

смены антагонистических настроений, обусловленных положением группы Барбье в классовой борьбе 30-х гг. В противном случае невозможно будет понять, каким образом Барбье, сделавшись с 1831 г. врагом революционного движения, писал иногда в дальнейшем вещи, исполненные чрезвычайно резкого социального протеста, объективный смысл которых мог быть только революционным. Вследствие того, что поэзия Июльской революции оказалась замолчанной, было утрачено правильное понимание творчества Барбье». Тут же, в первой части, рассматривается монументальная сатира Бартеlemi и Мери «Намезпда», громившая июльскую монархию до тех пор, пока, по удачному выражению автора книги, реакция не заклепала Бартеlemi рот золотом. Заканчивается эта часть анализом республиканской гески первой половины тридцатых годов (Петрюс Борель, Альтарш, Беранже и мн. др.), причем особое внимание уделено анализу тематической перестройки Беранже после Июльской революции. Во второй части дана пространный характеристика трех выдающихся поэтов Июльской революции — Берто, Вейра и Моро, которых автор называет представителями особой социальной группы, интеллигенции ремесленно-крестьянского происхождения, принимавшей, наряду с пролетариатом, наиболее активное участие в революционной борьбе 30-х гг. На второй части особенно ясно видно, какую огромную работу, работу, потребовавшую большого терпения и упорства, произвел автор книги по раскопкам и воскрешению целой фаланги революционных поэтов, которых несправедливо забыли, замолчали или же обогнали, затравили, довели до отчаяния, до самоубийства. Прочитывая эти страницы, читатель не может не разделить «взволнованного удивления», которое испытал наш исследователь, работая над материалом для своей книги. Третья часть ее посвящена гибели поэзии Июльской революции под натиском буржуазной реакции. Нарастанию революционных настроений в литературе оппозиционных общественных слоев противопоставлены проявления буржуазной реакции, контрреволюции в тогдашней литературе. Буржуазно-аристократической «золотой богеме» противопоставлена нищая богема Автор рисует трагическую картину физической гибели ряда революционных поэтов князя 30-х гг.: от голода, болезней, вызванных физическим и идейным надломом, судебными преследованиями.

Один за другим слабнут, замирают патристические голоса этих поэтов, духовно родившихся в Июльскую революцию. «Несмотря на все преследования, на все суды, конфискации, штрафы и тюрьмы, революционная поэзия конца тридцатых годов, — говорит автор, — конечно, продолжала существовать. Но мы ее пока не знаем. Открыть ее — дело дальнейших исследований». Так автор вглядную подходит ко второму звену своей обширной исследовательской трилогии о револю-

ционной французской поэзии XIX в., поэзии, игравшей ведущую роль среди революционных литератур прошлого столетия. Неполнота материалов, имеющих в библиотеках и архивах СССР, обясняет ряд пробелов, совершенно естественных в труде, который для своего нормального завершения потребовал бы работы в иностранных книгохранилищах.

Книга т. Данилина открыла целую область явлений, которые до сих пор не были исследованы. Значение этой книги выходит за пределы ее темы «Поэты Июльской революции», так как мы встречаем в ней ряд самостоятельных характеристик таких писателей, как Гюго, Ламартин, Беранже, Жорж Санд, Эжень Скриб, Феликс Пиа и др. Продолжая так удачно начатую работу, т. Данилин, надо полагать, учтет необходимость полнее и глубже разработать вопрос о взаимоотношениях упомянутых сейчас крупных мастеров тогдашней литературы с революционными поэтами. Немалый интерес для советского поэта представил бы, например, рассказ о той большой работе с поэтами, рабочими и ремесленниками, которую вел Беранже и Жорж Санд. Большое значение для советского читателя имели бы и указания на то, как воспринималась поэзия Июльской революции в тогдашней России (куда она, несомненно, просачивалась), — вопрос, который следовало бы осветить попутно, не дожидаясь специального исследования. И, наконец, отчетливее, на наш взгляд, следовало бы поставить вопрос о художественной специфике сатиры и памфлета, сатиры и песни — жанров, которым автор этой книги уделяет преимущественное внимание.

Н. Славягинский.

«Американская новелла XX века». Сборник. Составители А. Гаврилова, И. Кашкин, Н. Эйшишкина, А. Елистратова. Гос. издательство «Художественная литература». 1934. 374 стр. Ц. 5 руб.

Задача показать историческое развитие американской новеллы в эпоху империализма и монополистического капитализма, в эпоху XX века, исключительно интересна. Американская новелла, этот своеобразный литературный жанр, являлся господствовавшим в Америке в течение больше чем полувека. Начиная с войны за освобождение (второй половины прошлого столетия), он заполнял газеты, тонкие и немногие толстые журналы, печатаясь сборниками и культивируясь как специфически американский литературный жанр.

Новеллу, короткий рассказ создала молодая победоносная буржуазия, осваивавшая континент. Эта новелла должна была увенчать добродетель честного, предприимчивого, трудолюбивого дельца, награждаемого за свое постоянство и успешно побеждающего все трудности. Стоит только быть порядочным, не желать ничего чужого, и «провидение»

ниспослет счастье и успех. Такова основная установка новеллы, счастливая концовка которой являлась обязательным и неизбежным условием. Эта новелла продержалась до конца XIX столетия, до того момента, когда концентрация по вертикали ограбила мелкую буржуазию, сделала ее приказчиками трестов, лишила широкие слои мелких предпринимателей хозяйственной самостоятельности и уверенности в завтрашнем дне.

Именно с этого момента стандартная форма американской новеллы начинает деформироваться. Необходимейшие ее элементы — романтический герой, сложный динамический сюжет, отказ от психологического мудрствования, счастливая концовка, венчающая добродетель героя, — эти элементы постепенно утрачивают свое функциональное значение и приобретают новое. Застывшая литературная форма новеллы деформируется, расширяется под влиянием нового содержания и новых целей, вкладываемых в нее процессами классового расщепления и классовой борьбы. Конечным пунктом этой эволюции новеллы, как жанра, явилось создание новой новеллы, целевая установка которой преследовала совершенно иные задачи, выдвинутые новым соотношением классовых сил, новым этапом классовой борьбы в Америке.

К концу XIX — началу XX века эти новые задачи интерпретировались как задачи разрушения стопроцентного «американизма» — официальных стандартов благополучия, успеха, процветания классового мира и покоя. Новая новелла, возникшая в конце XIX — начале XX столетия, должна была отразить и отразила недовольство широких слоев мелкой буржуазии, обездоленной крупнокапиталистическим «*Sturm und Drang*»-ом, ибо основные кадры американской интеллигенции (а следовательно, и писателей) рекрутировались преимущественно из этих мелкобуржуазных слоев.

В сборнике «Американская новелла XX века» мы найдем частично отражение этой эволюции. В основных чертах сборник показывает нам исторический путь высококолых — американской интеллигенции, «критических мыслящих личностей», молодых людей XIX столетия, возникших в эпоху концентрации по вертикали. Путь этой интеллигенции определялся процессом распада мелкобуржуазного сознания, все обострившимся и усилившимся под влиянием процессов классовой дифференциации и классовой борьбы.

Первые вехи этого пути в сборнике даны правильно. Это — предтечи высококолых, первые интеллигенты — Стивен Кран, Амброс Бирс, Генри Джемс, непризнанные современниками, гонимые общественной цензурой и ушедшие либо в литературное небытие и забвение, либо в многолетнее молчание, либо в эмиграцию и чужую литературу.

Но следующим этапом этого пути составители сборника почему-то избрали кульминационный пункт развития высококолых — послевоенные пессимизм, отчаяние и «круше-

ние основ». Здесь мы находим Ринга Ларднера, Шервуда Андерсона, Эрнеста Хемингуэя, Уильяма Фолкнера. Эти имена выбраны верно — в них действительно отражен предельный итог распада мелкобуржуазного сознания, закончившийся фрейдизмом, сексуальным мистицизмом, беспредметным психологизмом, мрачным болезненным фатализмом и ощущением обреченности. Но здесь справедлив вопрос, — а где же промежуточные звенья между «предтечами», вроде Бирса и Крэна, и кульминацией, вроде Андерсона и Хемингуэя. Из поля зрения авторов выпали почти два десятилетия, словно в это время американская новелла не дала никаких образцов, которые можно было бы привести в сборнике.

Чтобы заполнить этот пробел, составители прибегли к прямой подтасовке: в качестве заполняющих звеньев они дали новеллы Джека Лондона и О. Генри. Отлично понимая, что эти новеллы не характерны для XX столетия, что и Лондон, и О. Генри являются последышами «американизма» и созданной им в прошлом столетии сюжетной оптимистической новеллы, только несколько иначе мотивированной под влиянием современных исторических условий, — составители сборника выбрали из Лондона и О. Генри не типичные для творчества этих авторов произведения.

Не лучше ли было бы вместо этой подтасовки вспомнить хотя бы о таком писателе, как Вальдо Фрэнк, этом предвоенном идеологе «европеизации» американской литературы, перехода ее к вечным большим темам, к борьбе за стиль, за лексическую культуру. Ведь этот писатель в эпоху войны, да и после нее, являлся крупнейшим литературным вождем и идеологом американской литературы, объединяя вокруг редактируемого им журнала весьма значительные группы молодых писателей, получивших сейчас мировую известность. Неплохо вспомнить хотя бы и о таком писателе, как Бен Хект и о «богемной» струе американской молодой литературы. И о «французах», видевших свой идеал в парижском кафе и стремившихся туда, подобно тому, как три сестры стремились в Москву. Ведь эти струи оказали большое влияние на формирование молодой американской литературы и, в частности, новой новеллы.

Однако, составители сборника их игнорировали.

Следующей вехой пути высоколобых являлась послекризисная литература (если не

брать таких одиночек, как Джон Рид). Самый обширный раздел сборника — это новеллы писателей, отразивших процессы дифференциации и мелкобуржуазной литературы и нашедших выход из пустоты и нигилизма высоколобых в коммунизме. Но относительно подбора авторов, представляющих этот отрезок пути, мы имеем некоторые возражения. Кем представлена эволюция чистокровных высоколобых влево? В сущности, одним Эрскином Колдуэллом, — это типичный пример эволюции, но не единичный. А как же представлен тот путь, по которому пошли и Вальдо Фрэнк, сейчас ставший секретарем левого союза американских писателей и блокирующийся с пролетарями. И Теодор Драйзер, превратившийся из биологического психиста в сторонника революции. И писатели типа Синклера Льюиса. Показывая эволюцию высоколобых, вроде Андерсона или Фолкнера, этой кульминации высоколобости, составители были обязаны, помимо Колдуэлла, широко показать промежуточные звенья на новом отрезке пути, показать не сами «факты», а литературные связи этих «фактов».

Этого в сборнике мы не находим. За Эрскином Колдуэллом, типичным представителем эволюции влево, идут писатели, либо являющиеся другой социальной генерацией, либо такие же исключения, какими являлся в свое время Джон Рид. Алесса Смедли, Уиттекер Чемберс, негритянский писатель Ленгстон Хьюз, Джек Конрой, Майкл Голд, — это не высоколобые, не стопроцентная американская интеллигенция. Именно американская! Это левый революционный фронт, не характеризующий эволюции чистокровных высоколобых к коммунизму. А следовательно, они не типичны для этого пути. Они, возможно, тот предел, к которому идут и еще должны прийти чистокровные высоколобые (за исключением Хьюза, разорвавшего с чисто гаарлемскими мотивами и абстрактным абсолютизмом негритянской литературы в Америке).

Сборник «Американская новелла XX века» — исключительно важный и ответственный сборник. Такие сборники должны быть более чем четкими и, действительно, охватывать все развитие литературы, давая классические образцы и представляя все течения.

Вместо антологии получилась бесполезная, но и не очень полезная «второсортная» книга.

Ю. Полетика.

Редакция:

А. И. Безыменский,
Ф. В. Гладков.
В. В. Григоренко.
И. М. Гронский.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Отв. редактор И. М. Гронский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».